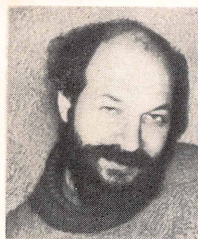


# КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER KOHTINENT

81



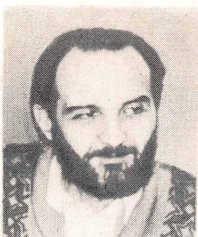
Я чувствовал себя жалким нулем, недотыкомкой; и вот вдруг кто-то окликнул меня по имени в темноте, напоминая о том, что я не один такой...

В происшедшем от жары тумане Показалось мне сквозь знойный чад, Что живу я в древней Маргиане Три тысячелетия назад.



*Юрий Малецкий*

*Семен Липкин*



Наша слабость и наша сила в том, что мы не захотели молчать. Мы стали открыто делать то, что требовала наша совесть пред Богом в Церкви.

*о. Георгий Кочетков*

Когда нет серьезных знаний, то поиски врага сразу снимают эту проблему: если враг найден, его надо уничтожить. Совершенно необязательно самому что-то созидать.

*Александр Копировский*

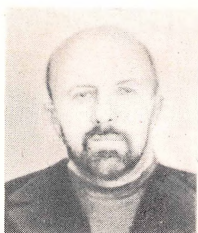
...задача христианского истолкования судеб других людей, народов, держав и человечества в целом едва ли по

силам самому изощренному уму; ибо "христианская точка зрения" — это, страшно сказать, "точка зрения" Самого Господа, ни больше, ни меньше.

*Сергей Аверинцев*

Никто так остро не почувствовал разрыв между религией и культурой, как Мережковский. И никто так настойчиво — и вместе с тем безнадежно — не попытался его преодолеть.

*Юрий Каграманов*







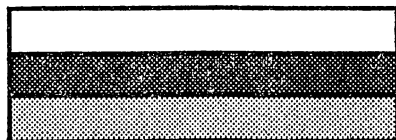


Журнал издается при содействии  
ИНКОМБАНКа



# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический  
и религиозный журнал*



*Выходит 4 раза в год*

МОСКВА • ПАРИЖ

---

**81**

# КОНТИНЕНТ — CONTINENT

## Издатели:

Редакция журнала "Континент"  
Ассоциация друзей журнала "Континент"  
*(Париж, Президент Ассоциации и основатель-  
учредитель журнала "Континент"  
Владимир Максимов)*  
Издательство "Московский рабочий"

**Адрес редакции: 101923, Москва,  
Чистопрудный бульвар, 8а.  
Телефон: (095) 928-97-42  
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,  
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции,  
не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент"  
обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность  
приводимых ими фактов и цитат.

© ТОО "Журнал "Континент"

© Название журнала "Континент" — В.Е.Максимов

*Главный редактор:* Игорь Виноградов

*Зам. главного редактора:* Игорь Тарасевич

*Ответственный секретарь:* Сергей Юров

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов ● Виктор Астафьев ● Ценко Барев ●

Александр Блок ● Армандо Вальядарес ●

Галина Вишневская ● Георгий Владимов ●

Ежи Гедройц ● Густав Герлинг-Грудзинский ●

Пауль Гома ● Алла Демидова ●

Милован Джилас ● Вячеслав Иванов ●

Фазиль Искандер ● Оливье Клеман ●

Роберт Конквест ● Наум Коржавин ●

Эдуард Кузнецов ● Николаус Лобковиц ●

Эдуард Лозанский ● Эрнст Неизвестный ●

Жорж Нива ● Амос Oz ● Ярослав Пеленский ●

Виктор Спарре ● Витторио Страда ● Юзеф Чапский ●

Карл-Густав Штрём ● Юлиу Эдлис ● Сергей Юрский ●

## Представители "Континента"

- Израиль           Юлия Эйдельман  
Hashaftim 22  
64365 TEL-AVIV, ISRAEL  
☎ (03) 69-67-375
- Италия           Джулия Филиппелли  
Via Olmetto, 5  
20100 MILANO, ITALIA  
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада           Ольга Бутенко  
1221, Boul. Rene Levesque  
SILLERY QC G1S1V8, CANADA  
☎/fax (418) 688-1221
- США              Эдуард Лозанский  
3001 Veazey Terrace, N.W.  
WASHINGTON, D.C. 20008 USA  
☎ (202) 362-7855
- Франция         Татьяна Максимова  
9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE  
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария  
Женева           Жан-Филипп Жаккард  
104 rue de Carouge  
1205 GENÈVE, SUISSE  
☎ (22) 321-4052
- Берн             Юрий Гальперин  
Scheuermattweg 14  
3007 BERN, SUISSE  
☎ (31) 459-463
- Япония           Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 TOKYO, JAPAN

## СОДЕРЖАНИЕ

Семен ЛИПКИН

*Стихи бедуина* . . . . . 9

Виктор НЕКРАСОВ

*«Кое-что из жизни...»* Неопубликованное . . . . . 13

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ

*В траве среди металлолома.* Стихотворения . . . . . 56

Юрий МАЛЕЦКИЙ

*Убежище.* Роман . . . . . 62

Игорь ТАРАСЕВИЧ

*Засада.* Стихотворения . . . . . 167

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

*Из новых стихов* . . . . . 170

РОССИЯ

Сергей АВЕРИНЦЕВ

*По поводу статьи А. Зубова «Пути России»* . . . . . 174

Лев ИГОШЕВ

*О путях России* . . . . . 178

Андрей ЗУБОВ

*Опыт метанойи* . . . . . 192

## РЕЛИГИЯ

- Встреча в редакции «Континента» с о.Георгием Кочетковым, Александром Копировским и Александром Кырлежевым.* . . . . . 207

## ГНОЗИС

**Д м и т р и й Г А Л К О В С К И Й**

- Бесконечный тупик.* Исходный текст . . . . . 220

## ПРОЧТЕНИЕ

**Ю р и й К А Г Р А М А Н О В**

- Божье и вражье.* Вчитываясь в Мережковского . . . . 308

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

**Е в г е н и й Е Р М О Л И Н**

- На тот свет и обратно.* Советский опыт в прозе последних лет . . . . . 337

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

- «КОНТИНЕНТА»** . . . . . 361

## РАЗНОЕ

**1. Священник Николай БАЛАШОВ**

- Письмо в «Континент»* . . . . . 382

**Валерий СЕНДЕРОВ**

- Открытое письмо главному редактору журнала «Континент» И. Виноградову* . . . . . 387

**Игорь ВИНОГРАДОВ.**

- Открытый ответ г-ну В. Сендерову* . . . . . 391

## СТИХИ БЕДУИНА

### Душа

Она бездействует и не исследует,  
Когда перед толпою говорит,  
И лишь когда сама с собой беседует,  
Она работает, она творит.

Она в юдоли чуждой не останется,  
Как не корми ее, не ублажай.  
Вдали укоренясь, душа-изгнанница  
Мечтает возвратится в отчий край.

В первоначальном доме обустроится,  
Забудет о вине своей земной,  
Все зримое в незримом ей откроется,  
Слиянной со вселенскою весной.

\* \* \*

Становятся годы старше  
И так себя проявляют:  
Столетние юбилеи  
Знакомых моих справляют.

А я надеюсь, что скоро  
До уровня смерти возвышусь  
Для важного разговора,  
Как только с ними увижусь.

---

**Семен  
ЛИПКИН**

— родился в 1911 г. в Одессе. Автор около десятка поэтических сборников, изданных в России и за рубежом. Широко известен как переводчик памятников поэтической культуры многих народов мира.

## В старом квартале

Перенесем ворота,  
Угрозу отведем,  
Чтоб сбилась смерть со счета  
И не нашла наш дом...

Бухарская еврейка  
Выходит из ворот.  
Сверкает тюбетейка,  
Как южный небосвод.

В глазах лукавых томность,  
Искательство, мольба,  
И тайная бездомность,  
И странная судьба —

Ждать, ждать: когда же виза?  
И, покидая двор,  
На языке Хафиза  
Молоть девичий вздор.

## Последняя ночь Навои

Все прошло: с повелителем дружба  
С детских лет, и разлад, а затем  
В дальней ссылке тягучая служба,  
Пятерица бессмертных поэм.

Дышит жизнь, но все тише, все тише,  
Лишь сверкает строки серебро,  
И газель — восемь нежных двустийши —  
Безнадежно выводит перо.

Вот и ночь к изголовью склонилась,  
Подойдя к нему мелким шажком,  
И живая газель вдруг приснилась —  
Серо-желтая, с белым брюшком.



## Раскопки в Израиле

Древняя земля разрыта.  
Возле мрамора колонн  
На дельфине Афродита,  
Искалечен Купидон.

Был бассейн. Вода иссякла.  
Пылью сделалась трава.  
Что для них в руке Геракла  
Мертвой гидры голова?

И привозит автострада  
разноликих горожан:  
Им попасть сегодня надо  
В тихий, знойный Бейт-Шеан.

## Стихи бедуина

Я счастливец, ибо только тот, чей низок дух, несчастен.  
На вселенную смотрю я: мир велик, но мне подвластен.

Гончая с огромной пастью мчится яростно за дичью,  
Это — жизнь, и чем я стану, превратюсь в ее добычу?

Я рожден в юдоли скорби, лжи, греха, коварства, страха,  
Но и золото порою добывается из праха.

Юность — это пламя хмеля, старость — холод и невзгода,  
Тот, кто жив, заложник смерти, и лишь мысль — его свобода.

Мне знакомы ночь, пустыня, пыль во рту, скупая влага,  
Но перо — моя опора, и подруга мне — бумага.

У меня один лишь посох — луч таинственного света,  
У меня лишь два верблюда: нищета и дар поэта.

## Маргиана

Очень жарко было ранним летом,  
День дрожал в предчувствии грозы,  
Трепетали в воздухе нагретом  
Крылышки трещотки-стрекозы.

Среднеазиатская столица  
Обдавала пряной теплотой  
И легко мне позволяла слиться  
С многоцветной медленной толпой.

В происшедшем от жары тумане  
Показалось мне сквозь знойный чад,  
Что живу я в древней Маргиане  
Три тысячелетия назад.

На столицу глядя издалече  
И в предчувствии грядущих гроз,  
Узнаю, что возраст человеческий  
Не взрослее возраста стрекоз.

«КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ...»

*Неопубликованное*

*В сентябре этого года исполнилось уже семь лет, как не стало Виктора Платоновича Некрасова — выдающегося русского писателя, автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда», открывшей новую страницу в истории русской военной прозы. Последние годы своей жизни Виктор Некрасов вынужден был, как и многие другие крупные наши писатели, провести за границей, в Париже, где он несколько лет был заместителем главного редактора «Континента». В оставшемся после него архиве хранится целый ряд не опубликованных до сих пор текстов, часть которых, с любезного разрешения наследников писателя, мы предлагаем вниманию читателей «Континента», объединив их общим условным названием — строкой из публикуемой ниже начатой, но не законченной В. Некрасовым книги воспоминаний и эссе под общим названием «Лежа на диване». Завершают нашу подборку тексты нескольких выступлений писателя на радио «Свобода», по которому голос его часто звучал. Публикация Виктора Кондырева и Григория Анисимова.*

ЛЕЖА НА ДИВАНЕ

День семнадцатого июня знаменателен во многих отношениях. Именно в этот день в 1239 году родился английский король Эдуард I, в 1818 г. Шарль Гуно, автор оперы «Фауст», в 1882 г.— Игорь Стравинский, в 1888 г.— Гейнц Гудериан, прославленный автор танковых прорывов, в 1900 г.— ближайший соратник Гитлера Мартин Борман. В этот же день в 1953 году в Берлине вспыхнуло восстание, достаточно решительно подавленное советскими войсками. А за тридцать лет до этого, 17 июня 1940 г., советские войска, «с согласия латвийского правительства», как сказано в БСЭ, вступили на территорию Латвии.

Столь осведомлен я в истории этой даты не только потому, что существует немецкое издательство «Дас персонлише Гебурдстагбух», выпускающее книги, посвященные каждому дню года, и не потому, что сам возлагал цветы

на памятник жертвам 17 июня в Западном Берлине. Нет, кроме всего этого, именно в этот день в стольном граде Киеве в 1911 году впервые закричал, появившись на свет, человек, который семьдесят пять лет спустя, день в день, сегодня, семнадцатого июня 1986 года, принялся за то литературное произведение, которое ты, читатель, держишь сейчас в руках.

Вся эта ситуация, на первый взгляд искусственная и надуманная, сложилась в силу очень удачно сложившихся обстоятельств.

Во-первых, Париж, лучший в мире город, не располагает (не знаю, как там было у Бальзака, Хемингуэя и Эренбурга) к тому виду творчества, который требует тишины, покоя, отсутствия телефона и позволяет, вздев на лоб очки, смотреть на уступы черепичных крыш, старый маяк и тающий в мареве морской горизонт. Все это есть здесь, на берегу Средиземного моря, в Русйон-Лангедоке, у самой испанской границы, в малюсеньком городке Колюр, о котором будет еще впереди.

Это первое. Второе — как раз во второй половине июня свободна та самая уютная, двухкомнатная со всеми удобствами квартира, которую уступает мне на две недели хозяйка ее, живущая в Париже, но не любящая жаркого южного солнца. А я люблю.

И, наконец, третья, таящаяся в самой цифре семьдесят пять. Друзья и родичи считают, что эту круглую дату надо обязательно отмечать. Я же, вспоминая нечто подобное, происходившее пять лет тому назад, считаю, что не надо. Из-за обилия желающих (понятие чисто условное, в основном — неловко не пойти, неудобно не пригласить, сочетающееся к тому же с несовместимостью одних особей с другими), мероприятие это растянулось на два дня и оба эти дня пронизаны были одним стремлением — чтоб юбиляр, упаси Бог, не выпил лишнего, а еще лучше, вообще не пил. Цель, конечно, благородная, но недостижимая. Юбиляр то и дело выбегал из-за стола, то ли за сигаретами, то ли «я вам сейчас прочитаю», а оставшиеся пользовались этой паузой, суетливо вытаскивали из-за дивана припрятанные на этот случай (а случая этого все ждали) поллитровки... В быстроте и ловкости всего происходящего было, безусловно, нечто спортивное и артистичное, но я

спорта не люблю, а с актерством давно покончил, поэтому игры эти удовольствия мне не доставляют.

Короче, на этот раз я сбежал со своего юбилея, события, которое одна моя очень интеллигентная приятельница окрестила тем же самым словом, только заменив в нем первую букву на «ё». Правильно заменила...

На этом несколько затянувшееся, как обычно, предисловие заканчиваю и перехожу к тому, для чего, собственно говоря, сюда и приехал.

## 1

...Я родился в Москве в 1863 году — на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, таранасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникли в России железные дороги, пароходы, автомобили, аэропланы, дрендоуты, подводные лодки, телефоны, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи — к электрическому прожектору, от таранаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от кремневого ружья — к пушке Берте и от крепостного права — к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях...

Нет, это не моя эпоха. И это не я. Это Константин Сергеевич Станиславский и его эпоха. Прочитанное вами — это первый абзац его книги «Моя жизнь в искусстве».

Я же появился на свет и жил в другую эпоху. Нынешнему поколению она покажется такой же далекой и почти неправдоподобной, как мне эпоха Станиславского.

Вырос я под звуки канонады поочередно занимавших город то красных, то белых, то петлюровцев, то немцев или поляков. Рос я под звуки паровозных гудков и трамвайного перезвона.

«Паровозные гудки в воздухе разносятся...»

О, эти гудки! По ним, таким мелодичным, таким разным, завлекающим, прерывающимся мы, мальчики, жившие по летам на даче под Киевом, в Ворзеле, узнавали своих любимцев. Острогрудые, короткотрубые, прямо с картинки из «Детской энциклопедии», СВ и СУ стремительно (шестьдесят километров в час!), без остановки проносились

мимо нашего маленького деревянного вокзальчика. Это скорые и ускоренные поезда. А Н<sup>В</sup> и Н<sup>У</sup>, с трубами подлиннее — дачные, останавливались у нашей платформы на одну минуту, которую так боялись бабушки — Господи, как мы успеем все вещи вынести.

В те далекие, незабываемые годы гудков и паровозного дыма, стелящегося над лесами и рощами, когда в трех передних фонарях не только товарных «Щук» и «Овечек», но и наших любимцев коптели еще керосиновые лампы, когда стрелки переводились вручную, а вместо светофоров приветливо подымали свою полосатую руку стройные semaфоры, пределом нашей мечты было стать машинистом.

Замусоленный, с черными ноздрями, высунувшись в окошко, он спокойно и уверенно смотрел вперед на несущиеся на него сияющие рельсы. Боже, что бы ни дали мы, чтоб оказаться рядом с ним, хоть на пять, десять минут, на перегоне Буча — Ворзель... Мечту эту я осуществил только через полстолетия в далеком американском штате Вермонт — там к услугам выживших из ума стариков предоставлен такой дымящий еще, гудящий, стучащий по стыкам раритет. Я был счастлив.

В те далекие, те счастливые времена были и трамваи, загнанные теперь на окраины, были и извозчики. Одна из стоянок их находилась недалеко от нашего дома, на углу Б.Васильковской и Марино-Благовещенской. Зимой в крохотные санки с медвежьей, да-да, медвежьей полостью с трудом влезало двое. Нам, вернее, моим родителям, этот вид транспорта был не по карману, и пользовались им только для поездки на вокзал. Чемоданы и прочие узлы держались просто на коленях, а один, самый большой, у извозчика под ногами. И лошадка — но, сивка! — неторопливо цокала по булыжной мостовой, роняя из-под хвоста то, запах чего, уносящий в детство, давно уже позабыт...

Были в Киеве, разумеется, и автомобили. Знали мы их наперечет. Всего двести сорок семь. Кому они принадлежали, неведомо. Известно было только, что сногшибательный «Линкольн», одиноко стоявший у входа в гостиницу «Континенталь», принадлежал «Интуристу». В нем возили знатных гостей и однажды даже самого Эррио — был в тридцатые годы такой заигрывавший с нами французский премьер-министр. Все дворники Николаевской улицы, где находился «Континенталь», щеголяли по этому

случаю в белых передниках, а деревья обсыпаны были свежим песочком.

Помню я, как и Станиславский, аэропланы, которые тогда еще не назывались самолетами. По сравнению с ними наш родной «Кукурузник» выглядел «Летающей крепостью». Не утверждаю, что помню, но родители уверяли потом, что видел я даже немецкий цеппелин в парижском ночном небе — было мне тогда три года.

Такую необходимую деталь, без которой теперь кажется и часа не проживешь, как телефон, я познал фактически после войны. В довоенные годы обслуживаемые «барышнями», они, кроме учреждений, возможно, были еще у зубных врачей. Прекрасное время! Вместо междугороднего, влетающего в копеечку телефонного трепана — «Как здоровье? Как погода?» — существовали письма и открытки за три копейки.

Первый радиоприемник — детекторный, с кристалликом — показал мне знакомый преподаватель Политехнического института, и все школьные товарищи мне завидовали.

Мы рано начали увлекаться фотографией. Снимали на стеклянные пластинки гармошечными, громоздкими «Фойхтлендерами». Потом священнодействовали в ванной, не позволяя никому туда входить.

С завистью смотрю я на нынешних туристов. В толстенных ботинках с крючками и с возвышающимися над их головами рюкзаками на каких-то металлических рамах, они щелкают направо и налево своими крохотными «Минольтами» на цветную пленку «Кодак», которую через час им проявят и отпечатают. Счастливицы! А мы, отправляясь в дальние походы в Сванетию или на Эльбрус в резиновых тапочках, которые назывались тогда «балетками», брали с собой две коробки по двенадцать пластинок фабрики ВУФКУ и перезаряжали их ночью в какой-нибудь пещере на Ингурской тропе наощупь, копошась в снятых для этой операции портках. Двадцать четыре снимка за все путешествие — предел...

И не знали мы в те годы никаких джинсов, ходили в защитного цвета военного образца юнг-штурмовках, девочки и во сне не видели губной помады, за серьги могли исключить из школы — и все же мы были счастливы. Я не боюсь этого утверждения, хотя знаю, что многие осудят

меня за это — не всем было тогда до фотографии, и миллионы таких, как мы, путешествовали не по Военно-Осетинским дорогам, а тряслись в «телятниках» чуть подалее, на восток...

И все же мы были счастливы. Молодостью. Она на многое закрывает глаза. В годы, когда должны крепнуть детские кости, мы питались пшенной кашей и воблой (даже теперь, в пивной, я ничуть не завидую тому счастливцу, который обсасывает каждую косточку в своем углу над бочкой), родители часами стояли в очереди в ломбард, закладывали облигации, и с утра до вечера накачивали и прочищали иглой вонючие примусы. Наша дородная домработница Ганя, отнюдь не боготворившая советскую власть — было это, правда, уже после войны — говорила: «За однэ я ий благодарна — газ придумала...»

Короче — жизнь была унылая и безнадежная, не то, что у фабриканта электрических лампочек Константина Сергеевича Алексева. И все же с той, его, вождя девятнадцатого века жизнью меня сближали мои «старушки» — мама, тетя, бабушка. Они были «бывшими», «старорежимными», как назывались тогда обладатели пенсне, муфт и брошек-камей. В их домах сохранились еще толстенные, на металлических пряжках альбомы с фотографиями господ в крахмальных воротничках и дам в кринолинах. В застекленных книжных шкафах орехового дерева кроме обязательных Пушкина, Лермонтова и Писарева красовались еще и Надсон, и «Чтец-декламатор» с «Сакья-муни, ты не прав...» и «...так солгать могла лишь мать». А на отдельной полочке в красном с золотом переплетах теснилась французская «Библиотека роз» с трогательно-слезными романами графини де Сегюр, в девичестве Растопчиной. На стенах висели...

Вот о стенах отдельный разговор.

Мой, наш кумир юности великий Ле Корбюзье, основой всего провозглашавший функцию, считал стенку элементом, отделяющим одно пространство от другого. Элементом тепло- и звукоизолирующим. Для людей девятнадцатого века у стен была еще одна функция — они служили неким фоном для картин и фотографий. Посмотрите на комнаты, в которых жили Лев Толстой, Чехов. Стены их сплошь увешаны репродукциями, дагерротипами дядюшек и тетушек, фотографиями сидящих за столами друзей и знако-



мых, каких-то веранд с дамами в кружевных белых платьях и молодыми людьми в соломенных канотье. Никаких оригиналов. Над письменным столом Достоевского висела большая фоторепродукция «Сикстинской мадонны», а у Чехова в Ялте один только пейзажик Левитана — со стогами сена. На камине.

И я следую их примеру. На стенах моей парижской квартиры свободного места нет. Вешать больше некуда. Так было в Киеве.

## 2

Считается, что я больше всего люблю путешествовать. Не спорю — люблю. И все же... И все же из всех положений человеческого тела предпочитаю горизонтальное. Я мог бы найти достаточное количество оправданий этому стремлению — мол, достаточно находился за всю жизнь — всякие там Крымы и Кавказы в юности, позднее командиром взвода запасного батальона пешечком от Ростова до Волги, а затем, через год, драпая во все лопатки из-под Харькова до той же Волги. Убедительно? Как будто. На самом же деле еще в детстве меня порицали — «Ну, что ты все валяешься, уткнувшись в своего «Капитана Гаттераса», пошел бы в крокет поиграл». В сохранившемся дневнике моей весьма требовательной к себе и другим тети Сони есть упоминание о ее ленивом племяннике, который дрыхнет до двенадцати дня, вместо того, чтобы... Дальше шло достаточное количество разумных предложений.

Одним словом, я люблю лежать на диване. Больше всего. Лежать, перечитывать Чехова, дремать под звуки Вивальди и Альбиниони, думать. И где-то в перерыве между этими занятиями бродить взглядом по своим стенам. А на них не только картинки и фотографии, кусочки твоей жизни, но и полочки со всякими, как у нас в Киеве принято говорить, «штучками-мучками». У каждой своя история. Эту фарфоровую, например, чернильницу в виде юного всадника в шляпе с пером, вертел в своих руках Ленин. Разве не интересно?

Вот давайте и побродим неторопливым взглядом по моим стенам — кое-что из жизни человека, родившегося еще во времена царствования злодейски убиенного Государя-им-

ператора Николая Александровича и пережившего после этого еще шесть русских царей, вы узнаете.

Здесь придиричивый читатель может меня перебить. А достойное ли это занятие — бездельничать, валяясь на диване, когда мир трещит по всем швам, а дома, если и живется не так страшно, как в годы Лидии Тимошук и убийц в белых халатах, но рот все равно затыкают, а чернобыльские соловьи умирают, едва долетев до Финляндии? Не неловко ли тебе предаваться воспоминаниям на парижском мягком диване, когда на ложе несколько менее мягком пишут стихи твои киевляне Ратушинская и Микола Руденко?

Не буду ссылаться на авторитет Карла Маркса — для меня он самонадеянный путаник, отравивший умы, — но никто не подверг его остракизму за то, что он занят был писанием своего «Манифеста» или «Капитала» вместо того, чтоб сражаться на баррикадах 1848 года. Более того — должен признаться — меня тоже никто не осуждал, хотя все знали, что полковой инженер 1047-го полка не прочь поваляться часок-другой, листая старую «Ниву» в своей теплой землянке, сказав связному: «Будут спрашивать, скажи — на передовой». Кстати, на передовой, случалось, тоже бывал.

Но не будем оправдываться — просто посвящу я вас в маленькую литературную тайну. Есть в нашей профессии понятие, именуемое «прием»... Дилижанс остановился на ночевку в глухой гостинице-таверне. Ночью нападают злые разбойники. Невыспавшиеся пассажиры занимают круговую оборону. И чтоб не заснуть, пока разбойники что-то там придумают, — устроившись у камина, рассказывают друг другу разные истории... А милый сердцу Сергей Довлатов назвал свою последнюю книжку «Чемодан» и весело рассказал об офицерском ремне, носках и паре ботинок, которые в этом чемодане бултыхались. И что-то вспомнил. А мог бы в Никарагуа отправиться, боротясь с сандинистами — Хемингуэй на его месте, возможно, так бы и поступил.

Теперь, надеюсь, ясно?

Тогда ляжем поудобнее на диван, закурим, придвинем пепельницу и — в путь. Начнем с кабинета. Со стенки, которая направо от окна.

### Рассказ в стиле социалистического реализма

Два затылка, один коротко стриженный, другой лохматый. Лиц не видно. Совершенно ясно, что оба в доску пьяны. И счастливы. Подобная фотография вряд ли появилась бы в советской газете, но если б в силу каких-нибудь обстоятельств (редактор в отъезде, дежурный запил, а «свежая голова» в пику ему) она все же появилась, то сопутствовала бы ей подпись: «Встреча фронтовых друзей».

Так оно и было. Через двадцать семь лет после мужественных объятий в медсанбате под Люблиным бывший замкомбата по строевой части 99-го Отдельного саперного батальона 79-й Гвардейской стрелковой дивизии встретился на станции Бурла Алтайского края со своим бывшим связным и напился.

Одним из них, старшим по возрасту и званию, был я, другим — Михаил Иванович Волегов, в просторечии Валега.

О нем я писал и вспоминал неоднократно. Восемнадцатилетним мальчишкой отрубил он весь Сталинград, освобождал Украину и Польшу, там был ранен, повалившись в госпиталях, демобилизовался, вернулся в родные края, стал плотником, женился, нарожал детей. На фронтовом языке все это называлось «повезло».

О дальнейшем, чтоб не повторяться, скажу пунктирно. После войны обнаружил не я Валегу, а он меня. Книги «В окопах Сталинграда», где он один из героев, ни он, ни его дети не читали, но инициативу проявили именно они. «Разыскал бы ты, наконец, того капитана, о котором столько талдычишь. Может и живой?» И разыскал. Через милицию, век ей буду благодарен. Завязалась переписка. Обмен карточками. Послана была книга. Потом произошел конфуз. Валега приезжал с женой в Киев, но я оказался не в форме (злоупотребил от волнения на вокзале в ожидании поезда) и жена, разгневавшись — «Хорош писатель, элементарный алкаш!» — уволокла бедного моего связного к каким-то родственникам в Белую Церковь. Со временем я был реабилитирован, что дало мне возможность совершить путешествие на Алтай, венцом которого и был тот самый

акт. запечатленный на фотографии. Было это в июле 1971 года.

С тех пор я Валегу не видел. Сейчас ему лет шестьдесят с гаком.

Все вышеизложенное — факты. Война, книга, фильм «Солдаты» — в нем Валегу играл Юра Соловьев, с которым они в ту, алтайскую поездку крепко сдружились — действительность смешивалась с вымыслом, но в основе была жизнь. Такая, какой она была или могла сложиться. Дальнейшее будет сплошным вымыслом.

Поступки советской власти необъяснимы. Логика не главная отличительная ее черта. Неудобных ей людей она или убивает, или ссылает, или выдворяет. Я оказался в положении третьих. Хотя я и отщепенец, и ренегат, друзья мои, попав в Париж, как правило, встречаются со мной. И потом, как ни странно, никто их не осуждает. Видали? Видали. Ну, и хорошо, что сказали. Все. И в то же время переписка невероятно осложнена. До кого-то мои письма доходят, до кого-то — как топором, отрублено. Ни мне, ни от меня.

Книги, само собой разумеется, изъяты, а фильм нет-нет, да и появляется на экранах. Девятого мая, ко Дню Красной армии. Кто-то говорил мне, что даже фамилия в титрах как будто стоит.

Казалось бы, что может быть естественнее продолжения завязавшейся на фронте дружбы? В газетах, ко Дню Победы, полно фотографий целующихся и обнимающихся где-то на Красной площади или у Большого театра посевших, полысевших, увешанных орденами ветеранов. Или стоит такой в сторонке, а на груди табличка — такой-то полк, такая-то дивизия.

Фронтная дружба — святая дружба... Никто не забыт, ничто не забыто...

Впрочем, есть и — не забудем, не простим.

Как же преодолеть всю эту чепуху, невидимые баррикады и берлинские стены? На первое мое письмо из Парижа, поздравление с Днем Победы, Валега ответил. Потом, как ножом отрезало. Вызвали, очевидно, в райком — «ты что, спятил?». А он человек дисциплинированный. Я — несколько менее, и, чтоб знал он, что райком мне не указ, посылаю ему к каждому Новому году большие настенные календари — пускай украшают стены его дома вся-

кие там восходы солнца на Юнгфрау и Женевские озера с Шильонскими замками — швейцарские календари лучше всех. Последний был отправлен из Москвы. Ответил отправительнице — не от Виктора Платоновича ли это подарок? Было сообщено, что да.

Окрыленный успехом, послал недавно, опять же с okazji, часики. Кварцевые, прозрачные, все колесики, винтики видны, крутятся, тикают. И три запасные батарейки. Дойдут ли? (Вспоминаю, как послали мы с сыном его другу, заядлому рыболову, в Кривой Рог японскую удочку. Немыслимой длины и гибкости. На таможне, мне рассказывали потом, на час вся работа прекратилась — рассматривали, щупали, цокали языками. Месяц-другой спустя спрашиваю сына, много ли шук и карасей наловил этой удочкой его друг? Сын посмотрел на меня, как на идиота — о каких щуках может идти речь? Да появись он где-нибудь на берегу речки с этим японским чудом, его в лучшем случае искалечат до неузнаваемости, и видал он эту удочку. Нет, просто по воскресеньям садится в кресло, вынимает парижский подарок и молча любит... А вы говорите, щука...)

Один француз, немолодой и совсем неглупый, спросил меня как-то, почему бы мне не организовать вызов Валеге в Париж? Представляете, как ему было бы интересно? Милому моему французу это казалось совершенно естественным. Он, например, встретился с американцем, с которым лежал в госпитале. Тот специально из Калифорнии приехал. Что я ему мог ответить? Я вот даже с немецким летчиком, фотографировавшим наши позиции со своей чертовой «рамы», как-то в Германии напился, и потом он прислал мне сохранившийся у него аэрофотоснимок нашего Мамаева кургана... А вот с Валегой...

Остается только фантазировать.

Рисую себе такую картину. Сидим мы с ним в кафе «Копакабана» под грибком, у самого синего Средиземного моря, и пьем пиво, отмечаем мой день рождения. Закажем форель с хрустящей жареной картошечкой-фри. Оба мы в маечках с какими-то чайками или Микки-Маусами, оба в шортах. Этому последнему он будет усиленно сопротивляться, но мне удастся его убедить, что здесь все так ходят, стоит ли нам выделяться. Дело происходит в маленьком городке Колюр, возле самой испанской границы.

Солнце заходит. Ветерок. По пустынному пляжу бегает карапуз, гоняет мяч. За нами четверо стриженных, загорелых ребят в браслетах, с цепочками на шеях. Валега посматривает на них.

— Это солдаты,— скажу я.

— Солдаты?

— Солдаты. Что-то вроде десантников, парашютистов. Здесь их учебный центр. Тренируются.

Валега помолчит, потом спросит:

— Срочная служба?

— Ага. У них здесь двадцать месяцев. И по тысяче франков в месяц получают.

— По тысяче франков?

— По тысяче. А часики твои стоили двести пятьдесят.

Он начнет подсчитывать что-то в уме. Он все время будет подсчитывать, переводить на советские деньги. Впрочем, этим занимаются все приезжие из Советского Союза, будь то писатели, инженеры, звезды экрана.

— А знаете, сколько мне за ваши часики давали?

— Рублей полтораста?

— Двести пятьдесят...

— Ничего себе. Две моих бывших пенсии. Я сто двадцать получал.

Валега не отрывает взгляд от той четверки, свободно развалившейся в плетеных креслах и поглядывающих на проходящих девиц.

— А что они пьют?

— Очевидно, панаше. Это пиво, разбавленное какой-то бурдой.

— А водку им что, нельзя?

Я смеюсь.

— Сколько угодно. Только здесь это не принято. Французы предпочитают вино... Ну, а мы? Ударим еще по пивцу?

Мы пробуем все сорта — «Кронеберг», «Кантербрау», «33», «Эннеси», «Хейнекен». Говорим не только о ценах. Хотя «а помнишь? а помните?» было по всем правилам. В первый же день в Париже. Но как не вспомнить опять, например, Одессу, ведь мы вместе ее освобождали двадцать два года тому назад, 13 апреля 1944 года. Вспомним мы об Одессе уже не на набережной — станет прохладно, — а в кафе «Рамбалада». Закажем на этот раз по кумку мяса с острой подливкой. Возьмем бутылочку винца, местного,

достаточно крепкого. Валега с любопытством будет рассматривать развешанные по всем стенам картины. Принесут мясо. Вы только посмотрите, как мой алтайский колхозник орудует ножом и вилкой. Куда мне с моими манерами, которые осуждала еще тетя Соня. «Не представляю, как ты будешь себя вести, когда попадешь в Швейцарию за табльдот...» Вообще, держится он спокойно, с достоинством, локти на стол, как я, не кладет.

Должен сказать, что и по части восторгов и немного окаменения перед парижскими витринами он куда сдержаннее московской литературно-кинематографической элиты. Только перед охотниче-рыболовным магазином происходит задержка, и по вдруг вспыхнувшему в его маленьких глазках огоньку мне ясно, что внутри у него что-то происходит. Я этим пользуюсь. От охотничьего ружья приходится отказаться — не пропустят через границу, да и охотничье свое удостоверение он оставил дома. Останавливаемся на спиннинге, который и хозяин, и принявшие участие в нашей покупке постоянные покупатели очень хвалили. К тому же нужны еще и леска (купили какую-то особую, под названием «Нилофри», длиной в 450 метров!), и крючки, и еще какие-то причиндалы. Валега, эмоции которого на лице не выражаются, счастлив. Сужу по усиленно работавшим желвакам. Кстати, об эмоциях. Проявились они у Валеги только однажды. На колюрском пляже. Вид женщин без лифчиков вызвал у него явное осуждение. Даже матюкнулся, что тоже не в его привычках.

— Молодые, трам-тара-рам, еще туда-сюда, но старухи... — и плюнул.

Выпиваем за сталинградских друзей. Конечно, за моего Ваньку Фищенко, пьяницу, забулдыгу, лихого разведчика — его если не весь Сталинград, то вся дивизия знала. Заказываем еще одну бутылочку.

«Пей, пей, Валега, пей, оруженосец! Видишь, что немцы с городом сделали? Но ничего, побываем мы с тобой в Берлине. Обязательно побываем. Ты хочешь? Я очень хочу».

Это из моей книги. Я помню эти строчки наизусть и тут же декламирую их. Несколько громче, чем надо. Валега деликатно коснется моего колена — на нас смотрят...

Говорит тихо, голоса никогда не возвышает. Даже когда отчитывает меня. Было это и тогда, в незапамятные вре-

мена, да и сейчас тоже. Не без улыбки, малость недоверчивой, выслушает мой рассказ о встрече с одесситом в Гонконге, и скажет:

— Ох, и переволновался я тогда в Одессе, товарищ капитан.

— Отставить, товарищ боец!

— Ну, Виктор Платонович... Ведь вы выпьете и море вам по колено. А кругом мины неразминированные. Старший-то лейтенант Щербаков как раз на mine подорвался.

— Кстати, ты где меня тогда обнаружил? И когда? На третий день?

— На второй, к вечеру. В бадеге, конечно. С какими-то цивильными. Не знаю уж, какую пол-литру давили...

— Да, было дело...

— Уложил я вас спать тогда, а на утро — «Валега, подай фляжку!» — Пришлось дать. Потом спохватились — где батальон? Собираем помаленьку, говорю. А вы — «Зови Петриченко!». Помните, командира первой роты? И как стали его отчитывать — и такой, мол, и сякой, все, мол, переписались, кто ж воевать будет? И опять за фляжку. И оба в дугу упились. Я, правда, малость разбавил...

— Вот гад...

— А как же иначе. Того и гляди в Париж какой-нибудь сиганули б, как тот ваш с Гонконга... До сих пор ума не приложу, как это упустил я вас потом в Люблине. Обратно же напились.

— Было, было, что греха таить.

— Мне начфин потом рассказывал. Пивной склад какой-то разнюхали. И назюзюкались. Поить стали танкистов. И бац, начфин и охнуть не успел, уже на танке — вперед, славяне, за родину, за Сталина! В медсанбате потом, в Луцкове, в глаза мне не смотрели...

Не смотрел-таки, не смотрел, знал, что виноват. Вынесло меня, героического советского офицера, в самый центр города, на Краковское пшедместье, а там немецкий снайпер с крыши — раз! — и покатился освободитель кубарем с тридцатьчетверки. Пулевое ранение в правое плечо с повреждением нерва.

На всю жизнь я запомнил Валегины глаза на следующее утро в медсанбате. Ненавидящие и любящие. Глаза отца. Отчитывающего непутевого сына.



— На минуту оставить нельзя, тут же нашкодите...— и, порывшись в противогазе, — ложку вам принес, зубную щетку, пасту ихнюю, бритвенный прибор, записную вашу книжку, зеркальце.— И, угрюмо помолчавши: — Дать, что ли, глотнуть?

Тут я не выдержал и обнял его.

Глотнули по глотку, даже по два и расстались на двадцать семь лет. Последнее, что я помню — его взгляд, уже на выходе. Осуждающий, но не до конца. Сделал какое-то прощально-приветственное движение и ушел. Маленький, лопоухий, в пилотке на самой макушке, в громадных своих ботинках с загибающимися кверху носками — хоть не жмут, говорил.

Думал ли я тогда, что пройдут годы и увижу я его в пиджачке, в беленькой, застегнутой на все пуговицы рубашечке, стоящим на трибуне в наполненном до отказа клубе алтайского поселка Бурла.

Только что показали нам картину «Солдаты», и участники битвы, а их оказалось человек шесть-семь, один за другим выходили на сцену и каждый вспоминал что-нибудь героическое. Председатель, секретарь райкома, стучал карандашом по графину: «Закругляйся, Кирюха, другим тоже хочется».

Валега отнял времени не больше минуты. Кашлянул раз-другой и сказал:

— Да что говорить... Минировали, разминировали, спираль Бруно ставили. Вообще, все одно и то же. Ну, что еще? Землянки копали, всякие там НП, КП... Руки попухали... Вот так и воевали...— На этом и кончил.— Спасибо за внимание.

Я с трудом удерживал слезы. Я человек сентиментальный.

И еще раз вспомню это его выступление в тот мифический колюрский день. Не знаю, почему именно в тот вечер, а не на следующий день отцы нашего городишки отмечали годовщину обращения генерала де Голля к французскому народу 18 июня 1940 года. В тот день родилось Сопrotивление.

На крохотной площади, в тени громадного, развесистого платана четверо ветеранов, все в орденах, держали знамена. Мэр города произносил речь. За ним еще два-три человека. Присутствовавшая на церемонии не слишком густая толпа

хлопала каждому оратору. Шеренга солдат в хаки стояла по стойке «смирно». Под конец исполнена была «Марсель-еза».

Когда я выпью лишнего, у меня появляется склонность произносить речи, спичи. Хорошо, что к тому моменту мы с Валегой только начали, а то вышел бы, пожал несколько удивленному мэру ручку и начал бы на своем плохом французском языке рассказывать подобно тому алтайскому Кирюхе о чем-то героическом, тыча пальцем в Валегу — вот он, живой защитник Сталинграда, которому все мы, все вы обязаны...

К счастью, ни коньячка, ни водочки «Смирновской» к торжественной той минуте мы еще не приняли. Это было уже потом.

В двенадцать «Рамбалада» закрывается, и мы, захватив с собой парочку бутылок местного вина «Баниюль», отправимся домой вспоминать невспомянутое еще.

Что произошло бы утром следующего дня, нетрудно догадаться, благо домашние церберы все далеко.

И подумал я — вспоминай я прошлое с Валегой еще день, другой, третий, и отдал бы я концы. Какое прекрасное завершение жизненного пути — на руках у Валеги.

Хэппи-энд получился не слишком-то мажорный, но сколько в самом рассказе светлого, радужного — чем не социалистический реализм?

Глупая она все-таки власть, советская.

#### 4.

#### От слова «Любить»

Он был старше меня лет на пятнадцать. К моменту, когда «великая социалистическая революция, о которой столько говорили большевики, свершилась», он успел уже поплавать матросом на торговых кораблях РОПиТ, быть послушником в Афонском монастыре и встретить это самое свершение на Дворцовом мосту возле Зимнего. Но об этом после.

Он был писателем. Известным. Но меньше всего любил говорить о своем ремесле. Вообще, говорить он не очень любил, человеком был немногословным, но после рюмочки-другой, — а это он любил, — и если собеседник ему при-

ятен, мог кое-что и рассказать интересное. Например, как понимал его Сталин. Но и об этом после.

Со стены на нас смотрит — нет, не на нас, а на спичку, которой зажигает трубку — немолодой, горбоносый, бородатый человек. Сейчас он сделает несколько затяжек и скажет: «Ну, что ж, по маленькой и в путь?» А путь это или на охоту, он великий охотник, убивал даже белых медведей, или в сельпо за пополнением, или предстоит выслушать увлекательный и в то же время неторопливый рассказ о стамбульских кабаках, берлинских «бирхалле» или пивной на углу Литейного, где в углу, одинокий, молчаливый, необщительный, часто сидел Александр Блок. «Как-то мы заглянули туда, я с Куприным Александром Ивановичем, потом подсел к нам Грин...» Такая вот компанейка, в пивной на Литейном, в незапамятные времена...

Человеком этим был Иван Сергеевич Соколов-Микитов, и то, что свела меня с ним судьба, почитаю за великое счастье.

Судьбой, сведшей меня с ним, оказались Володя Тендряков и Даниил Гранин. Мы вместе отдыхали в Малеевке в Доме творчества, и как-то они подошли ко мне, двое, и сказали: «Хочешь, мы познакомим тебя с замечательным человеком? Он вчера только приехал. Век нам будешь благодарен». Они не ошиблись.

Ивана Сергеевича очень любила моя мама. У нее был нюх на хороших людей. Когда он, большой, по-украински «кремезный», крепко сколоченный, в уютной мягкой куртке с карманами заходил к нам в комнату и, якобы смущенный, останавливался у дверей, мама, все наперед зная, расцветала улыбкой.

— Зинаида Николаевна, — начинал он, топчась у дверей, — что надо делать, когда вдруг прилетит к тебе ангел, а у него под крылышком знаете что? Бутылочка... Сидит вот он у меня в комнате, ждет, что вы скажете?

— Ну, как ангелу откажешь? — смеялась мама. А иногда добавляла: — А познакомиться с ним можно?

— Как же, как же, Зинаида Николаевна, — и заходя к себе в комнату, великолепно удивлялся. — Улетел... Застенчивый он у меня, боится большого общества. Но бутылочку оставил, спасибо ему. Малость оттаяла, а то летел по небу полуночи, а на дворе морозец, вся запотела...

Есть такое определение — «прекрасный собеседник», «великолепный рассказчик». Я побаиваюсь этой категории людей. Первые иногда, правда, не только говорят, но и слушают, — таким был покойный Паустовский, вторые же не закрывают рта ни на минуту. К этим вторым относится чемпион разговорного спорта Иракий Луарсабович Андронников. Рассказы его изумительны, смешны до невероятия — когда я впервые его услышал, у меня долго потом болели щеки и живот, — но остановиться он не может. Помню, делегация советских писателей летела в Италию на международную конференцию. В самолете он начал что-то рассказывать о Лермонтове. В середине рассказа, кажется, Панова перебила его:

— Иракий Луарсабович, а под нами Монблан, как грань алмаза...

Он, бегло взглянув в иллюминатор, сказал «А-а-а» и продолжал: «Да, так Михаил Юрьевич, как вы знаете, не отличался ни ростом, ни красотой...»

Иван Сергеевич был рассказчиком совсем другого рода. Говорил он не торопясь, то и дело зажигая гаснущую трубку, и рассказ его не был заранее подготовлен, как у того же хотя бы Паустовского, он развивался спокойней, иногда отвлекался в сторону — это если перебьешь и спросишь — но потом возвращался в основное русло и, подобно гоголевскому Днепру, тихо катил волны свои.

Вспоминает он, например, о своей жизни в Англии, когда корабль, на котором он служил матросом, был интернирован в Гулле. Пробыл там что-то около года, работал в доках.

— Значит, и английскому научились? — спрашиваем.

— Да что вы... Ни бе, ни ме. Вообще, я туп к языкам.

— А в Берлине на каком объяснялись? Ведь вы там довольно долго жили.

— А что объясняться? Зайдешь в пивную, скажешь «айн бир, цвай бир», и все ясно.

Я немного путаюсь в его биографии, что после чего происходило. Родился в лесах Смоленщины, в молодые годы моряком ходил рейсами Российского Общества Пароходства и Торговли по ближневосточной линии Одесса — Константинополь — Яффа — Александрия и назад с заходом в греческие воды. Тогда-то и прельстили его покой и благолепие Афонского монастыря — «Нравится, оставай-

ся, — сказал ему капитан. — А когда надоест, заберем обратно». Потом война, летал на знаменитом «Илье Муромце», бомбил немцев. В Гражданскую в Киеве попал в плен к белым. Чуть не был расстрелян, спас офицер, знавший его еще по гимназии. Потом Крым. Батраком на винограднике писателя Шмелева. Потом опять корабль, тот самый, что был интернирован в Гулле. Прошел год, соскучился по дому. Каким-то образом оказался в Берлине. По дороге в Питер. Там на какое-то время осел, в те годы в Берлине была большая русская колония.

— А почему не прямо, а через Берлин? — спрашиваем.

— Так там же Саша Черный, самый добрый человек в мире. Мы с ним еще в Питере дружили.

Из этого я заключаю, что литературную деятельность свою он начал где-то между бомбардировщиком и киевским пленом. Жил какое-то время в одной комнате с Ремизовым на Васильевском острове. Тогда же, видимо, и в пивную на Литейном заглядывал.

В Берлине познакомился со многими русскими писателями, их было там предостаточно. Андрей Белый, Цветаева, Алексей Толстой, наезжавший Есенин — не понравился: шумный, самовлюбленный. Максима Горького тоже не очень жаловал — пить не пил, других угощал, но если, случалось, выпивал, забывал, что надо окать...

Недавно, у букиниста на берегу Сены обнаружил я журнал «Жар-птица» — издавался такой в двадцатые годы в Берлине. Мало в чем уступавший дореволюционному «Золотому руну» или «Аполлону», с обложками Билибина, Добужинского, с цветными вклейками. И там, в этом номере за 1921 год, наткнулся на рассказ Ивана Сергеевича о маленькой девочке; очень мне было приятно.

Вернулся он в родные края, когда Петроград не был еще Ленинградом. Именно тогда завязалась у него длившаяся всю жизнь дружба с Фединым. Дружба эта единственное темное пятнышко на белоснежном фоне ничем другим не запятнанной биографии его. В свое время очень известный автор популярного романа «Города и годы», писатель Константин Федин к концу своей жизни стал важным сановником, председателем Союза писателей, «Чучелом орла», как его называли. Человеком он был плохим, я его немного знал.

— Ну, что вы хотите, — говорил Иван Сергеевич, отводя взгляд. — Костя первый человек, с которым я распил первую бутылочку на родной земле, такое не забывается. И кое-что даже прощается.

Я не помню, чтоб Иван Сергеевич о ком-нибудь когда-нибудь говорил плохо. И о Косте тоже, хотя как никто другой знал всю подноготную его жизни. Разве что скажет, когда мы пытались открыть ему на что-то глаза: «Да, конечно, конечно... И все же жалко. Кровавым же потом пишет свои «Костры», а они тлеют, чадят, никто их не читает. Грустно... Вообще много грустного на земле...»

А вот самого Ивана Сергеевича я никогда не назвал бы грустным. Хотя в жизни его было более чем достаточно грустного. Две его дочери — обе красавицы — умерли молодыми. Одна от туберкулеза в Крыму — поэтому в любимый всеми нами Крым его было не затянуть, — другая утонула в озере, катаясь на лодке, где-то под Ленинградом.

Улыбался он редко и то больше глазами, но исходило от него всегда какое-то неизъяснимое чувство покоя. Движения несуетливые, плавные, уверенные и походка такая же, по-украински «мирною ходою», кстати, любимое выражение киевских «письменников», когда речь шла о Сталине. Это может прозвучать чудовищно, но нечто сталинское в Иване Сергеевиче было. Чисто внешнее, скажем, «мирна» эта «хода», набивание и прикуривание трубочки. А может, просто схожие фотографии? Есть и у Сталина такая. Прикуривает, и огонек спички, и глаза на огонек. (К величайшему своему изумлению, я обнаружил эту фотографию над кроватью Твардовского. Не над письменным, скажем, столом, там висел Бунин — а у изголовья, первое, что проснувшись видел — усы вождя...)

Я как-то жил у Ивана Сергеевича в Карачарово — был у него там в лесу на берегу Московского моря домик. По утрам я сидел на веранде и писал. Иван Сергеевич, деликатнейший из деликатных, заходил иногда, садился на лавочку в стороне, закуривал — не помешаю, здесь солнышко, тепло? А тепло-то исходило не от солнышка, а от него. И конечно же, писанию его приход мешал — ну, и черт с ним, с писанием, успею — но сам приход был зарядкой на весь день. «А не выпить ли нам кофейку, Иван Сергеевич?» И мы пили кофеек. И он рассказывал об Александре Грине или о петухе-алкоголике. Был у них

такой, в деревне. Каждое утро в нужный час приходил к казенке. Когда-то мужики его напоили. Курица подохла или зарезали, а яйца остались. Вот и решили, чтоб он их высидел. Напоили, посадили на яйца, он и заснул. Так и высидел цыплят. Но стал алкоголиком. И с тех пор каждое утро — к открытию магазина. Ну и капали ему мужики за воротник. Все были довольны, петух в частности.

Посидим за кофейком, поговорим о петухе, об афонском благолепии (есть у него не переиздававшийся у нас чудный рассказ «Там, где птица гнезда не вьет», об Афоне), встанет и скажет: «Пойду-ка и я чего-нибудь поцарапаю».

К «царапанию» относился серьезно. И в то же время не переносил, когда ему об этом говорили всерьез, многозначительно, со знанием, якобы, дела.

— Знаете, что нас с вами сближает? — говорил он мне. — Не только то, что мы с вами любители этого самого, — он кивал в сторону графинчика с разноцветными камешками, которые мелодично позвякивали, когда выливалось содержимое. — Нет, не только поэтому. А потому, что мы вообще любители. И писатели — любители. Слово-то какое хорошее — от «любить»...

Нет, он не был сторонником знаменитого «ни дня без строчки». Писать надо, когда хочется. Когда есть о чем. А нет — и не пиши. Тут он в корне расходился с Василием Гроссманом, который профессионализму придавал громадное значение. На этой почве мы с ним даже поспорили. Он считал, что я малость кокетничаю. И пожурил даже — ай-да Моцарт сталинградский, мамаевский... А сам в это время писал «Все течет» и «Жизнь и судьба», о существовании которых я узнал и прочел только после его смерти... Писал он это не чернилами, писал кровью.

Знакомы ли они были — Иван Сергеевич и Василий Семенович? Не помню. Кажется, нет.

Вообще, с окружавшими его, жившими в ту пору писателями особой дружбы у него не было. За исключением Твардовского и ненавистного нам Федина. (Когда-то мы с Граниным в нелегкую для Ивана Сергеевича пору напросились к нему, председателю, на прием. Поговорить о переизданиях Соколова-Микитова, мол, плохо у него сейчас с деньгами. Федин пророкотал нам своим поставленным актерским голосом: «Вы что ж думаете, друзья мои, что,

вот, так сниму трубку и позвоню?» «Да, именно так мы думаем» — сказал Гранин, и мы ушли.)

С Твардовским дружба была настоящая. И не потому, что один писал, а другой печатал его. Возможно, потому, что оба были смоленские, оба из мужиков. Но, как ни странно, из мужиков-то мужичков, но в обоих сквозил некий аристократизм. В Трифоньче более барский — достаточно было посмотреть, как он входил в ресторан, официанты тут же стлались, — в Иване Сергеевиче же внутреннее, прирожденное благородство. В каждом жесте, в каждом слове. Откуда бы?

При всем его демократизме, простоте, было в нем что-то от дворянина-помещика. Вряд ли он сек бы своих дворовых, но чубук бы покуривал, сидя у камина, и портреты в овальных рамах на густо-синих стенах его ленинградской квартиры висели, мебель вроде павловских времен, и не пахла она комиссионкой. А в карачаровской избушке — ружья на стенах, и не декоративные, а убивавшие волков, медведей, ягдташи, патронташи, охотничьи кинжалы. На полочке над камином лубяные туесочки, эскимосские костяные штучки — он обходил с ружьем весь север, есть даже залив его имени, плавал, если не ошибаюсь, на «Малыгине». В связи с этим походом Сталин-то его и вызывал. «Очень он мне тогда понравился. Спокойный, обходительный, умеющий слушать. И, представьте, крови на руках не заметил. Не всех же писателей убивал. Кого-то и уважал. Пастернака, Булгакова, например. И руки мыл, если кого на прием приглашал. А так вполне уютный старик. Табачком угостил. Покурили мы с ним свои трубочки...»

Много было юмора в Иване Сергеевиче. Тонкого, ненавязчивого, так, к слову. И вкус у него был тонкий, не изощренный, показной, а именно тонкий. Я придаю значение вещам, окружающим человека. Как армейское, смотря в чьих устах, ироническое «сапоги — лицо офицера», так и писательский стол в какой-то степени — лицо его хозяина. Опять-таки, например, столы Толстого и Чехова.

У Ивана Сергеевича, хотя я и не знал, печатает ли он на машинке или пишет ручкой, карандашом, на самом главном месте, как и положено, стояла чернильница. Не ахти какая, не особый какой-нибудь раритет, но прошлого века. Разрезные ножички из кости, возможно, медвежьей или моржовой. Инкрустированная коробочка для марок.



(У Чехова две — одна для писем, другая с содранными или отмоченными с конвертов марками, аккуратно сложенными в стопочки, перевязанные ниткой. А филателией ведь не интересовался — так написано на картонке рядом, в его ялтинском доме.) Фотографий только две. Дочерей. Он их очень любил.

Была у него и жена, Лидия Ивановна. Говорят, в молодости красавица. Сейчас маленькая, аккуратная, подтянутая, с ироническим изгибом губ. По-видимому, любил и малость побаивался. А может, это была и игра. «Пока Лидии Ивановны нет, пошарьте-ка там за диваном, может, чего-то и найдете». Это уже когда он ослеп, лежал на диване, прикрытый одеялом.

Но даже и в те, последние годы глубокого кресла и дивана — передвигаться ему было уже трудно — даже тогда чувствовалось, угадывалось в нем то, что являлось его сущностью — мужественность.

Когда-то нашим кумиром был Хемингуэй — сильные герои его, немногословные, отважные, умеющие любить и дружить. В жизни как-то не очень часто встречалось такое завидное сочетание, поэтому и зачитывались мы Хемингуэем, пытались ему подражать, походить на его героев. А вот познакомившись с Иваном Сергеевичем, я вдруг понял — так вот же он, наш русский вариант того героя. Моряк, рыболов, охотник. К тому же, немногословный. И красивый. Он и в старости — седобородый, в черной скуфейке, прикрывавшей лысину, был красив, а представляю его молодым, двадцатилетним морячком в тельняшке. Сколько сердец было покорено.

Не знаю, что он нашел во мне, но я в нем то, что мне самому не хватало. Настоящий мужчина должен любить охоту, бильярд, сражения, войну. Быть картежником, игроком, кружить голову женщинам. А я всю жизнь нравился преимущественно старым дамам, футбол и хоккей ненавижу, ни в бильярд, ни в очко, ни даже в шахматы не играю, люблю клеить фотографические альбомчики, сам стираю себе носки и носовые платки, обожаю порядок, занудно ворчу, когда сковородка повешена не на место. Все это так немужественно. А главное, ни разу в жизни не поймал ни одной рыбы, не собрал ни одного гриба, не застрелил ни одной куропатки или вальдшнепа.

— Да, — сокрушенно качал головой Иван Сергеевич, — тут вы, дорогой Виктор Платонович, дали маху. И лишили себя многого.

Я что-то мямлил насчет жалости, нежелания убивать живое.

— Клоп тоже живое, и комар, и блоха... А не жалеете... И в охоте выстрел, ей-Богу же, не самое главное. Ночь, утро, туман, лесные звуки, ночной костер, наконец, охотничьи рассказы. А сборы? Выбор ружья, пригнать амуницию, чтоб не звенело, не стучало... Ну, и само собой разумеется, фляжечка. У костра. Нет, нет, многого вы себя лишили, очень многого.

И я умолкал, сникал. Последнее обстоятельство окончательно меня доканывало. Пил везде, может быть, даже больше, чем другие мужественные мужчины, а вот у охотничьего костра... Нет, обошел меня в чем-то Творец.

И еще одно было в Иване Сергеевиче. Прожить такую нелегкую, сложную жизнь и умудриться взять и помнить в ней только хорошее. И в людях видеть хорошее (слушать умеет, табачком угостил — тут уж юморок), и в пережитом вспоминать тоже, если и не всегда хорошее, то где-то забавное.

Ночь на 25-е октября. Историческая ночь.

— Жил я тогда на Васильевском. Вместе с Ремизовым. Пили мы с ним в тот вечер чаек, один кусочек сахару на двоих. Потом захотелось вдруг воздухом подышать. Пошел. На дворе промозгло, неуютно. Народу никого. Прошел мост и вижу на той стороне группка людей стоит, небольшая. Подошел. Смотрю, стоит среди них солдатик, маленький, в смушковой шапке, носили тогда такие, папаха не папаха, колпак какой-то, в руках винтовка. Замерз, под носом мокро. «Что ты тут делаешь, сынок?» — спрашивают его. «А так, сторожу». «А что сторожишь?» «А Бог его знает, что. Поставили и стою». И тут вдруг кто-то сказал: «А ну, малый, сними-ка шапку». Малый шапку скинул, и вывалилась из-под нее коса. «Так ты баба?» Хохот на всю площадь. «Бросай-ка ты свое ружье и вали отсюда. Не бабье это дело...» И побрел наш солдатик неизвестно куда, во тьму...

— Ну, а когда же революция произошла, штурм Зимнего, залп «Авроры»?

— Чего не знаю, того не знаю. Какой-то крейсер ли, броненосец стоял возле моста, но стрелять не стрелял. Я потоптался, потоптался и пошел домой... А наутро прохожу мимо Зимнего и чувствую носом, чем-то родным, спиртным пахнет. Откуда бы? Подошел поближе, вижу, все окна в подвалах дворца настезь и оттуда солдатики лезут, покачиваются, веселые. Винные подвалы царские ликвидируют. А как они во дворец попали, шут его знает. Может, и штурмовали.

Ко всему последовавшему после этой памятной ночи относился Иван Сергеевич, мягко выражаясь, неодобрительно.

— В политике я, конечно, не большой специалист, но то, что уничтожили крестьянство, этого простить нельзя. Нет его больше на Руси. Колхозник это не крестьянин. Он землю не любит, а мужик русский ее любил, знал, понимал, не мог без нее жить. А сейчас что? Клочок земли возле дома, разве это земля, квадратные метры, а не земля...

Сколько печали было в его интонациях. Не злости, не ненависти, а именно печали. Он знал Россию, когда в ней был какой-то уклад. И пили-то не так, как сейчас. Больше по праздникам. Тем-то они и отличались от будней. А в будни все же работали. Пахали, сеяли, убирали хлеб. А сейчас? Работать никто не хочет, не просыхают с утра до вечера. И винить-то кого? Что остается делать? Пока сивуху продают, ничего не изменишь. А введут сухой закон, страна в самогоне утонет. Кстати, знаете, когда на Руси самогон появился? Думаете, что всегда был? А вот и нет. После войны той, мировой, появился. Во время войны на водку-то запрет был. И только в 24-м году сняли. Что ж было делать? Вот и начали из сахара гнать. Премию надо было б дать тому, кто это придумал. Отрава, но все же не такая.

Он не видел выхода из положения. И не любил об этом говорить. Политик я, мол, никакой. Но в жизни этой, а познал он в ней много лиха, никогда ни перед кем не унижался, не приспособливался, никого ни о чем не просил, не требовал. Жил не по лжи. К нему это применимо в полной мере. Вероятно, это и есть мудрость, то, что сохраняло его таким, каким он был. Потому и тянулись к нему люди, любили.

Как-то, в минуту откровенности, я сказал ему об этом.

— Нет, Виктор Платонович, не перехваливайте меня. Все мы люди, все мы человеки. Со всеми слабостями. Горький писатель великий и когда-то много добра людям делал, но не любил я его. И в какой-то анкете, в начале двадцатых, любили тогда такие анкеты, на вопрос, чем обязан Горькому, ответил — ничем. А потом, когда переиздавать ее в какой-то книге решили, воззрились на меня, с разных сторон начали подкатываться — разве можно, классик, родоначальник, великий мастер. Вот и пришлось вставить — мастерству учился. Стыдно и вспомнить.

А мне почему-то не было за него стыдно. Ну, учился, не учился, не все ли равно. Остались книги, по ним все видно. Ни разу, как почти все писатели, не лизнул, ни в каких кампаниях участия не принимал, благодарственных или требующих против кого-то кары писем не подписывал, ни «за», ни «против» не голосовал. «Вы знаете, я ни на одном собрании никогда не был, то больным скажусь, то в отъезде». Только за товарища Сталина пришлось проголосовать, уж больно жалко стало агитаторшу нашу, славная такая девочка, первокурсница, чуть не плакала.

Ну, и еще одно качество — доброта. А что, собственно, значит «доброта»? Щедрость, широта, как у грузин: мое — твое? Не обязательно. У Ивана Сергеевича это была просто любовь делать людям приятное. Невзначай похвалить, обрадоваться какому-то твоему поступку, сказать доброе слово о человеке, на которого как-то мало обращают внимания, даже слукавить, соврать мог, если видит, что это человеку доставит удовольствие.

В один из последних визитов к нему, как раз тогда, когда я шарил в загашнике за диваном, нашел и, малость расслабившись, мы настроились на уютную беседу, зашла вдруг Лидия Ивановна.

— Пришли к тебе, Ваня, болгарские писатели какие-то, спрашивают, можно ли повидать?

Иван Сергеевич поморщился:

— Что поделаешь, зови...

Уют кончился, я понял, что надо уходить. Прощаясь — болгары и даже сопровождающий их товарищ оказались довольно симпатичные, — я сказал:

— Дорогие болгарские содруги! Оставляя вас наедине с Иваном Сергеевичем, хочу сообщить вам, что он знаменит

не только своими книгами, а еще и тем, что он единственный человек на земном шаре, который пил и с Блоком, и с Гумилевым, с Андреем Белым, Есениным, Алексеем Толстым, Куприным, Александром Грином, даже с Горьким, а из ныне здравствующих с Фединым, Твардовским, ну и т.д. Скажите же прямо, Иван Сергеевич,— я повернулся к нему.— С кем из них вы больше всего выпили?

Он лукаво улыбнулся, сделал паузу и сказал:

— С вами, Виктор Платонович.

Он знал, чем мог мне угодить. Я был счастлив.

Кстати, об этом самом грехе, который он, между прочим, грехом не считал. «Непьющий человек — человек подозрительный, мы это с вами знаем», — говорил он и приводил тот самый пример с Горьким. Так вот, однажды видел я Ивана Сергеевича, человека, эмоции свои не расплескивавшего направо и налево, крайне огорченным. Шли мы с ним в любезное наше сельпо в Малеевке. Проходим мимо железной бочки с горючим. Вот и спрашиваю, поскольку шли мы в магазин не только за сушками и банками.

— Интересно, выпили ли вы за всю свою жизнь такую вот бочку?

— Бочку не думаю, — он улыбнулся в бороду, — но половину, думаю, осушил.

Сидя потом в его комнате, подсчитывали. Пить начал с таких-то лет. В день в среднем по столько-то. В неделю, месяц, в год. Помножить на количество лет. На шестьдесят, допустим. Помножили и... Иван Сергеевич даже растерялся. Я никогда не видел его таким — получилось, что и десятой части не выпил.

Он печально покачал головой: «И времени-то уже не осталось, не наверстаешь. А я-то считал, что мне в жизни везет».

Вообще, он часто говорил, что ему в жизни повезло — больно уж много хороших людей повстречалось ему. И в море, и на войне, особенно на Севере — он любил Север.

— Да вот и сейчас, — говорит, — выйдешь на улицу, а я уж почти ничего не вижу, одни тени мелькают, и всегда найдется кто-то, кто и через улицу переведет и до самой злачной точки доведет, да и там все расступятся, без очереди пропустят... Эх, Питер, Питер... — тут он глубоко вздыхает. — Что я без него буду делать? Лидия Ивановна

все в Москву тянет. Из-за внука. Дескать, московская консерватория лучше ленинградской. А он чего-то тычет там пальцами по роялю. Ну, что мне там делать? Пропаду. Это же не Питер, даже не Константинополь, где я каждый кабачок, каждую кофейню знал... Плохи мои дела...

В Москву он все-таки переехал, жили на проспекте Мира.

— Нет, нет, нет... Не для меня. Не Константинополь, нет, или, как вы любите говорить, не Рио-де-Жанейро... Отнюдь.

Так вот, об этих самых хороших людях. Присутствовал я как-то на встрече двух таких человек. Ивана Сергеевича с его командиром «Ильи Муромца». Ничего более трогательного я не видел. Два старика, оба бородатые, оба лысые, сидят и вторую пол-литровку дают. Не без моего, правда, участия. — А помнишь, а помнишь? — перебивали друг друга. И все-то они помнили. И городского на углу Литейного и Невского, которому сунешь полтинник и он тебе из сугроба бутылочку, льдом покрытую. Еще и спасибо скажет...

— А Нюру помнишь? У нее, наоборот, тепленькая была, между сисек согрелась. Из-за пазухи вытаскивала.

Нюра была сестрой милосердия из соседнего лазарета.

— Именно милосердия. Знала, как кому помочь. Сейчас-то и слова такого нет, и понятия нет. И сестры медицинскими называются. Не то все, не то...

К середине ночи я уже заснул, а когда проснулся, они все еще вспоминали каких-то штабс-капитанов и даже Сикорского, того самого конструктора «Ильи Муромца» и «Русского витязя» — напарник Ивана Сергеевича был с ним даже знаком.

Умер Иван Сергеевич в 1975 году, было ему 83 года. Я был уже в Париже.

Все собирался ко мне в Киев приехать, посидеть в той самой кондитерской, где его добровольцы схватили в 1919 году. Сохранилась ли она? На углу Костельной и Думской площади.

Нет, не сохранилась. Но мы бы нашли другую. Скорее всего, даже не кондитерскую... А может быть, просто дома.

17.06.86 г.

Я не суеверен, в чудеса не верю, но однажды...

Вот в Париже, на кладбище Пер-Лашез одно привлекающее всеобщее внимание надгробие, всегда засыпанное цветами. Среди роз и тюльпанов, между четырьмя колоннами, бюст некоего А.Кардека, отца спиритизма. Вокруг всегда люди. Легенда утверждает, что любое ваше сокровенное желание, прикоснись вы к бюсту спирита, осуществится — не просите только денег. И никому не рассказывайте...

Стыдно признаться, но я прикоснулся. Озираясь по сторонам, чтоб никто не видел. И попросил.

Вечером того же дня раздался телефонный звонок. Из Иерусалима. Некая киевлянка сообщила мне, что только что разговаривала по телефону с Семеном Глузманом. Вот его телефон, вот адрес. Позвоните, напишите. С телефоном из Парижа в зауральскую Нижнюю Тавду — место ссылки Глузмана — не получается, а переписка наладилась.

Утром, озираясь по сторонам, я попросил знаменитого спирита найти мне Глузмана. Почему не освободить, а найти — сам не знаю. Казнюсь. Повторять просьбы не положено.

10 сентября нынешнего 1981 года, Семену Глузману минет 35 лет. Когда его арестовывали, ему было 26 лет, а познакомились мы с ним года за три до этого.

Как-то в Киеве, было это в году в шестьдесят восьмом, получил я письмо от некоей незнакомой дамы. Ссылаясь на наших общих друзей, она попросила обратить внимание на одного милого юношу, с которым познакомилась, когда лежала в больнице. Он пишет, и ему нужен совет. Так вот, не мог бы я...

Я смог. Юноша пришел, принес рассказы. Тоненький, застенчивый, с очень интеллигентным лицом. Рассказы я прочел. Рассказы как рассказы. Об этом я и сказал Славику по дороге из больницы, куда я попросил его меня проводить, проведать лежавшего там моего друга.

С этого началось...

Он стал ко мне приходить. Нет, не в гости и не то, чтоб по делу, а так: то принести маме лекарство, то он где-то проходил и увидел, что дают гречневую крупу, и он взял, то еще что-нибудь в этом роде. И как-то все

сразу его полюбили. Был он мягок, деликатен, о поэзии не говорил. Потом стал приходиться просто так, без дела. Стал принимать участие в вечерних чаепитиях, помогал маму поднимать (она была прикована тогда к постели), подвозить на кресле к столу.

И так постепенно, незаметно превратился он вроде как в члена семьи. Он кончал тогда мединститут, был очень занят, но, пожалуй, не было дня, чтоб не заскочил. Иногда на секунду («не нужно ли чего Зинаиде Николаевне, я как раз в ту самую аптеку иду»), иногда отвести душу или включиться в мытье окон — делал он это очень быстро и ловко.

Славик читал Самиздат. Ну, кто его у нас сейчас не читает? Может быть, даже не только читал, а давал еще кому-то прочесть. Это-то чтение и распространение и фигурировало потом в приговоре, отмерявшем ему семь лет лагерей.

Прочесть приговор никому не пришлось. Его прочитали на суде и на руки не выдали ни адвокату, ни родителям. А родители были так взволнованы (на чтение приговора их все-таки пустили, а так, нет, никого) и не все слышали, помнят только, что «за чтение и распространение» произведений Солженицына, какой-то речи или статьи Генриха Бёлля и пародии на роман Кочетова. Вот и все. Судья Дышель, знаменитый в Киеве специалист по инакомыслящим, спокойно произнес: «Семь лет исправительно-трудовых лагерей строгого режима и три года ссылки»...

Мы, наивные люди, пытались найти к нему, этому Дышелю, какие-то пути. Жена моего друга и его жена где-то вместе работали. Встретились тайно. Речь шла об ознакомлении с делом Славика. Хотелось его прочесть собственными глазами. Дышелева жена поохала, поохала, сказала, что сам Дышель очень переживает, жаль ему, мол, такого славного, такого интеллигентного мальчика, ночами не спит, но... Короче, дела мы так и не увидели, а Дышель, приняв, очевидно, перед завершением дела двойную дозу снотворного, спокойно (а может, и не спокойно, а волнуясь, трудно все-таки свой долг выполнять) объявил: семь лет!

Семь лет провел Славик в лагере...

Когда-нибудь он обо всем этом расскажет, напишет, но мне ясно одно — встретившись с ним, я обниму и рас-



целую не застенчивого, интеллигентного мальчика, а человека, которого даже лагерное начальство побаивалось. А друзья по лагерю полюбили. Он стал борцом. И защитником. И заткнуть ему рот никому не удалось. Его, написанная вместе с Вл.Буковским, «Инструкция для тех, кто попадает в психушку» обошла весь мир.

Передо мной две фотографии — одна, до всех событий — совсем еще молоденький, с сигаретой во рту, снял кто-то из друзей во время первомайской демонстрации, другая — Сибирь, Нижняя Тавда, диспетчер колхоза «Большевик». Повзрослел, усы, борода, но взгляд все тот же, серьезный, может быть, более печальный, чем хотелось бы...

Не произойди всего того, что произошло, не увлекись он Самиздатом, не познакомься он с плохими людьми, и появился бы на свет еще один хороший психиатр. А теперь?..

Настанет день, когда он вздохнет полной грудью. Я пробьюсь сквозь журналистов, друзей и знакомых, отобьюсь ото всех и, замечая следы, скроемся мы в одном из любимых мною парижских кафе, не скажу, каком. Возьмем по кружке пива (не больше, Славик мне не разрешит), взгляну я на него после более чем десятилетнего перерыва и спрошу:

— Ну?..

И он начнет мне рассказывать... Что? Не знаю. Но жду этого дня и часа, он настанет, это я знаю. И верю.

Нет, не зря я пошел тогда на Пер-Лашез.

*08.03.1981 г.*

## МАТЬ — РОДИНА

Случилось-таки. Произошло... Знал, с тихим ужасом ждал, и все же не верилось как-то... Денег не хватит, и противного всесильного автора нет уже в живых, да и, в конце концов, просто Бог не позволит... Но, вот, произошло...

Произошло в Киеве, 9 мая этого года, в годовщину дня Победы...

Шесть лет тому назад, уезжая из Киева, я пошел прощаться с ним, с прекрасным лицом его. Переехал на левый

берег Днепра, перешел мостки и через лозняк вышел к излюбленному своему месту — небольшому, уютному пляжику одной из днепровских затонок. Выкупался в последний раз, растянулся на прохладном еще песке. Было раннее утро, людей еще нет, я один... лежал и смотрел, любовался — тоже в последний раз — самым красивым из городских ландшафтов в мире — киевским силуэтом. Крутой правый берег, весь в зелени — она морем, волнами спускается к самой реке и среди нее маковки, золотые купола Лавры, Выдубецкого монастыря. А правее, значительно правее, над самым обрывом, стройная, изящная Андреевская церковь. И Владимир Святой с крестом в руках.

Лежал, любовался, а в голове одна мысль — неужели все же осмелятся, допустят, неужели никто не запротестует, не возмутится?

Нет, не запротестовали, не возмутились...

Недели за две до этого грустного моего прощания, встретил я одного своего знакомого. Художника. Спускался он вниз по бывшей Институтской улице. Мрачный, насупленный.

— Зайдем выпьем куда-нибудь, — говорит.

— Что это вдруг?

— Дела печальные.

— У тебя что-ли?

— Нет, у Киева...

— У Киева?

— Да! Только что присутствовал я на предварительном акте убийства его...

— Ничего не понимаю...

— Вот выпьем, расскажу...

Зашли куда-то...

— Так вот, — говорит, — только что дорогое наше правительство в полном составе приняло проект небезызвестного тебе скульптора Вучетича. Аплодисментами приняли. Мать-Родину на склонах Днепра! Соорудят рядом с лаврской колокольней. Понимаешь теперь? Рядом. И на десять метров даже выше ее. И вся золотая будет... Кто-то там из художников пикнул, что, мол, надо как-то бережнее относиться к киевскому силуэту, на него цыкнули и все... Ну, как тут не напиться?

Прошло шесть лет. И то, чего все так страшилось, произошло. Нашлись и деньги, и смерть автора ничего не

изменила, и Бог ничего не сказал, промолчал, и выросло на зеленых склонах Днепра нечто величиной с двадцатиэтажный дом, устрашающее, с мечом и щитом в руках. И прибыл по этому случаю увешанный с головы до ног регалиями Леонид Ильич со дружиною, и собраны были тысячные толпы, и развевались знамена, и потекли речи одна за другой. Четырежды — даже со Сталиным такого не было — четыре раза подряд поблагодарил тов. Щербицкий дорогого Леонида Ильича за то счастье, которое он всем доставил своим приездом, за волнение и гордость, которые все переживают в связи с этим выдающимся событием, за этот еще один яркий пример неустанной заботы и внимания партии и правительства и лично тов. Брежнева, за великую честь, оказанную им Городу-герою...

Говорили много и долго. И дольше всех Леонид Ильич. А потом опять Щербицкий, опять благодарил от всей души и от имени всех, кого так взволновала проникновенная речь дорогого Леонида Ильича...

И слушали речи эти не только заполнившие все склоны Днепра киевляне, слушали и расставленные у подножия памятника портреты тех самых членов родного ЦК, стоящих тут же на трибуне...

Потом был салют, фейерверк, парад, и разрезалась алая лента, и Леонид Ильич осматривал музей и писал слова благодарности в книгу Почета, и умилялся самым ценным экспонатом экспозиции — собственному удостоверению и боевому блокноту...

Было торжественно и радостно, и на глазах у всех были слезы. И у ветеранов тоже. Вспоминались те героические дни, когда, благодаря гению великого полководца, сдан был врагу будущий Город-герой и попали в окружение и плен войска, защищавшие Киев. Незабываемые дни, спасибо за них Партии и Правительству и лично тов. Сталину, виноват, тов. Брежневу...

Митинг закончен. Все расходятся по домам. И пьют. Ну, как не выпить по такому случаю. Есть что вспомнить, есть за что пить, за что благодарить. Всех, кого положено. И не дожившего, в том числе, до этого светлого дня Евгения Викторовича Вучетича. Навеки древний и вечно молодой Город-герой, город-труженик, город-красавец украшен теперь плодом его вдохновенного труда. Какими немощными кажутся теперь колокольни Лавры и Выдубецкого мона-

стыря рядом с полной силы и предостережения будущим врагам фигурой могучей и славной Матери-Родины. А то, что в облике ее больше тевтонского, чем русского или украинского, и похожа она скорее на Брунгильду — все это чепуха, все это злые языки говорят. Языки людей, которые всегда рады оклеветать все прекрасное, родное, советское...

И тут я умолкаю. Не в бровь, а в глаз мне попало. Действительно, какое право имею я, давно уже не киевлянин, говорить о митинге, на котором не был, о памятнике, которого не видел. Это нехорошо, нечестно. И я умолкаю.

20.06.1981 г.

## МОИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Читая последнюю книгу Абрама Терца (он же Андрей Синявский), я живо рисую себе образ следователя, ведущего следствие. Диалог презанятнейший, и чуть ли не со слезами на глазах у этого самого следователя.

«Ах, Андрей Донатович, Андрей Донатович! Вы думаете — мы не люди? Думаете — не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Наташей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кроватке. «Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы». А она смеется, прыгает на своих тоненьких ножках. «Папка! — говорит. — Папка!»

Этой, первой встрече следователя и подследственного посвящено много страниц и в диалоге, очевидно, много сочиненного уже впоследствии, для развития и углубления художественного образа (право писателя), но, с интересом читая эти страницы, я невольно вспоминаю своих следователей и некое, весьма существенное, высказывание самого Андрея Донатовича:

— Знай, дорогой Вика, что теперь у них не в моде бить по рылу и выкручивать руки. Сейчас они все интеллигентные, образованные, все про Чехова да Пушкина, ужом в душу к тебе заползают, по имени-отчеству называют. И ты попадаешь на удочку.

И другой, тоже весьма достойный человек, Иван Дзюба, вернувшись из тюрьмы, говорил мне:

— Главное, В.П., не ищите в следователе человека. Может, дома, с женой, с детьми, он человек, а здесь он на работе. Не поймете этого, и вам конец. В тюрьме надо уметь ненавидеть — это главное. И не переходить какую-то черту.

Оба эти разговора — с Дзюбой, еще в Киеве, и с Сивявским, уже здесь, в Париже, я запомнил на всю жизнь.

К счастью, меня миновала судьба их обоих. Я не сидел. И из следователей, с которыми меня свела судьба, только один полковник Старостин — следователь по особо важным делам — был настоящим кагебистом, остальные же четыре именовались менее страшно — партследователи. Их-то и хочется мне сегодня вспомнить — они стоят того.

Начну с того, что отношения у меня со всеми четверьмя были если и не дружеские, то, во всяком случае, отнюдь не враждебные. Более того, думаю, что все четверо совершенно искренне желали мне добра и ни минуты не сомневались, что делают все, чтоб меня спасти, уберечь от необдуманного шага.

Первым был некто Солдатенко, второй секретарь Ленинского райкома партии. С ним встреч у меня было меньше всего, происходили они, в основном, на аллеях Николаевского парка — «давайте подышим воздухом» — и свелись в конце концов к тому, что на заседании райкома он присоединился к большинству и голосовал за мое исключение (в скобках напомним, что партийное дело на меня завели после «справедливой критики», как это тогда называлось, которой подверг мои очерки «По обе стороны океана» «наш дорогой, любимый Микита Сергійевич». Было это в 1963 году).

Кстати, судьба этого самого Солдатенко тоже весьма любопытна. Вскоре после нашего знакомства он стал вдруг ответственным секретарем Союза писателей, хотя литературный багаж его состоял из одного только газетного очерка о поездке в Непал. Но этого оказалось вполне достаточно, чтоб руководить писателями, чем он успешно и занимался лет десять, пока не погорел, как говорят, на взятках — что-то там с путевками в Дома творчества махлевал.

Вторым следователем у меня была тов. Перминова, в обкоме партии, куда мое дело было передано из райкома.

Немолодая, весьма убежденная коммунистка, сибирячка, считавшая, что на Украине все идет очень плохо, она от всей души уговаривала меня признать свои ошибки. «Ну, поймите, дорогой Виктор Платонович, перед вами машина, громадная, всесильная. И вы с ней боретесь. Зачем? Ведь она вас раздавит... Признайтесь, прошу вас...»

Я так и не признался, что не помешало ей в день заседания бюро обкома, где решалась моя судьба, положить передо мной мое дело и сказать: «Вот, ознакомьтесь. Только последнюю страницу не читайте — там проект решения». Сказала и тут же отошла. Я зыркнул в запретную страницу и понял, что меня на этот раз помиловали — предлагалось вынести строгий выговор с предупреждением. Я оценил ее поступок, был тронут, а потом, от нее же, узнал, что на решение обкома повлияла хвалебная статья о моих очерках в органе итальянской компартии «Ринашита», одобренная, якобы, самим Тольятти.

Свела меня с Перминовой судьба и вторично, без малого через десять лет. По третьему и последнему моему персональному делу. За это время она уже повысилась в чинах, стала председателем Комиссии партийного контроля. Оба мы за эти годы не помолодели, но на позициях оставались прежних — она настаивала, я сопротивлялся.

Помню, на одном из синклитов, когда собрались все старые партийцы с орденами и колодками на груди, она вполне серьезно спросила меня, когда я в последний раз читал Ленина. Я ответил как-то уклончиво, к его творчеству меня никогда особенно не тянуло.

— Вот и видно, что давно не читали, — укоризненно сказала она. — И напрасно. Я, например, когда мне плохо, сразу же обращаюсь за помощью к Владимиру Ильичу, и сразу становится легче... Вот и вам советую, Виктор Платонович.

Совету я ее не последовал. Но легче мне стало — из рядов партии, наконец, меня исключили. Произошло это в 1973 году, через десять лет после первого дела.

В промежутке было у меня еще два следователя, оба райкомовские. Фамилии их я, увы, забыл. Один, маленький, с бельмом на левом глазу, в прошлом директор издательства, весьма дотошный и занудный, а другой, постарше, провоевавший всю войну, от первого до последнего дня и ведший со мной долгие, задушевные беседы.

И сводились они в основном к тому, что коммунист я хороший, но упрямый, а это не гоже. Я же утверждал, что гоже и что я вовсе не упрямый, а принципиальный. Сейчас мне как-то неловко об этом вспоминать, но о разнице между упрямством и принципиальностью мы говорили тогда часами. Самое же забавное в этой ситуации, что после вынесенного мне очередного «строгача» (на бюро он больше хвалил, чем ругал меня), я был приглашен к нему на день рождения. И пошел. Из любопытства. И на этом, довольно многолюдном празднестве, малость подвыпивший сыночек его вдруг бухнул: «Ты, папа, явно сдаешь. Когда-то на войне был председателем военного трибунала, не колеблясь к расстрелу приговаривал, а тут вдруг размяк, в адвоката превратился». Папа явно был смущен, о своей давнишней профессии в длинных наших беседах никогда не вспоминал.

Вот какие были у меня следователи. Особенно на них не жалуюсь, только времени отнимало много это толчение воды в ступе — месяца по три-четыре каждое персональное дело.

Помню, как-то членам райкомовской Комиссии партийного контроля очень не хотелось расхотиться по домам и они все мытарили меня вопросами о том, что же происходило на последнем митинге, или сборище, как они называли, в Бабьем Яру. Я устал, мне надоело, время приближалось к 12 ночи, и сказал:

— Не знаю как вы, товарищи, а я устал. Давайте кончать. И вообще мы с вами не на равном положении. Вы забываете о моей профессии. Вот возьму и напишу о сегодняшнем нашем вечере и о каждом из вас в отдельности. Так что не усердствуйте особенно...

Бухнул и умолк. А кто-то после паузы спросил:

— Интересно, где же вы собираетесь это напечатать?

— А это уже мое дело,— ответил я. Больше мне вопросов не задавали, разошлись по домам.

Где они сейчас, мои старички? Живы ли еще? Нет, зла я к ним не питаю, но, ей-Богу, не пора ли в этом возрасте и о душе подумать, о том, что где-то, когда-то, надо будет по-настоящему отчет давать? И очень скоро к тому же.

30.01.1985 г.

25 мая сего года в московской «Литгазете» и киевской «Литературной Украине» появятся статьи с такими примерно заголовками: «Неустанный борец за мир», «Лучший комедиограф страны», «Драматург с большой буквы». Посвящены они будут 80-летию А.Е. Корнейчука, одной из самых зловещих фигур, на фоне других, делавших политику в литературе. Да и не только в литературе.

Я его довольно хорошо знал. И сегодня, в день, когда ему должно было бы минуть 80 лет, хочу прочитать вам несколько отрывков из того, что когда-то писал о нем.

На улице Артема в Киеве, где жил когда-то мой друг Слава Глузман, замечательный человек, отсидевший уже положенный ему срок, стоит особняк. Не ахти какой — но по тем временам, когда он был построен, достаточно шикарный. Строился он для генерала Ватутина, но Ватутин погиб, и вселился в особняк Александр Евдокимович Корнейчук — первый комедиограф страны, член ЦК КПСС и КП Украины, Председатель Верховного Совета УССР, Председатель Союза писателей Украины, заместитель председателя Всемирного Совета Мира, в прошлом заместитель министра иностранных дел В.М. Молотова, лауреат Ленинской и многих других (пяти, не меньше) Сталинских премий и, конечно же, действительный член Академии наук...

— Слушай, Виктор, — сказал мне как-то он в период, когда я был еще его заместителем по Союзу писателей (а было и такое!). — Ты ж совсем не знаешь жизни, не знаешь народа. Его дум, чаяний, свершений. Замкнулся в четырех стенах, а народ тем временем творит жизнь, шагает от подвига к подвигу. Оторвись-ка от своих писаний (он несколько идеализировал в то время мое времяпрепровождение) и поедем-ка посмотрим, как живут, трудятся люди.

— Куда ж мы поедем? — поинтересовался я.

— К тем, у кого есть чему поучиться. К героям соцтруда. К Посмитному, к Елене Хобте...

Я живо представил себе картину нашего путешествия в длинном, с белыми занавесками ЗИСе, все эти застолья, тосты и от поездки уклонился, хотя с познавательной точки зрения, может быть, это было бы даже интересно.

Но это для затравки, о его любви к народу.



В 1949 году во время очистительной кампании по борьбе с космополитизмом мне пришлось как-то сидеть рядом с ним в президиуме — я все еще был одним из десяти его замов. Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала Центральная Рада), зал музея Ленина гудел от негодования и гнева. «Ганьба!», «Позор!» несло со всех сторон, а несчастные, уличенные во всех грехах «космополиты» один за другим подымались на трибуну и, кто посмелее — пытались оправдаться, кто потрусливее, то есть понормальнее, признавали все, что надо — да, разлагали, да, растлевали и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на мельницу — и обещали прислушаться, исправиться, следовать, выполнять...

А другие, зарабатывая этим дополнительные тиражи, поднимались на ту же трибуну и, обуреваемые справедливым гневом, разоблачали лакеев, прислужников, низкопоклонников и вконец зарвавшихся пигмеев, как окрещен был мой друг Лёля Рабинович, художник, осмелившийся поднять в одной из своих статей руку на великого русского художника Валентина Серова, утверждая, что в некоторых его портретах сказалось влияние модерна.

Итак, зал ревел и клокотал. И вот тут-то, когда все члены президиума уже выступили, ко мне наклонился Корнейчук:

— Ну, что ж, слово даю тебе.

Я сказал, что выступать не буду.

— То есть, как так не будешь? — он даже удивился.

— Не буду выступать, — повторил я.

— Ладно, выйдем перекурим, — он встал. — Поголовуй тут за меня, — сказал он то ли Дмитерко, то ли Малышко, и мы вышли.

— Ты понимаешь, что как коммунист, член президиума и «заступник голови» ты не можешь не выступить. Это будет оценено соответствующим образом.

Он испытующе посмотрел на меня. Я молча курил...

— Ты можешь мне объяснить, почему не собираешься выступать? — в голосе его появились какие-то новые нотки.

По-видимому, надо было ответить, что именно как коммунист я и не могу выступить, — я тогда еще за что-то цеплялся, во что-то верил, — но я просто, ничего не объясняя, повторил, что выступать не буду.

— Как знаешь,— он ткнул папиросу в пепельницу,— советую подумать.— И вышел.

С этого дня отношение ко мне в Союзе писателей резко изменилось.

Был у меня друг, лихой разведчик нашего полка Ванька Фищенко. По окончании войны он разыскал меня и решил взяться за ум — начал учиться. Все мои друзья приняли в нем участие, но были сложности с пропиской, и как-то раз мой Ванька, отнюдь не трезвенник, с кем-то напился и исчез. Через сколько-то там времени пришло от него письмо ни больше, ни меньше, как с Южного Сахалина. Оказывается, завербовался на шахту, а сейчас понял, что поступил несколько опрометчиво, просил о помощи — открылись раны и вообще плохо.

К кому обратиться, как не к всесильному, на дружеской ноге со всеми, в том числе и с Засядькой, министром угольной промышленности, Корнейчуку? Я и обратился. Принят был на высшем уровне, с вермутом, который я впервые в жизни тогда попробовал, икрой и прочими деликатесами.

Я сразу же, после первой же рюмки, изложил свою просьбу. Он внимательно выслушал, старательно прожевал кровавый ростбиф, потом сказал:

— Слушай, Виктор, я думал, что ты действительно о чем-то серьезном просишь, а тут... Ну, посуди сам, как я могу просить о том, чтоб кого-то освободили с работы, будь он трижды твоим другом, когда именно таким, как он, сталинградцам, и нужно показывать пример другим. Молодой, здоровый, все впереди.

— В том-то и дело, что не очень-то здоровый,— попытался объяснить я.— Дважды тяжело ранен, раны сейчас открылись...

— А кто в войну не был ранен?— прервал он меня.— Все были ранены. Кто больше, кто меньше. Нет, не буду я никому звонить. Шахтерская профессия — прекраснейшая, почетная профессия, пусть с шахтой, с жизнью знакомится.

— Да он чуть со смертью не познакомился, хорошо, врачи выходили. Теперь хочет учиться, семнадцати лет на фронт пошел.

— В Южно-Сахалинске, как везде, вечерние школы есть. Вот пускай и ходит туда.

Тут даже Ванда Василевская, его жена, заступилась за моего Ваньку.

— Сашко, тебе же ничего не стоит. Возьми да позвони Засядьке.

Нет, Сашко был человек принципиальный, государственное для него было важнее личного: «Ты уж прости, Виктор, но по такому поводу я звонить не могу. Просто неловко...»

Я дожевал свой ростбиф или семгу, поблагодарил и ушел, второй кусок уже не лез в глотку.

Освободил Ваньку вовсе не знакомый мне Борис Горбатов. Московские друзья посоветовали позвонить ему — он, мол, не только друг, но и собутыльник Засядько — и через два дня секретарь Горбатова сообщил мне, что приказ об увольнении Фищенко министром подписан. Недели через полторы явился и сам Ванька.

Вот таким был Сашко, человек всесильный, с отличным нюхом, знавший наперед, кто, что, где, когда и для чего, и отлично этим пользовавшийся. И в жизни, и в драматургии.

*15.05.1985 г.*

### ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА (к 9-летию со дня смерти)

Есть на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа черная лабрадорная плита, а над ней крест. Когда-то она была на самом краю кладбища, сейчас обросла другими могилами — сразу и не найдешь.

Под плитой этой покоится наш Александр Галич, по которому мы скучаем и грустим до сих пор. А сейчас под той же плитой прах и его жены Ангелины Галич, умершей совсем недавно. Смерть их опять соединила.

Трагическая смерть застигла Александра Аркадьевича, а для нас Сашу Галича, 15 декабря 1977 года. С тех пор прошло девять лет. И было бы ему только 58 лет — жить бы ему и жить, петь бы и петь...

Знал я Сашу Бог знает сколько лет — двадцатилетним юношей, красивым, обаятельным, уже тогда перебиравшим струны гитары. «В Бразилию, Бразилию, далекую Бразилию...» Туда он так и не добрался, а умер в Париже,

который полюбил, но... скучал по Москве, не мог без Москвы, не мог без России.

Он был актером, был драматургом, даже преуспевающим, и стал вдруг бардом. Тут слово «преуспевающий» не годится. Знаменитым, что ли? И это не то слово... Его пела вся страна. От Курил до Бреста, от дрейфующей на Северном полюсе станции до злосчастной границы Афганистана, если не в самом Афганистане.

Слава наших писателей, будь то сам Пушкин, не идет ни в какое сравнение со славой Высоцкого, Окуджавы, Галича. Их знает вся страна. Если не их самих, то их песни. Нет той шахты, рыболовного траулера, геологической партии, где не выпивают под их пластинки, под их кассеты. Вот это слава! Ей может позавидовать любой Жак Брель или Элвис Пресли...

В предисловии к небольшой книжке Галича «Когда я вернусь», где собраны все его песни, стихи — увы, до русского, советского читателя добраться ей почти невозможно — В.Буковский пишет: «Предшественникам наших бардов на заре человечества было легче — никто не сажал в тюрьму менеджеров, не тащили в сумасшедший дом Гомера, не обвиняли его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня — это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».

А я от своего имени скажу, может быть, и ересь — мне он ближе Гомера. Он свой, он рядом, он в самом тебе.

Мне вспоминается сейчас одна встреча в Париже. Было это года четыре, может, пять тому назад. Сидели в кафе на Монпарнасе трое русских. Двое только что приехавших из Москвы и возвращавшихся туда же, третий я. И выяснилось, что оба они в незапамятные времена, почти сразу же после XX съезда, в дни зарождения театра «Современник», присутствовали на одном и том же событии — на генеральной репетиции пьесы Галича «Матросская тишина». Один был на сцене, другой в зрительном зале. И как они об этом вспоминали... С какой горечью. Ведь пьеса эта, с которой театр собирался начать свою жизнь, могла стать событием. И не стала. Запретили. Зарезали...

В своей книжке, которая так и называется — «Генеральная репетиция», Саша Галич вспоминает о тех, казавшихся тогда такими светлыми, днях: «Так начался,—

пишет он,— год нашей дружной, веселой, увлекательной работы, которая в это зимнее утро, утро генеральной репетиции, закончилась таким неожиданным финалом».

— Мы,— сказала Галичу инструктор ЦК Соколова после просмотра пьесы,— мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем. Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запретить! — но мы ее не рекомендуем. Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью.

Оказывается, не тот герой был избран Галичем. Не тот, потому что он был Додиком, евреем... Пьеса была о молодежи, о тех, кто воевал, кто выиграл войну... Не евреи же ее выиграли... А у вас, тов. Галич, вроде бы и они... Нельзя исказить правду!

На этом драматургическая карьера Галича закончилась. Как бы она сложилась и развивалась, увидь пьеса сцену — неизвестно. Может, лучше может, и хуже... Но мы ее так и не увидели. И все же дорогу к нашим сердцам никаким Соколовым и ее вдохновителям так и не удалось закрыть. Саша взял в руки гитару. И мы не жалеем...

О, эти вечера в московских квартирах, затаившееся дыхание, слезы на глазах... А потом Париж. В больших залах и опять же на квартирах. И опять же слезы...

Что и говорить, эмиграция нелегко далась Галичу. Ему нужна была своя аудитория, московская, ленинградская, новосибирская, которой понятно каждое слово, каждые «коньячку полкило», «Топтуны и холуи все по струночке»... Я был на первом его концерте в Париже. Народу было битком, успех, аплодисменты, но кое-кто из старых эмигрантов наклонялся и спрашивал: «А что такое «кум» или «опер»?» Нет, ему нужна была своя аудитория, свой зритель, свой слушатель. А это все осталось по ту сторону.

Увы, это удел всех нас, и пишущих, и поющих, и читающих. Нас разделяет Берлинская стена...

И все же книги остаются. И пластинки, записи тоже. Сашин голос до сих пор с нами. И его сердце, душа...

Лев Копелев вспоминает: «Корней Иванович Чуковский целый вечер слушал Галича, просил еще и еще, а потом, вопреки правилам строгого трезвенника, сам поднес певцу коньячку, а в заключение подарил свою книгу, надписав: «Ты, Моцарт,— Бог, и сам того не знаешь!»

8.12.1986 г.

## В ТРАВЕ СРЕДИ МЕТАЛЛОЛОМА

\* \* \*

Несовпадение. Путаница карт.  
Еще не вечер, но уже не утро,  
готовое направить свой азарт  
По голубой спирали перламутра  
Туда, где сад особенно тенист  
И звонкий лед кладут в стаканы с виски,  
и ставший на колено теннисист  
Шнурует кеду юной теннисистке...

Когда ты это видел и причем  
Картинка под Набокова, где Ева  
Не яблоком, но теннисным мячом  
На корте искушает пионера?..

Откуда этот непонятный пласт  
Воспоминаний, наслоение ила,  
когда тебя негаданно обдаст  
волной того, что не происходило?..

И ты живешь, как будто по другой  
Программе телевидения в концерте  
Участвуешь, и нету под рукой  
Ни жизни доморощенной, ни смерти!..

---

**Евгений  
БЛАЖЕЕВСКИЙ**

— родился в 1947 году в г. Кировабаде (ныне Гянджа, Азербайджан). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книги стихов «Тетрадь» (1984).

## ПЕТЕРБУРГ

Холодный град Петра  
и неба бумазея,  
И коммунальная  
Угрюмая кишка..  
Здесь люди бедные  
И холодок музея  
Соседствуют,  
И жизнь  
Течет исподтишка.

Здесь ржавчина времен  
Сползает по карнизам,  
Здесь медленный туман  
вползает в рукава,  
Здесь, камнем окружен,  
Смотрю на то, как низом  
Уходит под мосты  
Холодная Нева.

Здесь не найти домов  
Простецких да купецких,  
Кариатиды спят  
В чахоточном дыму.  
Здесь русские живут  
Среди красот немецких  
И город людям чужд,  
Как и они — ему.

\*\*\*

### *Памяти бабушки*

За стеклами хлопья витали.  
Разъезжая площадь пуста.  
В ночные безббрежные дали  
Вокзал отпустил поезда.  
И с Богом!..  
Когда отъезжали  
Тоску за границей лечить, —  
Дома Петербурга бежали,  
Стремясь на подножку вскочить.

Красавица в шубке, ужели  
Грядущего груз по плечу?..  
Железной верстой Викжеля  
За вашим составом лечу.

А вы улыбаетесь тонко  
Какому-то звуку в себе...  
Всего Вам, родная, но только  
Не думайте о судьбе.

Живите в беспечном угаре  
На грани любви и греха...  
Пусть после на грязном базаре  
И кольца уйдут, и меха.

Летите сквозь промельк нечастый  
Огней за кромешной чертой...  
Пусть после ваш мальчик несчастный  
Оставит меня сиротой.

Я буду амуром сусальным  
Незримый полет совершать,  
Над вашим сидением спальным  
Стараясь почти не дышать.

Живите, пока еще рано  
Платить за парчу и атлас.  
Я после Ахматову Анну  
Прочту, как посланье от вас.

А нынче, безмолвие кроя,  
Свистит вылетающий пар  
И, словно забрызганный кровью,  
Во мраке летит кочегар.

1976

\* \* \*

Одутловато-слякотный февраль.  
Испачканная сковородным салом,  
Блестит под фонарями магистраль,  
Из темноты бегущая к вокзалам.  
Квартира спит, как пыльный чемодан.



Неслышный даже коммунальным Феклам,  
По Красносельской улице туман  
Ползет, щекою припадая к стеклам.

Бессонницы угрюмый пистолет  
нацелен на скрипучую кровать,  
Где женщина, которой на сто лет  
Поручено со мною есть и спать,  
Всей нежностью раскрылась в полусне,  
Мерцающая поволокой из-под челки,  
И мы лежим на смятой простыне  
В пяти шагах от грязной Каланчевки...

Казалось мне студенческой порой,  
Что от тоски и дикого удела  
Меня спасет ее души покроя  
И молодое ласковое тело.  
Что мокрый снег, летящий с высоты,  
И февраля убогая фактура —  
Лишь только фон для этой красоты:  
Мерцали груди, двигалась фигура...

И возглас: «Ах!..» И всей спиной попятной —  
В постельный развороченный бедлам,  
Когда касалась розовую пятку  
Холодного паркета по утрам!..  
Когда лежал и весело, и смело  
Зигзаг одежды, сброшенной в пылу,  
Как сломанный хребет велосипеда,  
На стуле и частично на полу!..

Но где же мы, любившие когда-то?  
О, жизни ускользающая тень!..  
И возникает в памяти, как дата,  
Глухая ночь и подступивший день,  
В котором, оживляя воздух сизый,  
Весна в снегу стояла чуть дыша,  
Оттаивали медленно карнизы  
И стих лежал в стволе карандаша...

1994

*В. Еременко*

Я умер  
И себя увидел сразу  
В раздвоенности небывалой,  
Где  
Под потолком,  
Невидимая глазу,  
Из дымчатого мягкого стекла  
Душа витала  
И прощалась с телом,  
Как с домом  
отъезжающий навеки  
Прощается жилец,  
Последним взглядом  
Окинув окна,  
Дверь  
И палисадник...

Прощай, берлога радости  
И боли,  
Которая дается напоследок,  
Чтоб было нам — зажившимся —  
Не жалко  
Оставить свет  
Похожий на версту.

И все бы ничего,  
Да только вот  
Душа — сиротка, беженка, простушка —  
Потерянная на большом вокзале,  
Не знает где приткнуться,

Как войти  
Безденежным  
Безликим существом  
В холодные потемки мирозданья.

Ни друга, ни подруги, ни страны  
Здесь не найдешь  
И, видно, потому  
Лишь 41-й день смиряет душу,

Которой плохо  
Без любви и цели  
В бездомном одиночестве парить...

1993

\* \* \*

Мы — горсточка потерянных людей,  
Мы затерялись на задворках сада  
и веселимся с легкостью детей —  
Любителей конфет и лимонада.

Мы понимаем: кончилась пора  
надежд о славе и тоски по близким,  
И будущее наше во вчера  
Сошло-ушло тихонько, по-английски.

Еще мы поинимаем, что трава  
В саду свежа всего лишь четверть года,  
Что, может быть, единственно права  
Похмельная, но мудрая свобода.

Свобода жить без мелочных забот,  
Свобода жить душою и глазами,  
Свобода жить без пятниц и суббот,  
Свобода жить, как пожелаем сами.

Мы в пене сада на траве лежим,  
Портвейн — в бутылке, как письмо — в бутылке.  
Читай и пей! И пусть чужой режим  
Не дышит в наши чистые затылки.

Как хорошо, оставаясь в пустоту,  
Лежать в траве среди металлолома  
И понимать простую красоту  
За гранью боли, за чертой надлома.

Как здорово, друзья, что мы живем  
И затерялись на задворках сада!..  
Ты стань жуком, я стану муравьем,  
И лучшей доли, кажется, не надо.

## У Б Е Ж И Щ Е

### РОМАН

#### Часть первая

##### 1.

«Я отложил ножовку; что бы там ни было, дело сделано. Можно войти туда.

Это было просто, как все гениальное; и к этой простоте вела вся моя сложная жизнь.

Мать рожала меня трое суток. Я упорно не хотел выходить из убежища.

В дальнейшем мы снимали некий подвал в некоем двухэтажном деревянном доме на улице неких «Братьев Коростылевых» (очевидно, революционеров-подпольщиков: пикантная особенность нашего волжского города, заключающаяся в том, что большинство старых улиц называлось именами местных, локально известных революционеров периода в основном 1905—7 г.г. Не знаю в Самаре обычных, общероссийских улиц Энгельса, Либкнехта-Люксембург, Луначарского или 3-го Интернационала, не было здесь почему-то тяготения к глобальному, мирового размаха, все сплошь Вилонова, да Арцибушева, да Венцека — такой

---

#### **ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ**

— родился в 1952 г. в гор. Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского университета. Дебютировал в «Континенте» в 1986 г. (№ № 47 и 48) повестью «На очереди» (под псевдонимом «Юрий Лapidус»). Печатался затем в «Знамени», «Новом мире», «Согласии», «Золотом веке», «Дружбе народов», — повести «Привет из Калифорнии», «Ониксовая чаша», «Потихоньку-понемножку» и др.

вот краеведческий вкус). Этот период моей жизни остался в воспоминаниях домашних только фразой:

— Мама, наша кошка поймала крысу, — можно, я ее возьму?

Смутно ориентируясь сегодня по этому лучу света в темном — разумеется, лишь в смысле незапамятности — свете моего младенчества, делаю вывод о том, что в подвальной, отгороженной от мира утробе дома чувствовал себя естественно, так сказать, вполне прилично: жизнь, как представляется, в силу моей тогдашней недееспособности, сама работала за меня, приготавливая мне наилучшую, самую органичную форму существования и приучая меня к ней в полусознательном возрасте.

На восьмом году жизни соблазненный и отправленный родителями в пионерлагерь, я вместо обещанного костра, печения в нем картошки, походов и купания столкнулся там с убийственной обязательностью утренней линейки и дневного «мертвого часа», дикарской грубостью сверстников и холодным садизмом воспитателей, вывешивающих якобы с воспитательной же целью на всеобщее обозрение простыни несчастных энуретиков с предательским пятном посредине, — и тогда-то впервые осознанно и до конца возненавидел общежитие как до-человеческую, ящерицеобразную форму жизни, даже не догадывающуюся, что кто-то — хотя бы и я — взыскует сокровенного даже не разумом, а всем детским естеством. Взыскует сокровенного попросту как обычного, нормального, как атрибута человеческой породы. Я тогда уже понял, что у человека обязательно должно быть что-то малое с в о е , свистулька или водяной пистолетик, лежащее в кармане, куда может залезть только его рука. Это «что-то», желанное для кого-то еще, делает его владельца в глазах другого ребенка значительным, д р у г и м ; и это отнюдь не пустая мнимость, ибо, опираясь на вещь в своем кармане, маленький (да и большой) человек выстраивает и свою походку, жест, а то и поступок — и в самом деле становится другим.

И должно быть что-то большое, обнимающее и укрывающее человека, и не пускающее к нему т у д а . Убежище.

Впрочем, что значит «должно»? Должно, да не обязано. Кому-то это нужно, а кто-то чувствует себя, как рыба в воде, в коллективе, любит подробно рассказывать, как ведет себя его женщина в постели и с удовольствием пользуется

вокзальным туалетом. Любит все, мною ненавидимое, и не находит вкуса в том, что мне нужнее всего на свете.

Кому что нравится. Я рано осознал, что нравится мне, что нужно мне, как воздух; с неумолимой силой меня влекло к расширению сферы интимного до поля всей моей жизни. Вместо того, чтобы идти во двор к ребятам, я часами просиживал дома, дома же начал методически закрывать дверь своей комнаты от взрослых, сперва представляя к ней стул, затем вставляя ножку стула в ручку двери, наконец, прибив задвижку и шпингалет. Напрасны были увещевания и угрозы, я продолжал свое, тихо, не вступая в полемику, но упорно, и почти уже приготовился к тому, чтобы приделать цепочку и впускать к себе выборочно. Я уже слышал тогда о клаустрофобии — у меня все было наоборот: не замкнутые, но открытые пространства пугали меня; но если это и была болезнь, то я не собирался просто так, за здорово живешь, выздоравливать, уже тогда бессознательно понимая, что некоторые болезни есть, возможно, главное достояние человека, которое, коль скоро уж оно ему досталось, нужно беречь пуще зеницы ока. И я упорно продолжал запира́ть дверь на задвижку, чтобы предаться затем какому-нибудь порочному наслаждению: разбив, например, градусник, купленный в аптеке на сэкономленные от школьных завтраков копейки (прощай, великолепный тринадцатикопеечный пряник «Мир», белая глазурь, упругое тесто, темное повидло внутри), самозабвенно выпускал на пол, как яйцо на сковороду, цилиндр ртути и катал его, то разделяя странное жидкое серебро на блестящие мелкие капли, то сливая их в одну тяжелую, упруго-живую лужицу.

Позже, когда я приводил в свою — и только свою, отстоянную годами терпеливой, упорной обороны — комнату девушку-другую, родители упорно отказывались верить: там, за закрытой на задвижку дверью, вовсе не происходит нечто, сопутствующее преждевременному — или своевременному — взрослению, чреватое типическими последствиями типических обстоятельств; нет, просто мы беседуем о заданном на завтра: 2-й или 3-й палатализации в истории старославянского языка или об отличиях комедиографии Теренция и Плавта от комедиографии Аристофана. А между тем все действительно было очень невинно, я и не подумывал ни о каких поцелуях или же раздеваниях,

самое большое — разрешал ей, буде она того желала, курить и принимал затем вину за курение в комнате на себя (шел остаток тех благословенных времен, когда девушки боялись курить в открытую, понимая, что это увлекательное занятие дурно, вообще понимая, что все вещи, которые можно делать, делаются, помимо прочего, на хорошие и дурные).

Чувствуя смысловую рифму слов «убежище» и «сокровище», я всегда хотел убежать не вовне, куда подальше, а вовнутрь, словно сокрыться от людей, оставаясь у них на виду. Жить с ними — и одному. Уединение — но не одиночество; первого я жаждал более всего, второго более всего боялся. Хорошо, когда дверь на крючке, но родители за дверью. Боже мой, как я тосковал в детстве, когда они уходили из дома, как мал, беззащитен, как неуместен в этом мире казался я себе тогда!

В своем тяготении к безвидности у всех на виду я бессознательно выбрал стиль одежды, прически, речи такой, который не говорил бы о стилевой принадлежности к какой-нибудь группе. Я одевался как бы и прилично, но во что попало, в руке нес не кейс, не портфель, а обычную матерчатую сетку, какие носят простые домохозяйки, всюю употреблял слова-паразиты, но мог ввернуть и что-нибудь сугубо элитарное, но в простоте душевной, и притом никогда не ругался матом, ни в простонародной, ни в интеллигентской тональности.

## 2.

Всякая последовательная практика предполагает не только дисциплину овладения, мастерство, но изменения, находки на дороге, незаметный, живой переход к новым формам. На пути от юности к ранней молодости я набрел на новую, более активную форму убежища, чем просто сидеть дома, заперев дверь в комнату: как говорили некогда, сошелся с девушкой, создав особенный, странный вариант семьи. Мы жили вместе, почти совсем явно и вместе с тем почти тайно: не женились, но проводили все время вместе то у меня, то — чаще — у нее; и однако ближе к ночи я вполне прилично уходил от нее и возвращался домой. Оставалось гадать, было это семейной связью или просто своеобразной дружбой, любовью, — но никак не

супружеством. Так продолжалось год за годом, в последнее время я иногда оставался у нее и на ночь, наша связь сделалась как-то самоочевидна, солидна своим постоянством, и тем не менее она оставляла меня свободным, самой давностью своею делая неуместными вопросы: «А почему они не женятся?» — или того пуще: «Когда все-таки ты женишься на мне?»

Это было великолепное убежище: воздушный промежуток, пространство между семьей и свободой, прореха, куда закатилась и прекрасно себя чувствовала самая восхитительная безответственность, а самостоятельность не имела морального и уж во всяком случае юридического права препятствовать иждивенчеству (живя с ней, я не уходил от родителей, сидя, стало быть, в какой-то мере на их шее). Таким же чудесным убежищем было само ее жилище: куций второй этаж деревянного двухэтажного домишки в центре старого города, нечто вроде мансарды, куда вела лестница с полусломанной третьей снизу ступенькой (так что ступать — с постоянным риском провалиться — следовало по краю), с раз навсегда протекшей крышей — в размочаленном мокром отверстии была укреплена суровая нитка, по которой вода стекала в подставленный таз; что-то вроде голубятни, да и размером ненамного больше. Убежище на краю небытия, где от нуля н а ч и н а л а с ь жизнь, где волжской трескучей зимой, зайдя в домишко, нужно было еще растопить дурно сложенную печь какими-то пресованными чурбаками (это гадкое, почти не дающее тепло топливо развозилось по всем частным домам старого города) и ждать без малого час, пока можно будет сбросить верхнюю одежду и начнут с болью отходить от двадцатиградусного мороза ступни; где за водой — холодной водой, о горячей тут и не помышляли — нужно было идти с двумя ведрами на угол к ближайшей колонке; где, чтобы поесть, нужно было Бог знает сколько ждать, когда закипит чай на допотопной электроплитке и поспеют щи, сваренные в огромной кастрюле сразу на несколько дней, чтобы не претерпевать муки готовки в таких условиях ежедневно... Всякий житейский акт переставал здесь быть житейским, элементарным, становился от затрудненности острым на вкус, получая свой первоначальный статус — статус порождения, вызывания к жизни; а вместе с тем дом располагался не в деревенской безнадежной глуши, а в самом



центре огромного города, в центре живокипящей жизни, подсоединяя к ней — и укрывая от нее... Я искал тогда убежища в самом себе — но в «себе», усиленном через соединение с другим существом, увеличенным через это с-двоение настолько, чтобы можно было зарыться в себя, закутаться в наш союз, в гнило-живительную оболочку трухлявого дома; и когда мы поедали любимую ее еду — ломтики дешевой тогда жирной грудинки с тонкими прослойками мяса или черный хлеб с луком, постным маслом и уксусом, запивая дешевым плиточным белесо-бурым чаем (оба мы были бедны, но я — беден лишь на карманные деньги, студенчески, состоятельные родители не отказывали себе и мне в хорошей и разнообразной пище; она же была бедна стопроцентно, качественно, и вкусы ее были вкусами своеобразными, по-своему изысканными вкусами бедного человека, и вещи ее, перешитые из чужих вещей, ее длинная юбка, перекроенная из скатерти, длинный роскошный платок с бахромой, накинутый на выношенное осеннее пальто — зимнего не было и в помине — и черные валенки за неимением сапог... во всем этом был недемонстративный шик, страшноватое обаяние молодой, не вешающей носа нищеты); когда мы лежали нагие, оба худые, как смерть, голубовато-белые, как разбавленное молоко, а за картонной стенкой, в крошечной второй комнатке расхаживала ее мать — в любую минуту ее чувство такта грозило дать сбой, и она могла войти, — когда мы осязательно узнавали друг друга, обмениваясь температурой наших тел, разной в разных телесных участках, совокуплялись (в первоначальном смысле этого серьезнейшего слова) со смешанным чувством нежности и тревоги от угрозы вторжения, когда острота желания множилась на остроту страха, доводя нас до грани нервного срыва — что вело к еще более тонкому, едва ли не истерически-ласковому проникновению друг в друга; когда после всего этого я возвращался темными, зловеще-тихими кварталами к себе домой — 25 минут еженощной опасности, — вспоминая странное сочетание модильяниевого овала ее лица, миндалевидных глаз и длинной шеи со степными скулами, чахоточной худобы груди, узости плеч и талии с ширококостным монгольским тазом и широкими же ступнями, которые она ставила всегда параллельно, почти косолапо, — вся эта ущербная, несовершенная, всего лишь че-

ловеческая красота, вся эта такая жалкая и потому такая живая человечность умиляла меня почти до слез, и я совершенно не переживал, что мать уже стоит, как всегда, у ночного окна, неся вахту по ожиданию моего прихода.

### 3.

Совершенно незаметно мы выработали общие словечки, общие милые нашим сердцам неправильности речи, ударения, общие вкусы: неподдельную (хотя, безусловно, вычурную, простительную разве лишь молодым провинциалам) любовь к такому компоту: Хэмфри Богарт и Бэт Дэвис, Марсель Пруст, Тао Юань Мин, художник Соломаткин, детская книжка «Питер Пэнн», сигареты «Лаки страйк» и «Честерфилд» без фильтра (тогда такие еще были и стоили всего 2 рубля пачка) и алжирское красное за 1.80, которое, кроме нас, все презирали (как я сейчас понимаю, совершенно напрасно). Мы дружно собирали на наши гроши также гэдээровскую серию пластинок Баха «Зильбермановские органы» и справедливо могли считаться оригинальной и вполне счастливой парой, одной из достаточно известных в местном элитном кругу живых достопримечательностей города.

Лишь в одном мы отличались друг от друга, но это одно стоило всего остального, и сейчас я склонен думать, что оно-то и явилось истинной, глубинной причиной распада нашего по видимости столь прочного союза. Именно же: меня с детских лет несказанно страшила, просто съедала мысль о неизбежной смерти, окончательном и навсегдашнем моем уничтожении; ее же мысль эта не только не пугала, но как-то, напротив, смерть едва ли не влекла ее к себе, будто в дом родной. Уже до нашего знакомства на ее счету была пара серьезных попыток самоубийства.

Страх смерти не то чтобы побуждал меня к каким-то решительным свершениям, напротив, он отнимал у меня всякую охоту действовать, множил любое деяние на 0; но в то же самое время... или нет, правильнее будет сказать вот как: во мне постоянно соседствовали два противоположных начала — и если одно влекло укрыться от мира и спрятаться, то другое, именно же страх смерти, столь же властно гнало выделиться или по крайней мере оказаться в самом центре событий — не потому, чтобы это имело

существенный смысл, но вот это: «увидеть мир в его минуты роковые», оказаться в его историоносной точке — помогало, увлекшись временным, забыть по возможности о вечном уничтожении. Если всякое усилие упраздняло себя, не появившись на свет, уже мыслью о том, что оно будет трудным (а ради чего все это?), то простое перемещение в пространстве стоило ведь только единовременного труда, а обещало много увлекательного, то есть отвлекающего — того, что и требовалось. Укрыться, найти свою норку, но не дыру в провинциальной дыре, а воронку в самом центре водоворота... а может быть, это управлял мною простой инстинкт централизации, еще не угасшее (в силу отсутствия длительной практики) чувство иерархичности, побуждающее русского человека извечно тянуться в Москву, в центр. Так или иначе, после крупного разговора с капитаном местного отделения ГБ, так сказать, профилактически, без посадки, оформившего дело, по которому я, русский, зачислялся в ряды местных троцкистов-сионистов (в городе-то Куйбышеве в 70-е годы!), стало понятно: пора менять место жительства. Поелику практически одновременно подворачивался через московских знакомых недорогой фиктивный брак, я увидел в совпадении перст Божий.

Так я оказался в городе, заочно дорогом, всегда желанном; моей же неформальной супруге Москва претила, не нравилась самим пафосом своего громкого, вызывающего существования, — безвестность, заброшенность, заросли конопли и паслена, растущих у нее во дворе, были милы ей, моей милой, чуть ли не со счастливым предвкушением счастья ожидающей вечного рассеяния в пространстве, окончательной заброшенности. Какое-то затянутое, сложное время мы еще были вместе, мотаясь в Москве по квартирам — она спокойно уволилась с очередной копеечной временной работы, а пропиской в столице тогда не очень интересовались, — но на глубине нашего существования, где столкнулись два отношения к смерти, а значит и к жизни, где обнажилось, что, сколь бы самозабвенно мы ни играли роль людей, вполне соединенных общностью семьи, времени, вкуса, привязанности, мы оставались безнадежно изолированными существами, — на этой глубине вопрос нашего расставания в тот момент, когда я сказал: «В Москву!» — и стал собирать деньги, чтобы задешево, со вкусом обойти закон, был решен.

Я оказался москвичом в ту золотую осень жизни образцового коммунистического города, когда любой гастроном предлагал 7—8 сортов сыра, когда в простой кулинарии можно было купить вырезку или печенку, когда в магазине «Минеральные воды» не редкость было встретить темное «Останкинское», не говоря о «Жигулевском», прозаичном, как сами минеральные воды, сортов которых я и не считал. Как каждый провинциал, я прежде всего удивлялся количеству пищи и питья, свободной продаже по весьма доступным ценам португальского портвейна, шотландского виски, греческих маслин и марокканских сардин; я с удивлением узнавал о существовании дальневосточного морского гребешка и с удовольствием попивал славный краснодарский чаек с эстонским ликером «Старый Таллин». Да, это была воистину столица империи, и не только советской, обнимающей и дальние колонии, поставляющие мне, рядовому москвичу, дешевейшие болгарские, румынские, венгерские консервы, вина, фрукты, прекрасный выдержанный кубинский ром, неплохую и недорогую обувь, одежду, немецкую технику... И все же покорила по-настоящему Москва меня другим: этот город, как и я, серьезно думал об убежищах, обустроивался ими равно по инициативе верхов и низов. Подобно кроту, он прорыл целую сеть метро, подобно пауку, сплел ее в паутину. Конечно, речь шла об убежищах в совершенно ином смысле; но самый ход мысли, самое устройство одной жизни внутри другой, отсутствие плоскости, слоистость..., — все это импонировало мне в восьмимиллионном чудовище, делая меня не просто одной из букашек мегаполиса, нет, я, недельный москвич, парадоксально испытывал сыновнее чувство... Я восхищался старым метро, этими дворцами-катакомбами — чудовищное остроумие в соединении того и другого не снилось Нерону, — хрустальными люстрами «Арбатской», римскими светильниками «Семеновской», мерным ритмом чуть кривоватого бесконечного, будто удвоенного перехода «Павелецкой», радостной дешевкой детского калейдоскопа на «Новослободской»... не буду уж говорить о бронзе солдат и матросов, наганов и гранат «Площади Революции», и без меня воспетых соц-артовским искусством и постмодернистской поэзией. Новые станции в пику старым внушали чувство сиротства, подбитой ветром голытьбы,

бедно-родственничества; но даже и здесь все было теплее, вернее, честнее, чем наверху (ибо обещало только то, что давало, но и давало то, что обещало: тепло, безопасное, мирное многолюдство — я никогда не видел, чтобы в метро кого-нибудь били или грабили — и налаженный график следования поездов); а я нуждался и в тепле, и в стабильности чего-нибудь, за что можно зацепиться хоть краешком чувства, ибо был мал и одинок на новом огромном месте.

Вот почему тугая, надежная паутина кольцевых и радиальных затягивала меня, я изучил ее на совесть... иногда мне снилось, что я герой детектива, ускользающий от преследователей, что они гонятся за мной от Беляева до Казанского вокзала, где я должен сесть на поезд и удрать, гонятся по маршруту Беляево — Октябрьская и далее по кольцу до Комсомольской, я же добираюсь до вокзала по радиальной с пересадкой на Тургеневской — и тем выигрываю две решающие минуты.

## 5.

Однако не только Москва, но и москвичи — во всяком случае, определенный их слой — были озабочены идеей убежища. Их стараниями весь центр города, все его конторы, предусматривающие в штатном расписании место сторожа, превращались по вечерам в своеобразные салоны. В одном из них, где располагалось днем руководство треста гардеробных, я и осел. Боже мой, чем только ни радовало это полуподвальное просторное помещение: рядом комнат, десятком телефонов, пятком электрических пишущих машинок, неведомо как занесенной на стену одной из комнат огромной физической картой Советского Союза (может быть, трест решил покрыть сеть своих гардеробных весь СССР, и эти места в будущем должны были отмечаться флажками?), тремя переходящими знаменами прекрасного бархата, стереорадиолой «Симфония», наконец, цветным телевизором «Рубин», увы, работавшим лишь в черно-белом режиме. Все это огромное богатство только думало, что принадлежало гардеробщикам; на самом деле оно пребывало в бесплатном пользовании веселых бездельников, нищих князей духа, кто как умел уклонявшихся от статьи «Тунеядство»... Сколько раз меня вместе с другими гостями

запирали на ключ в кладовой, и мы с бьющимися сердцами должны были ждать, пока хозяйка салона пройдет ежевечернюю милицейскую проверку-обход. Кого я только не перевидал здесь, за жидким чаем с дешевыми булками, пряниками и сухарями...

Когда-то я попадал на подобные сборища и в Самаре, — подобные и совсем другие. Друг мой, стороживший зубную поликлинику, рад был поговорить о Герцене и декабристах, о группах «Йес» и «Кинг Кримсон», о «Дао Дэ Цзинь» и «Чжуан Цзы», и так мы и делали мирком да ладком, посиживая в зубоврачебных креслах, покуривая «Шипку» и используя плевательницы вместо пепельниц; но в разгар беседы врывалась очередная компания с девицами, с отвратительным «Біле міцне», отдающим какой-то протухшей ванилью, и начинался форменный бардак. Честно сказать, я и сам был непрочь от утех молодости, от добросовестного ребяческого разврата, но мне не везло с языком: он работал лучше, чем требовалось, и в пылу вдохновения я и в самом деле уговаривал выбранную блондинку-брюнетку, что Прекрасная Дама, Маргарита, Маленькая Хозяйка Большого Дома — что все это разом она самая и есть, и несчастная на время нашего контакта возносилась сама для себя на недостижимую высоту, чувствовала себя слишком уж большим Божьим даром, чтобы просто, нормально отреагировать на просьбу скинуть одежду и показаться во всей натуральности названного дара... Одним словом, мне отказывали в том, чего и сами, вполне может быть, желали и что проделывали с большой охотой, вполне конгениально с тем, кто шел к цели просто и адекватно, не завышая цены. И мне ничего не оставалось делать, как, попивая нежеланное «Біле міцне» и суя палец в зубы гипсово-восковой модели парадонтозной челюсти, выставленной в витрине, думать о скотстве происходящего, о скотстве, в которое так легко перерождается любое романтическое поползновение чувств. Я думал: «Вот так, может быть, и декабристы... Но те хотя бы не знали «Біле міцне». Какая гадость все эти посиделки между Лафитом и Клико. А уж тем более между «Иверией» и «Колхети».

Не то было теперь, в гардеробном тресте (и других ему подобных), где собирался истинный цвет московской мысли, московского чувства истины, если так можно сказать; люди далеко не именитые, не блестящие, как все, живущее на

глубине и питающее верхние слои своим общим умонастроением, напряженностью своих поисков. Я видел здесь тихих, гипнотически спокойных последователей Кришнамурти или Рамакришны, Вивекананды или Ауробиндо Гхоша, видел агни-йогов и людей, чья духовная практика шла рука об руку с диететикой телесной, и они угощали присутствовавших тминными и укропными лепешечками собственного изготовления; затем умонаправление, а заодно и человеческие симпатии хозяйки полуподвального вечернего салона изменились, и любителей эзотерики восточного толка сменили исступленные разоблачители масонства (любопытство, что впервые книжку Нилуса «Близ есть, при дверях» с напечатанными здесь «Протоколами сионских мудрецов» я получил, с самым серьезными и лестными характеристиками «Протоколов», из рук православной еврейки, чье золотое сердце — впоследствии она стала монахиней — одержимо было идеей национального покаяния паче гордости; в дальнейшем я частенько сталкивался с православными евреями, стремящимися внести свой вклад в рехристианизацию Руси с тем же энтузиазмом, в каком некогда их деды делали революцию; увы, такова уж доля этого злополучного племени, что последнее не ставится им в заслугу и в соугую часть той силы, с которой первое ставится в вину). Затем появились и истово-кроткие, в платках и длинных серых юбках, в сапогах «луноходах», намекающих на долгий пеший путь, странницы, едущие из Почаева в Печоры, из Пюхтиц в Жировицкий монастырь, а от Троице-Сергиевского отца Наума в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой к отцу Тавриону...

## 6.

Громокипящий кубок (если так можно сказать о знании потаенном, тихом, опять-таки сокровенно «убежищном») религиозных идей опрокинулся на бедную мою голову, влился в мое жалкое сердце. Это было то, к чему я бессознательно готовился — но так и не приготовился — с детских лет. Ведь я думал тогда: «Смерть... Вот если бы был Бог...»; но в годы моего детства и отрочества не принято было всерьез говорить и думать о Боге, никто бы просто не понял, о чем речь, и оставалось утешаться только такой замечательной мыслью, что раз человек сумел оторваться

от земли и полететь в космос, то теперь дело за изобретением средства от смерти, которое, конечно же, изобретут к 2000 году, когда мне стукнет только 50, и того меньше. Значит, дело лишь в том, чтобы дожить до 50, а это вполне в моих силах — и только очень жаль тех, кто успел и успеет умереть до изобретения бессмертия, ведь это несправедливо... Самое интересно, что я верил в эликсир бессмертия лет до 13, до вполне сознательного возраста: охота пуще неволи — но, увы, эта вера прошла, — а на что еще я, одинокий в своей жажде бессмертия в столь юные годы, мог опереться? А здесь, сейчас, взрослые, интеллигентные люди, москвичи... Я сравнил между собой все, что услышал, прочел за последние полгода, давшие мне больше, нежели пятилетнее обучение в институте; я, почти тридцатилетний человек, к стыду своему и счастью впервые прочитал Новый Завет и был поражен красотой креста, был уязвлен парадоксальной истиной искупления, страдания одного невинного за всех виновных; странная смерть Бога из любви к Его недостойным созданиям запала мне в душу, оставшуюся холодной — несмотря на острое увлечение ума — ко всей величественной, разнообразной и тонкой мудрости Индии и Китая.

И в то же время все, что для моих новых знакомых было законным их уделом, весомым результатом их духовной практики, для меня не было таковым. Еще не пришло мое время стать на тот или иной путь, еще я собирался брести, доверяя ветру, дувшему мне в спину, куда бы он ни привел.

К тому же мир камерных сообществ, посиделок, даже самых серьезных — не говорю о тех препошлейших на мой вкус, где тоже довелось побывать, где пели песни под гитару и «говорили друг другу комплименты» их авторы — притягивал, но и отторгал. Какие могут быть споры о выборе религии, когда последнее есть самая интимная вещь на свете? Что и кто тут может доказать или опровергнуть, если я слышу голос или не слышу? В первом случае говорить излишне, во втором — тоже. Да кроме того, малые сообщества, устраиваемые для того, чтобы избегнуть сообщества колоссального, называемого «советский народ», сами — я это чувствовал очень хорошо — слишком грешили условно-коллективной, «своей» моралью, нравами, вкусами, чтобы человек кружка мог ясно отличить



свое от искренне навязанного ему исподволь, отцепиться от общей связки, а последнее-то мне только и требовалось.

7.

В неостановимом поиске более подлинных форм убежища я пошел было по, казалось, проторенной, но иной дороге в новых условиях — связал свою жизнь с жизнью женщины. На сей раз дело не обошлось без женитьбы, чему я и сам был, хоть и не без огласки, рад: жена владела сносной жилплощадью, а снимать квартиры и даже углы в Москве становилось месяц от месяца все труднее и неподъемнее. Не надо, однако, думать обо мне хуже, чем я есть: человек многосоставен и не исчерпывается простой корыстью. Если меня и волновали соображения прагматические — а кого бы они не волновали, сними он за полтора года семь квартир и комнат на последние деньги и постоянно переезжая со своим хоть и немудрящим, но тяжелым и объемистым, если не иметь машины, скарбом? — то все же не в первую очередь; в первую очередь я женился по самой что ни есть нешуточной любви, раз уж оставил для нее мою многолетнюю самарскую, а теперь уже почти московскую подругу. Жена моя была, как и предыдущая, красива — меня всегда тянуло к красивым, всегда глупо, по-гегелевски казалось, что форма содержательна, а содержание оформлено, что красивая внешность что-то столь же прекрасное скрывает и приоткрывает одновременно, что-то этакое предвозвещает и к чему-то такому зовет; страшная пропасть между формой и содержанием, утвержденная двадцатым веком, еще не открывалась мне тогда.

В той моей жене все было неправильно — эта отличалась правильной, я бы сказал, совершенно правильной красотой, воплощением определенной, почти забытой, а когда-то властвовавшей умами нормы красоты: греческий овал лица, тонкий почти греческий же профиль, правильные и пропорциональные черты лица, густая шапка темно-русых волос, которые, если их распушить, доходили до поясницы — только такими тривиальными словами я могу описать ее. Уверяю вас, однако, что сейчас такое встретишь нечасто — словом, трюизм в литературе и трюизм в жизни вещи совершенно разные... Ее точеное, худошаво округлое тело, столь же нормально совершенное, как и ее лицо, вмеща-

ло — тут мы, по счастью, с Гегелем не ошиблись — столь же прекрасную, богатую и тонкую душу, общение с которой портило только одно обстоятельство: если моя предыдущая любимая норовила всеми правдами и неправдами уйти от жизни, в которой не находила толка, в книжку, в фильм, в сон, то моя нынешняя возлюбленная слишком сильно пребывала в жизни, слишком сильно и напряженно чувствовала ее, пытаясь внести в нее ту правильность, разумный порядок, которого с избытком было в ней и который напрочь отсутствовал в окружающей русской действительности. Я никогда не мог поверить, что жена моя чистокровная русачка, подозревая в ней сильную немецкую кровь. Борьба, ведомая ею перманентно и перманентно же обреченная на поражение, вышибала между ней и действительностью сильнейшие искры раздражения, гнева, всегда повышенной интонации, которая переносилась и на меня, как на постоянного контактера. Это рождало ощущение, которое, вероятно испытывает электроприбор, рассчитанный на напряжение 127 вольт и включенный в сеть на 220, с той лишь разницей, что я не мог задымиться и испортиться, перестать жить, требуя ремонта. Нет, я должен был продолжать существовать, понимая, что это всего лишь досадные издержки того хорошего, тех поисков смысла на житейском уровне бытия, на которые была обречена правильная от рождения моя женушка; ведь если мы любим человека, то должны терпеть и его странности, а искать в России того, чего она так отчаянно неутомимо искала, не давая себе поблажек бороться с РЭУ, сантехниками, продавцами, начальством на работе, людьми в очереди и так далее — это была самая неподражательная странность, с какой я когда-либо имел дело.

С удивлением думая, что она нашла во мне, когда со своим данными могла найти без сравнения лучшую партию, я нахожу только одно, все то же объяснение: подобно многим интеллигентным русским женщинам в литературе с Ольги Ильинской, а в жизни так и пораньше (они, странное дело, перевелись только в считанные годы перестройки, а до тех пор их ничто не могло ликвидировать, как класс, на протяжении двух столетий), ей нужен был избранник, предоставляющий поле для душевной борьбы, работы. Попросту говоря, чтобы человека можно было жалеть, любить и из жалости и любви исправлять. И тут

я, скажу без ложной скромности, предлагал поприще самое обширное: позволял жалеть себя и пытаться исправлять сколько душе угодно, сам оставаясь странно недвижим (ведь я понимал, что я тоже странен и меня тоже надо — если надо — терпеть), постоянен в своей странной немочи, словно бы замороженности смертью, дыханием грядущего распада. Я умел как следует только лежать, думать, все об одном, и читать, чтобы отвлечься, всякую уютную дрянь, вплоть до «Графа Монте-Кристо» и Агаты Кристи (высокие религиозные настроения как пришли, так свободно, не спросясь, и покинули меня на ту пору, я отложил в сторону Флоренского и Флоровского, авву Дороффея и Симеона Нового Богослова). Обладая чисто русским чувством поддельного глубинного смирения, ничего общего не имеющего со смирением настоящим, но психологически очень похожего на него, развитым чувством собственного ничтожества (но только того, что ни к чему не ведет, ибо ничего от себя и не требует), я нимало не оскорблялся чьей-то жалостью, готовый поглотить любые ее порции, спокойно переносил и требовательность, имея развитое чувство вины, но то же чувство ничтожества ставило предел моей дееспособности, препятствуя всем попыткам активного самоосуществления. Я будто заранее говорил себе всякий раз: «Ничего не выйдет, старик», и разумеется, ничего не выходило. Между тем жена тоже испытывала, в отличие от предыдущей, страх смерти, но нормальный, конструктивный: она стремилась что-то успеть в этой короткой жизни и хотела добиться хотя бы небольшого благосостояния, чтобы дожить до смерти елико возможно защищенно, отделив себя от нее и держа на расстоянии.

Она бы хотела, чтобы и я разделил ее заботы; она видела в этом моральный долг мужчины, который он должен выполнять вовсе не для того, чтобы она сидела у него на шее, нет, она готова была и одна кормить семью, если бы хватало и если бы для большой цели; но я должен был что-то делать, хотя бы отчасти, чтобы себя по-мужски уважать.

Я не протестовал, послушно вставал с дивана, через силу искал работу, как будто пытался даже что-то делать по дому, чуть ли не пылесосить, — что могло быть противней равномерной длительности пылесосения, вождения железной палкой из стороны в сторону и на себя? Но

находил в лучшем случае какие-то жалкие почасовки, какие-то разовые лекции; дома же гвоздь гнулся под ударом моего молотка, а попытка поставить «жучка» на перегревшую пробку едва не привела к пожару. Словом, я был порождением своей страны, воплощением главного, что пронесла она сквозь века лихолетий: где сядешь, там и слезешь.

## 8.

Вообще же я любил, когда она меня журила или жалела. Точнее, я любил смотреть на нее, когда она была рядом, меня успокаивало, как ладно и опять же до красоты правильно все у нее выходит: как заплетает она косу перед сном, как в правильном порядке раздевается и надевает ночную мягкую рубашку, перед чем я успевал разглядеть синеватую веточку вены, идущую через ее левую ключицу смугловато-кремового цвета (вот точь в точь, как крем «Балет» телесного цвета, которым она иногда пользовалась среди множества других, используемых ею, в особенности кремов «Янтарь» и «Зодиак» для рук, — да, как «Балет», того же цвета, только согретого, напоенного изнутри живою кровью), и еще многое, о чем умолчу, желая сохранить для себя. Мне нравилось даже, как она ела яблоко, не так, как все, аккуратно сгрызая после самого яблока семечко за семечком и оставляя после него столь малые останки, что я недоумевал — где же огрызок (а я терпеть не могу всяких огрызков и объедков и всегда их оставляю, к собственной автонеприятности). Управляясь с яблоком, вообще с едой, жена напоминала мне красивого маленького зверька вроде белочки, красивого и незащищенного, и у меня щемило сердце: я был не из защитников, но и не из тех, кого не трогает беззащитность всего на свете, я мог только смотреть, и видеть, и бояться: вот-вот с ней — да с чем угодно, но особенно плохо, если с ней — что-нибудь произойдет: ведь каждый миг с кем-то что-нибудь нехорошее происходит.

Собственно, когда она меня журила или жалела, то есть она была рядом со мной, мне нравилось все, кроме одного: самой ее манеры разговаривать... Не только повышенное напряжение, уже упомянутое, но все та же, свойственная ей, как и во всем, правильность речи, ее несвернутость, ее грамматичность. Она говорила так, словно вчера кончила

гимназию, как говорят героини Алданова или еще более ранних писателей, только с сегодняшней лексикой, но в полноте русского литературного синтаксиса, с несокращенным набором придаточных предложений, причастных и деепричастных оборотов, вводных слов. Ее речь можно было разделить на абзацы. Я же привык к новоречи; сокращенная, освобожденная от подробностей быта и иных обстоятельств жизнь привычно описывалась сокращенным, пусть куцым, но быстрым и простым языком, и ее манера утомляла меня, казалась мне именно что манерной, я демонстративно нажимал в ответ на слова-паразиты, экалбекал, крякал и щеголял выражениями типа: «Ну, я тащусь», или «Ништяк, в натуре».

Я не понимал, что и здесь она ведет борьбу с энтропией жизни, и понял это только впоследствии, расставшись с ней и вспоминая ее уже в наше время, когда распад языка подошел к очевидной точке гибели; так запоздало понимаешь, например, вещи обратного толка: что раскованность какой-нибудь Аллы Пугачевой или рокеров, в 70-80-е казавшаяся столь живительной, уже содержала в себе цветы зла, той обыкновенной и страшной расхристанной дикости, той нелюбви и нигилизма, с которыми яростно воюет какой-нибудь Шевчук, не понимая, что борется с гидрой безотчетной и потому ужасающей массовости, которую сам же и породил.

Но чем больше жалела она меня и чем больше требовала, тем сильнее росло во мне удивление: как может человек присваивать себе прерогативы Бога? Ведь жалела она меня именно за глубочайшую беспомощность, бессилие перед жизнью, текущей почему-то только в смерть и не вытекающей обратно, бессилие, доходящее порой до вялотекущего отчаяния, — а требовала именно, чтобы я изменился, как будто беспомощный и бессильный может изменить свою жизнь! Нет, это парадоксальное двуединство жалости и требовательности может по праву принадлежать лишь Богу, не только любящему человека, но властному его изменить для его же блага.

Рано или поздно, я понимал это со страхом, но не мог ее остановить, жена, взяв на себя слишком много, должна была сломаться, видя, что жалость ее мне не помогает, а только усугубляет то, от чего она хотела меня избавить, требовательность же и вовсе доканывает человека, и без

того ненавидящего себя за то, что у него ничего не выходит; и хорошо себя чувствующего только в кресле с дешевой сигаретой, читанным-перечитанным «Графом» — и чтобы никто не косился в его сторону осуждающе.

В конце концов, что в этом плохого? В этом, может быть, что-то даже нужное есть, ведь мы же не все знаем. Ведь вот лежит кот и ничего не делает, а без него, как заметил Фет, «темно и дико в нашей стороне». А если человек ничего не делает, причем, простите за каламбур, со знанием дела ничего не делает, с удовольствием и вкусом, то, может быть, он осуществляет нечто, нам неведомое, но в плане Творца предусмотренное, может быть, он не просто тунеядец, а как-то уравнивает тех, кто делает слишком много? а может, он и сам работает в эти миги, может, он, не замечая того, что-то понимает или к чему-то готовится? Нет, я не оправдываю именно себя, но вообще — кто знает?

Но это побоку, вернусь к жене. То, чего я боялся, случилось. Слом начался, медленно, но верно.

## 9.

Дело в том, что я слишком распелся о своем бессилии. В каком-то смысле я, напротив, отношусь к натурам незаурядно сильным, но сильным пассивно. То есть сама аура моей пассивности, страха перед жизнью, бессознательно-программного ничегонеделания — сильна, упорна, почти гипнотична. Она, как раз-другой доводилось убеждаться, заражает. И вот, силясь перебороть меня, жена — медленно, очень медленно, ведь это все шли годы, а не дни, сама стала заражаться, перебарываться моим вяло-текущим... бытием? существованием? болезнью? особенностью? Бог его знает чем — тем, что был тогда — я. Постепенно начала она никнуть, впадать в депрессию, потемнели, сделались синими из голубых ее греческие очи, приходя с работы, ложилась она, не желая вставать, идти в гости, делать что-то по дому. Теперь она уже не жалела меня, а говорила:

— Пожалей меня, помоги, мне плохо.

Но я, в отличие от нее, не имел дара жалости, то есть, конечно, я жалел нищих, одиноких гипотетических старух, но пожалеть человека, который рядом, который всей плот-

ностью своей телесной массы заслоняет от тебя свою душу, закрывает ее от тебя какой-нибудь некрасивой гримасой, распухшим от плача лицом, сморканием в платок, писклявым сорванным от отчаяния голосом, переходящим в противный фальцет... Да мне и самому было плохо, я все силы отдавал тому, чтобы, пусть плохо, с этой плохотой справляться. Единственная реальная помощь, которую мог я ей оказать — уйти, лишить ее пока не поздно своего пагубного влияния. Снова выяснялась странная, определяющая всю нашу жизнь вещь: мы так хотим близости, союза, связи воедино с другим, а получая чего хотели, мучаемся как раз от близости с действительно другим, близости с далеким, связи с отдельным (и долженствующим оставаться отдельным, как ему Бог послал) от тебя существом. В Самаре я надеялся на общие вкусы, общую интонацию жизни, жеста, улыбки, сейчас ставил на глубинное единство мироощущения, которое должно было обнажиться и укорениться через многолетнюю привязанность; и в тот, и в другой раз я был влюблен, больше — я любил. Не помогало ничто — люди оставались разными, непрозрачными, закрытыми собою же от другого. Только по ночам, когда не видишь лежащего рядом, когда он(она) прозрачен, бестелесен, слышно, как струится, течет беззвучно его прозрачная душа, перетекает в тебя...

Я не должен был, не имел права такой, каков я есть, жить с другим человеком; я ушел.

## 10.

Легко сказать — ушел. Герой Достоевского говорит что-то такое: должно же, мол, у каждого человека быть место, куда он может пойти. Сегодня в России каждый знает другое: должно же у человека — но поди раздобудь, выбей и пропишись! — быть место, куда он может уйти.

А на ту пору и сошлось: необходимость уйти — и такая редкая возможность. Редчайшая удача. И снова увидел я перед собой Божий перст.

Дело в том, что другая моя драгоценная, фиктивная, оказалась драгоценной отнюдь не фиктивно. Она, имея считай что взрослого сына, а теперь еще и меня (разведенного, но не выписанного) на площади 14 м<sup>2</sup>, возьми да выйди еще раз замуж, теперь уже по-настоящему, да

и пропиши его сюда же, на те же 14 метров, — ну, а уж теперь всерьез подай на расширение. Еще в те годы; а годы шли, шли, а она меня все не выписывала, ей же лучше... И вот теперь ей с сыном и мужем — бывают же чудеса и в наши суровые дни — обломилась полноценная квартира в Бибирево, а мне, стало быть, как одиночке и в общем недавнему москвичу осталась четырнадцатиметровая комната в коммуналке на первом этаже двухэтажного домика в одном из переулков в районе метро «Проспект Мира». Дни таких домиков сочтены, число их тем более; хорошо, если их осталось сотня по всей Москве. Так я стал владельцем жилплощади, по слухам, поставленной в очередь на снос.

Кроме моей комнаты была тут еще одна, поменьше; жилец ее, совершенно мне не известный и нимало меня за все эти годы не интересовавший, выбыл куда-то, по словам моей фиктивной, видимо, насовсем. Еще она сказала, что он был писатель. Ну писатель и писатель, мало ли в Москве литераторов; я и сам вроде бы филолог или искусствовед, с какого бока посмотреть, то есть за какую лекцию деньги предложат.

Обе комнаты — одна опечатанная — имели общую фанерную стену, дверями же выходили непосредственно в кухню, служившую сразу и прихожей. Тут же в кухне были выгорожены туалет и ванна без ванной комнаты, просто занавеской. Вот тут я и стал жить-поживать, разумно хозяйствовать и обустраиваться.

Между тем пришло другое время, о котором думалось, что оно не придет никогда, а когда оно пришло, то пришло с тою же обычностью, с какой утро сменяет ночь. Как казалось: «Если бы только можно было вслух говорить правду, то я согласился бы взамен жить на корке хлеба». Что ж, теперь сбылась мечта идиота, правду можно вдруг стало говорить сколько влезет, — и оказалось: эка невидаль! уже и не влезает! уже и сыты по горло. К хорошему как известно, привыкаешь быстро, и оно — вот подлость, вот нормальное преступление сердца перед теми, кто отдал годы жизни или всю жизнь за то, чтобы ты это получил — кажется само собой разумеющимся: а как иначе, человек и рожден свободным. Зато кусок хлеба стал проблематичен. Как большинство советских, я привык жить в известном смысле на халяву, считал, что на мой век пшена по 28



копеек кило и армянских туфель за 11 рублей хватит, а когда обедал в столовой, убеждался всякий раз, что прожить можно и бесплатно: набирал много хлеба и оплачивал его частично или не оплачивал вообще: его все равно никто не считал — ломоть стоил копейку.

Я оказался не готов к изменениям; как выяснилось, не я один.

Во внезапно наступившей продаже всех и вся оставалось выбирать между постыдной, но извинительной необходимостью выжить и куда менее извинительным желанием (по крайней мере, на мой вкус) жить припеваючи в стране, где песнею достоин быть только стон. В первом случае ты продавался не целиком, зато и недорого, по мелочи (которая, впрочем, являлась твоей коммерческой тайной); у тебя оставался краешек самоуважения, но хватало лишь на дрянной прокорм; во втором... Как чувствует себя человек во втором случае, я не могу сказать за незнанием: я попал в первые — хотелось бы верить, что по воле собственного вкуса, но вполне может оказаться, что просто в силу отсутствия одних предложений и наличия других.

Знакомый инженер, говаривавший еще в начале 80-х: «Мужик, чтобы себя уважать, должен зарабатывать не меньше 600 в месяц», — и потому, помимо своей основной работы, точивший ножи в «Праге» и промышленявший чем-то еще, теперь открыл свое дело, переходя от починки и продажи компьютеров, по мере успешной компьютеризации страны и падения цен, на продажу автомобилей, потом, по мере выяснения того, насколько опасен автомобильный бизнес, на торговлю ширпотребом, валом повалившим из стран Юго-Восточной Азии к его партнеру в Нью-Йорк, а оттуда — в Москву, в оптовый магазинчик. Встретив меня как-то и оглядев сочувственно, он спросил:

— Тебе есть на что жить?

— Вряд ли.

— Иди ко мне. Мне коммерсанты нужны, как воздух. Работаешь на договоре. Берешь у меня по оптовой цене товар, несешь его в коммерческий магазин, назначаешь свою цену. Выручил деньги от продажи — надбавка твоя. Некоторые у меня стали уже рублевыми, но миллионерами.

Не могу сказать, что мне импонировало видеть себя мелким спекулянтom, пусть он назывался теперь коммерческим агентом и солидно работал на договоре вместо того,

чтобы, как в недавние времена, получить до 4-х лет тюрьмы по статье «спекуляция». Человек я старомодный, со сложившейся системой взглядов на роль и назначение русской интеллигенции. Но капиталистическая жизнь, в отличие от советско-антисоветской, удивительно беспринципна. Она не оставляла места иллюзиям. Пшено резко подорожало, и я повел новую жизнь.

## 11.

Странная это была жизнь, иначе не скажешь. Иногда из дома выходил приличный господин в костюме и галстук (единственный галстук, верой и правдой служивший мне много лет) и шел читать лекцию в какой-нибудь из вновь образованных центров образования (читатель простит тавтологию), что-нибудь об искусстве Северного Возрождения или об архаике и ранней классике в Древней Греции (могла быть и высокая, и поздняя классика — какая разница?), или — уже на подготовительных курсах — о романе «Война и мир» и пьесе «Вишневый сад». Узкий круг моих интересов был довольно широк внутри себя, я кое-что знал кое о чем и говорил, бывало, с огоньком, и иногда ловил на себе взгляды, полные интереса и внимания (в любой аудитории есть люди, способные внимать), и сам себя уважал в такие минуты. Это держало в моральном тонусе, необходимом теперь уже, наверное, немногим, как тонус физический.

Но чаще из того же дома выходил совсем другой господин, господинчик в куртяшке и тертых джинсах с большой сумкой в руке — из тех профессиональных клетчатых красно-белых китайско-вьетнамских рогожеобразных сумок, в которых перегоняется один и тот же бесконечный товар по одной и той же бесконечной СНГ — и дул в намеченный коммерческий магазин, другой, третий.

Не знаю, как становятся рублевыми, но миллионерами. Конечно, если иметь машину и развозить свой товар по десяткам точек, или если иметь оптового покупателя... но не всем же так везет. По своему скромному опыту могу сказать, что и несколько десятков тысяч в месяц заработать не так просто. Товару такого рода предостаточно, берут его не всегда охотно, а то и вообще не берут или предлагают взять на комиссию; а кому же охота платить проценты

за хранение, если товар не уйдет? Но даже если и берут на реализацию, по накладным... с кем только не приходилось иметь дело и чем только я ни торговал! Вы когда-нибудь пытались продать подарочную розочку, где вместо бутона, в виде бутона были вложены скрученные женские трусики, с приколотой картонной надписью «with all my love», продать совсем молодой женщине — товароведу? Она вас спрашивает: «Это что?», — а вы, не краснея, разворачиваете бутон и показываете. Здесь надо не иметь предрассудков, чему очень помогают 8 классов образования. Или — ей же втюхать пяток сексуальных комбинезонов в сетку, так называемых комбидрессов? Причем она будет, смущаясь (или нет, но некоторые еще смущаются), спотыкаясь, спрашивать предусмотрено ли отверстие в районе... (я торговал ими тогда, когда они еще были в диковинку, когда никто не знал, что с ними делать), а вы, опять-таки не краснея, радостно рекламно ответите: «А как же!» Однажды меня занесло в Балашиху с наборами кистей для макияжа — так в галантерее повертели их изумленно и посоветовали отнести напротив, в «Стройматериалы». Там и впрямь самая большая кисть была величиной чуть что не с малярную, и, таскаясь с кистями, я часто думал: вот если бы у меня, допустим, было не человеческое лицо, а женская мордашка — как бы я, допустим, эту мордашку такой кистью красил, таким широким мазком Густава Курбе? Но девушки-то как раз знают, они-то как раз умеют — кисти-то и ухаживали, как нынче принято непонятно выразаться, только так!

Но лучше всего шли накладные ногти. Сколько гордых юных красавиц идут теперь по жизни с моими ногтями; иногда снилось по ночам, как между собственным ногтем и накладным постепенно возникает тонкий слой грязи, со временем накапливаясь, превращаясь в почву — и вот уже из кончиков пальцев произрастают диковинные травы и цветы лилии и орхидеи.

Да, если бы мои слушатели — особенно же юные слушательницы — увидели своего лектора, вчера еще рассуждавшего о поздней «пламенеющей» готике, а ныне сладчайше сдающего людям, которые, выписывая накладную, спрашивают: «Жемчук» или «жемчуг»? или: «Как правильно — миникюрный набор или минекюрный?» (а я, уже совсем сбрендив: «Миникюрный, но это неважно»),

ручные швейные машинки, расчески, ногти и ресницы, часы и трусы, заколки, кисти, овощерезки и калькуляторы, бижутерию всех мастей и Бог знает какую еще дешевку и дрянь, — если бы они увидели, они бы не знали, верить ли своим глазам! они бы отказались меня уважать и слушать, и конец платонической влюбленности и интересу!

И напрасно. Стоит перестать думать, что человек однороден и самотождествен, перестать думать о нем определенно — высоко или низко — и мы спокойно, с пониманием и приязнью увидим его, как он есть — существо бесконечно пластичное, удивительно живучее, способное — и это главное практическое открытие нашего ветреного времени — без особых переживаний и затруднений возвышаться и опускаться, мгновенно, неприметно, так что и взлеты оказываются не взлетами, и падения не вполне падениями. Хотя тут я, пожалуй, приврал немного, все из той же потребности понять, простить и уважить самого себя; на самом деле спускаться в те слои населения, с которыми я раньше никак общаться не стал бы, и улыбаться, улыбаться, говорить деловым, но любезным тоном, шутить на их уровне понимания и юмора, на самом деле это не слишком... это вызывает некоторые переживания... И всякий раз, входя, надо преодолеть барьер внутри себя, надо настроиться — и слететь на два уровня ниже минут на тридцать.

Ногти ногтями, а на жизнь, повторяю, хватало не слишком. Побегай на своих двоих с сумками да найди тех, кто возьмет товар в эпоху затоварки, да заложи в цену реальную, невысокую надбавку — кисти и бижутерия не есть предметы повышенного спроса. Набежит за месяц тысяч 30—40 — и то хлеб. Именно хлеб, ну, овощи, кусок сыра, минтай в томате (а лучше — и дешевле — морская капуста) — минтай в масле, заявляю со всей ответственностью, совершенно несъедобен. Не туфли же, не приличное пальто, не...

Но жизнь отчасти наполняет, а это немаловажно для одинокого человека. Кроме того, учит многим полезным вещам — не только новым знаниям о себе, но и как уходить от налогов, например. При моих грошовых заработках тринадцатипроцентный налог явно излишен. Конечно, налоговая инспекция могла не накатить на такую мелкую рыбешку, а могла и накатить, такие случаи были. Но не

буду останавливаться на налогах: кому нужно, тот знает, кто не знает — тому и не нужно знать.

## 12.

Куда интересней, что коммерческая деятельность, что бы там ни говорить, так изменила исподволь мои вкусы, что я не увидел ничего антипатичного в том, чтобы свести близкое знакомство с молоденькой продавщицей одной из точек, мною обслуживаемых. Из тех, с кривовато-саблистыми, но длинными ногами, маленькими глазками и большим пухлым ртом (воплощение современных представлений о женственности, равной даже не вульгарной sex apple а ля Мэрилин, но чисто животной сексуальности, «половости»), в юбочке под самую попу, — из тех, на лице которых раз навсегда застыло утомление, истома чисто биологической жизни; из тех, словом, один взгляд на которых раньше действовал на меня, как рвотное. Но я был уже не тот, что раньше, я не совсем органично, но примирился с данностью и, кроме того, слишком долго был один.

Первый наш разговор — видели мы друг друга и раньше, но о чем было говорить? — состоялся вот при каких обстоятельствах. Войдя в магазин, я вдруг увидел в продуктовом отделе, где она и работала, на полке бутылку из тех, что вызывали у меня моментальную ностальгическую реакцию. Надпись же на ее магазинном ярлыке удивила, вызвала раздражение. Я уже привык, что на бутылке «Vin mousseux», дешевого шипучего типа нашего «Салюта», пишут «Французское шампанское», что страшное клошарское пойло выдается, судя по цене, за качественное (еще бы, настояще французское) красное вино. Но все же шипучее и впрямь похоже на шампанское, а сухое вино есть сухое вино. Здесь же отсутствовало хотя бы какое-то подобие, кроме случайного созвучия слов в английском языке. Конечно, спрашивать надо было не у нее, а у товароведа, но я не выдержал и спросил:

— Девушка, почему у вас на бутылке хереса написано «ликер»?

— Какого хереса? Ликер «Шерри Бренди». Берете, что ль?

— Где уж нам уж. Но английский я немного знаю. И это вино тоже. Представьте себе, что, когда Вы ходили еще под стол пешком, это вино стоило 4.50, и иногда я мог себе позволить выпить его с удовольствием и почтением.

— Не хотите — не берите. Не мешайте работать (в отделе ни души, и сама она стоит-покуривает: теперь продавцы курят прямо на рабочем месте).

— Да я-то хочу. Я может, больше хочу, чем сорок тысяч богатых братьев. Но не могу. И все же имейте в виду, что «Черри Бренди» — действительно вишневый ликер. А «Шерри» — это по-английски испанский херес. В данном случае — сухой херес Амонтильядо. Знаете ли Вы — простите, что отвлекаю от работы — что при изготовлении хереса виноград прессуется с добавлением белой глины, и отсюда специфический хересный тон, что портвейн крепят не спиртом, а коньяком, тогда как мадеру в специальных мадерниках выдерживают на солнце...

Не знаю, что на меня нашло. Вот уж чего не было в мыслях — это ее охмурять; просто я люблю херес, равно как и мадеру, а более всего — настоящий портвейн, и за неимением оных обрадовался поводу хотя бы поговорить о них, что и привело к возгоранию пламени вдохновения, действовавшего на некоторых женщин, как запах валерьянки на kota. Количество их зависит, конечно, от образовательного ценза, но они есть во всяком слое, иначе бы в глазах юной продавщицы не засветился вялый, но для нее — живой интерес. При следующем моем посещении, мы, уже здороваясь, беседовали; после же третьего нашего разговора как-то само собой получилось, что я вызвался проводить ее до дома, а оказалась она дома у меня.

И где же ей было еще оказаться? Как-никак я имел временно изолированное жилье, а повести ее куда-то кроме как к себе — куда ж еще было? Не в ресторан же, в самом деле, стоящий в лучшем случае месячного заработка, не в кино же — смотреть картину под названием «Все мужчины делают это» (на картину Бергмана или Бертолуччи, если и выискать их в Киноцентре, а того лучше что-нибудь типа «Касабланки» или «Марокко» в Иллюзионе, она нипочем не пошла бы). И тем более не могли мы пойти в гости к ее или моим друзьям — тут была стена, пропасть, и мы оба прекрасно это понимали. Так

что — только домой. Зачем ведет одинокий мужчина женщину к себе домой? Понятно зачем. Но вот тут и подстерегала загвоздка; тут-то и становилось ясно, что у меня не все дома.

### 13.

Уже говорилось о чрезмерной обширности во мне пространства интимного; нужно ли говорить о непростом моем отношении к телесной близости? Не о застенчивости психологической идет речь, нет, но я убежден, что тело не в меньшей мере, чем душа, доверено мне по какой-то неведомой, но серьезной, высокой причине, мне, только мне одному, и потому в меня вложено охранительное чувство, не позволяющее без неприятного стыда делить его с кем-то еще просто так, предоставлять разглядывать его, пользоваться им. Простейший инстинкт соединения полов влек меня к женщине, более сложное, высокоступенчатое сознание цельности и целостности души и тела, цело-мудрия — отъединяло от нее.

Моей прелестнице второе было неведомо, первого же в ней оказалось предостаточно. В начальное же наше свидание, не успев я выйти на кухню поставить чайник, как она уже облачилась в похабный сетчатый комбидресс (один из пяти, сданных мною же в их магазин), желая, видимо явиться во всем цвете своего очарования. Это было ужасно, к тому же комбидресс только подчеркивал русскую дряблость еще совсем молодого, но уже запущенного животика и словно бы жеваных вислых ягодичек. Сдерживая брезгливость (и х вкусы, по всей очевидности, находились за пределами доступного мне представления о каком-то, пусть низком, вкусовом разборе, но, впрочем, грех жаловаться, если и х вкусы только и позволяли мне как-то сводить концы с концами), я с ласковой улыбкой попросил ее одеться. «Почему?» «Да как тебе сказать... давай сначала попьем кофейку с чем-нибудь». «А, ты так любишь? Ну давай». Все как-то сошло на нет, она не обиделась, просто поняла — я так люблю. Новое поколение удивительно пластично.

Чтобы перешагнуть границу, отделяющую наши тела, я должен был усилием вызвать в себе чувство общности, коммунальности в некотором смысле, оправдывающее нашу связь и преодолевающее оборону стыда. Но как вызвать?

За что зацепиться? Что у нас общего? Один лишь русский язык, и то очень сомнительно, чтобы это был один и тот же язык.

Что делать? Я должен, вынужден был ее очеловечить и начал с того, что попытался разжечь ее гастрономическое воображение. Она любила поговорить о еде, я тоже, по старой памяти, и это хоть как-то нас роднило.

Терпеливо, даже с любопытством выслушивая ее убогие рассказы о походах в чудовищно дорогие и чудовищно дрянные, как я понял (сравнивая с тем, что довелось в свое время видеть и есть мне), рестораны, частные, государственные, валютные, я вступал ненавязчиво в свою малую долю секунды (как Лестер Янг или Чарли Паркер вступали, играя с оркестром) с воспоминаниями о своей молодости, водившей в сабельный поход по ресторанам «Арагви», «Националь», «Славянский базар», «Узбекистан», «Пекин», «София», «Баку», «Берлин», «Метрополь», совсем дешевый «Раздан» в Столешниковом и «Звездочку», на Преображенке, и так далее. Это могли быть те же точки общепита, что посещала и она, но — совсем, совсем другие. Конечно, и то, что довелось есть мне, казалось куцом, изрядно подпорченным по сравнению с 50—60-ми, о чем свидетельствуют более взрослые знакомые, но все же дело еще не сводилось, как ныне, если ей верить, к чистой редукции национального — к солянке и шашлыку, а интернационального — к салату оливье и бифштексу. О винах же не стоило и говорить! Я поведывал ей то о куриных потрохах и фаршированных гусиных шейках в «Арагви», вырезке, фаршированной сыром, там же, о горячем сулугуни, сациви из индейки, о винах «Оджалеси» и «Ахашени», «Ахмета», «Телиани» и «Твиши»; то о рыбной похлебке по-московски с осетриной и томатом и рыбном расстегае к ней, о блинах с рыбой и щак в горшочке, покрытом томленным тестом, щак, к которым подавалась еще гречневая каша с рублеными яйцами, о квасе с хреном и холодной «Старке» в «Славянском базаре»; то о паштете из жестковатых акульих плавников и креветках в соевом соусе, о склизких и вместе хрустящих трепангах, о кисло-сладкой свинине и мясе с побегами бамбука и цветами «хоан хоа» (если я правильно помню, но ведь это неважно), о полусладком вине из дикого винограда «Тунгхуа», чью пластиковую закупорку надо поджечь, и она сгорала слегка фосфорически, обнажая пробку, и о китайском черри, из-



дававшим удивительно сильный и тонкий аромат вишневой косточки; то о грандиозных порциях плова, мантов в бульоне, шашлыка, странного салата «Пахтакор» с редькой и мясом, русской водки и узбекского зеленого чая (только они помогали справиться со всем этими кулинарными излишествами) в «Узбекистане»; ну и так далее... а мясное ассорти на огромной жаровне в «Софии», а мельхиоровый рыцарь со льдом в «Белграде», а лобio под соусом сациви в грошовом «Раздане»... ну, и тому подобное, всего не опишешь, что вспоминал я часами, распарившись от воспоминаний, как от самых пиршеств, вечер за вечером добавляя к уже рассказанному новые воспоминания, перемежая это картинами нравов, дикими танцами сорокапятки в «Узбекистане», чуть более организованными самой конфигурацией фонтана танцами в центре зала ресторана «Метрополь», вокруг которого и плясали под Поля Мориа и Джеймса Ласта, рассказывая о прекрасном оркестре в «Белграде», игравшем, правда, за приличную, не «узбекистановскую» мзду, но лабавшем с одинаковым блеском и «Девочку Надю», и Карлоса Сантану, о драках и словесных разборках, имевших тогда совершенно вегетарианский характер (так, возможно, кажется, только сейчас — пострадавшим тогда казалось иначе). Моя сладкая слушала, открывши рот, а я сам уносился с ней в раблезианские, как мне казалось (хотя я и тогда был довольно умерен) дни моей молодости; однако для меня это было путешествие не в область чревоугодия; все вспоминаемые яства приобретали в памяти куда менее мясной, овощной, словом, свойственный им по природе дух, плоть, становились легкими, пористо-воздушными, суфлеобразными (за что я всегда любил суфле — пограничность между материальным и эфирным), унося во времена, когда жизнь под всем прессом коммунистического сапога имела характер стабильности, следовательно — человеческой немудрящей природе так мало надо — могла иметь характер не проблемы, зачастую трудноразрешимой, как ныне, а — небольшого житейского удовольствия от налаженного, легко осуществимого процесса удовлетворения потребности в веселье, вкусной еде и хорошем питье, в разнообразии; ежедневные маленькие радости внутри глобального прессинга подавленности и лжи... мы выработали привычку радоваться, и то небольшое, что нужно человеку, умеющему радоваться — общий фон мелькания, дешевизны, спокой-

ствия — жизнь предоставляла, а больше от нее и требовать было нельзя. А может быть, дело даже не в радости этих ужасных времен, может, вспоминать их так хочется, так упоительно в любом отношении, пусть в чисто гастрономическом, только потому, что это времена, которые мы уже прожили, пере-жили, времена, уже ничем не грозящие, а что может быть слаще для нашего брата, чем хотя бы мысленно жить во временах мирных, безопасных (хотя, пока мы проживали их, медленно и с испугом, они нам таковыми не казались — что ж, тем слаще они теперь: столько позади оставленного риска, а вот живешь же и, глядишь, еще поживешь — правда, уже без «Славянского базара»).

Я объяснял ей, чем отличается «Мукузани» от «Кварели», «Киндзмараули» от «Хванчкары», «Негру де Пуркар» от «Каберне»; объяснял отличие скотча от бурбона и от ирландского виски; объяснял, что коньяк может иметь ванильный, а может — шоколадный тон, рассказывал, как готовят жженку из рома и фруктов (от этого рассказа у меня до сих пор появляется во рту карамельно резиновый привкус красного ямайского рома) и майский крющон.

Не знаю, все ли поняла моя чаровница, но сидела она, по-прежнему открыв рот, а я только успевал забрасывать туда порции испанского омлета с картошкой и грибами (у меня оставался небольшой их запас) или лобио, куда вместо уксуса добавлен был «Наршараб» (пока москвичи не разобрались, я закупил по дешевке чуть не десять бутылочек прекрасного гранатового соуса), или аджабсандаля (благо по осени баклажаны и помидоры стоили по-Боже-ски); я любил поготовить в охотку, особенно если было для кого. Все заливалось темным домашним пивом, приготавливаемым мною из концентрата кваса (рекомендую: настоящий томленный солод) с небольшой добавкой сосновых почек вместо дефицитного хмеля, а то и — если заводилась лишняя монета — бутылкой «Саперави» или «Матрасы».

#### 14.

Моей милой все это нравилось чрезвычайно. Привыкши к дешевой (отнюдь не в смысле цен) роскоши в основном второсортных импортных еды и питья, она находила все весьма экзотичным, тем более, что встречались мы далеко

не каждый день. Я понимал, что у нее есть еще кто-то, и совсем не нарывался на то, чтобы быть единственным, равно как и не претендовал (о чем уже говорил) быть представленным одному из тех квадратных молодых людей в кожаных куртках или костюмах «Аидас» (эта нелепая мода носить на улице спортивный костюм как предмет роскоши, пришедшая, кажется, с Кавказа, почему-то особенно изнуряла мое эстетическое восприятие московской улицы), с которыми не о чем было сказать и пары слов, но которые отметелили бы меня так, что я бы своих не узнал; конечно, по соседству с ней не слышалось дыхания серьезного человека, для которого физическое устранение, ликвидация конкурента есть всего-навсего дело целесообразности (да и вряд ли моя голова могла оцениваться так высоко, как платят за ликвидацию), но и от этой разбогатевшей, крутой шелупни тоже следовало держаться на дальнем расстоянии. Словом, некоторая законспирированность нашей связи — она стала приходиться ко мне сама по договоренным дням, в магазине держась как с простым знакомым — меня вполне устраивала.

Понемногу уходя от гастрономических тем, я стал рассказывать ей, как рассказывают ребенку сказки за столом, чтобы он раскрывал рот, куда мечут ложки ненавистной, но незамечаемой при помощи интересной сказки манной каши, — я стал рассказывать ей мировую литературу. Ту, что можно рассказать, понятно. Тот, кто сможет интересно рассказать «Чистилище» и «Рай» или Марсея Пруста, — великий рассказчик. Я мог только то, что мог. И рассказал ей «Робинзона Крузо», «Отца Горио», «Пармскую обитель», первую часть «Фауста», «Процесс» и «Великого Гэтсби». Я рассказал ей «Одиссею», песнь за песней, и «Орестею» — рассказ составлял коктейль из всех троих драматургов, и мне доставляло удовольствие рассказывать эту кровавую историю с вариантами и поправками. Попутно я выдвинул в высшей степени безответственную версию, что Шекспир своим «Гамлетом» в большей степени, чем средневековой хронике об Амлете, обязан именно семейной трагедии Атридов, вывернутой им наизнанку («Не поднимай руки на мать», играющую пассивную роль в интриге, в отличие от греческой трагедии). Разумеется, здесь я пошловато перекидывал мостик от гамлетовской «мышеловки» к «Мышеловке» Агаты Кристи, после чего своевольно блуждал

между Эдгаром По, Уилки Коллинзом (выяснилось, что она листала «Женщину в белом», это было уже кое-что) и Достоевским (последний ввел, на мой вкус, массу чисто детективных условностей, вроде того, что Свидригайлов совсем случайно снимает номер в огромном городе именно рядом с Соней и все подслушивает).

Стараясь рассказывать все развернутым литературным языком, чтобы навязать ей обогащенный вариант русской речи, погрузить в нее, как погружают в иностранный язык, я невольно поймал себя на том, что уподобляюсь моей жене. Я читал ей стихи «про любовь» — других она не признавала — Петрарку, Ронсара, Гете, Тютчева (ей особенно нравилось: «Чему молилась ты с любовью...») — все, что было в доме, за исключением совершенно недоступных ей Рильке и Мандельштама (впрочем, и тут не без исключений: ее совершенно околдовало: «Я буду метаться по табору улицы темной»).

Она слушала, слушала, не перебивала; наконец, она, не поднявшаяся даже до Сидни Шелдона и Стивена Кинга, взяла у меня почитать «Грозовой перевал», затем «Анну Каренину» (прочла выборочно)... Когда моя обольстительница сказала, что ей понравилась «Капитанская дочка», которую она ухитрилась не прочитать в школе, я почувствовал: что-то сдвинулось внутри, можно почти без стыда лечь с ней в постель. Волшебница моя была и приятно, и неприятно удивлена. С одной стороны, я, не видя в том интереса, нимало не владел «техникой современного секса», оставаясь здесь консерватором, едва ли не обскурантом; с другой несколько не стремясь к сближению именно с ней, видя в ней лишь наличное воплощение женщины как таковой, я испытывал к ней, как и к каждому человеку, не сделавшему мне зла, тем более к женщине ту усталую нежность, какую Бальмонт испытывал к русской природе, а к богоданному телу моей юной подружки — несколько рассеянное благоговение. Привыкнув к спортивно-прикладному отношению к себе, воспринимая себя, видимо, как некое необходимое приспособление, моя красавица неожиданно обнаружила в себе нечто ей незнакомое, некие лестные для нее признаки и флюиды Вечной женственности, почувствовала себя существом, стоящим на принципиально иной ступени мировой эволюции, нежели та, к которой привыкла. В жизни всегда так: то, что отпугивало от меня

девушек моей самарской молодости, теперь привлекало ее ко мне. Перепад моего отношения к ней и отношения к ней ее прежних (и нынешних) знакомых как-то парадоксально и удивительно неприятно для меня возбуждал юную оболстительницу — нужно ли говорить, что излишне физиологичные женщины не в моем вкусе? Чтобы погасить избыточное пламя, я тихо, опасливо лаская ее, говорил, говорил безумолку, зная, что длинные, безостановочно-узорчатые рулады действуют на нее, как факирова дудочка на змею. Что было хорошо — как некогда жена могла беспрепятственно сколь угодно долго жалеть и упрекать меня, так сейчас я мог сколько угодно беспрепятственно, невозразимо делиться с ней любимыми мыслями, бесспорными и сомнительными, выношенными и шальными: будучи *tabula rasa*, она могла только слушать, впитывать или не впитывать, но не спорить, не раздражать инакомыслием.

## 15.

Я говорил ей, например:

— Вот почему-то говорят о русском детстве как о чем-то, от чего надо избавиться. Но зачем, помилуйте? Это ведь какое детство золотое-то! Я больше скажу: во всей западной литературе герои невзрослеющие уникальны, их три человека на четыре столетия: Дон Кихот, Кандид, Эмма Бовари... Характернейшая мысль возрастающего человека, принимающего на себя ответственность — мысль об отце, чувство сыновнее. Мотив отца и сына — лейтмотив трех из четырех-пяти главных европейских книг: «Одиссея», «Гамлета» и «Улисса». Книги, все собой начинающей, книги кульминационной и книги, подводящей итоги гуманистической культуры Запада и начинающей собой какую-то новую, постгуманистическую культуру.

Во всей большой русской литературе, не считая замечательного наказа отца, данного Молчалину, тема отца и сына серьезно поставлена лишь в «Подростке». Разве? А в «Войне и мире», а в «Отцах и детях»? Да; но у Толстого она — всего лишь одна из сотни поднимаемых тем, безусловно, не самая значимая. У Тургенева — речь как раз идет о детях, отказывающихся от своих отцов и начинающих все заново, как... Как малые дети. Любимые герои русской литературы редко мужают, взрослеют. Редко

вырабатывают в себе личность. Пьер Безухов, сменив десяток убеждений, к концу остается все тем же большим ребенком. Любимый герой Достоевского Лев Николаевич Мышкин — дитя до мозга костей. Таков же и Митя Карамазов. Таков и Обломов. Начиная эту галерею Чацкий ведет себя как обиженный ребенок, ругающий стул, о который ударился. Нехорошим шалостям по-детски азартно предается якобы все познавший и во всем разочаровавшийся Печорин. Где вообще столько написано о детях? На одного Диккенса у англичан, на одного Гюго у французов — у нас: Сон Обломова. Детство Темы. Детство Никиты. Детство Люверс. Дети подземелья. Мальчики в «Братьях Карамазовых». Детство Горького. Первая любовь. Бежин луг. Степь. Детство Толстого. Единственный в мире «Котик Летаев» с непостижимо гениальным воссозданием уже не детского, но младенческого, едва ли не утробного. Удивительное детство «Лета Господня» Шмелева. «Белеет парус одинокий». Где еще такая хорошая детская литература — десятки первоклассных имен? А сам Толстой, сам Достоевский, сам Гоголь — это ли не взрослые дети, с их порывами, крушениями и обретениями веры, поразительно наивным учительством, детским желанием, чтобы все было со всеми по их учению?

Это не поддается мысли Чаадаева. Это слишком глубоко в нас, чтобы считать это внеисторическим, ошибкой истории. Такое детство по всей амплитуде — от младенчества до подростковости — достойно не только шпыняательства да отрицательства. Есть же в нем, — я распалялся все более, — и что-то пленительное, чего ни у кого нет: запахнутость, отзывчивость, отходчивость. И кажется мне, детство — не этап жизни России, а ее историческая константа: русское детство существует сквозь время, постоянно, как всегда существует французская взрослость. И какие бы мы ни были, мы угодны Творцу именно как мы: как дети. Полюс детства — вот Россия. Полюс глупого, безответственного, но жаркого и доверчивого детства. Ибо такими мы не сами себя сделали, а такими мы были от начала — такими Он нас сотворил. Чтобы мы лучше спаслись. Сказано же Им, прямо так Им и сказано: «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Да, Богу угодна такая вот детская площадка мира, пусть в ее песочницах грязный мокрый песок смешан с собачьими

фекалиями и кошкиной мочей. А раз Ему угодно, то кто мы такие, чтобы менять это? Ведь это реальность, это детский прорыв видимости, красивой западной обертки, под которой все та же болезнь, смерть, распад — а мы сюда уже прорвались и отсюда, минуя средний уровень цивилизации, рвемся в Небо! — распаялся я уже по-настоящему и слышал ленивый, но без подвоха, искренний ответ:

— Значит, у нас все-таки лучше? Чего же тебе надо тогда? Живи, где лучше. Пока дают.

— Еще чего, — отвечал я, споткнувшись — и тут же совершенно искренно воспарял в направлении, прямо противоположном предыдущему, — еще чего! Благодарю покорно. Да ведь именно этой-то реальности я страшусь пуще всего, этого-то хлеба я и нахлебался вдоволь, от этого-то сладковатого вкуса праха и жижи меня и выворачивает наизнанку! Этой невозможности удержать слюну во рту (прости, пожалуйста, к присутствующим не относится) и не уронить ее на землю с частотой десять раз в минуту; этого диковинного опрыскивания французским дезодорантом невымытых подмышек для достижения невысказанного ароматического эффекта, этих знаменитых московских кухонь с тараканами пополам, этого детского равнодушия к грязи, детского наплевательства на жизнь человека, на его сомнительное взрослое достоинство и смешные взрослые права, детского нежелания мыслить, ценить, разбираться... Нет, благодарю. Драть отсюда когти — и побыстрее, пока выхлопом не задушили, выбросом не отравили, на улице средь бела дня не переехало пополам богатое дитя на взрослом «БМВ»!

— Так уезжай, чего сидишь, — только и отвечала она, столь же добродушно и лениво.

— Кто же меня возьмет, — ронял я вяло. — И чего я там делать буду — ногтями торговать? — и тому подобное.

## 16.

И вот настало время, когда моя малышка начала естественно употреблять обороты вроде: «Тебе это, может быть, покажется глупым, но я другого мнения», — или: «Я знаю, ты не одобряешь мой вкус, но позволь мне его иметь», что значило: она собирается наклеить уже не ногти,

а последнюю половинку моей доставки — накладные рессницы (тут был очередной парадокс — воспитывая в ней вкус рассказами и чтением, я одновременно разрушал его объективно, вынужденно поставляя в магазин, прямо под ее разбегающиеся глаза, самую низкопробную продукцию). Она уже знала слово «толерантность» и могла его вполне уместно вернуть. Она перестала сплевывать себе под ноги при курении. Перестала вставлять куда ни попадя ненавистное мне «блин». И я с удовлетворением констатировал правоту своей гипотезы: каждого, буквально каждого из постсоветских Маугли: молодого и старого, хулигана и пенсионера, русского и чеченца — можно превратить из дикаря в человека, но только одним путем: терпеливо и дружелюбно работая над каждым поодиночке, а не над всеми вместе. Увы, последнее, в масштабе России недосягаемо.

И тут пришла ужасная мысль: что же я делаю, уже сделал? Есть смысл сотворить Галатею, чтобы она могла войти в более высокое общество, зажить лучше, чем жила. Но наше новое высшее общество (то, во всяком случае, на которое она могла реально рассчитывать) не нуждается в женщинах, читавших «Смерть Ивана Ильича» и, главное, не шутя возомнивших о себе, что они люди, а люди тем и отличаются от вещей, что могут быть, а могут и не быть — по своему волеизъявлению — предметом продажи. Чтобы жить на том уровне, на котором она жила, моя лапушка должна иметь за душой только то, что имела до встречи со мной. В моей конуре, приватно и частично, вольно ей быть человеком культуры, но стоит стать им всесторонне, сполна — горько же ей будет, когда дадут от ворот поворот, откажут от кормушки. Женщина не может безболезненно отказаться от всего, в чем ей откажут, молодая женщина — дважды. Если я не хочу ей зла, если минимально, по-человечески, люблю (а и в самом деле к ней привязался: началось это с того, что в метро она уронила сумочку, откуда вместе с «шикарной» косметикой выпала плитка гематогена — копеечного лакомства, столь любимого детьми — и милая эта черточка как-то запала в душу, и я стал вообще подмечать некоторые милые, забавные ее черточки, гримаски, даже «чокала» она и растягивала по-ихнему слова как-то, на мой вкус, певуче), то есть отношусь не как к своей креатуре, а как



к отдельной от меня реальности, исключительности — я должен либо уйти, либо сохранить ее только за собой: соединиться с ней. Последнего я делать никак не собирался, да и никому не пожелал бы соединиться со мной: предыдущие результаты удручали. Значит — уйти. Опять уйти.

17.

Не скажу, что это далось мне легко: не только я, но и она по-своему привязалась ко мне, более того, она уважала меня той детской частью своей души (часть эта была довольно велика), которую еще в золотые времена Позднего Застоя учили, что профессор — не чета продавцу, и даже не потому, что у него высокий оклад, а потому, что таков его статус (в сущности, и в Германии мясник зарабатывает больше профессора, но — знает свой шесток); она генетически понимала, что гусь свинье не товарищ, и, невзирая на мое, с ее точки зрения, до последней проплеванности бедственное положение, смотрела снизу вверх — временами, разумеется, особенно когда я входил в раж и бил Гегеля Кьеркегором, а Кьеркегора — святыми отцами. Грех жаловаться, представительнице следующего за ней поколения и в страшном сне не привиделось бы со мною связаться.

Связующее нас можно назвать дружбой при посредстве телесной близости; а дружба — вещь как известно, серьезная. Я в состоянии был отказаться от близости и продолжать дружить, в последовательности, указанной в пьесе «Дядя Ваня»; но как раз дружба-то, а вовсе не близость, в нашем случае и возбранялась, она-то и уводила мою хорошую с предначертанного ей безбедного пути.

Короче говоря, я снова ушел. Так уходил Колобок; пора было прекратить подражать ему, пока не напоролся на лису.

Кроме того, это уже дело десятое, но с магазином ее пришлось закончить, что отняло едва не половину скромного моего заработка. Но гуманитарная любовь к ней оказалась сильнее и личной привязанности, и эгоизма.

И задумался: а что же делал все это время? Не с ней, а вообще. Уйти ушел, а кого-то опять себе нашел, близость, разговоры, кулинарничанье, винокурение, все такое... На-

полняю жизнь, вместо того, чтобы расчистить ее, обнажив, освободив от всего, что мешает. Чему? А — исполнить то, ради чего уходил. Ведь я искал убежища не только от, но и для, и чем дальше, тем больше отдавал себе в том отчет. Идея вызревала исподволь, она формировалась уже в ясно чувствуемую, ожидающую, когда ей займутся, задачу.

Почему же я не решал ее, почему занимался всем, чем угодно, именно чтобы не решать ее? Да потому только, что более всего боялся того, что составляло ее основное условие: одиночества. Неприятная это вещь — одиночество, крайне неприятная. Настоящее, полноценное одиночество. Цветочки начнешь поливать со вниманием, а уж живые существа... ко мне тут мышь повадилась, так я ей сырку подкупал и кусочки в углу оставлял и водички в блюдецке. Хоть кто-то шуршит.

Как выбиться из порочного круга? Как, пребывая в программном одиночестве, перестать бояться его?

Так думая, я продолжал тем временем свои художества: варил темное пиво, гнал не только из сахара, но из многообразного сырья спирт, очищал его (довольно дорогая прихоть в связи с возросшей ценой активированного угля), настаивал на персиковых косточках, лесном орехе, черносливе, черной смородине, делал даже абсент, не существующий более даже во Франции, но существующий в виде рецепта в дореволюционной книжке (полынь, бадьян, анис, укроп, подкрашивается протертым шпинатом). Раздолбать молотком десятка два персиковых твердейших и неудобных для работы косточек — занятие не на 5 минут, осмелюсь доложить.

Пробовал я заполнить время и слушая музыку, но вынужден был отказаться: музыка переносила в прошлое, ставя лицом к лицу с собеседниками из былой эпохи, какими-нибудь «Битлз», невыносимыми ныне в своем сладком оптимизме, кисло-сладкой печали и слащавом бунтарстве 60-х, или Бахом, находящимся на недостижимо-спокойной, неспешно-величавой высоте, возможной — даже в потрясающем трагизме арии Петра из «Страстей по Матфею» — лишь в эпоху достаточно благолепную и стабильную, — так, по крайней мере, казалось моей издерганной душе. Опыт, некогда бывший и моим, у-своенный мною, воспринимался ныне как безнадежно,

раздражающе чужой. Увы, мне нечего было делать в этой славной компании, а новая музыка, как чудовищно упрощенная, так и чудовищно усложненная, лишь усугубляла депрессивное чувство распада, веявшего из нее, распада низменного или, напротив, иллюзорно высокого, той раздробленностью, от которой так хотелось удрать.

По той же причине не мог я долго читать и книги. Когда-то казалось: в пожилом возрасте будет чем заняться — начну перечитывать самое любимое за разные годы, самое пухлое: Диккенса, Вальтера Скотта, Монтеня, Пруста, Толстого... До пожилого возраста еще оставалось, но уже не перечитывалось: какой там Диккенс, какой Пруст, какие седовласые добрые джентльмены у камина в особняке, какие тонкости в описании Бальбека и Комбре, какая смерть на пятидесяти страницах рассказчиковой бабушки, когда кругом все великолепие человеческого дикарства Кавказа, не уравновешенное чистотой безлюдных кавказских вершин, и всякий дурак норовит не только иметь, но и взорвать для пробы свою гранату, а бабушек чьих-то вымирает на каждом шагу столько, что если смерть каждой начать воспринимать вдумчиво, — что там, если хоть чуть-чуть начнешь расширяться, а не суживаться в смысле добрых чувств, если начнешь нежнеть, а не бронзоветь душой, то самое время мылить петлю.

## 18.

И вот однажды лежу я на старом своем диванчике, потягивая свою — не зря же старался — черносмординовую и заедая малосъедобной, склизкой лепешкой из «Геркулеса», за хлебом не успел выскочить вовремя, а вечером его ищи-свищи, пришлось печь самому, опять же занятие, лежу и слушаю «Маниакальную депрессию» Джимми Хендрикса, одного из очень немногих, кого еще мог слушать, и барабаня в такт пальцами о стену, отделяющую от несуществующего соседа, думаю: жаль нет телевизора и денег на него не предвидится вскорости, уж он-то создал бы постоянный фон, и есть милые передачи: «Спокойной ночи, малыши», например... Стучу себе в стенку, стучу — и вдруг думаю, совсем в духе человека, которого очень не люблю, но который, пусть и без моего согласия, определил всю мою жизнь:

«Стена, да гнилая; ткни — и развалится».

И правда, прогибается стена, вибрирует, картонная.

И подумал еще: «Нет, но не могу же я...»

А потом: «А почему нет? Могу».

Что с того, что оно противозаконно. Не мне же, верному сыну своего народа, думать о таких пустяках? Нет, неправда, вообще-то побаивался; могли взять за одно место. Если проверят... Но кто сейчас и что проверяет? А если вселят? Но кто согласится сюда въехать? В 8 м<sup>2</sup>? Да и дом, кажется, назначен на слом.

И я не мог устоять. Еще не понимая почему, не расширения же хотел, сколько мне одному нужно, но зная, что зачем-то это мне очень нужно. Что это-то вот самое мне и нужно.

НО — как это делается? Вероятнее, всего, выпиливается. А как делается дырка, чтобы просунуть пилу и пилить? Отроду ничем таким не занимался — и заниматься не думал. А вот стало же интересно. Жизнь совершенно непредсказуема.

Бряд ли кому-нибудь важно, где я нашел людей, давших мне консультацию, снабдивших инструментом. Важно то, что я это сделал, довел дело до конца.

Итак, я отложил ножовку. Просто, как все гениальное. Еще раньше прибил кое-как к выпиливаемой части стенки ручку; теперь можно войти.

Проходя сквозь тонкую стену, испытал странное чувство легкого раздвоения: словно бы из одной пустой комнаты в другую начал переходить я, а перешел мгновенной, мышшиной тенью — уже не я. А в той пустой комнате остался кто-то. Тоже я — и не я. Чувство не проходило, и внезапно я понял: это-то раздвоения я и искал. Теперь можно опереться на самого себя — и не быть в одиночестве, оставаясь в совершенном уединении. У меня появился сосед — совсем непохоже на то, как если бы жил в двухкомнатной квартире; вероятно, привкус пре-ступления, перехода в чужое, не принадлежащее тебе пространство, в некотором смысле в мир иной, меняет все дело.

Комната была мала, пуста, если не считать небольшого пустого же стеллажа на стене и картонного ящика из-под французского коньяка «Реми Мартин» в углу. Пуст ящик иль нет, я не поинтересовался.

Немало пришлось продать ногтей, чтобы купить раскладушку, некогда стоившую 19 рублей, а теперь страшно сказать, и хотя бы тонкое одеяло. Пустая комната без лампочки, и раскладушка; пожалуй, другой обстановки для выполнения моей задачи не требовалось.

Поясню, наконец, о какой задаче идет речь, насколько ее можно сформулировать словами. Главное ведь не в словах... В сущности, я хотел просто заглянуть за темноту, за одиночество. В сущности, я хотел понять только одно, но самое важное: когда я останусь только собой, без обманывающих добавок социальных связей, без диффузных переплетений своей судьбы с другими судьбами, когда я удалюсь к себе, — что там встретит меня, в темноте, из которой выкачана вся видимость мира, что встанет между мной — и мной (или между мной — и еще кем-то)? Я хотел понять, хоть отчасти, что, кто такое — я, вот этот маленький теплый, влажный комочек пока еще жизни.

Мерзость окружающей действительности, не позволяя отвлечься ее видимостью, столь увлекательной и желанной в цивилизованных странах, столь уводящей в сторону, только подгоняли к сосредоточению на задаче.

Ясно было с самого начала, что человек в одной комнате и человек в другой не должны по возможности иметь между собой ничего общего. В своей комнате я теперь имел внутреннее право создать максимальный комфорт, в чужой — должен был сохранить самую аскетическую обстановку. Там — раскладушка, свеча на табурете, пустой стеллаж — и ничего более. Тут — полные книжные полки, в углу аккуратный ряд бутылок с настойками, вином и бродящим пивом, на подоконнике в ящиках вместо цветов киндза, мята, петрушка, кресс-салат, базилик, в другом углу — крошки для мышки. Тут — за неимением телевизора радиоточка, там — она отрублена. Я старался последовательно выдерживать характер во всем, что касалось саморазделения, никогда не подходил к телефону, проведенному в свою комнату, если находился в той, темной, не открывал в той же ситуации входную дверь по звонку редким гостям и, разумеется, никогда не говорил никому и не показывал обретенное сокровище. Напротив, тайный вход посередине стены загораживало панно из вьетнамской плетенки, купленное по случаю на толкучке.

1.

Так нас стало трое в квартире — к приличному господину, читающему лекции в приличной аудитории, и подбитому ветром господинчику с коммерческой полосатой сумкой добавился еще небритый полуголодный созерцатель, лежащий часами на скрипучей раскладушке и вглядывающийся в пустое неосвещенное пространство. Правда, на людях появлялось только двое — третий не имел права выходить иначе, как пройдя через тайную дверь и затем через законную комнату, на ходу успевая побриться, одеться, жевнуть того-сего и превратиться в одного из двух первых; но третий-то и был главным, ради него, может быть, существовали остальные двое. Поэтому назовем третьего — я, в первых двух объединим словом «я».

Я держал свечку в комнате как единственный источник освещения отнюдь не из романтического мистицизма, а из побуждений, можно сказать, практических. Верхнее освещение, а равно и торшер, и бра объединяют в своей ровной, мягкой обобщающей тональности человека и окружающую среду в обманчиво единое целое. Душа словно ступает по мягкому ковру, все приглушено, ни одного провокативного скрипа; что тут поймешь, в косметическом лживом уюте?

Не то — тьма; тут все, что не есть ты, наступает, надвигается, выдавливаясь из самого себя, являя собой угрозу всему твоему малому естеству... Да, малому; когда вас двое во тьме, ты и жена, женщина, вы замыкаетесь друг на друга, усиливая себя вдвое, доводя сцепленность до полноты защиты. Ваши чувства, ваше внутреннее осязание, способность к тревоге замкнуты, закорочены на самих себя; и темнота отступает, перестает восприниматься совсем — или воспринимается как нейтрально-мшистая, безразличная и вам, и себе самой среда обитания: набор бездушных предметов, кровати, шкафа, коврика на полу. Когда вы вдвоем — что там говорить, когда вы вдвоем, все не страшно, все спасительно до поры, но вот пора приходит, и один не в силах спасти другого от окончательного ухода во тьму, — и как тогда открывается вся иллюзорность этой защиты и этого бесстрашия! Зато когда

ты один, легким клубочком жизни лежишь в беззвездной московской ночи или в раннем ноябрьском вечере, — как ты неполон, ущербен, выщерблен, разверст для острия тревоги, как ты отомкнут, и каким неподъемным камнем ложится страх на твою жалкую душу... Но это уже — честно, без обманов нежности и уюта. Это, и только это, все большее это, и кроме этого, в самом конце еще только смерть.

Вот что я извлек из своего опыта уединения вначале; и в этом-то опыте страха с погружением помогла мне свеча, источник света слабого, еще более усиливающего ощущение мощи тьмы, ее дикой, подобной застывающему цементу массы, вдавливающей душу в тело, а тело в раскладушку. В сущности свеча есть образ меня самого со своим малым внутренним светом на грани внешней слепоты, невозможности увидеть хоть что-то вдаль, на будущее. На грани... Только свеча и луна... Впрочем, часто я обходился без свечи, оставаясь лишь при свете луны — слава Богу и за тоскливое серебро ее света... все ж таки света; потому что настоящей, полной темноты не в силах вынести никто.

Говорю: помогла в опыте страха, — будто мне и надо было испугаться, будто пришла охота долго-долго бояться. Кто же себе худого пожелает? А ведь и в самом деле хотел себе худого, хотел вернуться аукнувшемуся в детстве страху, откликнувшемуся во взрослом параличе воли, но в нем и притупившемуся; а без полноты его, без погружения внутрь страха в жизни чего-то главного не хватало, как когда я в первый и, должно быть, в последний раз, гостил в Париже.

Я был в городе, где цивилизация достигла не одного лишь могущества, как в Америке; здесь она приобрела от многолетней выдержки высоту вкуса, благородную сухость тона. Здесь алкоголь свободы и достоинства, пропущенный через активированный уголь воспитания чувств, очищен от «размахивания руками» и прочих сивушных масел. И здесь мне так не хватало того, что всегда вызывало во мне ужас и отвращение: запаха тлена, привкуса праха, тактильного ощущения жижи, вида дранки, торчащей из единственной стены раздолбанной хибары. Не хватало подкладки, испода жизни, где земное — лишь куча щебня, битого кирпича, всяческого сора, облитого кашей немете-

ного тающего снега пополам с мочой, плевками, кипятком лопнувших зимой труб, где зверь-баба в грязно белом халате швыряет тебе кусок говна с названием кратким «сыр», а запах выхлопного газа смешан с запахом тухлой помойки, где от жизни тошнит, а смерть ощутима, как женщина, лежащая рядом. Не хватало перечеркивающего всякую видимость знания. И сейчас я зарывался во страх, боясь того, и мучился от страха страха, но рылся и рылся, чтобы найти знание. Это не был детский же страх темноты, воображаемой угрозы, нет, но страх — перед некой реальностью, более или менее, остро или смутно, но всегда почти явственно ощущаемой. Но тогда — что это была за реальность?

Чувствуя себя бьющимся сердцем тьмы, я словно бы осязал рядом другое сердце тьмы, большее, ровно бьющееся напротив меня. Вся, сколько ее было, темнота сгущалась в живое существо, молча ждущее меня, существо, от которого каким-то образом — я чувствовал — зависела моя судьба. Что, точнее, кто это? Может быть, самое смерть? Или...

Я уже говорил о преследующем меня страхе смерти. Теперь остановлюсь на нем чуть подробнее.

## 2.

В детстве я спрашивал взрослых: а при коммунизме люди перестанут умирать? Самые честные отвечали: нет. И тогда светлая картина счастливого будущего омрачалась мыслью: а если нет — какое же тогда счастье? Зачем вообще тогда все это нужно, если посреди всякого изобилия и справедливости, всякой радости и сплошного удовольствия всех нас ожидает смерть, то есть всех навсегда не станет? К чему тогда коммунизм? Даже наоборот, насколько обиднее умирать посреди самого счастья, когда жить бы да радоваться, чем посреди какого-нибудь гнусного неравенства и произвола, когда и жить-то неохота — значит, и помирать не так жалко... Я их все расспрашивал, а они смотрели на меня как на сумасшедшего — им, взрослым, разумным людям эта мысль казалась более чем странной, она у них в голове не укладывалась. И я тоже решил, что, наверное, у меня не все дома — и постарался выкинуть ненормальную мысль из головы. Но она не уходила, и с



годами я все более не понимал, зачем жить, ну ладно, если родился — живи, но зачем хоть что-нибудь, тем более трудное и неприятное делать, если тебя в будущем ждет безусловно только одно: полная, окончательная, не подлежащая обжалованию и смягчению смерть? И еще одно: неужели итог (и награда) всякой жизни: матери Марии и Лаврентия Берии, Януша Корчака и Генриха Гиммлера — всегда один и тот же: высшая мера?

Вот если бы люди умирали, но не все. Или все, но не навсегда: умирали, а потом рождались бы опять и с новой силой устремлялись бы к новым свершениям. Но умирают все. И все умирают навсегда.

Шло время, я все никак не мог понять: как эти люди, каждый в отдельности и целые народы, вместе взятые, могут что-то делать, как-то существовать, живя в ситуации неминуемой вышки? Между тем они продолжали жить-поживать и добра наживать, как бы говоря: да, смертен — ну и что? Я же не понимал ни левых, ни правых, ничьих; я думал: или я прав, или они. Но поскольку их очень много, самых разных, и они не сговариваются, а я один, то, очевидно, правы они. А поскольку я всем сердцем чувствовал свою правоту, то... то вероятно, я не в своем уме. У меня маниакальный страх смерти, описанный в клинической картине какого-нибудь психоза.

Но то, что меня волновало, казалось столь ясным, что я не мог остановиться, сочтя себя безумным, и продолжал чего-то искать наощупь — пока, наконец, к величайшей радости своей, не обнаружил: совершенно нормален. Во всяком случае, у меня тьма единомышленников среди всех народов мира. Просто искать их надо не в настоящем, а в прошлом — на протяжении тысячелетий, за исключением последних жалких двухсот лет. Впрочем, и здесь были единомышленники, но они уже не были выразителями духа времени, его нормы.

Но и единомышленники, приняв меня в свою мощную трансвременную группу, могли дать лишь некоторое облегчение: избавив от одиночества перед лицом смерти, они не могли, конечно же, защитить ни себя, ни меня от нее самой. Все же в компании жить до смерти было легче, да и сила страха с годами притупилась вместе с общей силой чувствования. Но и по сей день нет-нет, да и случались перфорации в моем «нормальном» самочувствии:

словно перегорал предохранитель — и мгновенно я видел смерть перед собой, не заслоненную никакими житейскими попечениями, видел в настоящем, а не в будущем, как если бы не: умру, но: сейчас умираю.

Но видение смерти не зависело строго от одиночества, оно редко, но могло явиться и в самой шумной компании — и все разлеталось, исчезало, оставалась только она ... Нет, сейчас, в темноте, являлся кто-то другой, хотя, может быть, и очень даже связанный с ней.

Почему же приход его вызвал именно страх? Не знаю. Но знал очень хорошо, откуда он рождается: из непонятого чувства вины. Непонятого, потому что я не мог взять в толк, в чем так уж провинился. Как ни крути, не настолько уж я хуже других, а в наше нестрогое время, пожалуй, и получше некоторых; кое-какие нравственные убеждения, пусть предубеждения, еще сохранил «от юности моя». Но чувство вины не проходило — и все. Он не собирался сравнивать меня с другими, он словно ждал чего-то только от меня, меня одного, но я не мог ему ничего дать — и только стыдился.

Чувство вины и стыда усиливалось, когда я вглядывался в темноту, более или менее испив «вина и сикера».

Я сумел ценой разделения надвое, оставив некоторые привычки тому «я», которое занимало законную комнату, отказаться почти от всех способов развлечения и рассеяния, не говорю — наслаждений, зане самое это слово для умного человека звучит в наше время в нашей стране глупо, и вел жизнь, с точки зрения современности, почти аскетическую. Исключив из жизни такие сильнодействующие наркотики, как кино, театр, телевидение (убежден, что культура нашего века в ее стержневом и векторном должна определяться не тем, что она модернистична, или постмодернистична, или традиционна, а тем, что она, во всех ее видах, наркотична); оставив соседу, «я», курение как иллюзорный, но действенный способ заполнить свою принципиальную неполноту, выщербленность, закрыть ее, как plombой, от кариозной боли встречи, от самой возможности прихода в стрелного, воссоединиться с собой же, тогда как — я уже знал это — воссоединиться надо с другим, я не нашел в себе силы отказаться от одного наркотика: спиртного. Это грустное удовольствие я не в силах был отринуть совсем.

Дело, кажется, в том, что алкоголь имеет одно, но существенное отличие от прочих наркотиков: в то время, как те уводят в иллюзорные пространства, заставляя упиваться послушными миражами, порождениями своих же желаний, низменных инстинктов или элитарного сознания, алкоголь и впрямь подключает человека к истине, вводит его в пространство реальности. Неслучайно только о вине мы и думаем, что оно дано Богом (конечно, я не осмелюсь утверждать того же о водке, о спирте). Полно, могут спросить, а гашиш? А ЛСД? ЛСД не пробовал, ничего сказать не могу, травку курил и от занятия этого не в восторге, действие препоганое, реакция самая неадекватная — и этот глупый смех, слюнявая расслабленность. Вообще говоря только о своем опыте: человек глубоко русский, я привержен тому, что есть веселие на Руси — и никакому героину с этим ничего не поделаться. Я инстинктивно опасуюсь химии, белого порошка, таблеток. Да и они меня не любят, надо сказать. В молодости, помню, был со мной презабавный случай. Один наркоман полюбил меня за то, что я щедро давал ему слушать дорогие диски Хендрикса и «Дорс», и как-то раз преподнес мне поллитровую банку опиума сырца — как я понял, царский подарок. Я категорически отказывался, но он сказал: пусть будет на крайний день, вот плохо станет, обязательно ведь станет, и тогда вовсе не надо колоться, раз уж я так этого боюсь, а просто — отпить полстакана. Ну, я спрятал эту банку в портфель, от всех подальше, все боялся ее пролить, и ходил с нею на работу; а работа у меня была такая — методист по фольклору в областном Доме народного творчества. Это была творческая работа, где два гармониста целый день пели матерные частушки наперепев, а я спал в директорском кресле, а директор вообще на работу не приходил, а к концу дня мы скидывались по рублю, и я как самый младший шел на угол. Потом все уходили на час-полтора раньше, а одного по очереди оставляли дежурить на телефоне. Вот как-то раз я остался дежурным, уже после бутылки «Южного», вялый, тоскливый: жизнь проходила не для чего, у человека с высшим образованием. И решил — пора пришла. Вынул банку — и отпил с полстакана, уже на спиртное. И так сладко заснул в директорском кресле! Мягко, ласково — и более ни-че-го.

А остаток я все носил в портфеле, пока он не прокис, и вонища сделалась неимоверная. Кому-нибудь скажешь: «У меня опиум прокис», — смеха не оберешься; а ей Богу, так оно и было.

Но к делу. Почему я осмеливаюсь утверждать, что алкоголь не уводит от реальности, а подключает к ней? Вот почему. Каков я в обычном состоянии? что чувствую прежде всего? Самое первое — выделенность из окружающего, противопоставленность ему, замкнутость в себе. В лучшем случае — тонус, добрый взгляд на мир, как набор препятствий на пути к цели, препятствий, который я сейчас со вкусом начну преодолевать. В худшем — обилие препятствий, их массивная предметность давит, заставляет опустить руки.

Но ведь это же и есть пресловутое противопоставление «субъекта» и «объекта», классическая ложная картина мира, критикуемая всевозможными философскими и религиозными школами!

А теперь возьми и выпей — предположим, хорошего портвейна. Что произойдет? Прежде всего — размыкание моего «я», подключение его к окружающему или окружающим, сли-яние со всем миром.

То есть — снятие субъектно-объективной оппозиции вплоть до полного иногда неразличения «я» и «не я» (когда пьян в дымину).

Да, алкоголь подключает к истине, но все же это наркотик, вещь страшная — ибо подключает к истине ложным, по своему оккультным, запретным путем. Об этом, о том, что, напившись в стельку, мы нарушили какой-то глубочайший метафизический запрет, свидетельствует утреннее похмелье (иногда уже раннее, вечернее), тяжелое, глубинное чувство стыда, вины, осложненное удесятеренным, погромным страхом смерти. «Чего я боялся, то и постигло меня». За что тебе стыдно, даже если ты не сделал накануне ничего скотского, если пил один и никого не мог оскорбить или огорчить — за что, почему всегда, всегда без исключения стыдно? В чем твоя вина и откуда этот умноженный чудовищный страх?

А вот оттуда — из мистических глубин бытия, из бездн, куда ты погрузился до времени, до разрешения, незаконно — и вот наказание за преступление: лежи и мучайся, и переживай свою смерть до смерти, как ты исследовал

истину до разрешения ее исследовать, переживай ее, повернувшись к тебе своей темной стороной, стороной распада, аннигиляции, обращения в исходное ничто.

Сколько раз я по-разному испытывал состояние похмелья, то мучаясь несказанной тошнотой, то как бы «подлетая» к потолку (когда к голове приливает кровь, надувая ее, как взлетающий воздушный шар) то, напротив, чувствуя, как немеют, словно покрываясь мелом, мозг, губы, кончики пальцев, до которых по перекрытым сосудам не доходит кровь. Боже, как я мучился — а все-таки снова и снова сознательно погружался в этот кошмар, входил в этот штопор; следовательно, хотел снова и снова испытать наказание за переход черты, наказание пусть даже мучительное: ведь таким путем и только им я мог снова и снова убедиться, подхлестнуть свое маловерие: нарушение обязательно карается, значит есть тот, кто карает, он мне не привиделся.

И еще похмелье порождало скорбь: чувство, что не один я, но «вся тварь» смертна, брэнна и в смертности жизни своей легка, почти невесома, сколько бы я ни утяжелял себя подвижностью и неподвижностью, вся тварь беспомощна, как беспомощен и весь мир, загаженный, отравленный, отправляющийся в тартарары; но до смерти надо дожить, то есть страдать, и те, кто веселится и ликует сегодня, уже несут в себе, не зная того, семена завтрашнего страдания; и скорбь моя — одинокое, бесполезное, спокойно горькое со-страдание всему еще живому — ширилась, обнимая собою всех — и никого, ибо я лежал наедине с собой, никого не обнимая, не представляя рядом.

А иногда я думал, что глубоко заблуждаюсь, «обманываться рад», что алкоголь, как и все прочие наркотики, ведет в ложное духовное пространство, и каждый раз, выпивая, мы платим цену просто за необходимое многим регулярное духовное приключение — отправиться «подальше от грешной земли», надоевшей до отупения, попытать, так сказать, счастья, в мире ином, и убедившись, что тот мир, который ты познаешь при помощи алкоголя, при всей своей первоначальной увлекательности, в конце концов не подарок, с облегчением, даже через муки похмелья вернуться на землю — и на какое-то время понять: все в порядке, ты там, где надо, все-таки этот мир — лучший из возможных. Может быть, я относился к этим псевдо-

мистикам, горе-сверхестествоиспытателям — и тогда хорошего обо мне сказать было и подавно нечего.

#### 4.

Все же не надо думать, будто я постоянно прибегал к спиртному. «Снова и снова» означает от срока и до срока, некие разовые, пусть и нередкие, опыты. Я следил за тем, чтобы не опуститься, отличая духовный эксперимент от банального пьянства и распушенности, прикрывающихся высокой целью.

...Бывало однако — и частенько: комната молчала, и он не приходил, сколько бы я ни всматривался в темноту, трезвый или под градусом (и, надо сказать, под градусом мне редко доводилось встретиться с ним, видимо, он не благоволил поискам его в состоянии эйфории). Тогда я уходил из убежища, превращаясь в «себя» (я старался не злоупотреблять быстрыми превращениями, чтобы не подвергнуться справедливому самонареканию в комфортабельности жизни, которую устроил себе, раздваиваясь по скорой мере надобности, вместо серьезной полуаскезы исследования), или — чаще — оставался лежать на скрипучей раскладушке, небезучастно наблюдая непрерывное, осязаемое, как медленный укол плазмовидного тела в мышцу, прохождение времени сквозь душу, его действие, неизменное, регулярное, подобное химическому: алкоголя, таблеток. Где-то с восьми — полдевятого вечера без видимых причин, вводимая одним лишь движущимся временем тоска начинала теснить грудь, усиливаясь все более по направлению к ночи, превращая душу в маленькое, горестное, затравленное существо, сжимающееся от ежесекундных незримых уколов неизвестно чего в темноте; но вот время доходило до половины двенадцатого — и что-то менялось, словно тоска, дойдя до своей высшей точки и плавно двигаясь дальше, обязана была незаметно перейти в светлое чувство: душа разжималась и, уже безболезненно, даже охотно принимая в себя инъекцию движущегося времени, ширилась, наполняясь слабой, беспричинной, не мотивированной даже физиологически, химически радостью существования, радостью самой себя; радость, доставляемая алкоголем, тоже немотивированна — ничего хорошего не произошло, но она по крайней мере объяснима, материалистически, фи-

зиологически, химическими процессами, происходящими в крови — здесь же налицо чистая мистика воздействия нематериального, но живого времени на душу.

Во всяком случае, такое регулярное действие времени наводило на мысль, что время — не просто, как учит Кант, форма нашего восприятия, но самостоятельное, живое, повторяю, существо со своими циклами жизни и смерти и, участвуя в умирании дня, естественно испытать чувство тоски, горечи распада, а попадая затем в полночь, в еще эмбриональное, но уже начало жизни следующего дня, по мере продвижения в утро заражаемся от него беспричинно легким, светлым (хотя на дворе густая темнота) дыханием детства, его самовластной, пусть еще и утробной — в лоне ночи — радости...

Затем я мог заснуть; сон ведь приходит тогда, когда о нем не думают, ищут не его, а другого — и в зависимости от того, на каком боку его встречают. Должен сказать, что вообще заснуть — дело непростое, и если уж искусство просто засыпать не дано человеку от Бога именно как дар, а не как искусство, то оно не терпит дилетантизма, это именно искусство или наука — одни сопутствующие обстоятельства чего стоят: не так подвернул одеяло — и нитяной луч холодка бередит твою шею возле ключицы или тревожит ступню — и долой наступающий сон! или не под тем углом, слишком низко или слишком высоко положена подушка; или слишком плотно вставленные «Беруши», так, что распирает голову, или, наоборот, «Беруши» вставлены недостаточно тщательно, и слышно, уже не сплошным уютно тихим гулом, а ясным текстом, как наверху наездами бывающий дома летчик невротически-привычно кроет жену, упрекая в очередной гипотетической неверности... Но главный враг сна — безусловно, само желание заснуть, не спать, а именно заснуть, — ибо сон, повторяю, любит только тех, кто не ждет его с надеждой и страхом.

Я не говорю уже о том, что сон приобретает почти всегда ту или иную форму: право- или лево-боковую. Сны левого бока — у меня, во всяком случае — сны воспоминания, сны ностальгические, воскрешающие, и потому они почти реалистичны, во всяком случае, точны в деталях — и долго помнятся потом, долго мучают, ноют, время от времени краешком просовываясь в явь и покалывая и

душу сладко-гнилостной болью. Так припоминается во сне цвет глаз женщины, которую любил, цвет, окрашивающий во сне же ее мучительный голос — и этот карий голос продолжает нет-нет, да и подстеречь тебя в яви в самый неподходящий момент, мешая любить ту, которую любишь здесь и сейчас; или: с тех пор, как я несколько лет назад побывал в Париже, сам не веря в исполнение юношеской мечты, один и тот же сон с небольшими вариациями в деталях: господин на перекрестке, почему-то меняющий на мои последние три рубля десять франков, моя самарская тетка, с радостным криком выходящая с авоськой мне навстречу из Лувра, деревянный ларек с надписью «Пива нет» на углу бульваров Монпарнас и Распай, — преследует меня на левом боку. Я могу брести по улице Риволи, или парить, раскинув руки (с детства продолжаю летать во сне, в самых счастливых снах), над Нотр-Дам, или пролетать под Триумфальной аркой, или сидеть за стаканом пива — что я мог себе еще позволить? где-то в Латинском квартале, но всегда в конце концов оказывался почему-то — ведь, казалось бы, не столь развратен — на улице Сен-Дени, в ночном свете ее розовых фонарей, превращающем вытянутый нескончаемой цепью фронт самых настоящих парижских проституток с их резкими, крупными, уродливо-привлекательными чертами лиц (точнее, масок, количеству румян, черной и синей туши и карминной помады на которых могли бы удивиться даже московские школьницы), потрясающих шлюх; одетых кто в сетчатый лифчик и пояс с черными сетчатыми чулками, кто в романтической наряд а ля Кармен, с красным кушаком, призванным, видимо, дразнить быков-мужчин, кто в роскошное вечернее платье с круглыми дырами в районе груди, откуда агрессивно торчали нацеленные соски, кто в подвенечное платье с фатой, из-под которой смотрела нежно-дымчатым взглядом мерзкая носасто-губастая харя, — в розовом свете, превращающем этих безразличных проффи, эту активную протоплазму в цветное кино твоего детства, где ты внезапно обнаруживал себя самого в качестве героя невероятного франко-итало-советского фильма, в кино, где уродливо эффектные в аляповатой сказочности освещения твари, вместо того, чтобы вызывать ощущение грубо эротические и прямиком стремить к половому контакту, представляли романтической вереницей оцепенелых Гутиэре,



мимо которых скользил ты холодновато-ночным Ихтиандром, иступленно ненавидимым отсутствующим во сне зримо, но, как это свойственно снам, явственно отравляющим своим закадровым дыханием счастье парижского сновидения злодеем Педро Зуритой. Что доказывало: слой грубых и сильных романтических переживаний расположен в душе, что бы ни думал Фрейд, глубже, нежели переживания сексуальные, так как переживания романтические, переживания майнридовского морского волчонка имеют в основе наипервичнейший человекообразующий импульс: тягу к воссоединению со своим Создателем, Отцом, тягу к запредельному, всего лишь искаженную, атеизированную и деградировавшую впоследствии в переживания майнридовского и гриновского толка. Для отрока, в ночи глядящего эстампы...

Право-боковые же сны описанию не поддаются именно потому, что они, в отличие от лево-боковых, не запоминаются, в памяти от них остаются какие-то отсевки — например, я испытываю отвращение к крокодилам и всяческим ящерам и ужасно боюсь увидеть их во сне, где они особенно мерзостно тянутся именно к тебе всей кривой лопатой зловонной пасти, норовя тебя пожрать, и потому отчетливо, долго помню их, если уж доведется увидеть, помню, просыпаясь на правом боку, как из неразборчивой мешанины сна, из которой выделило только домик с протекающей крышей и суровой ниткой в центре ее, — как из открытой двери этого-то самого самарского домишки высунулась склизкая страховидина с гигантским пупырчатым огурцом хвоста и облизнулась — и тут же проснувшийся мозг посылал мне спасительную, счастливую мысль: «У нас на Волге крокодилы не водятся!» Кроме того, в право-боковых снах мне частенько случается бить кого-то ненавистного, чего я никогда не делаю в жизни, — и удары мои всегда падают мимо, никогда не достигают цели.

## 5.

Но бывало изредка и так: лежал без сна, не страдая от бессонницы, но до краев наполненный жидкой, колышущейся душой, и ощущал странную подвижность, пластичность моего тела, словно менявшего очертания от давления души, напряжения ее, натяжения в том или ином

месте тела — мои ноги вдруг оказывались удлинёнными в бесконечность, ступни отодвигались далеко-далеко в темноту — или же я ощущал одну ладонь как слитную массу, как кожаную варежку, а не перчатку, тогда как вторая ладонь привычно-ощутимо увенчивалась пятью стрелами пальцев; то все тело вытягивалось в ромб, то в вялорастягивающуюся нить наподобие жевательной резинки. Тогда я начинал чувствовать — не мыслить, но чувствовать — странную относительность своего тела, а затем и самого понятия «я», некую его словно бы случайность — что вот в это прозрачное во тьме вместилище вполне могло бы войти другое «я», и оно стало бы командовать всем этим механизмом, двигать руками и ногами — как необычайно странно, что всегда, в с е г д а , просыпаясь, я обнаруживаю в себе одного и того же себя, т. е. могу восстановить непрерывность воспоминаний, протянуть нить из моего прошлого в этот миг. И тело становилось все прозрачнее в темноте, волны дыхания все шире и ровнее, — и вдруг я ощущал: о н вошел, присутствует здесь, но не как о ж и д а ю щ и й , не как судья, — но просто идет ко мне и спокойно входит в меня, и вот я весь сочусь тихим светом, не имеющим температуры, светом, заливающим каждый уголок души, не оставляющим места ни тоске, ни сухому раздражению, ни скупой скуке, и я счастлив. И, растворенный в свете, расплавленный им, засыпаю. И, когда просыпаюсь, опять обнаруживаю себя без света, но с п о с л е с в е т и е м в душе.

## 6.

Но, повторяю, он не приходил «по заказу»... О чем же я думал тогда, лежа без сна? Да хоть о моем соседе, «я». «Странный у меня сосед. Как можно, будучи человеком, читавшим, пусть и в переводах, Гельдерлина и Валери, знающим, какие здания в Москве строил Жилярди, какие — Бове, а какие — Афанасий Григорьев, дойти до того, чтобы якшаться с этой шушерой: директорами, товароведками, продавцами коммерческих магазинов, мало того — с кавказцами из ларьков; и не просто якшаться, но улыбаться, говорить комплименты, чуть ли не породниться с этой публикой.

То, что люди эти все же прикосновенны к европейской цивилизации, можно узнать лишь потому, что они курят не «Беломор», а «Винстон». Они должны быть органически антипатичны всякому интеллигентному человеку, если это слово еще в ходу и если оно обозначает то, что обозначало десяток лет назад. Как можно быть — или так быстро стать — таким лицемером, чтобы жить с ними душа в душу. Противно то уму, как писал Сумароков. И добро бы еще продаться за БМВ или хотя бы за «Жигули», а то ведь за жалкие 50000 в месяц. Щенячий уровень продажи!»

А «я» в своей комнате думал обо мне: «Нет, это не простое чудачество, и не только психологическая интровертность, и не только: «Оставьте меня в покое!» Это самый настоящий снобизм, снисходительное презрение к своему времени, может быть, самому гадкому, но и самому важному, самому открытому в будущее за всю историю России, а может быть, прямиком ведущему к самому настоящему концу света; времени, которое, как никакое другое, зависит от нашего воления, нашего приятия его. А здесь: «Я выше времени, я — вне или внутри его, но я живу сквозь время, нимало от него не завися, ничего не желая давать ему и брать от него. А ведь умный человек, не без совести и стыда. И не желает брать в толк, что вечность дается во времени, растворена в нем, а не возносится над ним. Меня тошнит от его высокомерия, и я еще должен обслуживать его, зарабатывать ему на хлеб, которого он якобы не желает брать от времени. Тьфу ты, пропасть!»

## 7.

Так мы думали друг о друге, но вынуждены были сосуществовать вместе; а тем временем со мной в чужой комнате начали происходить странные вещи. Я думал использовать мертвую, чисто вещественную комнату и ее пустое, мертвое пространство для своих нужд; но она оказалась живой, обладала собственной активностью и начала приспособлять меня для своих целей. То, что в ней жил писатель, видимо, не прошло ей — и тому, кто бы ее занял — даром. Видимо, здесь образовалось то, что в Церкви называется «намоленностью», но, так сказать, в светском варианте. Именно же, стоило мне вспомнить ка-

кого-то знакомого, присовокупить брошенную кем-то фразу, или если кто-то рассказывал коротко историйку, — и вот все разворачивалось перед моим мысленным взором, приобретало то конспективную, то развернутую, обремененную бытовыми деталями, то сказочную форму, приобретало сюжет, меняло в зависимости совсем не от меня, а от каких-то своих внутренних нужд стиль и просилось быть записанным на бумагу, сколь бы незначительным ни казалось...

В конце концов, меня заинтересовало, чьей комнатой я пользовался. Что за человек этот писатель; или, может быть, что за писатель этот человек. Не так чтобы уж очень сильно заинтересовало, но все же... Но что я мог о нем узнать, если он никакого следа по себе не оставил? Впрочем, не совсем так: от него остался ящик из-под коньяка «Реми Мартин». Для сыщика и горелая спичка — след, а тут — целый ящик. Почему комнату освободили от всего, кроме этой коробки? Пуста она или нет? Кто мешает посмотреть?

Ящик был оборван, не закрыт, а заткнут грязной тряпкой. Любопытство преодолело брезгливость; вынув тряпку, я увидел небольшую пачку рукописей.

На верхних двух имя автора было забелено. Ниже стояло: «Из цикла: «Разговоры запросто». Первая датировалась 1977 годом и называлась: «Савонарола, и все тут». Здесь — говоря совсем коротко и упрощенно — шла речь о том, как некто Абдульчик, написавший повесть экстра-класса по уровню литературного мастерства, но «всего-навсего про любовь», зазывал писателей к себе домой слушать ее, а затем объявлял очередному восхищенному слушателю, что принципиально не намерен печатать ее, дабы личным примером подвигнуть других не умножать поток текстов, заглушающий голос весьма немногих, вышедших на протяжении нескольких тысяч лет на уровень «главной правды».

Рассказ производил странное впечатление. В нем ностальгически чувствовались 70-е, когда человек, даже набивший руку в литературе, вдруг способен был ошарашиться горячей мыслью так, что вещь его звучала, как горячая же первая проба пера, где можно было ожидать всевозможных влияний — от Зошенко и Булгакова до Солженицына, и все равно все покрывалось, обобщалось «сво-

им» жарким маревом, где герои говорят явно не своим и явно своим голосом... Безусловно, я не был согласен с главной мыслью, измучавшей то ли реального, то ли воображаемого (скорее второе) Абдульчика; вообще, сдается мне, одержимость правдой мало общего имеет с самой правдой; например, пророческие притязания Гоголя, а потом Достоевского (так не любившего и пародировавшего Гоголя, да потому именно и пародировавшего-то, что в высшей степени чувствовал ненавистное начало в себе, но уже как любимое), по-моему, дальше отстоят всей непробиваемой мощью гордыни от проповедуемого обоями христианства, чем простое, без сверх-литературных амбиций, смиренное делание своего дела Гончаровым, Островским или Чеховым (таковы мои взгляды, вкус же предпочитает — вот подлость — именно Достоевского). Я искренно убежден, что красота языка, мелодия отношений героев, свет интонаций, зажигающий одни краски рассказа и приглушающий другие, сами по себе имеют Божию санкцию, право на жизнь, ибо они есть правда и смысл, высказанные Им через нас, понятные до конца лишь Ему в причинах и целях своего происхождения на свет. Мы же можем лишь сказать: «Зачем? Затем!»

И тем не менее здесь слышался больной нерв, который в сущности определяет все в русской литературе, который сообщает заезженной мысли музыкальную остроту, заставляет навязчиво звучать в мозгу читателя. Поступок, реализующий даже, казалось бы, трюизм, всегда нетривиален. Этот поступок — вопрос, который отзывается не только в слегка раненном сознании рассказчика, но и в моем сознании ожиданием ответа, отзвука, эха.

Второй рассказ, как я понял по его прочтении, и был таким отзвуком, если не прямым ответом, то именно эхом, отложенным на год: он датировался уже 1978 годом и назывался «Селивохин и Кострецов». Привожу его полностью:

## 8.

«Было: лето, позднее утро и разговор в старой чисто-прудной квартире. Разговаривали: хозяин квартиры писатель Селивохин и его друг портной Кострецов.

— Вот у тебя пес, — сказал Кострецов. — Доберман. Дурак-дураком. Но ты же его не убьешь?

— Я, по-моему, и чужих собак не трогаю.

— Хорошо, хорошо. А почему?

— Ну, как? Живая она тварь, ну и все.

— Ага, — азартно протянул Кострецов, — а теперь идешь ты, скажем, на Центральный рынок, а там туши висят. Мясо. Была корова, а стала — мясо. И что вот ты думаешь, на все это глядячи?

— А что я должен думать? Рыдать, может? Чего ты прицепился? Хочешь, опохмелю? Тебе «Сибирской» или, может, «Посольской»?

— Да нет же у тебя ни той, ни другой. Нормальная-то хоть есть?

— Грамм сто пятьдесят, — смутился Селивохин.

— Опять, значит, не писал, образина, — удовлетворенно отчеканил Кострецов. Селивохин отвернулся, потом направился к комоду, служившему у него всеразличным вместилищем, в том числе и баром; точнее — тем, что единственно бывает вместо бара у русского человека: складом пыльных пустых бутылок нестандартной формы, между которыми помещена одна свежая, стандартная и неизвестно почему недопитая еще вчера, с первого захода.

— А теперь, — хлопнув рюмку «нормальной», продолжил неумолимый Кострецов, — дальше. Прав ты, Селивохин, не должен ты рыдать, глядя на это мясо. Но почему?

— Да не рыдается как-то, и все.

— А не потому ли, — поднял Кострецов палец, — не потому ли и не рыдается, что никто ни в роду твоём, ни из друзей детства — и сам не рыдал, и тебя не учил? Наоборот, учили мясо кушать. И научили.

— Ну и что?

— А думал ли ты, Селивохин, — хлопнув другую рюмку, продолжил Кострецов, — думал ли, что корова или же свинья — младшие сестры твои?

— Фу ты, толстовец выискался на мою голову. Кто вырезку жрет все время, Пушкин? Слушай, иди спать.

Кострецов, довольный, что «завел» спокойного своего друга, продолжил наисладчайшим голосом:

— Видишь, ты не думал. А умрет твой доберман — подумаешь.

— Может. Ну?

— А между тем прав буду я, когда скажу, что и собаки, и коровы, и свиньи — равно живые существа. Потому буду прав, что это очевидно. Как очевидно и то, что жалеть их всех надо равно. Или равно не жалеть.

— Допустим. Ты постыди еще, может, проймешь. Зарыдаю и стану добрый.

— А я к чему веду?! — обрадовался Кострецов. — Выходит, я прав, а ты меня не слушаешь. Почему? Потому что моя нравственная правота тебе некстати. И ты предпочитаешь другую, более тебе на сей случай удобную правоту традиции и потребности. Хотя меня и не оспариваешь. Так?

— Примерно. Ну?

— Вот в этом смысле, не споря, что писать на продажу — безнравственно, я приглашаю поглядеть на все дело с другой стороны. Будто ты — не ты.

— А кто я? — Селивохин крикнул и закусил пряной мойвой из большой жестяной банки.

— А ты будто тот, кто красной икрой закусувает. Если черная надоела.

— Ага. Ну давай поиграем.

— Это ты играешь, — строго сказал Кострецов. — Пишешь в стол, как дитя куличики лепишь. А если ты пишешь для денег, то вовсе не играешь. Ты работаешь. Чтобы жить. И жить хорошо. И так и живешь. То есть существуешь как биологическая особь. Которая живет, чтобы хотеть есть, и получать, чего хочет. Только у обезьяны — хвост, у камбалы там — два глаза на одном боку, а у тебя — пишущая машинка. Функция белуги — икру метать, а твоя — ее кушать. Для этого белуга нерестится, а ты стучишь по клавишам. Цель и смысл твоей писанины очевидны, а я говорю: «Приветствую вас, товарищ Селивохин, вы живете для своей ясной цели и вот теперь в наших замечательных Сандунах можете выгнать всех из парной и попариться всем на удивленье шампанским».

Селивохин вздохнул и докапал в рюмку остатки. Он чувствовал, что начинает потеть, и переносил это напоминание о лишнем весе, как всегда, болезненно.

— Не вздыхай, брат. Зная, что как скоро пишешь ты не для денег, то, — говорун Кострецов уже вошел в головукружение слога, — у тебя их и нет. И могу утешить,

не будет никогда. Я со своей стороны... — Тут он отворил портфель, и на столе образовалась еще одна за 4.42.

— Но пойдем дальше. Хотя трудно с тобой, Селивохин ты этакий, трудно. Все перебить норовишь...

Селивохин, в самом деле уже открывавший рот, молча его закрыл. То, что он написал позавчера, казалось ему жуткой фанерой, отчего вчера он действительно не писал вообще. Он чувствовал себя полным нулем и не видел права противиться кому бы то ни было. Даже садисту Кострецову. Но возможно, с надеждой думал Селивохин, это просто симптомы похмельного стыда.

— Для чего же ты пишешь? Спрашиваю вдругорядь. Переберем варианты.

— Итак. Следующий вариант — ты пишешь, чтобы тебя читали. Для, так сказать, признания. Но печатают тебя мало.

— Два раза. И самую шелуху, ты же знаешь.

— Добавь — за девять лет работы и за шесть, что ты носишься по редакциям.

— Именно. Ты мой первый биограф.

— Стоп. Все это закономерно связано с тем, что ты не пишешь на продажу. Тут на знакомства. Долго отработываешь свои швы и борта.

— И со многим прочим.

— Это нас пока не касается. Пока важно, что ты получаешься как бы взыскательный художник.

— Ну уж ты загнул, — смутился Селивохин. — Но хоть бы и так.

— А коли так, то совсем ничего хорошего не выходит, мощный друг ты мой. Ведь чем более ты взыскателен, тем, значит, дольше идешь к цели. То есть, менее печатаем. А стало быть, и читаем. А значит, и признан. И ты, как сознающий толстяк, это понимаешь. Сознательно на это идешь. Стало быть, и признание не есть твоя цель.

— Едритская сила, ну прав ты, ну и что? Может, я для вас пишу! Для тех, кого лично знаю и люблю! Может, мне надо, чтобы десять моих друзей меня читали и ценили! И все! Ты вот ценишь, меня, допустим, и хорошо.

— Ты, главное дело, не ври, — наставительно сказал Кострецов, — а то я тебе больше пить не дам.

— А у тебя еще, что ли, есть?



— Что у меня есть, — осадил Кострецов, — то мое! Я частник, мелкий буржуа. Могу давать и не давать, как захочу. Имею право. А вот ты врать не моги, не то бросай к едрени матери свою писанину! А что, научу шить брюки — и заживешь.

— Может, я начну писать на продажу, тебя вот послушавши, и тоже заживу.

— Чудак человек, легче брюки. И душу ломать не надо, и с клиентурой посвободней.

Селивохин засопел, ткнул окурок в тарелку со вчерашними остатками варева из концентрата «Суп грибной праздничный», засопел громче.

— Да в чем же я вру-то, по-твоему, хищник?

— У-тю-тю... Занервничал. И правильно. А врешь ты, милый мой, в том... Скажи мне, с друзьями что хорошо? Выпить, веничком похлестаться, так? С пивком на Поваровке постоять, а? И тут выявить свой талант. Скажем, глядишь вокруг — и догоняешь что-нибудь этакое, детальку какую-нибудь такую. Там сушка соленая плавает в луже, и туда же человек писает, норовит в сушкину дырку попасть. Тут ты и схватываешь сочным мазком, точным словом поэта и преподносишь мне или дяде Мите. И мы аплодируем. Мы смеемся любовным и уважительным смехом. Притом — никакой цензуры! Ведь вот как замечательно, и мы еще долго приводим твои словечки в кругу знакомых. С указанием фамилии! Чего тебе еще? А ты — нет, ты все норовишь наблюдение-то запомнить, а потом в книжку вставить. А? Никак нет, тюфяк ты, Селивохин, не проходит и этот номер.

Селивохин, опохмелившись, любил вздремнуть, а не вести умные беседы. Стоило ему прикрыть глаза, на месте Кострецова возникала тарахтящая швейная машинка, от гуда которой распухало в районе мозжечка. Желая кончить разговор, Селивохин напрягся и сказал:

— Ну ладно. Насчет цели творчества я тебе и сам...

— Стоп! Я говорю — я буду анализировать. Ты молчи. Что не так скажу — поправишь. Стало быть, отпадает. Что у нас дальше? Дальше — молчи ты! — дальше, может быть, ты хочешь воплощения вообще — самореализации, так сказать, и самоутверждения.

— Ну вот! — облегченно сказал Селивохин.

— Что «ну вот»? Погоди, погоди. Это мы только к главному подбираемся. Подбираемся только! Разберемся. В-первых, откуда берется такое — охота к самовыражению? Почему один живет себе спокойно и строит кооператив, а другому — хоть тебе — нейдет? Или ты — ходячая патология? Зная тебя, утверждаю — ты нормален, как твой доберман. Тогда чего же? Тогда, может, тебя жизнь обошла? Ну, скажем, женщины не очень любили с детства. И тебе с тех пор нейдет, чтобы как-то свое взять. Нет, ты поделись, пока Лидка эту зверюгу выгуливает, может такое быть? Могу подсобить, брючную клиентку какую-нибудь...

— Может, — грустно молвил Селивохин. — Ну и что? Такое с кем хочешь может быть. А клиенток мне твоих не надо. То есть если бы ты ее как бы случайно привел, если бы я ее не знал, что — нарочно... А теперь уж — не надо.

— Как хочешь. Но, значит, может такое быть? Или еще что-нибудь?

— Да. Еще что-нибудь. И еще сорок сороков еще что-нибудь!

— Так. И вот такие люди, вроде тебя, которым нет в жизни счастья, теперь решают — или у них там в организме оно само решается — что нечего, мол, ждать милостей от природы, а пора самим себя показать.

— Верно говоришь. Вот это ты верно, едритская сила! Вот по этому поводу — и!

— Пош-шла, зараза! Теперь во-вторых. Не кривись, тебе не идет. Почему так? Почему один решает, что лучше показать себя на бумаге, а другой — в спортивной ходьбе? Этого не знаю. Но кое-что кумекаю. Это не функция какой-нибудь железы, точно. Я вашему брату брюк нашил вагон и таких почти не знаю, у которых руки чешутся с детства — рисовать или грести на байдарке. Конечно, если чем долго заниматься — так руки уже автоматически зачешутся. Но это как курение — бросить трудно только года через три. К чему я? К тому, что художник спокойно мог в начале пути стать не менее хорошим шахматистом. И наоборот. И уж чтоб пронять тебя, толстокожего, возьми ты хоть кого, хоть гения, хоть самого Пеле. Вроде — весь он в футболе, так? А вот теперь он возьми да и родись раньше, до изобретения футбола. Так что, по-тво-

ему, если бы ему никто не сказал, что есть такая штука — футбол, что многие ее уважают, и делается она вот так и так, левой и правой, он все-равно — выбрал бы себе камешек по ноге — и давай его гонять по всей Бразилии, да? Нет, он бы занялся чем другим, и может, ничуть не хуже самовыразился бы.

— А если хуже? — пропыхтел Селивохин.

— Не исключено. Только ясно отсюда и ежу, что жесткого предопределения по части талантов и призвания нет. Каждому черт-те-сколько талантов отпущено. По-честному.

— Прелесть какая. Чего ж тебе еще? Что ж ты ерепенишься тогда, Кострецов, чего людям голову морочишь? — устал молвил Селивохин. — Скучно пить с тобой сегодня. А это плохой признак, поверь старику.

— Да ведь настоящей-то справедливости нет! Сундук ты, главный-то талант, единственный — не всем даден! А ты и не понял, куда веду?

— Выпей, а? И остановись.

— погоди. Я что хочу сказать? Может, талант — это ошибочное понятие. Но нужное. Чтоб людей с толку не сбивать. Чтоб не каждый в Толстые выходил, а то их столько разведется, Толстых-то, что некому и читать-то будет, жить-то просто некому будет, все начнут строчить. И на скрипках играть. Чтобы был порядок, им же мир держится: кто по телевизору выступает — талант, а кто по телевизору смотрит — обычный человек...

— Это ты в сторону уехал. Почему талант — неверное слово? И при чем тут справедливость? Чего ты вообще ко мне с этим пришел? И какое тебе дело — для чего я пишу?! — схватился за голову Селивохин. Кострецов опять представился ему швейной электрической машинкой, строчащей фигурный шов.

— А потому что и правда нет врожденного таланта. А есть — энергия, ну, духа, допустим. Есть сферы деятельности. Теперь смотри. Нормальный человек — он всего понемножку. Когда надо в морду дать — он боксер. Когда тост сочинить — литератор. Мебель в комнате передвинуть — он дизайнер. Энергия у него равномерно распределяется. Но вот приходит такой обойденный жизнью тип вроде тебя и норовит отыгаться. Что он делает? Он всю свою энергию собирает как пчела, со всех сфер деятель-

ности и — шар-рах ее всю в одну точку. Чувствует — тут не выходит, допустим, тормоза действуют, предохранители. Он — в другую, там, допустим, посвободней. И так он переключает энергию, жмет на кнопки, пока не найдет ту, где у него внутри предохранители сняты, где энергия его свободно изливается. В слове. Или в мелодии. И проч. А через эту энергию — его единственный в своем роде дух. Каждый ведь — в своем роде, верно? Тогда говорим — пришел новый талант. А он думает — отыгрался. И все дела. И вроде опять — справедливость. Каждому — свобода выбора, а там ты сам свою кнопку догоняй.

— Ну, короче, короче.

— А на самом-то деле, — продолжил неумолимый Кострецов, — ни хрена! На самом деле все предопределено. Только вид свободы имеет. Каждый, мол, может. Хрен-то, каждый. Один почему-то угадывает тот свой талант, в котором он Моцарт, сразу соловьем или — потом, но угадывает, а в прочее разное, где он всего лишь Сальери, не суется. Обходит. Вот — счастье! А вот другой не угадывает, и появляется на свет Сальери — прозаик, скажем. А он, может, Моцарт — в кулинарии. Но не знает. Уже плохо. Но самый-то несчастный — третий: он и жить-то нормально не хочет, для рода-племени, — все в таланты норовит (и ведь и право и возможности имеет!), а все не переключит хоть куда-нибудь, только знай кнопки нажимает. Везде зажимы. Нигде не высвободится. И так до гробовой доски ни Моцарт, ни Сальери, ни хорошего отца семейства из него и не выйдет, и все... пустым вдохновением исходит. А ведь сил не жалел. И все в нем — то же, всех полезных витаминов хватает, только одним обделен — главным. Угадкой, какую кнопку нажать. И верой, что ту самую кнопку нажимаешь.

— Да... Таким человеком быть, конечно, несладко, — в тон вздохнул Селивохин, — неприятные ты, Кострецов, сюжеты рассказываешь. Угрюм ты сегодня. Хочешь аллохола?

— Да о себе, о себе я, тумба ты, говорю! Потому и угрюм. Ведь ты вспомни мою жизнь. Чего только не перепробовал, даже философом стать хотел, год учился на курсах в народном университете, в театр подался — бросил, да и сколько всего еще бросил, скольким бабам жизнь

истербил, родную мать чуть до инфаркта не довел, а все ради чего? А? И где оно? И кто я? Чем я тебя хуже?

— Да ничем, ничем. Лучше ты меня, добрее, ну чего ты, ну, брось ты, ей-богу, — виновато засуетился Селивохин. — Хороший ты.

— Ничего во мне хорошего нет! — вскипел вдруг Кострецов и топнул ногой. — И слава богу. Хороших людей надо убивать, для ясности общей картины. А ты думаешь — утешу, мол? Да? А ведь и вправду — ничем я тебя, Селивохин, не хуже! А сегодня глаза открыл, понял, наконец, что шансы-то равные. Допер, наконец, что и вправду есть справедливость. Черная, зато существует.

— Какие шансы? О чем ты, милый? — простонал Селивохин. Он окончательно отупел от долгого, ненужного разговора.

— Какие? — вскричал Кострецов. И остановился. Потом наклонился к Селивохину; зрачки глаз его расширились, а губы задвигались четко, но как бы опережая произносимые слова — как в кино, если нарушается синхронность звука и изображения. А звук его слов был свистящий.

— На бессмертие. Я почему завел: для чего ты пишешь? Чтоб вот к этому подвести. Последний шар остался, так? Что ты пишешь, чтобы себя выразить. Но ведь не просто так ты себя выразить хочешь, а еще — чтобы тебя увидели, силу твою признали бы. Сам про себя ты и так все знаешь, не стал бы для себя вслух говорить, верно? Ты пишешь, чтобы прочли и признанием твою веру в себя укрепили. Только ты отодвигаешь. Это кто поглупее, да послабее, быстрого признания хочет. А кто поумнее, да посильнее, вроде тебя, те понимают игру! Рисковая публика: играет на все и без гарантий. Вечность — вот что догоняете. Символ вам мерещится, им и живы. Все вы эту травку жуете. Вечную память. А, зашевелился? Отворились глазенки-то? Небось думал — у кого таланта нет, тот пусть о нем и рассуждает, а ко мне эти разговорчики не относятся. Кушай-ка! В жизни для тебя смысла нет, а в бессмертии — есть. Как?

— Это верно, — заморгал Селивохин, — только это абсурд.

— Конечно, абсурд. Если эта жизнь бессмысленна, так чем же вечная — лучше? Количеством бессмысленных лет? А только так оно и есть.

— Бред какой-то.

— Ну да. Что тебя родная тетка забыла, тебе все равно, а что все скопом будут помнить через сто лет, почему-то важно. Но ведь важно! Так и мне того же надо. Я просто жить — не научен смыслу. А только кнопку свою не нашел. И не найду уже, знаю. Ну так вот. Я понял, что и не надо кнопки. Что равные у нас с тобой шансы на бессмертие. И с графьями Толстыми тоже — со всеми тремя. Хоть я им не равен, но шансы равные, понял? Потому что нет никакой истории.

— А что же есть? Может, ты псих?

— Может... Что есть вместо истории? У нормальных людей — не скажу. А вот у таких, как ты, кто не живет, а за памятью охотится... Слушай, братец ты мой Селивохин, ты умный. Ты ведь понимаешь, что вечность — это вечность, да? Что будут тебя помнить 10 лет или 300 — это без разницы. Потому что на 301 — забудут. А твоя-то цель — чтоб никогда не забывали, верно? А то какое же бессмертие? Так чего же ты не остановишься мозгой? А? Не остановишься чего?

— Да, брат-тец, — остолбенел Селивохин, — у тебя определенно белая горячка. Я, конечно, в этом деле не судья, но...

Селивохин вдруг безумно захотел просто протрезветь, сесть за стол и писать. Он понял, что надо делать с героем и куда его вести. Главное же — он чувствовал, что Кострецов его, что называется, «достал», и вроде бы — по делу, а все же в главном — ведет куда-то не туда. Но с Кострецовым уже не было сладу.

— Так-так. Белая горячка. Вот если ты всю жизнь ждешь — сначала однокомнатного кооператива, потом двухкомнатного, потом четырехкомнатного — ты нормальный человек. Надеешься и ждешь. И если ты всю жизнь продаешь — ты нормальный человек. Всегда в движении. А вот у меня — белая горячка! Ну ладно. Я ведь и сам все понял только вчера. Слушай. Все просто. Ты думаешь — такой-то смертен, а Шекспир — бессмертен. «Поющих ребят» там будут помнить 20 лет, Баха — всегда. Почему мы так решили? Сравнивая по достоинствам, вот почему. И мы меряем историю по себе. Поскольку история, мол, состоит из людей и руководствуется их критериями. Слепота куриная! Я хочу открыть тебе глаза. Поднять веки.

Мне их поднял вчера вечером один интеллигентный старик в очереди за огурцами. Он сказал своей жене, что между пирамидой Хеопса и портретами Нефертити прошло что-то около 1500 лет. И все. Тут меня ударило. Просто я раньше не думал. Понимаешь, мы помним Баха как бы вечно. А сколько ему? Чуть больше 300 лет. Первому, кого мы в искусстве знаем по имени — Гомеру — 2800 примерно. А? А до того — 4000 лет существовала хотя бы огромная египетская культура, а кого мы знаем? Фараонов, и все. Что между Хеопсом и Нефертити — как между нами и Христом — это нам что пивка попить. Они у нас в памяти рядышком стоят. То ли дело — я и мой прадедушка! Время округлилось. А ведь для египтян оно было долгим, обычным. Битком набитым непризнанными гениями. И ценимыми талантами. Их имена? Фиг те. Памятники? Обломки. Обрывки текстов. Но хоть эти обрывки — самые лучшие? Уцелели по заслугам? Хрен его знает. Может, уцелела-то самая чушь. А было такое! Была высочайшая культура. А потом пришла другая культура. И все. П-пу — вот тебе вечная память! А ведь, может, мы знаем как раз их «Поющих ребят», а Баха не знаем. Вот же художника Апеллеса работ не сохранилось. Уже ближе к нам гораздо! А какого-нибудь Финтифлюгина, может, и сохранятся. То есть, бывает и наоборот — по заслугам. Как угодно бывает! То-то и беда. Случаю даже несправедливости прямой не пришьешь. Ему до наших ценностей дела нет. Потому я и говорю — есть история войн, и династий, но история людей вообще и культуры в частности, — это, повторяю, фикция. Потому что когда цивилизация сменяется другой, то от нее остаются обломки. Случайные обломки. Это фараонов в хронику занести можно, а культуры столько, что ее всю в хронику не занесешь. Да и на кой культуре — хроника? Ее очно видеть надо. Чтоб написать: «Приписывается такому-то. До нашей эры». Или: «аноним V века до нашей эры». А эры менялись, и наша сменится. И это единственное, что дает справедливые шансы. И я собираюсь их использовать. Я нашел способ. Оповещаю! Я, простой человек, не считаю себя перед вечностью меньшим, чем любой талант и гений, и я сегодня утром нашел способ свою правоту доказать. Нас рассудит история, — заключил Кострецов и молодецки выкушал остаток «нормальной».

А затем, жуя мойву, встал и вышел, не попрощавшись, оставив Селивохина сидеть в полнейшем остоленении.

\* \* \*

Действительно, думал Селивохин, я всю жизнь писал на бессмертие. Я всегда понимал бессмертие как вечную память. И выходит, Кострецов прав. Но ведь если он прав, если я писал только для этого, то писательство теряет всякий смысл. И тут он прав. Дело случая, и все. Да, он прав. Но почему же тогда я все равно чувствую, что не брошу, что бы мне ни доказывали? Инстинкт какой-то, что ли? Да нет, и тут он прав, мог бы и не писать, а рисовать, плясать. Я просто выбрал это, потому что тут я могу лучше. Воплотиться. А для чего — лучше? Не просто так? Опять, выходит, для бессмертия. А оно — дело случая! Тьфу, мать его за ногу! Но если бессмертие не... не есть вечная память? Тогда я не зря чувствую — надо писать. Но что же оно? Личное бессмертие? Полет бесплотного духа? Но тогда тоже нечего писать. Духами мы все и так станем. Выходит, еще что-то. Я ведь чувствую, что пишу действительно для чего-то. И оно есть. И оно не дело случая. Но что же оно тогда таксе? Кто тогда регистрирует происходящее? Или оно само как-нибудь регистрируется? Самозапись, как к врачу? Фу ты!..

Селивохин чувствовал, что не в состоянии ответить самому себе. И что сейчас сойдет с ума. И поэтому он сделал единственное, что могло хотя на время успокоить его: открыл окно, очистил от объедков стол, вытер его, положил на чистую его поверхность белый лист бумаги и легко поставил на нем первое слово: «он». Сразу все запуталось и стало привычно и хорошо. «Вышел он» или «он зашагал»? Скажем, Кострецов — вышел или затопал?

\* \* \*

Кострецов попал под дождь, дома вытер голову вафельным полотенцем, вскипятил молока, выпил. Он совсем протрезвел.

Кострецов взял шариковую ручку.

Он писал весь вечер, перечеркивал; наконец сказал:

— Да, это все. Добавить нечего.



Потом взял копирку и, меняя ее, просидел всю ночь.

Утром он взял чистый лист и стал писать в столбик синими чернилами. Взял красную ручку. Думал и вычеркивал из столбика:

- Церкви — возможно уничтожение.
- Правительственные здания? — ?
- Жилые дома — возможно уничтожение.
- Музеи —

Список кончился. Осталось только одно.

— Смешно, — подумал Кострецов, — а почему бы и нет?

И сказал вслух:

— Это — то. Я играю. Вист!

И взял телефонный справочник.

Утром Кострецов заварил пачку чаю, написал на двери мелом: «Пошив временно прекращен»—и объехал по алфавиту все районные, парковые и прочие библиотеки. Если его не записывали, он умаливал и оставлял ценные залого. А кое-где окидывал взглядом и говорил:

— Кострецов. Тот самый, да. Этот? Да, это хороший материал. Расцветка? Да, это наш цвет. Когда вам будет угодно. 288-88-88. Он брал везде ровно по одной книге. Он знал, какие брать. Это были книги — верняк. Те, которые не пользуются особым способом, но которым никогда не грозит быть списанными. При любой погоде. Тома из собраний, где письма.

Все заняло три дня. Кострецов вкладывал свои листки в книги и возвращал их в библиотеки. Он не ел, пил только кофе за 20 рублей.

Когда все кончилось, он открыл банку голубцов, съел их холодными, вычерпал невкусный жирный соус, запил «Байкалом» и крепко, спокойно заснул.

С тех пор спокойствие и уверенность не покидали Кострецова, и потому клиентура его росла, и он не забывал Селивохина, напротив, как-то покровительственно поил его и кормил все время, а тот, думая о своем, попивал и поедал спокойно: если у тебя чего нет, на то и живут друзья, у которых кое-что имеется.

В каждой районной, парковой и иной библиотеке города Москвы можно найти книгу, в которую вложен лист бумаги, заполненный убористым почерком. Некоторые из этих ли-

стов написаны шариковой ручкой, большее их количество — под копирку; но почерк всюду одинаков. Текст тоже. Вот он: «Я — Кострецов Михаил Геннадьевич. Читай дальше или как хочешь. Родился в 1950 году. Образование — незаконченное высшее. Профессия — портной. Шью брюки. За границей не был, родственников там не имею. К нынешнему, 1978 году, судимостей не имел. Печатных работ — одна: смотри объявление в графе «Куплю» в «Вечерней Москве» за 19 мая 1975 г. Тел. 288-88-88. Я сшил 500 с чем-то пар брюк и сошью еще неизвестно сколько. Поощрений и правительственных наград не имел.

У меня есть: деньги. Было: 2 жены. Еще 14 женщин, из которых 11 шило у меня брюки. Ни одной не было со мной хорошо. Мои любимые сигареты — «Пегас», но курю я только «Мальборо». Потому что если есть деньги, их нужно тратить. А они у меня есть. И еще будут — я не собираюсь менять привычки.

Я нуль. Не художник и не творец вообще. Не герой. Делал ли я добрые дела? Вряд ли.

Но я человек. Я родился и пока живу. А это значит, что я умру. И еще значит, что умирать боюсь. Потому что живу я все время, а не умирал еще ни разу. И мне это непривычно.

И я имею право на вечную жизнь. И справедливости ради желаю сыграть на бессмертие имени с разными гениями вроде Пушкина и Селиванова, которым равен по страху смерти. Как **ВСЯКИЙ** человек.

Перед тобой — мой единственный ход. Ты уже забыл, что моя фамилия — Кострецов? Карта на столе. Ты читаешь это; значит, я не забыт. Я есть. Я буду всегда. Кто докажет обратное? Что я забыт, что об этом листе и обо мне уже никто понятия не имеет? Доказывающий должен по крайней мере знать, о чем говорит. Знать мое имя. А чтоб доказать, что меня не помнит НИКТО, он должен включить в это число и себя. То есть он должен знать мое имя и не знать одновременно. Такого человека нет. И быть не может. А Бог... он может быть, но его нет.

Есть я. Меня зовут Миша. Незнакомый тебе человек встретится со мной в библиотеке соседнего района. Не будь гадом, оставь листок лежать, где лежит. Твой пред-

шественник был в этом отношении безупречен; возможно, это был я.

А если все рухнет и загорится бумага, все равно сколько-то книг останется. Попаду или не попаду? Не знаю. Я играю по-честному. А если проигрыш мой и недоказуем, это — чтобы уравновесить шансы с теми, кто слишком доказательно и крепко стоит на своих пьедесталах. Или готовится постоять.

У меня нет пьедестала. Только имя. Меня зовут Кострецов Михаил Геннадьевич. Миша».

## 9.

Воздержусь от комментария к самому рассказу пусть о нем судит читатель, буде он того пожелает. Но не могу не сказать о продолжающемся впечатлении от фигуры самого рассказчика. Это была душа, родственная мне, натура, счастливо охарактеризованная Набоковым: «человек внутреннего сгорания». От простой ошарашенности, смущения озарившей мыслью, простого зацепа, торжествовавшего в предыдущей истории, он (и я вместе с ним) переходил уже к настоящему томлению духа, пусть невротически зацикленному на своем, литературном, но выходящему за его пределы. За пределы... И потом я чувствовал, что оба текста — как ступеньки некой лесенки, предполагающие следующие ступеньки.

Подняв третью рукопись, — увидел первым делом, что ее отделяет от первых двух какое-то время: она состояла из листов куда менее пожелтевших, почти свежих, хотя и не совсем. Эти листы не имели даты и представляли собой не связный текст, а отдельные записи, сделанные, видимо, за какой то более или менее продолжительный период. Привожу их выборочно.

«В уездном городе Кашине в храме во время службы я застал только священника и пожилую женщину — прихожанку или старосту. И вот вместо возгласа: «Мир всем!» — священник и говорит, совершенно логично: «Мир те, бабка Мария». А та отвечает: «И духови твоему, отец Василий».

«Тот факт, что из всех живых существ только один человек, пусть не каждый, испытывает особенный, опережающий, часто определяющий весь смысл и направление его жизни страх смерти, — этот поразительный факт что ни будь да значит же! И если бы этот страх не был дан или задан человеку, если бы он был всего-навсего неизбежным продуктом мысли (а та, в свою очередь, продуктом высокоорганизованной материи), то он, этот страх, был бы, наверное, совсем не так силен. Ведь мы знаем, что жизнь всегда вырабатывает защитные формы для всего живого, что следствием эволюции является приспособляемость всего выжившего в ее результате. Так и результатом эволюции, приведшей к возникновению мысли (в частности, о смерти), должна бы быть отличная адаптация человеческого сознания к представлению о небытии как чему-то столь же нормальному, как смена дня и ночи. Между тем сколько бы ни уговаривали мы себя, что дело обстоит именно так (вплоть до гениальной попытки уговора «Брожу ли я вдоль улиц шумных»), на деле мы крайне остро ощущаем единственность своего «я», а мысль о его утрате — как нечто невообразимо страшное (Толстой, Бунин, да мало ли). И всеми силами пытаемся или забыть, отвлечься от мысли о смерти, или решить эту проблему (религия, творчество, потомство). Кому как, но мне это говорит о том, что смерть не является естественным делом всего живого, что она не заложена изначально в порядке вещей, что порядок этот извращен, что «вся тварь совокупно стенает и мучается донныне».

«Верующего можно спросить: «Но если Бог есть, то почему тогда...», — и предложить длинный список. И верующий не на все сможет ответить. Но если атеиста спросить: «А если Бога нет, то почему тогда...», — он по существу не сможет ответить ни на что. Религиозная мысль не объясняет только чего-то, объясняя, однако смысл и происхождение целого; атеистическая по существу не говорит ничего, даже когда в частности доходит до микробиологии и квантовой механики; она не отвечает на вопрос: почему? В первом случае мы говорим о человеке, что он всего лишь не всеведущ, однако это не мешает ему быть достаточно разумным, чтобы усвоить и нести то главное, стремление к чему отличает его от всего живого,

открывает в нем любимое детище Божие. Во втором случае атеистическая мысль, претендуя на потенциальное всеведение, отводит в действительности человеку роль красивого, многоученного барана, чей удел — знать бездну всяких вещей и горделиво покачивать крутыми рогами, но при всем том глядеть на мир и свое место и назначение в нем так, как и положено глядеть барану на новые ворота...».

«Ап. Павел говорит: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Римл. 7, 19—24). Ничего более точного о человеческом состоянии еще не было сказано. Вот слова, опровергающие правоту тезиса Сократа, буддизма, кришнаизма о том, что мы рабы неведения или заблуждения. Нет, мы и знаем истину, но мы рабы живой, активной, демонической силы греха.

Ведь это же так! Ведь по себе же знаю, что — вот, хочу сказать доброе, но кто-то толкает под локоть — и поднимаю человека на смех. Хочу быть вежливым в магазине — устраиваю в итоге скандал. Хочу помириться с женой — довожу дело до недельной размолвки. Хочу бросить пить — и напиваюсь в стельку.

Обращусь ли от своей частной испорченности к судьбам человечества — и здесь вижу: вся история мира есть история благих (цивилизаторских, просветительских, прогрессистских) намерений, в с е г д а оборачивающихся злодеяниями и кровопролитием, история великих открытий, непременно выворачивающихся во вред людям и т.п. 5000 лет писаной истории мира — это 5000 перманентного выворачивания добра наизнанку, блага во зло; и этого достаточно, чтобы опознать факт существенной, коренной поврежденности нашей природы, чтобы согласиться со словами ап. Исанна: «Весь мир лежит во зле» (I Иоан, 5:19)».

«Всякий русский знает слова Христа: «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». И никто не желает знать уточнения ап. Павла: «На злое будьте, как дети. По уму же будьте совершеннолетними.»

«Нужно следовать своему высочайшему предназначению, ни на минуту не забывая о своем ничтожестве. Если тебя занесет туда или сюда, ты пропал. Мы знаем конец людей, позабывших свою малость, возомнивших себя равными Богу. И мы знаем людей, отказавшихся от своего назначения ради удобства быть никем и ничем. Первые натворили исторических дел, которые оставшиеся после них в живых регулярно расхлебывают. Вторые спились или еще каким-то способом утратили свое богоподобие. Третьи, застывшие в атеистическом промежутке «чисто человеческого», возвели пошлость и пустую динамику жизненного процесса в степень самой жизненной цели.

Путь к осуществлению высокого лежит только через осознание своего ничтожества. Горечь этого осознания ни с чем не сравнима, ее вкус знаком только тому, кто хотя бы в уменьшенной степени испытал чувство Иова. Но я не знаю, о чем говорить со всеми остальными».

«Еду утренней шестичасовой электричкой три с половиной мерзлых часа от Калинина, там с боем беру билет на автобус до Торжка, еще через час пути в Торжке жду проселочного автобуса, наконец на нем проезжаю еще 11 километров до известной мне развилины дорог, выхожу — и только тут начинается настоящий путь. 7 километров по сугробам, где виднеются волчьи и кабаньи следы, с грузом за плечами, сначала до первой полуразрушенной деревни, где есть, однако, коровник, хорошая примета, что идешь верной дорогой, потом еще перелесок, и только потом — почти совсем вымершая вторая деревня, на краю которой, где последний столб, несущий цивилизацию — электричество (далее — топь), стоит наш дом — храм, где ждут свои, где вечером будет служба и продолжится на всю ночь, и кончится под утро, а там — два-три часа сна, и обратный путь, по-одному, по-двое, чтобы не скопиться, по очереди, и хорошо еще, если повезет и попутка подхватит до Торжка или до самого Калинина, а то так

и будешь ждать автобуса час-полтора на морозе. Катакомбная Церковь.

Каждый раз, как я проделываю этот путь туда-обратно, я думаю: конечно, правильно, что мы ушли из официальной Церкви Московской Патриархии с ее ложью, идейным христомпродавчеством, коллаборационизмом, «красными архиереями». Мы поступили по совести. Но сколько внутри этого поступка истинной веры, а сколько вещей, к вере не относящихся, но подсознательно связавшихся с ней: способа выразить свой протест, «жить не по лжи», чувства собственного избранничества, наконец, жажды самореализации и просто кружковства, компанейства — пусть в самом лучшем смысле слова. Нет, все эти вещи очень хороши сами по себе, некоторые характеризуют нас даже как людей благородных, высокосовестливых... Но, повторяю, сколько здесь — самой веры, того: «Мы оставили все и последовали за Тобою», именно «за Тобою», из любви к Тебе и ни к кому и ни к чему больше. Как отделить одно от другого, как выяснить? Для этого нужна была бы действительная свобода совести, свобода спокойно, безбоязненно и безнаказанно принадлежать к любой Церкви, тогда как сейчас даже ходящие в московские храмы интеллигенты испытывают некое чувство едва ли не диссидентства, достаточно тоже сложное, замутненное. А тут еще любовь к русской культуре, истории, традиции, иконе, пению и т. п., это тоже воодушевляет многих, желание обрести утраченные корни, «русскость».

Да, мы узнаем правду о себе, о глубине или поверхностности своей духовной жизни (не буду говорить о других — я, во всяком случае), только когда восторжествует свобода, в том числе свобода совести. Но этого в обозримом времени не случится. да и нужно ли? Как бы ни идти к Богу, может быть, лучше все-таки идти к нему, чем испытывать возможное равнодушие от разрешенного плюрализма вер, от чрезмерной, пошлой, массовой дозволенности выбора?»

«В том-то и удивительность, в том-то и обаяние религии Христа в отличие от прагматизма магии во всех ее современных разновидностях, или восточных учений, или американского «христианства», что православие — духовно бескорыстно, что оно все в рыцарском служении любимому,

и лишь во вторую очередь — в испрашивании помощи (да и то в первую очередь духовной) у Него. Да, правда, я знаю много случаев магического отношения к вере, но знаю и множество примеров самого аристократического бескорыстия — в равной степени как среди интеллигенции, так и среди людей самых, казалось бы, простых. Это удивительное отсутствие духовного плебейства в служении, в самой структуре службы, литургии и в отношении к длинной, тяжелой службе всегда поражало меня».

«Даже если допустить, что все науки и искусства выросли из корня религии, которой ничто не соответствует, что плод вырос без породившего его семени, что тогда? Тогда остается сказать, что в страшном, пустом, сиром мире существуют тем не менее откуда ни возьмись прекрасные вещи, и лучшая из них — религия. Ибо среди всех обманов человечества (а все обман, когда впереди лишь червивая земля) этот оказался самым возвышенным, самым творчески плодотворным, самым дееспособным — словом, самым достойным. Ибо лишь он, с его идеей Высшего, исполнения высокого долга и назначения сделал зверя человеком, так же, как отмена, разрушение этого обмана на наших глазах возвращает человека к зверю. Что же, если истина в звероподобии, а богоподобие лишь обман, то лучше нам обманываться до конца истории.

Точно так же: если то, о чем повествуют ев. Матфей, Марк, Лука и Иоанн — лишь вымысел, в главной части, т. е. в том, что мы имеем дело не просто с Иешуа, а с Мессией и Сыном Божиим, тогда надо признать, что за всю историю литературы мир не знает сочинений, более возвышенно-мудрых и углубленных и вместе с тем более драматично-выразительных (и событийно, и драматургично), чем сочинения Матфея, Марка и Луки, и более таинственных и неисчерпаемо зашифрованных, чем сочинения Иоанна.

Но разве само по себе все это не наводит на мысль о чуде?»

«Точно так же на мысль о чуде наводят те или иные моменты в жизни исторического человечества. И в первую очередь — закон Моисеев и выросшее из него древнеизраильское законодательство. Я как-то задумался — а что



нового, в сущности, принес в мир закон Моисеев? Может быть, его новизна преувеличена евреями, тогда как жизнь всех народов в древности, как и сейчас, регулировалась разными, но однотипными «общечеловеческими» законами? С целью выяснить это, за неимением иных источников, я залез в энциклопедию Брокгауза-Ефрона, и то, что я там обнаружил, действительно поразило меня — ибо несопоставимо ни с современными ему, например, старовавилонскими законами Хаммурапи, ни с куда более поздними законами Солона или Ликурга. Речь не об отдельных «прогрессивных» моментах, но о качественно ином понимании закона и нравственности. Закон Моисеев не просто запретил убийство, воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство, но осознал этот запрет как абсолютный. Даже за убийство раба в Израиле полагалась смертная казнь, тогда как в Афинах и много лет спустя убийство раба наказывалось религиозным покаянием, в Риме же было запрещено лишь при Адриане.

Отношение к рабам — вообще одна из болевых точек древнего мира. В Израиле:

— нельзя было пытаться раба для получения нужных показаний;

— нельзя было выдавать беглых рабов их прежним хозяевам;

— раб, получивший увечье от хозяина, должен был быть освобожден;

— один раз в неделю раб отдыхал;

— каждый 7-й год должен был быть годом освобождения раба;

Еще ряд уникальных моментов:

— Благотворение бедным было в Израиле обязательным с точки зрения государственного закона (нигде не встречаем аналога);

— Строжайшее запрещение магии, суеверий, колдовства, гаданий всякого рода (поесеместно распространенных в древнем мире);

— Во время войны бегущим из города оставлялся открытый выход, и вообще запрещалось трогать мирное население; запрещалось также опустошать города, срубать плодовые деревья и т. д. (ср. с военной практикой Ассирии или просвещенного Александра Македонского, который, ведя войну в Согдиане, опустошил плодородную, густонасе-

ленную долину реки Зеравшана, истребив до 120 тысяч согдийцев и многих обратив в рабство);

— При взятии города запрещалось рассматривать женщин как военную добычу и продавать как рабынь;

— Иноплеменник (если принимал Закон) становился граждански полноправен (в Греции метек — такой же грек, но из другого города — был, как правило, политически бесправен и его могли убить);

— Даже скот должен был отдыхать один день в неделю, и запрещалось пахать одновременно на крепком воле и более слабом осле;

— Смертная казнь в поздние времена была отменена если не *de jure*, то *de facto*. Случаи смертной казни были явлением чрезвычайным; было сказано, что судилище, раз в 70 лет (!) вынесшее смертный приговор, заслуживает название «смертоубийственного».

Поистине исключительные гуманность и милосердие — никак не объяснимые ни характером самого израильского народа, не менее сурового, «жестоковейного», чем окружавшие его народы, ни какими-либо иными «естественными факторами». Когда пророк объявляет царю Давиду, что тот не достоин построить храм имени Господа, потому что воевал (с врагами, язычниками!) и проливал кровь (язычников), перед нами нечто, не повторявшееся больше нигде, никогда, не только в древнее, но и, пожалуй, в новое время.

Да, такое, сам исходный импульс к учреждению такого Закона, — совершенно очевидно не от человека, не ему принадлежит, но только дан в достояние, которого человек даже среди избранного Богом племени редко оказывался достоин».

«Я показал своему другу, человеку вдумчивому, даже въедливому, французскую книгу о Туринской плащанице со всеми доказательствами и фотографиями. Он внимательно прочел ее и сказал серьезно: «Да, Бог есть. Ну и что?» Совершенно замечательные слова, знаменательные именно для нашего времени. Раньше или «не было Бога», и тогда было «все позволено», или Бог «был», и тогда надо было жить, по крайней мере прислушиваясь к данному Им закону, учению. Удивительное умение соединить в своем ко всему привыкшем уме и сердце бытие Бога и жизнь

по своему хотению, удивительное не удивление принадлежит уже нашему игровому времени, из которого исчезла, вымылась всякая серьезность, всякая прямота, последовательность, необходимая однолинейность мысли и действия».

«Смешна моя оптимистическая вера в Творца Всемогущего и Всеблагого или нет, но это единственно возможный вариант последовательно оптимистического мышления. Любой другой вариант оптимизма или демагогичен, умышленно закрывая глаза на жизнь, ее весьма мрачный итог, или разбивается о то, чем всегда была, есть и будет история. Нигде, никогда и нигде в истории не хотелось бы мне жить! ни в кровавые и безумные «великие» эпохи, ни в мирные времена с их обыкновенным бессердечием, эгоизмом, черствостью и духовной пустотой».

«Все зависимости, получу я или нет то, чего прошу на молитве, я приду к не менее важному: изменюсь сам.

Некоторое время я повторяю утром и вечером 20—25 минут одни и те же полупонятные церковнославянские слова. Затем обнаруживается, что какие-то слова проявились в моем сознании и стали понятными. Собственно, что значит — понятно? С детства мы овладеваем языком на слух, просто в порядке слушания, говорения, привыкания. Мы не формулируем, но просто осязаем смысл новых слов, чтобы правильно ими пользоваться. Так на ощупь, на вкус обретаю я смысл и древнего языка нашей Церкви.

По мере того, как музыка молитвы становится все более ясной, я вслушиваюсь в медленно просачивающийся в меня смысл слов. Внимательная молитва — очень трудна, внимание непрерывно рассеивается. Но из 25 минут наберется же хоть 2—3 внимательных. Они-то и есть то, ради чего ежедневно повторяем одни и те же молитвы. Потому что эти 2—3 минуты меняют меня как личность — медленно, но верно. Я успеваю вслушаться в несколько фраз и, сличив с ними проведенный день, понять, в какой грязи я опять выкупался или выкупал другого, налгал, насуетловил, накуролесил. Я успеваю за эти 2 минуты: не оправдать, не простить себя. Ибо вся моя жизнь есть непрерывное сравнение с другими. Лице-мерие. В море чужих, всеобщих грехов тонут, неразличимы твои собственные, зримая еже-

минутность чуждого падения делает легким твое: твое плохое нормально, зато твое хорошее неповторимо. Эта инерция, релятивность мышления, это колесо самооправдания неостановимо до самой смерти. Но на минуте внимательной молитвы я, наконец, остановил колесо: я сличаю себя не с другими, а с собой же, каким я должен быть. Я вижу себя в ином, абсолютном измерении. Смещение точки зрения открывает несоответствие того, кто я есть, с тем, кем я был когда-то (мой праотец, неважно) и должен быть всегда».

«Всматриваюсь в темные слова; начинаю их понимать; прислушиваюсь к ним, сличаю с собой; раскаиваюсь, стыжусь, пытаюсь что-то сделать, а чего-то не сделать — и вот в один прекрасный день обнаруживаю вдруг, что я — уже не я. Составные моего «я» перегруппировываются — так один и тот же уголь с изменением кристаллической решетки может быть графитом и алмазом. Все, милое и дорогое мне вчера, потеряло всякую живую цену. Уходят друзья, дружившие с одним человеком и не желающие дружить с другим. Взамен приходят другие. Все меняется. Мне ведь, оказывается, так мало, в сущности, надо, чтобы измениться — а казалось, эту глыбу инерции «я» не сдвинуть никогда».

«Купили очередной полуразвалившийся дом, чтобы не «засвечиваться» слишком долго на прежнем месте; на сей раз в более «живой» деревне. Делаем вид, что здесь поселилась одна из наших — пожилая художница, а мы ее ученики и ездим к ней. Решили вырыть храм в подвале, чтобы ночью не было видно: идет служба. Роем по вечерам мерзлую землю и ночью в мешках относим в близлежащий лесок.

Мы восстанавливаем буквально древние катакомбы, их значение сокровенного от мира, спасающего мир. Но не гордыня ли это? Может ли столь малая группа людей, куда входят такие слабые и малодушные люди, как я, иметь какое-то отношение к судьбам мира, к его спасению?

А почему нет, если самое малое на земле — атом — в своем усилии может погубить самое большое? Если это относится к гибели, то, может быть, приложимо и к спасению».

«Однообразие службы, столь тяжелое для новоначальных, нелегкое и для людей вполне церковных (за все время я встречал лишь несколько людей, духовно одаренных в той степени, когда хочется молиться, когда все время хорошо, почти физически, на всеношной, идущей — если ее не сокращают — более трех часов), на самом деле спасительно, ибо не только противостоит утомительному, пустому, кажущемуся многообразию светского мира (на самом деле нет ничего однообразнее), но и приучает к сосредоточенному проникновению в однообразие, тому, что, возможно, и называется «созерцание» или представляет его подготовительную часть. Умение жить однообразно, не на поверхности жизни, а внутри ее, повсеместно утерянное, восстанавливается только здесь. В том, что мы и сегодня, как 1500 лет назад, служим литургию св. Иоанна Златоуста, в то время как сменилось множество политических режимов, несколько экономических формаций, возникло и ушло огромное количество людей, идей, убеждений, философских доктрин, в том, что мы, не глядя на это, повторяем все те же древние слова, и таинственно происходит то главное, что происходило во все времена существования Церкви, в этом есть нечто неизмеримо более значительное и вместе с тем увлекательное (если уметь войти внутрь), нежели в детской радости развернуть золоченую фольгу мира (цивилизованного, о нашем не стоит и говорить) и надкусить конфетку, внутри которой таится еще какой-нибудь орешек. Это переживание жизни онтологической, жизни сквозь время, переживание единства вечной жизни человечества».

«Что пережил я, когда надо мной совершалось таинство крещения? Не скажу.

Или нет, скажу. Скажу, что пережитое мною нельзя описать в знакомых категориях «кайфа», эйфории. И вообще нельзя описать... Хорошо. Если я скажу, что это была тишина? Такая была тишина, что ее и услышать нельзя было, не то что описать... Словом, когда в конце октября 1981 года меня крестили в одном подмосковном храме во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и затем я отстоял еще какое-то время в одежде на мокрое тело, дрожа от холода, слушая непонятные молитвы и наблюдая непонятные манипуляции священника со мною, а потом, все так же дрожа от холода, поехал на электричке домой

(и не простудился, хотя я слабого здоровья, и ни разу не встречал потом ни простудившихся во время крещения, ни заразившихся во время причащения), я испытывал все это время с предельной остротой самое неострое из ощущений: ощущение полной душевной чистоты».

«Неизменяемость нравственного закона внутри нас, изумлявшая Канта, прекрасно видна в несостоятельности объяснения нравственности как формы приспособления человека к человеку в обществе, как формы регуляции жизни и самоохранения социума. Объявить человека «общественным животным» можно только с натяжками, выходящими за пределы допустимого. Спору нет, человек чрезвычайно социализуем, но отнюдь не всякий человек и не всегда. Есть минуты, когда самый адаптированный человек выбивается из колеи, ведет себя непредсказуемо. Кроме того, если бы все было так, как хотелось последователям Маркса, оптимальными считались бы те нравственные нормы, которые еще во времена достоевско-чернышевские получили название «разумный эгоизм», т. е. такие, когда человек поступает хорошо для того, чтобы с ним поступили так же, и не делает никому плохого, чтобы в ответ не схлопотать того же (сам Чернышевский, правда, вкладывает в это понятие совсем другое, вполне идеалистическое). На таком самоконтролируемом поведении могло бы строиться отлично налаженное, упорядоченное общество; все, что выше этого, считалось бы блажью.

Между тем мы очень далеки от восприятия такой «разумной» нравственности как идеала или хотя бы чаемой нормы жизни. Нам ее попросту мало; не ею мы восхищаемся. Нам как воздуха не хватает именно неконтролируемых рассудком и социумом великодушия, самоотверженности, бескорыстия, чистоты. Нам не хватает какой-то красоты нравственного чувства и поведения. Между тем и без нее общество будет прекрасно существовать, в нем сохранится четкий порядок вещей, оно будет обществом разумных, трудолюбивых, воспитанных, ответственных людей. Конечно, сейчас и это показалось бы более чем удовлетворительным, но представим себе, что вот оно наступило — и есть только оно и ничего сверх него, на веки вечные. Волком выть захотелось бы тогда от тоски и томления духа.

Но, значит, в каждом из нас есть нечто невыводимое из общественных отношений; значит, мы не ущемляемся в истматскую шкуру «общественного животного», подчиняясь началу более высокому и изначальному, чем общество».

«Когда из нашего далека всматриваешься в историю — приходишь в изумление и трепет: Кто-то незримо, но явно распоряжается судьбами миллиардов людей. Чья-то рука стирает с карты мира целые народы. И насаждает новые, чтобы стереть их в свою очередь. Где теперь ассирийцы, вавилоняне, персы, мидяне, эламитяне, филистимляне, ахейцы, дорийцы, хетты, хурриты? Где «пуп земли», «врата Бога», Баб — или — Вавилон? Где царственная Ниневия, стовратные Фивы и «до неба вознесшийся Капернаум»? Что такое для нас Навуходоносор и Синнахериб, Ассархадон и Ашшурбанипал, Кипр и Артаксеркс? Зачем завоевали полмира ассирийцы, истребив все живое на своем пути? Чтобы пасть от руки вавилонян, как те пали от руки персов, а эти, в свою очередь, от руки Александра? Зачем? Мы не знаем.

Но мы видим, что это не было бесцельным броуновским движением. Что во всем этом был смысл, и смысл глубоко поучительный: «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26:52). А дальше: римские завоевания во всем их величии — и страшное падение Рима, эпоха Великого переселения народов, всех этих остготов и вестготов, франков, свевов, лангобардов, пришедших вдруг почему-то в движение, завоевавшие огромные пространства — и вдруг тоже сгинувшие неведомо куда гунны.

Вспомним судьбу воинственного Халифата — и не менее воинственных Османов, вспомним славную историю наполеоновских войн — и их бесславный конец. Вспомним последнюю мировую войну, где начавшееся движение с Запада на Восток привело в итоге к сильнейшему наступлению Востока на Запад. Вспомним, как неожиданно события, происшедшие 70 лет назад в России, привели вдруг к потрясениям в Китае и Вьетнаме, на Кубе и в Африке.

Трудно, скинув поле мировой истории единым взглядом, не заподозрить существование некой распоряжающейся им по, своему усмотрению Силы. Трудно не почувствовать, что жизнь и смерть каждого всех в Ее руках.

«И все-таки нет никого над нами. Все это произведение случайности, помноженной на имманентный прогресс человеческой цивилизации».

Да, но происходящее в истории сохраняет постоянные закономерности; но круговорот структурно повторяющихся вещей неостановим никаким прогрессом сознания и техники; но катастрофы, потрясающие и обновляющие мир вне зависимости от его волеизъявлений, призывов к миру и безопасности — все это говорит совсем не о случае и хаосе».

«Не знаю, какими глазами читал Евангелие Ницше; перед моими глазами по его прочтении встает совсем другая фигура: фигура поистине Богочеловека — ибо в Нем необъяснимо, сверхлогично, нечеловечески, а вместе с тем так совершенно человечно совмещены ангельская кротость, смирение, сострадание, всепрощение «агнца, вземлющего грехи мира», пришедшего «не судить, но спасти мир» — и грозные черты Вседержителя, неумолимо справедливого Судии всех, кого Он создал, говорящего: «Отойдите от Меня, все делатели неправды». Передо мной встает образ, предельно внутренне достоверный, а вместе с ним не уместяющийся в восприятии, в рамку кадра, такой, которого я не в силах охватить единым взглядом, бесконечно превосходящий мое частное, человеческое представление об истине. Я не в силах сформулировать образ Христа — ибо Он формулирует меня, но не наоборот.

Между тем эта сформулированность всегда отличает литературный, вымышленный образ, самый живой и сложный, образ Толстого или Достоевского. Жизнь живая очевидно есть предел для жизни сочиненной — предел, к которому недостижимо стремится и самый гениальный писатель. Образ Христа в этом смысле превосходит все попытки сочинительства, конструирования образа. Первое ощущение от прочитанного — поразительная непредсказуемость, жизненность (плохое слово) Евангельского Христа. А между тем авторы совершенно не озабочены собственно художественностью, мастерством письма. Форма в целом здесь совершенно не отшлифована. Впечатление именно такое, что авторы заняты одним: как можно тщательнее записать то, что видели сами или слышали от других. Простая запись, фиксация — и такой поразительный результат! Тогда как о стену невозможности «придумать» Иисуса раз-



бивается весь блеск булгаковского дара: фигура Иешуа бледнее других героев булгаковского романа.

«Непредсказуемость поведения Христа. Сама его манера отвечать на вопросы ошеломляет. Наряду с обычным «вопрос-ответ» здесь то и дело видишь иное, парадоксальное: Христос отвечает не на тот вопрос, который Ему задан. Например, один «законник, искушая Его» (услышав: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»), спрашивает, «желая оправдать себя»: «А кто мой ближний?» В ответ Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине, единственном из всех, шедших мимо раненого разбойниками, кто оказал ему помощь. «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» заключает Христос притчу вопросом к законнику. И когда тот отвечает: «Оказавший ему милость», Христос говорит ему: «Иди, и ты поступай так же» (Лк 10: 29-37). Евангелист словно не замечает (и это доказательство того, что он только передает сказанное ему, не смущаясь логическими противоречиями), что вместо ответа на вопрос, кто мой ближний, мы слышим проповедь о том, каким ближним ты сам должен быть. Вопрос неожиданно словно выворачивается наизнанку, и вместо досужих споров, кого следует или не следует считать ближним (споров привычных, удобных для законника), переходим к единственно нужному: что значит возлюбить ближнего? Христос своими ответами опрокидывает сами вопросы, показывая, что истину нужно искать не в привычной плоскости уточнения буквы закона, а на путях деятельного постижения его духа».

««Вольному воля, спасенному — рай», — вот лучшая формула свободы вообще и свободы совести в частности, когда-либо слышанная мною».

## 10.

Внизу под последней записью была приписка:

«Тому, кто прочел это до конца. Во дни своеволия и материального процветания я купил ящик коньяка «Реми Мартин», открывая, однако, бутылки только в торжественных случаях. У меня осталась одна бутылка; покидая

комнату, больше не нужную мне, я решил оставить в ней записи и эту бутылку — награду человеку, который, обнаружив ящик, не выкинет рукописи, а возьмет охоту и терпение дочитать их до конца и узнать о существовании бутылки. Конечно, риск есть, он достаточно велик, но я желаю рискнуть. Ты, дочитавший рукопись и, значит, томимый хотя бы отчасти теми же вопросами, прими бескорыстный привет от меня в наше время повальной корысти. Бутылка находится в левом, если смотреть лицом к окну, углу в двух шагах от входной двери под последней половицей»

Я посмотрел внимательно и действительно обнаружил нечто вроде тайника: выпиленный кусок половицы был заменен фанеркой. Подковырнув ее и сунув руку в образовавшееся пространство, я вытащил бутылку, покрытую грязью. По нынешним временам это был очень дорогой подарок — как минимум тысяч на пятьдесят. Обстоятельства дарения делали его еще дороже.

Бережно обмыв бутылку, откупорив ее и налив, за неимением рюмок, на дно граненого стакана, я долго грел толстое стекло в руках; потом отпил глоток. Я давно не пил благородных напитков и слегка опьянел не от спирта — от вкуса. Казалось, я глотаю ароматный горячий воздух, нимало не обдирающий язык, как то дешевое пойло под названием «коньяк», что деводилось иногда пить в последние годы. Да, как горячий нежный вдох; и я думал о том, что этот удивительный подарок как нельзя более своевременен: мне почти безвозвратно начинало казаться, что наше время обмарило истину о несостоятельности, ничемности каких-либо «тонких» и «глубоких» мыслей, убеждений, непрактических знаний, равно как и людей, ими обладающих. Казалось, ничто не имеет значения, кроме денег и умения их делать, а этого я не умел, не понимал, как они делаются, и уже не пойму, не научусь. Я чувствовал себя жалким нулем, недотыкомкой; и вот вдруг кто-то окликнул меня по имени в темноте, напоминая о том, что я не один такой, что мы, не зная друг друга, бредем в одной упряжке вброд через наше поганое время, через свободу грабить и быть ограбленным, бредем неведомо куда и зачем, но Куда-то, но Зачем-то. Значит, и я нужен, и я учтен, неслучаен, и без меня не обойдутся.

Чудесным казалось и то, что даритель словно знал, кому он посылал подарок: ведь, как правило, охотники дочитывать до конца внимательно подобные тексты не слишком разбирались в качествах коньяка, во всяком случае не придавали этому значения. Положительно, рука была протянута через время и неизвестность именно мне.

Это придуманный (а может, и правда встреченный, живой) Абдульчик и человек, его придумавший (или встретивший), нашли каждый свое убежище, как и я искал свое. Но по пути с ними мне было лишь отчасти: внутренний голос, который я воспринимал как голос гостя, говорил мне, внесловесно, но ясно, что у меня свой путь, свое убежище, и оно связано не с уходом, а с возвращением к людям. Может быть, к одному человеку.

Я думал еще о многом, читая это послание в бутылке, читая медленно, глоток за глотком. Но странное дело, когда я остановился, в бутылке оставалось куда больше половины, а казалось — выпито гораздо больше.

На следующий день выяснилось, что дом-таки окончательно назначен на снос, и мне дают однокомнатную в Митино.

### Часть третья

Вот странное дело: я думал, что все кончится, когда ко мне поделят какого-нибудь лимитчика, а кончилось тем, что меня самого выселили. Все не так, как загадываешь. Это напомнило мне рассказ одной приятельницы:

— Иду я как-то по улице, и вдруг чувствую — кто-то за мной. Куда я — туда и он. Оборачиваюсь — индус. В синем костюме, в чалме и с благороднейшим лицом. А я как раз тогда упражнялась в йоге. Не напрасно, думаю, он за мной идет. Он, наверное, видит третьим оком, как здорово я сажусь в лотос, видит мою ауру. И вот он нагоняет меня и кланяется. У меня в душе все так и замерло: что-то, думаю, он сейчас скажет? А он говорит: «Я, говорит, полковник танковых войск, учусь здесь в академии имени Фрунзе и очень хотел бы с Вами познакомиться».

Я перевез свои вещи в новую квартиру, но жить в Митино мне совсем не нравилось. В свободное время я

уезжал в старые кварталы Москвы, туда, где мы жили с женой, или туда, где я жил потом в своем убежище. Здесь все-таки было пространство старого города, пусть шербоатое или с фиксами бесчеловечных панельных домов, но временами почти европейское, почти гуманистическое.

Я гулял здесь с новым чувством, вынесенным мною из длительного опыта добровольного одиночества. Я не смотрел ни в небо, ни под ногами, а лишь перед собой, на людей, чего раньше не делал. Раньше мне не нравились люди; не слишком нравились они мне и теперь, но я их жалел. Жалел богатых в «мерсах» и пенсионеров, считающих сотни в очереди за хлебом, приличных женщин и отвратительного вида бомжей — потому лишь, что они живут, а это значило, как писал портной Кострецов, что они умрут; то есть канут бесследно в бездну либо предстанут на суд, что, может быть, еще страшней.

Я испытывал почти слезную жалость ко всем ним. Почти слезную и вместе с тем — запредельно-холодную. Станным образом мне необходима дистанция для того, чтобы испытать то или иное сильное чувство. Какое-то пространство, эстетический перепад, отстранение. Дядю Тома, или Акакия Акакиевича, или вот еще Григория Незнамова, когда он кричит: «Выпьем за матерей, которые бросают своих детей!» — жалеешь сильнее, чем живых и близких.

И вот ныне я чувствовал себя носителем какого-то главного знания о человеческой жизни, которое давало мне и эту жалость к ближнему, и то ощущение прекрасного далека — или высока? — которое только и позволяло мне как следует жалеть. Слезно и холодно. Я видел здесь противоречие, я чувствовал какое-то «так, да не так», — но не мог по-другому.

И вот во время одной из прогулок по прежним местам я увидел свою жену, идущую столь же четким шагом, как и прежде, но словно бы автоматически четким, идущую не глядя по сторонам; что-то вдруг прошло сквозь меня — я почувствовал, что происходит то, что написано мне на роду. Тихо пошел я за ней.

Проделав вместе с ней путь в метро и троллейбусе (она по-прежнему не смотрела по сторонам, а только перед собой, вниз, это облегчало мою задачу «хвоста»), я оказался у дверей районного психдиспансера, куда она вошла. Я мог подождать ее здесь, но зачем-то, может быть, маши-

нально, вошел следом. Она сидела в небольшой очереди, в которой шел разговор:

— Последние времена, это сто процентов. Моего зятя чурки кавказские похитили и увезли в рабство. Ну и чего, недолго ему там осталось. Потому что последние времена. Читала в Библии, что в 2000-м году конец света?

— Да, но там же написано, что потом 7 лет еще набавили...

И тут я увидел улыбку жены, а потом и ее саму. Красивая молодая женщина с совершенно правильными чертами лица и остановившимся взглядом голубых в центре и темно-синих по ободку глаз с расширенными зрачками. И улыбнулась она одними губами, по-прежнему глядя перед собой, как бы автоматически отмечая смешное, не отрицающее того, что несла она в себе, как в стакане.

Она смотрелась здесь вопиющим диссонансом, но выражение глаз несколько объединяло ее с сидящими рядом; и мне вдруг стало не так, как всегда.

Дело, повторяю, в том, что жалость владела мною, лишь когда я глядел на людей из своего прекрасного далека. Стоило же мне сблизиться с человеком, который и впрямь, откровенно, активно, требовал моей жалости, все запасы ее куда-то иссякали, и я инстинктивно уходил в свою комфортабельную оболочку, в свой черепаший панцирь. Оставалось констатировать с легким презрением к самому себе: моя падшая натура не дотягивала до моих убеждений.

А тут мне стало вдруг так грустно, так грустно... и жалость, исходящая из сердца, уже не нуждаясь в дистанции, сотрясла все мое естество, заставив оказаться мгновенно у ее ног — сцена, может быть, совсем неуместная, а может быть, и вполне уместная в этом богоугодном заведении — и воскликнуть — или залепетать что-то уже совсем не свойственное, невесть откуда берущиеся слова:

— Моя светозарная! Я так люблю тебя! Я виноват перед тобою, но я буду так тебя любить и жалеть, что ты забудешь об этом. Не бойся, я стал совсем другой, я даже научился зарабатывать, правда не очень много, но все-таки. Прими меня, если, конечно, у тебя никого нет — и ты не пожалеешь.

Она подняла глаза и тускло посмотрела на меня; она совсем не удивилась и сказала, подумав, таким же тусклым голосом:

— Что ж, может быть, это правда лучше, чем быть одной. Но предупреждаю, тебе это не принесет радости. Иметь дело со мной сейчас — удовольствие ниже среднего. Подумай, прежде чем...

Я не дал ей договорить, обняв ее и осыпав поцелуями ее голубовато-бледное, без единой кровинки, лицо.

Разумеется, она оказалась права; она знала себя и представляла ситуацию, но я это понял только впоследствии: по странному и, кажется, безысключительному обману чувств, мужчина, увидев красивую женщину, никогда не верит, что с нею может быть тяжело. Когда смотришь в синие глаза красавицы, все, что она говорит, кажется с непривычки или просто по сексуальному влечению, но приобретаемому сложную, сублимированную, поэтически-тонкую окраску влечения душевного (все же, все же, почему красивая женщина кажется необычной, иной, обладающей едва ли не нечеловеческими, сравнительно с обычными женщинами, формами тела и желаниями души?), таким интимно важным, доверенным только тебе и потому трогательным и значительным вместе.

А я и любил ее словно впервые, я все никак не мог привыкнуть, что мы вместе ложимся и вместе сидим на кухне; не знаю, что тут действовало, может быть, длительное одиночество, непривычка или отвычка именно от нее, но я удивлялся, повторяю, даже тому, что под платьем она такая же, как и все женщины, и ревновал ее к самому себе прошлому, пытаюсь стереть своими поцелуями его поцелуи и всем своим поведением показать, что у меня нет ничего общего с этим типом, что ее жизнь со мной сейчас начата с нуля и не опирается на воспоминания ни единой чертой.

К тому же, права она оказалась или нет, нравилось ли мне все или не очень, я должен был выполнить свой долг перед ней, то, о чем говорил мой внутренний голос. Как бы то ни было, первое время все казалось чудесно удачным — и то, что мы оба заново нашли друг друга; и окно ее спальни на западной стороне, куда солнце проникало своими лучами, окрашенными в розоватый цвет тонкой турецкой шторой, во второй половине дня, как раз когда она вставала, а я уже ждал ее пробуждения, такого по-кошачьи домашнего, в отличие от остальных фаз ее больной жизни; и квадратная кухня, где по вечерам,

слушая уютное радио, мы соединялись душами через живой ток необязательных слов, а в окно зимой виднелись черные деревья, совершенно по-брейгелевски обсыпанные белым снегом, в то время как я выпивал с устатку рюмку-другую или бутылку пивка. Или я массировал ей спину; что-то похрустывало под лопатками (отложение солей?), что-то, расширяясь, дышало под кожей и ребрами, и мне казалось, что это узкое тело наполнено не внутренностями, а только безвидной, но теплой от работы душой, уже потерявшей от усталости свою эластичность, упругость, но еще бьющейся, без особой охоты, за привычную земную жизнь. И когда она просила посильнее надавить под лопаткой, я боялся нажатием повредить ей душу и чувствовал звончки нежности, тихие, короткие и оттого особенно теребящие сердце.

Она ровным голосом рассказывала о своем заболевании. Насколько я мог понять, это было сложное психосоматическое заболевание, где никто уже не мог понять, в чем причина: то ли отказ тех или иных частей организма нормально функционировать, постепенно накапливая отрицательную энергию, привел к стойкому нежеланию жить, то ли само это нежелание постепенно привело к стойкому отказу того или иного органа нормально работать. Поначалу она рассказывала ровно, тусклым голосом, просто регистрируя многочисленные симптомы своей болезни, пытаясь их обозначить проще, чтобы я лучше понял, но постепенно, видя, что я слушаю с неподдельной охотой, увлеклась, начала рассказывать образно: «Понимаешь, это похоже на то, что из тебя физически вытягивают душу, как канат», — и тому подобное. Ей давно не перед кем было выговориться: ее немногочисленные подруги покинули ее, стоило ей заболеть по-настоящему. Жена удивлялась: «Понимаешь, ведь стоило у них чему-нибудь случиться, я не только часами говорила с ними по телефону, бросив все свои дела, я готова была ехать на другой конец Москвы по первому зову». Она не понимала, что с ней не просто «что-то случилось», нет, от нее физически отдавало небытием; все живое же нуждается в подпитке жизнью, и если человек погружается в небытие хотя бы частично, оно инстинктивно бежит от него, чтобы не заразиться. Я же и впрямь охотно слушал ее на первых порах: мне дорого было все, чем она делилась со мной, я видел в интимности некоторых

ее признаний знаки доверия, оказываемого только мне, и это наполняло меня своеобразной гордостью обладателя.

Но по прошествии времени гипноз обладания красивой женщиной, как ему и положено, прошел, я ощутил, что это прекрасное лицо и это столь же правильное, худощавое, но округлое тело — всего лишь лицо и тело. Более того, ее поджарая стройность, ее точеная шея и горделиво посаженная камеевидная голова, ее точная поступь, некоторое зримое тяготение вверх при ходьбе — все это парадоксально и тревожно противопоставлялось опущенности, ссутуленности ее души. Внутри моей красавицы сидела на камушке пригорюнившаяся Аленушка, не имеющая, впрочем, в отличие от героини Васнецова столь конкретной причины горести, как исчезновение брата Иванушки.

...Лицо и тело, милые, родные, но не скрывающие более того тяжелого, мрачного, во что превратилась моя жизнь. Прежде всего мы почти не выходили из дома, почти замуровали себя в нем. Жена вообще отличалась удивительной чувствительностью, но за время, проведенное без меня, эта чувствительность подключилась почти единственно к страшной, жестокой подоснове бытия, с годами все более воспринимаемая все радостное, легкое в ней только как легкую пленку, налет, подобный пенициллиновой корочке мягкого сыра, как мимолетность, не достойную внимания, даже не способную на пять минут развеселить сердце. Поэтому обычные темы разговоров — от погоды до обсуждения книжек и кинофильмов — были не для нее; сами занятия эти: чтение, просмотры, прогулки, гости — все менее интересовали ее, воспринимались как нечто совершенно поверхностное, пустячное (и вместе с тем тяжелое, отнимающее так много сил), отвлекающее от настоящей реальности, единственно занимавшей ее: реальности страдания, болезни, приближения к распаду, смерти. Так истинный меломан не опустится до слушания поп-музыки — не из позы, не программно, а согласно естественной или благоприобретенной склонности. Повторяю, жена могла говорить часами о болях в своей (но в равной степени, надо отдать ей должное, и в чужой) душе или теле, в области болезни для нее не существовало мелочей: о порезе пальца можно было говорить столько же, сколько об остром отчаянии или постоянно, почти непрерывно донимавшей ее тошноте. Справедливости ради сле-



дует отметить, что порез пальца вследствие плохой свертываемости крови грозил ей незаживающей раной, лишавшей руку трудоспособности надолго.

А ее сон! Точнее, его отсутствие! Она принимала каждую ночь пригоршню снотворных: радедорм, реланиум, амитринтилин — и все равно не засыпала до шести утра. Странное, тяжелое, изматывающее ощущение — ты медленно, но верно закатываешься в сон — и сквозь сон чувствуешь, как лежащий рядом мучительно бодрствует и смотрит на тебя в темноте. Ты чувствуешь себя виноватым и просыпаешься, и опять засыпаешь, и снова открываешь глаза, и видишь белесое утро, бледную зелень деревьев, слышишь ненавистное пение птиц, и знаешь, что она не спит, и молчишь, надеясь, что она все же вот-вот заснет... Как зыбок становится сон после двух-трех недель такой жизни, какой тяжелой голова поутру; но тут же она спит до трех, начинается новый тур вальса: ты должен не разбудить ее, скрипнув при вставании пружины кровати или половицей, телефонным разговором, звуком открываемой и закрываемой двери... Сколько здесь технических хитростей, маленьких приспособлений, как ловко научился я скользить на цыпочках и как мягко защелкивать за собой входную дверь и только дрожал, что в момент ее открытия сосед с четвертого этажа будет спускаться со своей твякающей шавкой или в подъезд вбегут кричащие дети...

Похоже было на то, что каким-то странным образом ее бывшая энергия в давний момент моего ухода от нее в некоторой степени передалась мне, а моя бывшая немочь во всей полноте поразила ее. Я усматривал в этом метафизическую несправедливость, самую обидную из несправедливостей, и должен, просто обязан был как-то поправить дело.

Я предписывал ей гулять или хотя бы изредка бывать в гостях почти силком. Выманить ее из дому было не так-то просто. Все проявления распада, такие мирные, такие обыденные для нас: лужи, ухабы, планки, мат, — да и в нас самих: порча зубов, седина в волосах, морщинки у глаз, погодные головные боли, усиливающиеся с возрастом, — ужасали ее, не давали спокойно жить. У себя дома она отчаянно, из последних сил боролась с хаосом — наводила порядок изо дня в день, часами, сжав зубы, скребла, мыла, промывала, стирала пыль, а стоило ей сту-

пить два шага за порог своей квартиры, на лестничную клетку, как она встречала первый плевок, первый затоптанный окурок и теряла всякую охоту к дальнейшему путешествию по морю житейскому. Там, за порогом, все пугало ее, все дышало угрозой, и она боялась за меня и не хотела даже, чтобы я шел на заработки. А уж задержаться где-то там хотя бы на час — значило ввергнуть ее в паническое состояние. Если я жалел, берег ее, то должен был бросить привычку стихийно встретиться в центре с тем или иным знакомым, выпить с ним пивка или просто поболтать, не контролируя жестко время.

Но если жена так боялась смерти, распада, хаоса, как могла она не хотеть жить? Подобно мне, она должна была любить мирную, безопасную жизнь внутри квартиры, пытаться удержать ее, сохранить ее привкус, аромат! В том-то и дело, что нет. Она ненавидела жизнь за то, что не справлялась с ней, а будучи человеком ответственным, должна была, по ее понятиям, справляться и пыталась изо всех сил, через силу, и от этого, по мере слабения, ненавидела жизнь все сильнее, но и все менее остро, ибо само слабение притупляло все, даже негативные, чувства.

Тем не менее ее тотальная ненависть к жизни принимала порой разрушительные формы, распространяясь временами и на меня: я был, конечно, выведен за скобки отвратительной внешней действительности, но не до конца — каждый, даже любимый, является для другого, пусть самого любящего, в какой-то мере частью внешнего мира. Тогда наша жизнь погружалась из-за любой непредсказуемой мелочи в атмосферу скандала, срыва, иступленной ярости. К несчастью, я позволял себе — не всегда, далеко не всегда, но все же — отвечать на крик криком, принимать вызов, как поступают обычно люди с обычными людьми. Я не учитывал того, что жена моя — человек абсолютно отчаявшийся и потому не держится за жизнь, а стало быть, не стремится сохранить семью, мир, очаг, что она по ту сторону грани, которую не переходит абсолютное большинство людей, укорененных в цепкой жизненной почве. Каждый раз я совершал одну и ту же ошибку, поддерживая скандал, истерику — и надеясь на женскую отходчивость, женское желание покончить дело миром, погасить ссору. Огонь не утихал, жена могла не отходить, молчать целыми днями с естественностью дыхания — так,

нормально адски, жизнь и должна была длиться, по ее ощущению, и я должен был мучительно и унижительно долго умиротворять ее, дабы снизить атмосферное давление до переносимого мною.

...Итак, я вел ее гулять почти силком. Гулять в нашей округе можно было только в направлении так называемого пруда, лежавшего в целых десяти минутах ходьбы. Этот маленький грязный прудик непонятным образом привлекал местных рыбаков (быть может, им, как и нам, было просто некуда больше идти со своими страстями и принадлежностями), матерей с малыми детьми и даже купальщиков. Привлекал он и уток, чувствовавших себя своими в стихии грязи. Я показывал на счастливую пару: утку и зеленоголового селезня, плывущих к нам.

— Как все-таки странно устроен мир, — говорил я, бросая в воду кусочки хлеба (это удовольствие подорожало в последнее время). — Эта парочка вполне могла бы полететь в Цюрих или Женеву, плавать в чистейших, красивых озерах, а прилетела сюда, в эту грязь, в эту вонючую лужу.

— Да, действительно, — тихо откликнулась она. — Но, может быть, они и правы. Может быть, по-настоящему можно любить только такую жизнь... такую, как здесь... — она запнулась, не в силах найти нужное определение.

Она словно была согласна, раз уж мне так хочется, полюбить жизнь, но, как бы в обмен, жизнь, пораженную тленом, подернутую пленкой небытия; стоячее болотце, если уж я принудил ее придти сюда, на это краткое время было ей милей больших и чистых озер и рек.

Жена послушно ложилась загорать здесь же на травке; когда-то она покрывалась бронзовым налетом после первых же двух часов, но теперь она оказывалась неприкасаема для загара, живое всепобеждающее солнце не справлялось с ней, оставляя молочно-голубоватой (отсылая меня в воспоминании к бывлой самарской подруге, — тут замыкался некий непонятный для меня круг); и по этой голубоватой белизне по-своему красиво, гармонично — ибо, я утверждаю, есть и красота, и гармония болезни — текли уже совсем синие вены. Вены у жены были отличные, что, по ее рассказам, подтверждали медсестры различных психиатрических лечебниц (в одной из них, где знаменитый профессор С., обращавшийся с человеческой «психикой»

с отвагой лихого автомеханика, отпустил по ее поводу: «И не бойтесь увеличивать дозу. Дайте ей одиннадцать таблеток хлорпротиксена!», — ее вены — в отличие от души — спокойно выдержали двадцать шесть капельниц: амитринтилин, эглонил, седуксен и десятки укулов этаминал-натрия).

Я также настаивал, чтобы мы, пусть изредка, ходили в гости, бывали на людях, — и коль скоро ее подруги оставили ее, ходили к моим приятелям, лучше всего к художникам, у которых в мастерской так много разномастных, непонятно зачем собранных вместе предметов, и все это окружает человека словно чертой безопасности, некоего преизбытка земной жизни, который парадоксально создается атрибутами. И сами хозяева, люди, взятые не со стороны их субъективности, где они, как и мы, подвержены страхам, депрессии, болезням, угрозе смерти, могущей наступить в любую минуту из-за обстоятельств, нами непредвиденных, а с их чисто внешней стороны, там, где они смеются, шутят, ведут задушевную беседу, выпивают-закусывают, словно так было всегда и будет всегда, — сами люди, подобно одушевленным предметам, умножают здесь ощущение безопасности, некоей недвижимой подвижности, некоего «вечного сейчас»...

Но вот что я чувствовал постоянно: если я хотел понастоящему жалеть ее, если выбрал путь Жалости, то должен был не уходить от мрака, царящего в ее душе, но погрузиться в него, принять его в себя. Самое парадоксальное во всем этом было то, что, сострадав ей всерьез, не имитируя сострадание, я должен был во всю емкость души разделять ее чувства, а значит — ее ненависть к жизни. Ненавидеть из сострадания, из жалости — не странно ли? но чем более я продвигался в своем сердце, медленно, с трудом — ведь настоящая жалость требует усилий, дисциплины — по направлению к черноте ее мироощущения, тем более естественно проникался ее ненавистью к жизни, вытеснявшей во мне прежнюю любовь, остатки легкого дыхания, боровшейся с ними, не способной мирно сосуществовать рядом; собственно, само увеличение во мне ненависти, все большее разгорание ее злого огня именно и удостоверяло — я не топчусь на месте, но двигаюсь в заданном себе направлении.

Я получил ненависть от другого, а не выработал ее в недрах собственного «я»; она была, так сказать привита мне, — но, коль скоро уже поселилась во мне, требовала выхода. Теперь уже я, а не жена, неистово-вежливо ругался по телефону с диспетчером и техником смотрителем: почему нет горячей воды, почему отключили на день отопление, почему не делают ремонт потолка ванной, протекшего по вине РЭУ. Все эти мелкие свидетельства распада начали и меня выбивать из колеи; теперь налаживать порядок жизни, восстанавливать животворную непрерывность работы ее слагаемых приходилось мне, — а чего это стоило?

Едва ли не самой разрушительной — и во всяком случае, самой отталкивающей — для ее уклада стихий были мыши. Дом, на первом этаже которого находился магазин «Продукты», обречен. Мы пытались бороться с мышами радикально, звонили в санэпидемстанцию. Пришла кроткая бабушка, засыпала по плинтусам пол белыми зернышками. «Ну и что?» — «И все. Она придет, поест отравочки и сдохнет». — «А другие не придут?» — «Как это не придет? Она ж живая!».

Мне мыши не внушали особого отвращения; то есть не могу сказать, чтобы я их сердечно любил, но все же в отличие от людей это были достаточно безопасные, мелкие, уживчивые создания. Да и опыт общения с приходящей мышью в отобранной у меня квартирке (как я иногда жалел о ней!) убеждал: стерпится — слюбится. Но жена их выносить не могла, у нее сердце падало вниз, как при воздушной яме в полете, от вида молниеносной серой тени, от бесшумного звука появления твари после предварительного вежливого шуршания. Она не могла не представлять себе весь невообразимо грязный путь незваной гостьи в ее чистенькую — после стольких трудов — квартиру, изолированную от людей, но, увы, не от наших меньших братьев по классу млекопитающих. Братьев же этих — или сестер — в доме жены было поистине сорок тысяч, и никакая «отравочка» не в силах была ликвидировать их как класс.

Оставалось прибегнуть к паллиативу: мышеловке. Мне не нравился этот симбиоз гаротты и гильотины, его характерный щелчок, означающий гибель очередной невинной твари, но, коль скоро я хотел помочь выжить моей лю-

бимой, мне ничего не оставалось, как, повторяя вслед за героем одной довольно известной пьесы: «Из жалости я должен быть суровым», — обзавестись этим орудием казни, а затем, в ходе его постоянного применения, неизбежно войти во вкус войны, в азарт уничтожения живых существ. Я достиг определенного искусства охоты, поняв — и затем осуществив — две вещи: а) надо слегка поднимать край шпенька — спуска орудия; б) насадкой должен служить только кусочек твердокопченной колбасы высших сортов, не крошливой, крепкой, — прочую наживку ловкая и осторожная мышь могла снять безнаказанно. Последнее стоило недешево, но траты оправдывались. Неприятно только, очень неприятно был подковыривать тугую удавку, чтобы сбросить сплюснутую, тихую жертву в мусорный пакет (жена никогда не использовала помойное ведро, чтобы его не отмывать, а только разовые пустые пакеты из-под молока и кефира). Впрочем, ко всему привыкаешь, хоть и не без урона для нормального самочувствия.

Хуже всего, хотя это может показаться странным, действовали мелочи. По мере дальнейшего сочувствия к душевной болезни другого я становился не только все мрачней, но и все неврастеничней; однако неврастения моя имела уже вполне автономный характер, — и если жена, например, не могла спать с закрытой форточкой (как ей казалось, она задыхалась «без воздуха», хотя о каком воздухе может идти речь, если окна выходят на улицу, да и основные выбросы предприятий, говорят, происходят по ночам, когда не штрафуют), то я, напротив, не мог спать с форточкой открытой: моя обостренная чувствительность волею психологического казуса относилась не к свежести воздуха, а к шуму. Здесь сострадание вступало в противоборство с тем, что оно же порождало, и, уступая ей, я обрекал себя на муки бессонного раздражения — за окном прилично грохотало всю ночь.

Или, если мы шли на пруд и нам надо было пройти мимо винного отдела продуктового магазина, за углом которого и шла единственная тропинка к пруду, я уже издали выглядывал стоящую там публику, среди которой попадались люди заводные и прилипчивые, и при мысли о том, что кто-то прицепится к ней и нарушит весьма относительное равновесие ее души, причинит ей хотя бы мельчайшую боль своей грубостью, я уже заранее готов

был взвять от горя и судорожно сжимал в кармане газовый баллончик, дабы из жалости к ней выпустить струю парализующего газа прямо в ненавистные глаза потенциального обидчика.

Да, я потерял равновесие, потерял покой и вряд ли мог в этом своем состоянии быть кому-либо приятен. Но она любила меня, я знаю, она меня любила, когда говорила ночами тусклым голосом, прижавшись ко мне, говорила долго, ровным, как будто повторяя вытверженный урок, несколько деревянным голосом, в основном употребляя отличавшую ее раньше правильную речь, удерживающую язык от распада, но с сильными вкраплениями речи неправильной, по чему можно было судить, насколько забрала ее болезнь, и от чего разговор ее казался не вполне естественным и приятным, как ровное, правильное дыхание, то и дело прерываемое судорожными вскриками и хрипами:

— Я люблю тебя за то, что ты не сильный. То есть, может быть, ты по своему и сильный, но, к счастью, не знаешь этого, мой любимый. Я люблю тебя за то, что ты не уверен в себе. Нельзя любить человека, уверенного в себе, потому что это значит — он дурак набитый. А сколько их развелось сейчас, этих уверенных... Что там, я и сама, до того, как меня скрутила болезнь, была очень сильной, могла часами работать, засыпать и вставать когда и где угодно, знать не знала, что такое нервное и физическое истощение. И вот, в один момент, оно вошло в душу — и... И я знаю: человек — не хозяин себе, что там — своего мельчайшего поступка. Бог отпускает руку Свою — и оно приходит, а я, только что веселая, спокойная, не нахожу себе места, не могу ни сидеть, ни жить... И что-то выворачивает, вытягивает из тебя душу, как веревку, и наматывает ее себе на руку, как... А они думают, что не только они сами, но вся жизнь зависит от них, их дурацкой инициативы, их пошлого напора, их скотской силы!.. О, глаза бы мои не видели ни их, ни этой жизни, сплошь лежащей во зле, в скотстве... Нет, правда, жизнь настолько ужасна, что я бы хотела не жить, но умереть, умирать, пережить сам момент перехода — еще страшней. Если бы какой-нибудь мгновенный, совсем мгновенный яд... Но если там вправду есть Кто-то — то смертный грех...

Я только старался слушать, старался не засыпать, прячь свою душу, открыв ее для услышанного. Всю жизнь я, как большинство людей, любил больше говорить, чем слушать, любил, когда внимательно слушали меня, и теперь с трудом переучивался, зная по опыту, что нет более драгоценного собеседника, чем просто молчащий и внимательно слушающий.

Она любила меня и хотела, чтобы я всегда был рядом, как все немногое, что она любила: теплые зимние тапки — чуни, фарфоровые фигурки пятидесятых годов, «Мертвые души», книги Бунина. У жены было удивительное свойство: ничто не приедалось, не надоедало из того, что она любила, и ей совершенно не хотелось новизны, новых знакомств, перемены мест. Поэтому ей не нужно было отдыхать от меня, и вместо облегчения из-за того, что я утром ухожу, а прихожу только под вечер, она испытывала сильный недостаток меня.

— Но ведь ты же хочешь железную дверь? и новые батареи, которые грели бы по-настоящему? Дверь стоит 100 тысяч, каждая батарея — 25. А где я деньги возьму, если не крутиться по-черному? И так не хватает.

Постановка стальной двери, хотя нам совершенно нечего было охранять от грабителей, была ее перманентной идеей, как и смена ржавых, забитых грязью и потому не греющих батарей. Она постоянно боялась, что батареи, изъеденные ржавчиной с 1956 года, вдруг прорвет и нас затопит кипятком — и боялась небезосновательно: тому уже были примеры. Основателен по-своему был и ее страх перед грабителями: соседей с первого этажа, людей вполне бедных, обворовали же средь бела дня. Собственно, почему соседей, живущих на «авось» с такими же точно трубами, считать нормальными, а ее нет? Ведь зачастую логика душевно-больного — не какая-то особая, а совершенно нормальная, более того — это именно логика, последовательное мышление, додумывание до конца, — но как раз последовательность-то, доведение до логического конца, то есть, казалось бы, сугубая нормальность почему-то и считаются признаком болезни. В чем тут дело? В чрезмерности, которая и есть патология? Или так только в России, где недоверие к разуму, ясной и строгой рассудительности возведены в национальное кредо: «Умом Россию не понять...»? Между тем и для меня, человека, отнюдь не



отрицающего рации, в педантичном страхе жены перед возможным потоком и ограблением, ведущем ее к практическим выводам (положим, стальные двери ставят многие, но это люди обеспеченные, людям же, находящимся на нашем уровне, эта мысль в голову не приходит), сквозил привкус безумия. Почему?

Но я твердо решил, невзирая на то, что у меня к этому не лежала душа, дать ей то, что она хочет. Дать человеку то, чего он хочет, это всегда целебно. Но в самом деле — как, не отлучаясь надолго, заработать кучу денег? Я не слишком поворотлив мыслью в области заработка, но нужда заставит — ум заработает. Я обратился ко все тому же знакомому бизнесмену, и он дал мне по знакомству замечательную работу: дозваниваться в разные места по домашнему телефону. Работа требовала утренних часов, и нужно было стараться говорить достаточно солидным голосом и вместе с тем тихо, чтобы не разбудить жену: засыпая под утро, она крайне болезненно возвращалась от бесплодных, даже самых мрачных, но ощутимых под действием лекарств вполсилы снов к отвратительно массивной действительности, всеми силами стараясь отхватить у нее хотя бы еще час-другой в пользу временного невращения.

И все-таки я купил ей эти батареи, доставил их домой и нашел слесаря, который нам их поставил!

А ведь сколько ее врачи — мы объездили пол-психиатрической Москвы — винули меня в потакании жене, сваливая все ее беды на «нереализованность», призывая к «активной социальной жизни» и добавляя, что моя пассивная жалость разовьет у нее психологический паразитизм, а это загонит болезнь еще глубже! Сколько раз я уже почти готов был сдать на уговоры, погнать ее на работу и мытьем, и катаньем, — но всякий раз что-то останавливало меня, все, вынесенное мной оттуда, из убежища, говорило мне, что дело не в «нереализованности» и не в пассивной жалости, и даже не в точном диапазоне ее сложного, многосоставного заболевания, а именно в том, что моя любовь и жалость, и только они, не сегодня, так завтра, так через год поднимут ее с постели, выведут из болезни, и я продолжал слушать ее часами и гладить по бескровным щекам, печальным векам и шелковистым тяжелым волосам.

Часами, я сказал? неправда, неправда! Это мне так казалось, по тяжести, по сгущению говоренного: на самом деле говорила она почти всегда — минуты три-четыре, не больше, и умолкала надолго, прежде чем продолжить; лишь ее мерная, безударная интонация замедляла сказанное, делала тягучим. Потому-то она и не могла быть психологическим или каким бы то ни было паразитом: жена была аристократична если не по форме выражения чувств — невозможное для нее дело в силу самой долготы болезни, надорвавшей силу ее воли к сдержанности — то по способу самообнаружения, способу двигаться, не задевая никого, по органической невозможности тянуть одеяло на себя. Она не требовала внимания, не просила жалости, хотя и нуждалась в них, а всякую толику сострадания, терпеливой любви, уделенной ей, воспринимала как незаслуженный аванс и повышала требовательность к себе: еще сокращала время жалоб, время рассказа о своем самочувствии. И еще она усиливала энергию уборки квартиры: это было все, что могла она сделать в ее обстоятельствах.

Любить значило для нее чувствовать человека едва ли не острее, чем он сам, не только во всех точках его насущных помыслов или специфических забот, но и во всем том, без чего он не был полным собой. Так, скажем, она недолюбливала мою мать, но в какой-то из непросчитываемых дней обязательно говорила:

— Тебе пора позвонить матери.

И если я пренебрегал ее напоминанием, в тот же вечер раздавался звонок из родного города, я слышал голос матери: либо что-то случалось, либо она сообщала, что скоро приедет, либо волновалась, что я так долго не звоню.

Вобщем способность предчувствовать близкое будущее любимого (свое будущее она не предчувствовала совершенно) доходила у жены почти до ясновидения, и она могла по легкому чиханью предсказать вовсе не простуду, а обострение у меня хронической болезни желудка, или что послезавтра в коммерческий магазин с товаром лучше не ходить — будут неприятности с товароведом.

Такая точность знания будущего могла объясняться силой нацеленности, напряженностью вслушивания в жизнь любимого (я всегда воспринимал время пространственно: нет никаких «было», «есть» и «будет», все только есть,

подобно телеграфным столбам, удаляющимся в «прошлое» по мере движения поезда и надвигающимся на него из так называемого «будущего»; а коль скоро будущее уже есть, нужно только изострить свое внутреннее око или слух, чтобы различить его), но хочется думать, скорее этот дар был компенсацией судьбы за невозможность пребывать в настоящем.

Между тем время шло и шло, недели, месяцы, а то, на что я надеялся, не происходило — положение ее становилось все безнадежнее, все мертвее; небытие словно утягивало ее с поверхности вглубь, в себя. И однажды я понял: все так и все не так. Происходящее между нами нуждается не в проводнике — ведь, получая от нее заряд боли, я, как правило возвращал его обратно во внезапных приступах полупьяной тоски, страха смерти — приступах малодушия, овладевавшего мной вдруг от хронической тяжести ноши; и тогда уже она жалела меня во всю неограниченную силу своей способности к состраданию, отнимая от себя силу жить, чтобы иметь силу утешить меня. Нет, происходящее между нами нуждается в полупроводнике: все, что передается мне от нее, должно во мне и оставаться, отфильтровываясь, не передаваясь назад. Все силы ее отчаяния, разбитости, томления и горя должны оставаться во мне, а взамен я должен передавать ей только чистые токи любви и радости. Я должен был вытягивать ее болезнь на себя, в себя, и не подавать виду, что отравляюсь, заболеваю сам, — не то, при ее способности жалеть, мы останемся сообщающимися сосудами, где уровень боли одинаков.

Я начал имитировать здоровье, веселость, легкомыслие; это давалось с трудом, со скрипом. Но постепенно я разработал в себе какую-то жилу лжи во спасение и вытягивался все более. Я тянул канат и наматывал его на лебедку своей души, не пуская размататься назад.

И наконец медленно, очень медленно, начало происходить то, на что я перестал надеяться и втайне. Началось с того, что она осмелилась сама выйти на улицу — еще через месяц мы пошли в кино, самое пустяковое, и ушли с половины сеанса, не вынеся дикой скуки. Через полгода она взяла у меня партию свежепринесенного товара и отправилась, не без страха, сдавать его в магазин. Однажды ей удалось заснуть — одной таблеткой веланиума всего в

четыре, и хотя планка потом опять приподнималась до шести, но с тех пор она опускалась временами до четырех-половины пятого. Она начала вдруг поговаривать о покупке голубого карликового пуделя, общение с которым, говорят, совершенно успокаивает нервы; я был изумлен до крайности: появление шустрого, громкого и шерстистого существа в доме очевидно входит в противоречие с культом чистоты и порядка; впрочем, разговоры ни к чему не обязывали. Но у нас вдруг зазвонил телефон: неведомо какой силой явилась из небытия одна из ее бывлых подруг; это могло значить только одно: учуяла поживку, в воздухе потянуло живым. Я торжествовал. Конечно, она еще плотно сидела на таблетках и подолгу молчала, глядя перед собой, но, кажется, я имел уже право немного торжествовать. И тут...»

От публикатора.

*Некоторое время назад ко мне пришла женщина, красивая той красотой, которая ныне — за ненадобностью — красотой как бы и не считается. «Если бы я позволила сначала, — сказала она, — Вы бы мне отказали. Все пишут, и каждый хочет печататься. Но это не моя рукопись... Я принесла ее только потому, что уверена — она может быть интересна не только мне». Не говоря больше ни слова, она ушла, но надолго оставила после себя исходившее от нее ощущение редкой полноты существования, странным образом и тяжкого, и легкого одновременно.*

*Прочитав рукопись, я согласился с оценкой, которую ей дала посетительница. И понял — кто она. Думал я и о рассказчице, думал о том, что он не сочиняет, а излагает. Но что остановило его руку на полуслове? Наполненное до краев болью жены, горечью ее потерянной жизни, немым ее криком о помощи, порвалось его сердце?.. Или он просто не выдержал и опять ушел, бросив все — и эту рукопись тоже? Или — устал так жить — и еще и писать?..*

*На папке с рукописью был обратный адрес, и я хотел уже послать письмо этой женщине, расспросить ее. Но, вспомнив ощущение, исходившее от нее, подумал, что ответа на мои вопросы, в сущности, не требуется...*

## ЗАСЕКА

\* \* \*

Наркотический запах магнолий  
расстояньем усилен в стократ.  
Вдруг покажется: зреют на поле  
и айва, и хурма, и гранат.

Но очнешься — в прореженном свете  
треск и крики — ну, прямо беда.  
Едут мимо крестьянские дети,  
знать не знают, зачем и куда.

Словно леший, слышны, но незримы,  
побросают игрушки, да прочь —  
Кровяные коробочки «Примы»  
и бутылки, пустые, как ночь.

Гарь слоится, звезда догорает,  
солнце тлеет, нетвердо всходя  
над железную дранкой сараев  
в паутине грибного дождя.

---

**Игорь  
ТАРАСЕВИЧ**

— родился в 1951 году в Москве. Окончил МИИТ и Литературный институт. Автор сборников стихотворений «Звук» (1977), «Ожидание полета» (1982), «Учебные стрельбы» (1984), «Зимнее купание» (1993), «Второе зимнее купание» (1994), книг повестей и рассказов «Время года» (1985), «Мы должны говорить друг с другом» (1990), «Сквозь стекло» (1993), «Прощание с Пу-Та-Уи» (1994), историко-документального романа «Примирения нет» (1990).

Ни сморчки не заменят фруктозы,  
ни опята, чисты ото лжи.

Даром

злые рассветные слезы  
камень точат и точат ножи.

1993

## СТИХИ НА ДАРЕНИЕ ПОДЗОРНОЙ ТРУБЫ

Приблизь, приблизь волшебное далеко,  
и станешь сам — сканирующий луч.  
теперь тебе не будет одиноко,  
поскольку Руст  
спланирует из туч.

Не просвещенный дружественным ТАССом,  
не разбирая символов беды,  
он кинет ананасом и фугасом,  
чтоб воскресить торговые ряды.

А ты, сейчас летящий через линзы,  
ходящий вокруг сторожкого колка,  
ты не покинешь Площади Отчизны,  
что от Стены до стенки — широка?

Ну, разве жаль, когда сияют взрывы,  
и вечный флаг  
трещит на ветерке,  
сгореть себе  
среди зарослей крапивы,  
зажав трубу в чернеющей руке?

Когда труба — труба Иерихона,  
и ты в гробу у пульта изнемог,  
и даже рад опять  
побатальонно  
выдавливать брусчатку из-под ног.

1991

## ЗАСЕКА

Татарин в плюшевом жилете  
прошел засечную черту  
и на рассвете при кастете  
стоит в Трубчевске на мосту.

Как прямоезжею дорогой  
помчит экспресс «Москва-Казань»,  
Илья, татарина не трогай.  
Охота вам в такую рань.

Мосточек весело покрашен —  
он, как Чайковский, голубой.  
Татарин никому не страшен,  
околони же, Бог с тобой.

В Трубчевске трубы земляные,  
труби — не слышно ни хрена.  
Но есть иные позывные.  
Так начинается война.

Встает Литва, и лях проклятый  
уж за мостом готовит рать.  
И свято все, что было свято.  
А Киев где, не разобрать.

1993

\* \* \*

В крупинках кварца рот, Албена.\*  
Созвучье может уколоть.  
Не городские эти стены,  
но имя чувственно, как плоть.

Албена — мчанье и качанье,  
и две тяжелые волны,  
и зарослей благоуханье,  
что, словно в тропиках, влажны.

---

\* название черноморского курорта.

И пусть бесплодно обладанье,  
как процедурное купанье  
для записного старика!

Албена, шлюха площадная!  
Ты вся — записка потайная  
от Зигмунда-весельчака.

1993

### ВАРИАЦИИ ПЕТРОВУ

Зеленое утро собачьего лая,  
зачем так легко загораешься ты?  
Электрик Петров отвечать не желает,  
хоть многое видно ему с высоты.

И лампа ночная палится, чтоб было  
удобней Петрова снимать со стола.  
Потом обнаружат записку и мыло  
и тоже напишут, что дело — труба.

Но есть изощренней и яростней мука:  
не провод вонючий сжимать в кулаке,  
а так — при слиянии света и звука —  
висеть, как всегда, на одном волоске.

1993

\* \* \*

Расплющенный гвоздь в неподъемной руке,  
путевая ксива — в цветном узелке.  
в завязке одной, словно — с куревом, там  
невинная радость читать по складам,  
вдруг ставшая плешью да бесом в ребре.  
Что гвоздь в кулаке, что петля на шнуре,  
что сладкой конфорки фенолбарбитал:  
там черт проглядел, а Господь напирал.  
Он ушки потянет и снова твой век  
по ксиве назначит:  
— Да, наш человек.

1994



ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

\* \* \*

Жжется дерево сандал  
в суженных зрачках,  
расточает слезный дар  
в лужах-ручейках.

Жжется плавленная медь  
в горней вышине,  
чтобы было умереть  
скоро и во сне.

\* \* \*

Отмирает любопытство,  
удивленье замирает,  
и душа небескорыстно,  
но не скрытно занимает

---

**Наталья  
ГОРБАНЕВСКАЯ**

— поэтесса, училась в МГУ, закончила заочно ЛГУ в 1964 г. Печатается с середины 60-х годов. Автор двенадцати сборников стихов. С 1967 года активная участница правозащитного движения, одна из основателей «Хроники текущих событий». В 1975 г. эмигрировала, живет в Париже. С 1986 по 1992 год — зам. главного редактора «Континента». В настоящее время работает в «Русской мысли».

очередь. В разлуке с плотью  
и сама оплотянула:  
ноздри высунув над топью,  
поглотившей облик тела,

дышит газом флогистоном,  
углекислый выдыхая  
с хрипом, посвистом и стоном,  
называемым стихами.

\* \* \*

О, этой искры высеканье,  
тропа кремнистая к отраде,  
в Замоскворечье, Засекванье,  
в Трастевере, на Малой Стране,

на Петроградской стороне,  
где кто-то помнит обо мне  
над Невкою, то ли над Марной,  
где пышет, победивши тлен,  
на стыке рифма саламандрой...

\* \* \*

Что ж ты не растаешь,  
утренний снежок,  
бедный мой товарищ,  
белый мой ожог.

Что же ты не выпал  
на исходе дня,  
рванный лед не выбелил  
там, где полынья,

там, где по соседству  
прорубей и прорв  
острогой по сердцу  
целит рыболов.

\* \* \*

Корова не доится,  
трава не растет,  
и надвое делится  
закат и восход.

И хлеб не уродится,  
и лен не взойдет.  
Вступись, Богородица,  
за вдов и сирот.

\* \* \*

Европейянок — в обратном  
переводе — кротких  
узнаешь по жарким пятнам  
на ланитах знобких.

Приносили жар и горечь,  
жажду и веселье,  
а остались жаль и горечь,  
чужое похмелье.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ А. ЗУБОВА  
«ПУТИ РОССИИ»\*

Выражая живейшее согласие с выраженным в статье принципиальным предпочтением страха Божия — национальному «триумфализму», я позволю себе сосредоточиться на том, что для меня неприемлемо или не вполне приемлемо, касается ли это смысла высказываний, либо — что порой еще важнее, — их тона. Как известно, тон делает музыку.

1. Христианину естественно, даже неизбежно искать христианского осмысления истории — отечественной и всеобщей. Но он должен ясно отдавать себе отчет, к какому делу он приступает. Ибо христианство — сразу и проще всего на свете, и сложнее всего на свете. Оно настолько просто, что ребенок или полуграмотный простец всегда мог и может в наши дни безошибочно ориентировать свое собственное бытие, свой личный подвиг по одному-единственному речению Христову, слышанному за литургией или прочитанному на раскрытой наугад странице Еван-

---

**Сергей  
АВЕРИНЦЕВ**

— родился в Москве в 1937 году. Окончил филологический факультет МГУ по классическому отделению. Член-корреспондент Российской Академии Наук. Автор многочисленных работ по истории культуры, переведенных на ряд европейских языков, в том числе книг: «Плутарх и античная биография: к вопросу о месте классика жанра в истории жанра» — М. 1973; «Поэтика ранневизантийской литературы» — М., 1977; «От берегов Босфора до берегов Ефрата» — М., 1987 — и др.

---

\* См. «Континент» № 75.

гелия, приняв это речение абсолютно и до конца всерьез. Но оно настолько сложно, что задача христианского истолкования судеб других людей, судеб народов, держав и человечества в целом едва ли вполне по силам самому изощренному уму; ибо «христианская точка зрения» — это, страшно сказать, «точка зрения» самого Господа, ни больше, ни меньше. Лежащими под рукой цитатами из Писания, при неизбежном забвении других цитат, да еще моралистическими трюизмами, столь же неоспоримыми, сколь и недостаточными, тут не обойдешься.

К сожалению, за духовный и мистический подход к истории уважаемый автор принимает самый тривиальный, обыденный, одномерный морализм. К вящему сожалению, морализм этот до того агрессивен, что слишком часто заставляет вспомнить, как русский простонародный ум производил встарь слово «мораль» («мараль») от глагола «марать» («мараль пуцать»). Думаю, что не для меня одного совершенно невыносим пассаж, посвященный частной жизни Александра II (стр. 155—156), — еще с каламбурчиком насчет назидательного, видите ли, созвучия фамилий княгини Юрьевской и комиссара Юровского... Но ведь это — лишь кульминация безудержного морализаторства, густо разлитого по всей статье. Для сердца это морализаторство оскорбительно; ну, а для ума — для ума уж чересчур простовато. Вот, значит, как все объясняется. Был бы такой-то государь примерным семьянином — ни тебе народовольцев, ни тебе комиссаров.

Прошу понять меня правильно. Я не думаю отрицать связь, порой вполне ясную даже и для рассудка, порой тайную и мистическую, между строем личной жизни предстоятелей христианского общества, да и простых христиан, каковы те же суть «царственное священство» (I Пет. 2, 5), — и политическими катаклизмами. Боже избави! Сказал же человек столь далекий от правоверия, хотя не лишенный мистической чуткости, как Бодлер, что Французскую революцию «сделали сластолюбцы» («La Revolution a ete faite par des voluptueux»). Но когда рассуждает христианин, на нем лежит специфическое обязательство, о каковом попробую сказать несколько слов.

Деликатная категория грамматического лица, которая в определенных контекстах просто безразлична с точки зрения формальной логики, сплошь да рядом определяет корректность или некорректность высказывания внутри христианского дискурса. Мытарь сказал о себе: «я грешник», — и был прав; Фарисей сказал об этом же Мытаре: «он грешник», — и поступил дурно. Тем паче, когда речь идет о таких тонких материях. Если я сумею всерьез, без позы, без жестикуляции, без истерики, в «затворенной клетке» моей совести ужаснуться соблазну, в который каждую секунду ввожу знакомых и незнакомых мне людей, дозволяя себе что-то, касающееся, казалось бы, меня одного, — это будет правильно. Но переход к третьему лицу все портит.

2. Я не могу согласиться с предложенной в самом начале, на стр. 125, дихотомической схемой: «эвдемонизм» — «сотерия». Дело даже не в том, что предмет, называемый у почтенного автора эвдемонизмом, корректнее было бы назвать попросту гедонизмом. Не будем спорить о словах. Важнее другое: и христианская традиция, и житейский опыт убеждают, что желание благополучия, самого земного, чувственного, эгоистического — не единственный и даже не главный соблазн. Не оно привело к падению Люцифера и Адама. Мы ежечасно видим, как люди отдают не только спасение своих душ, но и свое, как выражается А. Зубов, «благоденствие в дольном мире», обрекают себя на лишения, на опасности, на гибель, — только бы взглянуть на других свысока, только бы ощутить себя, хоть на миг, вершителями чужих судеб. Испытания подпольного человека, о котором нам поведал Достоевский, — это что, эвдемонизм? Эвдемонизм, что ли, правит сегодня бал в Нагорном Карабахе или Боснии? Народоволец, обрекавший на смерть и свою жертву, и себя самого, хотел получше устроиться в дольном мире? Эвдемонизм, антиэвдемонизм — это все какой-то леонтьевско-ницшеанский разговор (причем как раз Ницше, звавший прочь от Христа, знал, чем соблазнять — волей к власти, к мощи и к опасности, героической позой); вспомним, все-таки, азы нравственного богословия и назовем абсолютную альтернативу «сотерии» не эвдемонизмом, а гордыней. Вспомним, что о хлебе насущном, о таких эвдемонических благах, как здоровье души и тела, как благоденственное и мирное житие для нас, наших семей, нашего народа, — разумеется, подчиняя эти блага «премирным», сотериологическим, — Церковь молится и велит молиться; а вот молитва об удовлетворении гордыни — для христианина невообразимое кощунство.

Можно, конечно, процитировать генерала Д. Н. Дубенского (который, впрочем, лишь передает слова некоего встреченного им второго марта 1917 г. полковника, вроде бы не беря за них полной ответственности); современники говорят разное. Но история обеих революций вышеназванного года, купно с эпопеей гражданской войны, — что угодно, только не торжество эвдемонизма. По уверениям А. Зубова, православные и национальные ценности были проданы «за буханку ржаного хлеба и за фунт масла по полтине», «за одну снесь». С этим даже неудобно спорить. Честное слово, отец Лжи не так прост. Действовал иной, совсем иной соблазн: была ваша история — будет наша, была ваша слава — будет наша, и мы, мы смотрим на прошлое отечества (как и человечества) сверху вниз. Ну, конечно, проекты насчет светлого завтра, но завтра еще когда будет — а самоутверждаться можно сегодня, сейчас. Подростки, очень часто по возрасту — вспомним Аркадия Гайдара, — но еще чаще по психологии, дорвались до истории. Да, святые были проданы, но не за фунт масла, не за снесь, а прежде всего за упоительную иллюзию: история —

послушная глина под нашими руками. Это страшно; но разве это так непонятно?

3. Никак не могу согласиться, будто «в 1941 году граждане СССР почти поголовно верили Сталину, готовы были умереть за него» (стр. 152). Достаточно вспомнить одно-единственное слово, чтобы утверждение это рассыпалось: такое слово «власовцы». Попробуем для эксперимента вообразить, чтобы в какую бы то ни было из больших войн минувшего, не исключая первой мировой, хотя бы даже и в злосчастном 1917 году, сыскалось бы такое количество русских, которые рвались бы — не дезертировать, не к бабе и к земле, а получить оружие из недоверчивых вражеских рук, чтобы с безнадежным бешенством биться против властей своего отечества? Это не Квислинг, не Петэн, это сюжет похлеще. Мы с мамой отсиживались тогда от бомбежек под Москвой, в полусельском домике; а за стеной тетя Ньюша — не ангел, ох, не ангел, однако ж неподдельная русская баба — даже и не скрывала, что немцев ждет не дождется. И это — русская; а ведь в число поминаемых А. Зубовым «граждан СССР» входили и народы, после войны сплошь депортированные за нехорошее поведение. Да если бы народ «почти поголовно» готов был к смерти за Сталина, именно за Сталина — разве же так шла бы неравная война с Финляндией, кислая победа в которой при соотношении сил участников была равнозначна поражению? Разве так выглядели бы первые месяцы Великой Отечественной? Ведь до Подмосковья дошло. А когда дошло, когда пальцы врага ухватили за горло, — тут уж стало невозможно разбирать: Сталин, не Сталин.

Русский народ гораздо меньше склонен класть головы по приказу начальства, чем это любят утверждать то в похвалу, то в укор ему. Лишь когда явственно, ощутимо встает вопрос о самом существовании отечества, пробуждаются силы, которых только что словно не было. Во время Первой Мировой этого не случилось. У затяжной войны не было ни доходчивой мотивации, ни доходчивого драматического сюжета: от столиц неприятель далеко, явственной угрозы нет, а умирать приходится — за что? Конечно, присяга — дело святое. Если бы мне довелось жить тогда, я надо полагать, вместе с благомыслящими возмущался бы настроением солдат. Но ведь ненужная была война; безумие для Европы, и двойное безумие — похмелье в чужом пиру — для нас. Людей вызвали из их трудовой жизни — делать историю; ну вот, они и соблазнились — делать уже свою собственную историю. Недаром женщина, в начале войны повторившая подвиг Надежды Дуровой, после служила в Чека...

4. Уважаемый автор вновь и вновь обращается к Ветхому Завету, потому что оценивает ситуацию по ветхозаветной парадигме: есть один избранный народ, который может отступить от своего Бога, а может к Нему вернуться, именно как народное целое;

но в любом случае речь идет о нем и только о нем, ибо едва ли не все прочие народы мира пребывают в языческой тьме эвдемонизма. Должен сознаться, что не могу представить себе в наше время таких всенародных актов выбора и связываю свое упование для России (но также и для других народов) с другим понятием, тоже ветхозаветным: понятием «остатка» народа Божия. «Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего» (Ис. II, II); «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом... для остатка народа Своего» (там же, 28, 5). Бог знает души, оставшиеся Ему верными в каждом народе. Что до мечтаний о священном народе и священной державе, реалистичнейшую ориентацию христианину дают и сегодня тексты Нового Завета.

«Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному» (Посл. к евреям II, 15—16).

«Ибо не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего» (там же, 13, 14).

«Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени» (Отк. 5, 9).

Лев ИГОШЕВ

## О ПУТЯХ РОССИИ

В 75-м номере журнала «Континент» была помещена статья А. Зубова «Пути России». Большой размах, широкие картины, интересные факты, а главное, умелый и строгий их подбор определяют ее силу и строгость ее выводов. Тем досаднее смотреть на солидные просчеты, имеющиеся в ней. А их, увы, немало. И почти все они одного типа: автор затрагивает важнейшую тему, разработка которой могла бы привести к решению важнейших вопросов, затрагивает и... уходит в сторону; а важные выводы оказываются висящими в воздухе.

---

**Лев  
ИГОШЕВ**

— родился в 1954 г. Окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАИК). С 1978 г. занимается музыковедением.



Вместе с тем статья имеет столь солидные (по нашему мнению) достоинства, затронула столько вопросов, что мы решили, хотя бы вкратце, пройти по важнейшим узловым моментам, оставленным «висеть в воздухе», и постараться облечь их в плоть. Как нам кажется, это помогло бы прояснению путей России. Так ли это на самом деле — судить читателю.

А. Зубов приводит довольно известную цитату — высказывание К. П. Победоносцева о малом религиозном воспитании русских простолюдинов и о том, что при всем этом «во всех этих невоспитанных умах воздвигнут — как было в Афинах — неизвестно кем алтарь Неведомому Богу!» По мнению А. Зубова, этот алтарь воздвигался «Промыслом, усилиями многих поколений святых мужей и жен» \*. И более ничего. Это высказывание предельно неконкретно. Что касается Промысла — то без Него явно ничего не творится, а особенно доброго. Но как воздвигнут? Чудом? Согласно Тертуллиану («Душа по природе христианка»)? И если люди не знали толком даже молитву «Отче наш», то чем тут помочь могли святые мужи и жены (да и что они делали, если не научили окружающих даже этой молитве)? Вопросы, вопросы, вопросы — и нет ответов.

Между тем для всякого, читающего современные исследования по традиционной народной культуре (хотя бы труды И. В. Поздеевой) ответ прост. Его мог не знать Победоносцев, со своим Библио- и кодексоцентризмом. Но сейчас его не знать — непростительно. Византийская культура тем и отличалась от западной, что в ней было огромное количество «четьей» литературы, то есть текстов, назначенных в первую очередь для чтения, причем зачастую ориентированных на самого простого и невзыскательного читателя (или слушателя). С давних времен отцы Церкви в Византии исповедовали такой принцип: «писать так, чтобы и образованный мог похвалить, и необразованный мог понять». Такая ориентация, упрощенно говоря, учитывающая и интересы «бестолкового», способствовала созданию огромного пласта литературы, перешедшей в Россию. Всевозможные Пролога, Лавсаики и просто сборники — Цветники в огромном количестве ходили по стране. Нам приходилось неоднократно участвовать в археографических экспедициях МГУ — и всякий раз перед нами разворачивалась величественная картина огромного количества преданий, сказаний, притч, передаваемых и письменно, и — у неграмотных — изустно. Эти притчи входили в быт народа. Многое вошло настолько прочно, что перемешалось, если так можно выразиться, с новой волной язычества — уже неязычества. Так

---

\* Зубов А. Пути России. — «Континент», 1993, № 75, с. 140.

представления, имеющие своим первоисточником тексты пр. Ефрема Сирина, вошли в неоязыческие легенды, связанные с культом «Матери сырой земли»\*. Это было внедрено крепче, чем «Отче наш». И нет сомнения, что в этом же направлении — поучениями через притчи — действовали и многие русские святые. Достаточно припомнить слова пр. Серафима Саровского.

Можно (и, наверное, нужно) спорить о том, насколько полно эти адаптированные тексты могли выразить сущность православного христианства и насколько полно эта сущность могла быть усвоена народом (если он их переделывал в языческом вкусе). Но, пожалуй, не может быть сомнений в том, что такой путь помог многим основам христианства укрепиться в народе.

Тогда встает новый вопрос. Общим местом многих трудов стала проблема так называемого «этического православия», заключающегося в том, что в России даже в условиях полнейшего безверия, приводящего к неосознанию «душевного глада», непониманию необходимости чего бы то ни было трансцендентного, сохраняются этические нормы, опирающиеся на Православие. Причины этому видели в долгом влиянии Церкви, не снимасмом периодом атеизма (что в общем верно, хотя не детализировано). Подробности, приведенные нами, позволяют уточнить само возникновение феномена. Такой полуфольклорный тип освоения традиционной христианской культуры, при которой основные ее положения усваивались даже в виде, формально чуждом понятию христианства вообще (неоязыческом), привел к тому, что многие положения православия стали восприниматься как, с одной стороны, нечто само собою разумеющееся, и, с другой стороны, поэтому автономное от религии самой по себе, которая часто воспринималась как определенная последовательность выполнения церковных обрядов, смысл коих для большинства прихожан был весьма туманен. Это привело к тому, если пользоваться образами Победоносцева, что облик Бога был затуманен и мог человеком со стороны (каковым, в конце концов, и был Победоносцев) быть воспринят как «Неведомый». Но основа этого облика — несомненно христианская. Автономное же ее восприятие обеспечило ее выживаемость в период официального атеизма, не лишеного, однако, некоторых одобрительных реверансов в сторону язычества (сама эта тема требует отдельного исследования). Потому многие нормы православия и сохранились в своем этическом виде.

Среди других недоосвещенных вопросов наше внимание привлекает вопрос, посвященный собственно революции. А. Зубов спрашивает, почему люди в 1917 году восстали против, в общем,

---

\* Топорков А. Л. Материалы по славянскому язычеству. — В кн.: Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984, с. 227—228.

не слишком больших трудностей военного времени, а в 1941—42 годах сносили куда большие трудности, не пытаюсь возмущаться?

\* И здесь вопрос так и остается без попыток решения; не приводится ничего, кроме достаточно общего и мало что выражающего текста из пророка Иезекииля о людях, у которых за их беззаконие опустятся руки, и обоймет их трепет. Нас поражает в этом отрывке другое. А. Зубов, будучи, несомненно, человеком религиозным, не видит присутствия трансцендентного там, где оно несомненно. Он полностью доверяет околomarксистской мифологии о целом экономическом подоплеке революций. Да разве в 1917 году дело было только в перебоях с хлебом? Они были поводом — конечно, важным поводом, но все же только поводом для восстания; они были лишним подтверждением того, что он сам же излагает (и так же неконкретно) дальше — убеждения в том, что власть никуда не годится. Но если он думает, что это убеждение рационалистское по своей природе, то он жестоко ошибается. Революций на рациональной основе не бывает. Если в их повод и влетаются материальные мотивы, то разве нет таких мотивов, допустим, у пророка Исайи? Между тем, можно ли назвать его текст материалистическим, рационалистическим? Нет, всякая революция бого- или хотя бы религие-борческа. Это все, как и в пророческих текстах, переплетается с рациональными, или, лучше сказать, псевдорациональными мотивами. Но в основе всякой революции лежит убеждение, что старый мир кончился, что наступает новое небо и новая земля, и — для революционера — дерзостное убеждение, что он сам это все и сделает. Поводом крестьянскому восстанию в Германии в 1525 году послужила необычная весна: люди поверили, что наступает «изменение времен». Сам же Т. Мюнцер считал себя новым пророком и, в качестве такового, вставлял собственноручно изменения в канонические пророческие тексты (вот оно, стремление самому все раскрутить, самому создать новую землю!). В Англии 1640-х годов эсхатология была не менее сильна, причем многие ждали не просто пришествия Христова, но Его войны, активного политического вмешательства, сначала против прежних властей, потом — против Кромвеля («грядет Господь Иисус сразиться со Змеем, сидящим на престоле Англии»). И снова — фактическое вмешательство в библейские пророчества. Атеистическая, вроде бы, Французская революция характерна тем же желанием все сменить: и летоисчисление, и месяцы, и обычаи, и — что не совсем обычно для атеистов — ввести новый культ: то полубезбожный культ Разума (не правда ли — странно!), то Верховное Существо Робеспьера... Что же до нашего любезного отечества, то нельзя не замечать огромного течения, проявившегося с середины 1840-х годов; начиная, к при-

---

\* Зубов А. Цит. труд, с. 148—149.

меру, с юношеского дневника Чернышевского, всюду проходит одна мысль, эсхатологическая по своей природе — мысль о грядущей смене времен, о том, что вот-вот имеют наступить новое небо и новая земля. Этой мыслью о рождении нового порядка в мире проникнуто все и вся, и чем дальше, тем больше, начиная от революционеров и кончая умницей Гершензоном, который тоже говорит о совлечении с себя «ветхого Адама». И везде, всюду — подсознательное тяготение к новой вере; Чернышевский у Некрасова вызывает своего рода напоминание о Христе; несмотря на доходящие до неприличия ругательные выходки Ленина против всякой религиозности (впрочем, в них видно уже тоже нечто трансцендентное, какая-то одержимость), многие революционеры, вроде Тодорского, именуют свои писания «Новое евангелие» — ни больше ни меньше, так что эта тенденция потом вызывает ехидную усмешку Набокова, отмечающего в «Даре» (кстати, опять же по поводу Чернышевского!) что чем левее комментатор, тем больше пристрастия он питает к выражениям типа «Голгофа революции». Чахоточный Надсон говорит о пришествии веры и «гибели Ваала» (даже вот так, по-ветхозаветному!) — и его стихи становятся революционной песней рабочих Урала; она помнится там и до сего дня. Словом, все, всё и вся ждут преображения. Возможно ли в этих условиях оценивать объективно преимущества и недостатки режима? Да он просто должен был пасть — только за то, что он прежний!

Мы не вполне верно выразились, что все только «ждали» преображения. Революционеры, с присущим им титанизмом, стремились занять место Бога (прямо по Фейербаху: «Бог есть то, чем должен быть человек») и сделать это преображение. А в сталинское время что из этого могло быть? Верующие в преображение, в новое небо либо остались верующими в тов. Сталина, либо разочаровались — а разочарованные, увы, революций не делают. Оппозиция к режиму не была вдохновлена эсхатологизмом — да и в стране уже не было ощущения скорого прихода чего-то чудесного. Откуда же взяться активному сопротивлению?

Здесь мы коснулись другого интересного вопроса: сама атмосфера ожидания чуда — до какой степени она возникла самопроизвольно? Несомненно, в ней виновна в значительной степени агитация и, как говорил Лесков, «пропуганда». Все речи о чудесах науки, дополняющихся чудесами социологии (не обязательно марксизмом), постепенно проникавшие с теми или иными искажениями почти всюду, конечно, способствовали чаяниям нового мира и отречению от старого. Вряд ли все это, однако, могло прельстить того же Гершензона — а ведь и он включился в чаяние нового. Значит, в этом чаянии если не чуда, то большого сдвига было и нечто объективное.

Мы все время как-то забываем о том раскладе, который был перед революцией. А ведь 82% населения в России составляло

крестьянство, значительная часть которого жила в патриархальном быте. Патриархальный же быт, «лад», описанный Беловым, похож на монархию, как ее представлял себе Солон: «прекрасное обиталище, но не имеет выхода». При крушении этого быта несколько поколений бывают потерянными: классический пример — Англия эпохи огораживаний. Начал этот быт сокрушаться как раз перед революцией. Причины были самые различные: после революции 1905 — столыпинская реформа, а до того — развитие фабрик. Была и еще одна причина — введение всеобщей воинской повинности. Фольклорист Истомин, много мест объездивший, привел мнение одного из священников, обрисовавшего причину, почему крестьяне отходят от старых песен и от старого быта вообще — из-за службы в армии. И на это огромное движение наложилась чудовищная мировая война, война артиллерии, где человек — воин-непрофессионал — ощущал себя пылинкой на страшных жерновах. На Западе, где люди были более подготовлены к такой индустриальной войне, и то возникло целое поколение, не могущее жить по-прежнему, опаленное войной, возникла целая литература, описывающая это поколение, из которого многое выжжено — Ремарк, Олдингтон... А теперь вообразите себе ощущение крестьянина, вырванного из своего патриархального мирка и брошенного в эту макромясорубку! Какое страшное крушение своего внутреннего мира он должен был пережить! Стоит ли после этого удивляться массовости дезертирства (а именно дезертиры сыграли огромную роль и в феврале, и в октябре 1917)? Самые разные источники описывают вернувшихся — от Ленина до Соколова-Микитова. Все согласны в одном — вернулись озлобленные, с выгоревшей душой люди, покончившие с Богом. Вряд ли стоит здесь видеть гениальные успехи большевистской пропаганды. Верато у многих была полуязыческая; Бог для них был в меру их мирка, а мирок развалился от дальнобойной артиллерии. Он и действительно развалился. Безмужичья деревня не выдержала — начались массовые измены, и многие бежали с фронта только затем, чтобы расправиться с женой; это явление приняло настолько массовые формы, что Горький в «Несвоевременных мыслях» специально его отмечает\*. Дикие самосуды, изменение деревенской морали, отмеченные тем же Соколовым-Микитовым, показали, что «новый мир» пришел. «И еще никогда с такой силой не разгорался инстинкт собственности, как в эти злые дни «комму» и «социализации». Люди стали как волки. Сосед с соседом не поделят широкой улицы у окон, и дело сплошь и рядом доходит до топоров. Никогда так не ссорились бабы: мать и дочь не могут поделить горшков в печке. Никогда не было такого количества разводов и семейных разделов. Яд смуты подточил самые крепкие семьи, со старины охранявшие семейный лад, мир и силу.

---

\* М. Горький. Несвоевременные мысли. М., 1991, с. 41.

Никто никому не хочет помогать ни трудом, ни хлебом, ни ссудой. Нищих не стало, да только потому, что перестали подавать. Седые старики, помнящие крепостное и когда-то считавшие за грех продать голодному хлеб, принимавшие нищего, как Христа желанного гостя и с земным поклоном подававшие ему ломоть и корец, теперь не подадут и корки умирающему у них на глазах голодному ребенку» \*. Это апокалипсическое по своему ужасу описание имеет предшественников; еще до революции небезызвестный Ф. Крюков тоже рисовал «душную злобу» в деревне. Все это убеждает нас, что здесь виновата не столько смута, сколько распад прежних основ в деревне, сам до известной степени и послуживший питательной почвой для смуты.

Война, распад, полурелигиозные чаяния некоторых о «новом небе» и полный развал и безбожие большинства обожженных войной — да что иное из этого хаоса могло выйти, как не большевистская диктатура? Ясно, что такое новое небо могло быть только медным, а новая земля — железной...

К Великой Отечественной войне же течение жизни, что ни говори по этому поводу, начало налаживаться. Жестокий деспот железной рукой крепил страну. Психологическая неподготовленность к войне — помимо прочего, еще и следствие его ошибок — была все же меньше, чем в 1914—17. Воспевание «коней стальных», пафоса индустриализации тоже сыграло здесь положительную роль. «Броня крепка, и танки наши быстры». — может, и было не вполне точно, но обращало сознание большинства на танки и броню, дабы не разевать рот при их виде. Значительная часть новых рабочих уже выварилась в индустриальном котле и могла воспринять мясорубку без первобытного ужаса, смешанного с изумлением, характерного для Первой Мировой. Налаживался — с трудом, мучительно, на ощупь — но все же налаживался быт. Безумия 1920-х, логически вытекшие из крайностей 1910-х, изживались. В 1934-м году была официально провозглашена ценность семьи. Сталинское государственное крепостное право, помимо закрепления колхозников в селах, до известной степени законсервировало остатки старого быта и воскресило прежние качества, утраченные вроде бы в смуту. По крайней мере, воспоминания людей о 1930-х годах не оставляют такой безнадежной картины, как цитированные выше. Тогда сформировалась политика, полностью осуществленная уже после войны — создать некий симбиоз старого и нового, старых патриархальных устоев, их основательности, их ориентированности на твердое соблюдение морали — и новых, условно называемых «социалистическим» черт. Такой симбиоз хорошо виден по предельно соцказачным «Журбиным» Кочетова. Семья, нарисованная там, хотя и рабочая (ну

---

\* Соколов-Микитов И. Д. Крепота и тощета. — Родина, 1990, № 10, с. 84.

как же, «пролетарская»), но по сути своей — патриархальная. Вспомним эпизод из фильма, многих восхищавший — как дед дает подзатыльник отцу, и тот принимает его «со смирением» от старшего. Типично патриархальная картина. И на этот патриархальный дух явно пробует опереться Кочетов. Не ясен ли соц-заказ?

Требует своего разбора и такой спорный вопрос, как влияние на деревню раскулачивания. Мы перешли от официозной пропаганды, объявлявшей кулаков «врагами народа» к безоговорочной их апологетике, объявленном лучшей, творческой частью населения, восхищению «справными» мужиками. Но в жизни все не так просто. Вот что пишет тот же Соколов-Микитов про этих «справных»:

«Заводчиками всей смуты и крови всегда были сытые — крепкие мужики, одолеваемые ненасытной жадностью на землю и деньги; «в первые дни своеволия первый топор, звякнувший о помещичью дверь, был топор богача» \*. Несхожий с ним по типу, наблюдавший крестьянство в совсем других местах, Короленко говорит нечто похожее: «В общем отмечали даже, что начинали (т. н. «грабижку» в 1902 г. — Авт.) по большей части деревенские богачи». «Деревня тогда еще не расслоилась. В ней первую роль играл по-прежнему деревенский богач, выступавший всюду ее официальным представителем. Он же руководил и грабижкой» \*\*.

Таким образом, раскулачивание могло быть неоднозначной акцией. По-видимому, этот шахматный ход был хорошо продуман Сталиным — лучше, чем принято сейчас думать. Во-первых, социально активные элементы удалялись, оставались наиболее послушные (это по официальной мифологии они — революционные, но он-то знал, как к ней относиться). Во-вторых, с наиболее активными элементами удалялось и разлагающее остатки патриархальности начало, и, следовательно, появлялась возможность «поиграть» на этих остатках, укрепить общество, сплавить то, что, по идее, должно отталкивать друг друга — патриархальность и индустриальность. Конечно, исполнение этой циничной акции было еще более безобразным, чем вся ее циничность. Совчинник показал всю свою страсть к «перевыполнению планов» и развернулся. Раскулачивания шли по «указивкам» сверху — сколько должно быть кулаком в том или ином месте. Но все же нельзя не отметить — раскулачивание прошло с меньшими мятежами, чем можно было ожидать. Сработал психологически точный расчет: «спокойная» часть деревни, во-первых, давно отделилась от кулачества, во-вторых, взирала с осуждением на их «революционность» и восприняла постигшее их бедствие как естественное

---

\* Там же, с. 84.

\*\* Короленко В. Г. Земли! Земли! М., 1991, с. 63, 67.

наказание: они грабили, а теперь их грабят. Очевидно, этот успех вдохновил «дядю Джо» на повторение в 1937 году подобного же мероприятия с «врагами народа» — почти сплошь «шибко партейными». И здесь тот же расчет: они стояли за расправу — теперь с ними расправляются. Кто их пожалеет?

Поэтому ответ на недоумение А. Зубова должен быть таков: люди были разные, настроение (изначальное) было разное в 1917 и 1941 годах. От настроения и зависела вера (или неверие) в правительство. В 1917 году никто бы не сделал ничего — и потому, что шло разрушение патриархальности, и потому, что многие чаяли «нового неба», и потому, что многие еще не прониклись самым понятием «мировая война», воспринимали ее, по старинке, как нечто постороннее, от которого можно отделаться, а жизнь в целом должна идти по-прежнему. В таком состоянии можно было обозлиться и на перебои с хлебом. Понятие о том, что война — это уже не как раньше полыхающие окраины, от которых можно и отвернуться и мирно прожить в своем медвежьем углу, пришло только в гражданскую, и до этого жестокого урока бесполезно было бы внедрять его в народ; такое понимается только на предметном материале.

Перед войной и в войну же Сталин крепил свой культ. Между тем — это не было тайной, об этом открыто в свое время говорил Киров — смысл культа многие соратники Сталина видели именно в духовном противодействии фашизму, культу Гитлера. Киров прямо говорил: в Германии теперь (1934 год) агрессивное правительство, культ вождя. Мы должны этому культу противопоставить свой культ, сплотиться вокруг своего вождя.

И снова поднимаем этот вопрос — неужели не видно скрытой, но прослеживающейся тенденции к оккультному, к подкреплению, при всей атеистичности, образно говоря, силами с того света? Даже более того — видно, что Сталин штудировал Маркса повнимательнее, чем это принято делать сейчас, и уловил некоторые эзотеричные приемы Маркса. Уловил — и дал их использовать поэтам.

Э. Ренан сказал: «СеMIT дал Бога, ариеп дал бессмертие души»\*. При всей односторонности этой фразы, в ней довольно точно расставлены акценты. Разумеется, определение «семитического» и «арийского» (если это последнее вообще можно точно определить) должно быть гораздо шире, и, может быть, в настоящее время таковое и вообще невозможно; но если мы примем эту систему координат со всей ее условностью, то увидим, что Маркс, при всем семитическом (условно) духе своей проповеди (см. параллели со старыми писаниями, проведенные о. Сергием Булгаковым\*\*)

\* Бердяев Н. Судьба еврейства. — Тайна Израиля. СПб., 1993, с. 318.

\*\* Шафаревич И. Послесловие. — Наш современник, 1990, № 11, с. 145.



не чуждался чисто арийского (условно же) заигрывания с тем светом, с призраками, которые в семитических культурах либо игнорировались, либо понимались как «мерзость» (достаточно перелистать Библию). Конечно, Маркс как воинствующий атеист мог призвать к себе «царство мертвых» только в поэтическом уподоблении, в риторической фразе; но замечательно то, что он прибегает именно к такой риторике, к таким фразам, к такому направлению — и где? Не в своих (довольно скверных) стишатах, где могло бы быть уместным что угодно — а в официальных документах. И это — доктринер, распорядительный человек, с его сухостью, с его тяжеловесными, далеко не лучшего вкуса шуточками, которыми он время от времени позволял оживлять свои весьма пресно написанные тексты... Нет, он печатает звание — «Коммунистический манифест», где, в общем, остается верен тяжело-немецкому дурновкусию («нацепленные на зад... гербы») и не менее тяжелой схоластике. Но вот — дело коснулось заветного — и сразу повеяло старой северной Европой, Шекспиром: «Призрак бродит по Европе». И это — не единичный случай; так, в одной из позднейших работ он снова возвращается к этой же тематике: «наш старый крот, что так проворно рвет» (прямая реминисценция из «Гамлета»), «Робин Гудфеллоу» (прямо из английской мифологии) — так именует он ход прогресса, приводящий, по его мнению, к коммунизму. Везде, везде это стремление опереться на тот свет, загниготизировать общество призраками — популярнейшими героями Северной Германии и Англии!

Нам трудно делать многие выводы в абсолютно утвердительном тоне. И. В. Сталин был человек скрытный. Не все, что он думал, он доверял бумаге или — тем более — партнерам. Кое-что интересное можно было бы получить, посмотрев его библиотеку, ознакомившись с его пометками на книгах, но — увы! это для нас, как и для многих других, сейчас недоступно. Но некоторые скрытые тенденции видны, так что о них мы можем говорить хотя бы предположительно. Правда, в его трудах отыскать их невозможно. Но мы имеем дело не с Марксом, самореализовавшимся по большей части в своих трудах. Сталин же распоряжался многими людьми — и вряд ли случасн тот факт, что в войну появились стихи и поэмы, в которых тоже использована «призрачная», «арийская» образность. Было бы странно видеть в этом только поэтический прием. Без санкции верхов тогда за иной прием можно было и ответить, как за религиозную агитацию. И все же в стихах, например, К. Симонова того периода можно найти немало подобных примеров. Но венцом всего стала знаменитая поэма Н. Тихонова «Киров с нами». В ней сошлось столько всего, что сразу даже трудно увидеть. Конечно, переключка с «Воздушным кораблем» Зейдлица-Лермонтова видна невоору-

женным глазом — и хорошо укладывается в традиционный призыв того времени учиться у классиков. Но этим не исчерпывается все его содержание. Здесь можно видеть еще и переключку с... бонапартизмом («Воздушный корабль» посвящен Наполеону), причем, в отличие от своего прототипа, здесь бонапартизм торжествует. И, наконец, эта поэма ставит тень Кирова в традиционной ряд — ряд питерских призраков, видений, которыми история этого города полна более, чем любого другого русского города. Киров вписывается в питерскую мистику, наряду с тенью, например, Петра I, являвшегося Павлу I и грозившего несчастному Евгению. Но главное — в общем смысле: в попытке снова опереться на мир иной, хотя бы в поэтической форме (в другой для показывающего себя марксистом невозможно). Тот, кто давал соцзаказ Тихонову и Симонову, учел урок Маркса.

Вот сколько всего может стоять за такими привычными словами, как «революция», «культ личности». Перемена целых поколений, разрушение одних, укрепление других, оккультизм там, где, на первый взгляд, царил самый плоский атеизм...

И, главное, огромные движения, связанные то с крушением, то с «подмораживанием» крестьянского быта, кое-где типичного и для мелких провинциальных городков. И здесь мы выходим, можно сказать, почти на современность. Ведь последний этап крушения этого быта разыгрался совсем недавно. 1976 год — неперспективные деревни, наивность ученых, полагававших, что люди, скворчнутые со старых мест, переселятся в укрупненные села — и их реальный наплыв в города. Удар по остаткам патриархальности (сколь бы слабы и переизвращены к тому времени они ни были) был нанесен точно. Он придал движению в крупные города новый размах и силу; в них устремились и из мелких городков (такое стремление было и раньше, но новая волна как бы влила в него энергию), в которых сохранялись остатки патриархальности — и во многих случаях переселение было и добиванием патриархальности в душе человека. Чаще всего переселялись в общежития... что об этом сказать? думается, даже и не жившие в них знают, что это такое. Крушение прежних представлений, как всегда, вызвало новую волну люмпенизации — и пресса перед перестройкой частенько в той или иной форме писала о проблеме «лимнты». А по историческим аналогиям (о которых говорилось выше) известно, что такое крушение оборачивается тремя-четырьмя потерянными поколениями. Вот и делайте выводы. И о религии, и о современности, и о том, какого героя она современность может выдвинуть наверх и чего от нее ожидать.

Мы далеко ушли от статьи. А кончается она, увы, весьма шаблонно — рассуждениями о семидесяти годах рабства, о выходе на свободу и прочее в том же духе. Сами по себе эти мысли

нечто под собою и имеют; но именно дух их, по нашему мнению, заключает в себе нечто ложное. Сейчас принято рисовать революцию такой огромной, никогда не бывалой катастрофой, что просто тянет воскликнуть: да за что ж мы такие проклятые? Между тем — революции имеют и свои закономерности. Французская революция была ничуть не лучше — это понимал уже Бердяев. Нам нечего добавить к его чеканным словам: «Русская революция — отвратительна. Но ведь всякая революция отвратительна. Хороших, благообразных, прекрасных революций никогда не бывало и быть не может. Всякая революция бывает неудачной. Удачных революций не бывало. Французская революция, признанная «великой», тоже была отвратительна и неудачна. Она не лучше русской революции, она была не менее кровавой и жестокой, столь же безбожной, столь же разрушительной в отношении ко всем историческим святыням»\*.

Повторяем, добавить нечего. Можно только развивать. Во Франции тоже прошло восемьдесят лет, прежде чем, наконец, стал ясен первый плод революции — III республика. Они тоже пережили своего деспота, который залил всю Европу кровью. То же самое было в английском «Великом мятеже», как зовут они свою революцию. Война, жестокости, голод, деспотия одного человека, заварившего в Ирландии такую кашу, которую невозможно расхлебать даже сейчас в остатке Ирландии — Белфасте, и успокоение лишь спустя сто лет. Все это говорит о некоей закономерности, действующей независимо от характера революции и зависимой, по-видимому, только от сущности революции, как колоссального потрясения страны. Поэтому для нас, желающих узнать свое будущее, полезно взглянуть на то общество, какое установилось в этих странах после революций. Взглянуть не с неких, весьма мифических, «объективных», безотносительных позиций, на которые так любит вставать наша интеллигенция, а начать сравнение: за что боролись — и что у них получилось.

Прежде всего бросается в глаза такой факт: революционная идеология не сохраняется. Английская революция была религиозной. Но то религиозное знамя, под коим она свершилась — пуританство-кальвинизм — так и осталось достоянием немногих. Господствующей церковью и до сего дня является англиканская. Не сохранились и политические замыслы. В Англии нет ни республики с однопалатным парламентом, ни управления лорда-протектора.

Во Франции, несмотря на антирелигиозность революции, соблюдается та же закономерность. Антирелигиозные замашки революционеров и попытки введения новых культов — все провалилось. Не сбылся и призыв Вольтера, направленный против

---

\* Бердяев Н. Новое средневековье. М., 1990, с. 35.

католической церкви: «Раздавите гадюгу». Что же касается идей, вдохновлявших революционеров — того же руссоизма — то с ними разделались еще до наступления III республики.

Идеология не сохранилась — но назад пути не было. Общество после революции не походило на чаяния революционеров — но оно еще менее походило на старый, дореволюционный режим. Революция провела какую-то границу — и новый строй — капитализм — победил и во Франции, и в Англии. Победил даже несмотря на то, что старый строй опирался на огромное идейно-философское обоснование, что некоторые черты феодализма защищали такие блестящие мыслители, как Карлейль. Поначалу новый строй был более жесток, чем прежний — русский читатель может вспомнить хотя бы все ужасы, описанные в «Капитале» Маркса — ведь они взяты с натуры и подтверждаются многими другими источниками. Но этот новый строй дал и что-то такое, от чего общество в целом уже не могло отречься и вернуться к прежнему времени — времени послушания, знания каждым своего места, почтительности к высоким родам — и обязанности этих родов заботиться о вверенных им Богом людях. Все это подгнило еще до революции — а революция только окончательно обрушила остальное. Проще говоря, препятствием были не только и даже не столько недостатки старого строя — у какого строя их нет? — сколько какой-то психологический барьер, отталкивание от отжитого, оставшегося за чертой, отсутствие самодисциплины, могущей загнать себя в прежние рамки. Произошла катастрофа в душе. Прежний человек распался — и начал с мучением рождаться новый, причем период молодости нового был отмечен ужасными пороками. И эта катастрофа была в какой-то степени вызвана — в Англии это особенно заметно — крушением крестьянского быта, патриархальности. Очевидно, рождение нового человека, не могущего войти в старые рамки, именно и связано как-то и с крушением в душе старого миропорядка, и с чаянием нового неба и новой земли. Новый человек был ужасен — и прошлое через некоторое время начало идеализироваться. Карлейль вышел именно на этой волне. Появился даже некий «феодалный социализм», о коем упомянул — вернее, снизошел до упоминания — даже желчный и на все озлобленный Маркс. И все же новый строй победил — ибо победил новый человек.

Апологеты этого строя, коих в нашем любезном отечестве сейчас развелось великое множество, утверждают, что этот строй давал и дает много свободы — и барьер, о котором мы упоминали, вызван именно невозможностью вернуться от свободы к рабству. Но в новом строе поначалу свобода была очень относительной — она часто оборачивалась свободой умирать с голоду, а, помимо высоких устремлений, человек еще хочет есть. Кроме того, в после-революционный период были и типичные деспотические ограничения,

столь же типично прикрываемые враньем о свободе. Были и всевозможные ограничительные цензы — так что свобода представлялась не такой привлекательной и не такой свободной. Но старый порядок рухнул — и с этим ничего нельзя было сделать.

И поэтому всевозможные возмущения, связанные со столь ненавистной демократствующим «совковостью», выглядят по большей степени наивно. Так мог говорить человек — сторонник старого режима вскоре после Французской революции. Демократствующих возмущает, что «совок» любит быть уверенным в обеспеченности, не хочет перерабатывать, не спешит кинуться в море предприимчивости для возможного (но только возможного!) заработка; «совок» не хочет быть постоянно напряженным, ищет, как бы расслабиться, увильнуть от работы. По сути, смысл этих обвинений — в том, что у «совка» нет самоотвержения. Но в том же могли обвинить и человека нового мира приверженцы старого. И для того, чтобы признать себя Богоустановленным слугой у Богоданных господ, и для того, чтобы держаться в постоянном напряжении в «крысиных гонках», как зовут американцы свою деловую жизнь, нужно самоотвержение, самодисциплина, направленная на загонку себя в рамки. Хотеть этого от человека, в душе которого рухнули последние остатки традиционного мира, или воспитанного в семье, где эти остатки рухнули у отца или матери, право, смешно. Если бы вокруг был только буржуазный мир, если бы мы исповедовали кальвинизм — может быть, третье или четвертое поколение «совков» во что-нибудь и перековалось. Но люди уже успели схватить жизни — нероскошной, но художественно обеспеченной, с установленными правилами игры, с уверенностью в будущем — и надеяться, что назад, в мир свободного предпринимательства, есть путь — значит, быть безнадежным утопистом. Какие бы правила ни устанавливала власть — между собою мы будем играть по прежним, «совковым» правилам. А это значит, что все попытки реформ обречены на провал. Мы уже по ту сторону социализма — и как бы реально этот строй ни различался от лубочных картинок Сен-Симона и Маркса — он единственно для нас реален. Многие из тех, кто сейчас рьяно выступает против него, обмануты. Они выступают не за самоограничение, компенсирующее свободу и не дающее человеческому обществу перейти в свалку, а за отмену формальных ограничений — именно с позиций души неограниченной. Они поверили в Запад так, как раньше русские люди верили в град Китеж. Когда они поймут тщету своей веры, то, что верить можно только в Бога — рухнет и культ Запада, а с ним рухнут все реформы. По аналогии, мы вправе заключить, что общество, которое возникнет, будет свободно от марксистско-ленинской идеологии, но будет по основным своим чертам социалистическим.

«Когда Господь отпускает нам грехи наши, мы должны не отпускать их себе самим, но всегда помнить о них, через возобновление раскаяния в них»

*св. Антоний Великий. Наставления, 43.  
Добротолюбие I, 40.*

## ОПЫТ МЕТАНОИИ

В этом году на Троицу я был в Сергиевой Лавре. У самых монастырских ворот, рядом с нищенками, два дородных бородача торговали портретами старца, черты лица которого ужаснули меня своей знакомостью. Но, дабы не портить праздничного чувства, я постарался забыть об этой встрече. Через несколько часов, на выходе из Лавры мне вновь встретились те же бородачи, еще ближе к воротам придвинувшие свой лоток. Желая все же твердо знать, не ошибся ли я, подойдя, спрашиваю — Чей это портрет? — Григория Евфимовича Распутина — с чуть заметным вызовом ответил мне один из торговцев. Я понял, что не ошибся.

Несколько лет назад, когда духовной цензуры только-только не стало и начали появляться первые издания отцов Церкви и православных мыслителей в киоске с характерной надписью «Академкнига», расположившемся в междувратии Лавры, здесь, на пригорке, торговали портретами императора Николая II, династийными календарями и книжечками, доказывавшими, что последний царь был человеком сильной воли. В те дни на глазах рассыпался в песок гранитный монолит безбожной, внеправовой и антикультурной всеобщности советского строя, и замечать живые знаки возвращения к отеческому наследию невозможно было без радости и сердечного волнения. Тем более, что жестоко умерщвленный в подвале ипатьевского дома последний государь, его супруга, дочери, наследник, верные слуги зримо являли, олицет-

---

**Андрей  
ЗУБОВ**

— родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО. Доктор исторических наук, сотрудник института востоковедения РАН. Читает курс «История религий» в Московской духовной академии.

воряли собой *наше* безмерное преступление. Свидетельствовали о том, что *мы* содеяли, что погубили.

Когда я писал «Пути России» в 1989—1990 годах, состояние народной души позволяло надеяться на то, что страна, общество именно так и переживут свое прошлое. Но немного времени спустя портреты царей, генеалогические древа и книжечки о «сильной воле» и «монархическом принципе православного сознания» переместились от церковных стен в монастырские книжные лавки, претендуя тем самым стать частью современного православного миросозерцания. Слова «что мы содеяли» так и не прозвучали в народных устах. А очень, казалось бы близкое, «что мы содеяли с Россией, с царем, с великой державой», бесконечно было далеко от этой первой мысли. Оно делало нас виновными перед людьми, перед какими-то общественными учреждениями, перед некоторой политической общностью, то есть перед тем, что полно такой же суеты и лжи, как мы сами, но не перед Тем, Кто стоит над этим океаном суеты и греха, спасая нас в Своем Теле, Своим Телом. В этой новой фразе мы боготворили не Того, кому подобает всяческое поклонение, но такую же как мы тварь, делая ее чем-то исключительным и совершенным.

И вполне естественно, что вскоре мы стали делить весь мир на тех, кто был *за* эти боготворимые учреждения и личности и тех, кто *против*. Те, кто делили, искренно полагали себя сторонниками правды и «священной» ненавистью ненавидели своих противников. Вместо слов «мы убили царя и разорили Россию», от которых еще можно было вернуться к точному «мы восстали на Бога и подменили Его истину нашей ложью и оттого пресекалась кровью династия и опустошилась земля отцов наших», были произнесены и все чаще звучат иные, страшные своей нераскаянной гордыней слова: «Они убили, они разорили, они — не мы». А если «они», то мы ни в чем не виноваты, разве в том, что плохо боролись с «ними». Эти «они» могут быть кто угодно — сионисты, комиссары, масоны, либералы, республиканцы, эс-эры, инородцы, иноверцы. Не важно. Главное, что это — они, а не мы. Мы были и есть с истиной, мы — право — славны.

Когда-то, без малого полтора тысячелетия назад, один муж, возлюбивший пустыню более епископской кафедры Ниневийской, написал: «Никого не обличай в каком бы то ни было проступке, но себя почитай во всем ответственным и виновным в прегрешении» (преп. Исаак Сирин, слово 3. Русс. пер. М., 1911, с. 46). И слова эти — не просто нравственный прием, они — утверждение безусловной истины, заключающейся в том, что каждый действительно ответственный за все, и тем более за то, что он знает, переживает, от чего страдает. Если мне неизвестны или совершенно безразличны прошлые моменты российской истории, слава и слезы моей страны, то я не имею с родом моим ни чести ни ответственности. Я — Иван, не помнящий родства. Но если об-

горелые трубы печей разоренных нацистами белорусских деревень, Узмень близ Самолвы, Владимирский собор Херсонеса Таврического, если строка из «Бородина» и Седьмая симфония Шостаковича сжимают спазмом гортань и заставляют холодеть ладони — то тогда дела моих пребывающих во мне и я отвечаю за них, как за свои собственные. А если точно — они и есть мои собственные дела. И за что-то в них я должен смиренно и радостно благодарить Творца, а за что-то горько раскаиваться.

Когда, стоя на исповеди у аналоя, говоришь о соседе, жене или начальнике, как об источнике твоих бед, то тем самым ты обесмысливаешь и хулишь таинство, ни на йоту не приближаясь к освобождению от греха. Когда переживая историю отечества, полагаешь, что кто-то иной, не ты сам, виновен в его бедах, то этой самой мыслью продолжаешь разрушение России.

И дабы та ошибка, та подмена, которая происходит ныне так часто в разделении на «мы» и «они», не осталась скрытой для глаз, это разделение находит себя в портрете Григория Распутина, продаваемом у стен Лавры преподобного Сергия. Если нет желания нести ответ за беды России, то любовь к отечеству, постепенно искажаясь нераскаянной самостью, заставит полюбить вместо Бога — самые отвратительные и постыдные личины отечественной истории, поскольку только полное срастание с грехом, полагание греха благом и праведностью сжигает совесть, избавляя несчастного от ее неотвязных укоров.

Эта духовно пагубная форма «православного патриотизма», к сожалению, становится ныне достаточно популярной и если не всегда достигает таких крайних степеней, как в культе Распутина, то существует в форме безудержного почитания последнего императора и даже готовности поставить свое пребывание в теле Церкви в зависимость от признания его святости.

Ответной реакцией на сакрализацию народно-государственной плоти является обычно сознательный отказ вообще от всякого переживания сущности этой плоти, как таковой. Человек начинает один на один предстоять перед своим Богом, а все родовое, семейное, национальное, имперское, цивилизационное для него — только обременительные узы души, привязывающие ее к должному миру. «Дружба с миром — вражда с Богом» — любят повторять сторонники этой точки зрения слова апостола Иакова (4,4). «Не имеем здесь пребывающего града, но взыскуем грядущего». Ряд цитат можно продолжать очень долго. Все они, как в фокусе, сходятся в величественных и страшных словах Спасителя: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лк. 14, 26) Понятно, и многократно святыми экзегетами объяснено, что под «отцом» и «матерью» понимать надо не только тех двух



людей, от которых родился ты, но и те сущности, коим все народы усваивают дорогие родительские имена отечества и родины.

В поддержку первой позиции, приводящей при полном саморазвитии к канонизации Григория Распутина, нельзя привести ни единой новозаветной фразы. В пользу позиции противоположной говорит все Писание Церкви. И потому так убедительно слова Сергея Аверинцева о «*собственном бытии*» и «*личном подвиге*», о том, что введение «третьего лица» портит оценку и превращает покаянный самоанализ души в «уныло агрессивное морализаторство». Все это очень убедительно. И однако мы не можем возненавидеть ни отца, ни матери, ни жены, ни ребенка своего, уверовав в Бога. Напротив — и любой христианин знает это на собственном опыте, — живой приход к вере раскрывает такие глубины любви к ближнему, какие и не снились в мире внерелигиозной душевной чувственности. Но любовь меняет свой характер, чувство эгоистическое (я люблю его, ибо мне от этого хорошо, и иначе я не могу), подменяется чувством жертвенным (я люблю его, так как я часть его). Если христианин испытывает чувство ненависти не то что к отцу или сыну, но к любому человеку, с которым сталкивает его жизнь, он кается в этом, ибо такая ненависть — тяжкий грех и тяжелая болезнь души. «Кто... ненавидит брата своего, тот еще во тьме... и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (I Ин. 2, 9—11).

Здесь мы встречаемся с очень распространенным в Новом Завете, как, и во многих иных глубоких религиозных текстах, приемом подведения к истине через столкновение альтернативных понятий. Если к какому-либо творению человек привязан более, чем к Творцу, он не сможет стать учеником Христа в великой науке обоженья, превращения твари в Творца. Потому необходимо возненавидеть все, что стоит между тобой и твоим Спасителем. Но так как Спаситель спасает не только тебя, но все Свое творение, то нельзя любя Создателя не любить всем сердцем каждое из Его созданий, за которые Он кладет Свою жизнь так же как и за тебя. Так во Христе возвращается и стократно умножается любовь к человеку и миру.

В сущности, само грехопадение Адама и Евы, их стыд друг друга в сознании открывшейся телесной наготы — первое свидетельство переживания другого, как иного, отличного от тебя, вне тебя существующего. Двое, бывшие до того одной плотью, стали чуждыми друг друга. Очень часто беда, проступок отца, брата, друга, иными словами — «ближнего», является причиной нашего самодовольства или успокоения в законности собственного несовершенства. Мне такого рода помыслы очень знакомы. Именно в них заключена фарисейская гордыня, о которой пишет С. Аверинцев. «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодей, или как этот мытарь!»

(Лк. 18, 11). Но если бы этот «учитель Израиля» не противопоставил себя сборщику податей, но взмолился в сердце «Господи, вот, из-за моей лености, лицемерия, равнодушия есть в Израиле люди, не помнящие закона Твоего, и мытарь этот свидетельствует мне, напоминает мне, как я недостойн того почтения, которое оказывают мне люди, ибо если я действительно был бы учителем народа, а не только считался им, то не позорил бы народ наш имя Твое Святое, лихоимством, блудом, насилием!». Скажи так фарисей, и он оказался бы героем совсем иной притчи.

Для С. Аверинцева «совершенно невыносим пассаж, посвященный частной жизни Александра II». Невыносим он и для меня — и причины тому лишь по-видимости различны. С. Аверинцев переживает в государе Александре Николаевиче другого частного человека, в интимную жизнь которого вторгается хам, указующий перстом на ее несовершенства и как бы говорящий при этом «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как этот Александр II». Такое вторжение, согласен, для *жентльмана* есть свинство, а для христианина к тому же и немалый грех. Но для меня двоеженство и спиритизм императора невыносимы потому, что это тяжкая болезнь одного из членов того тела, к которому принадлежащим ощущаю я и себя. Писать обо всем этом было мне и стыдно и мучительно, а не писать невозможно. Невозможно потому, что его болезнь и моя болезнь связаны воедино одним телом нашего народа. Я ни в малой степени не сужу человека Александра Николаевича и искренне надеюсь, что Господь привел его ко спасению Ему одному ведомыми путями. Но я также не могу забыть и на минуту той простой истины, что «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (I Кор. 12, 26).

Мне совершенно ясно, что грех Александра II — это и мой грех. Мой он потому, что я явственно ощущаю на себе его последствия и мучаюсь ими. Мой грех этот также и потому, что выправляя себя через таинство метанойи — изменения ума, я искупаю, смываю последствия той и семейной и национальной трагедии, что свершалась в Зимнем дворце в годы Великих реформ, Балканской войны и разгула народовольцев. Я смываю ее для себя и потому — для того народа и страны, членом которых безусловно себя сознаю.

«Я не думаю отрицать связь... между строем личной жизни предстоятелей христианского общества, да и простых христиан... и политическими катаклизмами» — говорит Сергей Аверинцев. Но ведь эта, действительно очевидная и всегда прекрасно сознаваемая связь, и далеко не только среди одних христиан, но и среди всех исповеданий, языков и культур, связь эта побуждает нас «нести бремена друг друга», заставляет не замыкаться в солипсической сфере личного стояния пред своим Богом, но мучиться, страдать, искупать собою дело ближнего, которое вполне

и до конца есть и твое дело, твой грех, твоя слава. А можно ли каяться в грехе не сознаваемом? И я уверен, что для совести Сергея Аверинцева «невыносимость» пассажи об Александре II в действительности в том, что и он ощущает свою сопричастность его беде, и мучается ею, как своей собственной. Может ли быть иначе?

«Ты должен действовать имея в виду целокупность мира. Что делает лучший, то и другие люди; какой он выполняет устав, такому следует и народ» (Бхагавадгита 3, 20—21). В этих словах священнейшего индийского текста заключен все тот же смысл. «*lokasamgraha*» — целокупность мира — истина столь бесспорная, что на ней в сущности строится вся политическая наука, все право и, даже, система налогообложения. «Не вести ли, яко грех людский на князи и княжеский грех на люди нападает?» — вопрошал в послании от 23 июня 1378 года святитель Киприан Киевский и Московский преподобного Сергия и его брата Стефана (Г. М. Прохоров. Повесть о Митяе. Л. Наука, 1978, с. 196) «И за немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие, — объяснял страдающим от голода и засухи обывателям Кесарии Каппадокийской св. Василий Великий. И далее прояснял свою мысль ветхозаветными примерами, — Ахар учинил святотатство, и побит был весь полк. Еще Замврий блудодействовал с Маданитянкою, и Израиль понес наказание» (Беседа 8. Русс. пер. Творения, часть IV, с. 129—130)

Конечно, можно и в отношении автора Пятикнижия и использовавшего его образы гомилевта сказать, что «для сердца это морализаторство оскорбительно; ну, а для ума — для ума уж чересчур простовато». Но стоит ли спорить с тем очевидным фактом, что истина всегда немного простовата. Это мы, стараясь подменить Божью Правду, нашей, самоизмышленной правдой, безмерно усложняем собственное понимание мира, вычерчивая все новые эпициклы и возводя бесчисленные сennaарские башни

Да и столь хорошо известный Сергею Аверинцеву Херонейский мудрец сказал как-то в трактате с характерным названием «Почему Божество медлит с воздаянием»: «Род исходит из единого истока, проникнут некоей силой и общностью, и порожденное в нем не обособляется от породившего, как изделие от рук изготовителя» (Плутарх, Моралии, 559 с ).

И ведь именно этой, всем известной и всеми переживаемой взаимосвязанностью и взаимозависимостью, этой «плиромой» рода человеческого «воспользовался» Спаситель, своим вочеловечением открывая путь спасения всем нам. Если не было бы плиромы, наследования отеческого греха, не было бы ни нужды во Христе, ни пользы от Его свершения.

В том-то и беда наших «национальных триумфалистов», как точно наименовал их Сергей Аверинцев, что разделяя всех людей

на своих и чужих, «православных» и «врагов православия», они рвут в себе естественное человеческое ощущение всеобщности нашего рода, полагающей необходимую предпосылку делу Христову. Считая себя защитниками православия, они в действительности становятся злейшими любых коммунистов, иудеев и масонов врагами Христа, «спасителя всех человеков» (I Тим. 4, 10)

Но тогда, когда мы, глубоко и верно переживая уникальность собственной личности, в «деликатной категории грамматического лица», истончаем, а то и вовсе рвем взаимоответственную связь с теми, кого Сам Творец сделал нашими ближними через культуру, язык, кровь, род, мы наизнанку, но повторяем заблуждение «национал-триумфалистов». «Что Бог соединил, того человек да не разделяет».

«Должен сознаться, что не могу представить себе в наше время таких всенародных актов выбора и связываю свое упование для России... с другим понятием..., понятием «остатка» народа Божия... Бог знает души, оставшиеся Ему верными в каждом народе» — говорит Сергей Аверинцев. Безусловно, Бог знает все. Но нам, в связи с противопоставлением «остатка» и целого всегда должно твердо понимать, что «остаток» существует не сам по себе и не сам для себя, но в больном целом и для этого целого. «Если бы Господь Сафаоф не оставил нам небольшого остатка то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис. 1, 9) «Остаток» оставлен всему народу — «нам». И действительно, разве не о том говорит вся история израильского народа? В начале все потомки Авраама, весь Израиль, потом — колена Иудино, после в этом колене — род Давидов. Сужаясь до острия иглы, до тех нескольких тысяч из многомиллионного народа, которые «не приклонили колена пред Ваалом», остаток реализует себя в одной Деве Марии, чтобы через добровольно принятого Ею во чрево открылся путь спасения и всем израильтянам, и тем, ради кого сам народ обетованный стал «остатком», — был избран «в удел». Во Христе и через Христа «остаток» Израиля стал «спасителем всех человеков».

Безусловно, не все в народе русском переживут вхождение в тело Христово, как свою вожденную цель жизни, ясно также, что не каждый христианин готов и может принять в себя полноту отечественного бытия в силу своего образования, воспитания, духовного склада. Но нет сомнения, что если тебе открылись трагизм и величие родного племени, ты должен пережить с ним его падения и взлеты, ибо они — твои. И для того оставляет Господь верных ему в каждом народе, чтобы они стали скорбящей волей всего народа, чтобы их метаноя, помогла изменить ум целого, чтобы они, «остаток» стали топливом того огня, который нудную череду годов переплавляет в Священную Историю.

## II.

Но уместны ли вообще «мечтания о священном народе и священной державе?» Скажу определенно и сразу — для меня — вполне уместны. Но если мы начнем строить нашу мечту на противопоставлении иному, не священному народу или народам, если начнем говорить «Благодарю Тебя, Боже, что я русский, а не какой-то там француз, американишка или того хуже тамил, сингал, таец, иудей» — то с такой «святостью», «самосвятством» полшага до нового Вавилонского плена и разрушения «стен Иерусалимовых». Важно ясно и спокойно понять, что сознание себя «святым» присуще всем народам и большим и малым по той простой причине, что сознание это отражает непреложный факт — все народы, все люди, раз они есть — самим своим существованием свидетельствуют свою посвященность Богу. Не будем же мы, уподобляясь манихеям или придуманным Аристотелем персидским дуалистам считать, что одни народы и люди созданы Богом, и потому любимы им, а иные — создания Аримана, и потому Благим Творцом ненавидимы. Другое дело, что различные народы, как и разные люди, в те или моменты своего бытия являют различную степень свободной волевой проявленности этой посвященности Богу. «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Судить же о своем народе и чужом, ином — кто зол, а кто добр — это вопрос совести. Однако, смею высказать предположение, что намного полезнее видеть свои грехи и чужие достоинства, чем наоборот. А при этом фарисейское самодовольство от вовремя уплаченной десятины с мяты, тмина и руты так въелось в наши души...

Вот потому и приходится, скрепя сердце и подавив гадливость и стыд говорить о грехах своего народа. Каждый раз, когда в полутемном храме подходит моя очередь становиться на исповедь, я испытываю те же чувства стыда, потребность скрыть содеянное и одновременно, ясное сознание, что скрывать, умалчивать бессмысленно и душевредно. И при этом нечто глубинное во мне жаждет произнести постыдное и тем самым навечно освободиться от его власти надо мной. Но поскольку «Пути России» это все же не пути отдельного человека, то всенародное покаяние здесь более уместно, нежели чуть внятный духовнику шепот.

Что же это за грехи, которые, заставляя страдать наши души, искажая пути народа, настойчиво требуют раскаяния в них? И Льва Игошева, и Сергея Аверинцева возмущает из заземленность, «бескрылость». «Нас поражает, что А. Зубов... не видит присутствия трансцендентного там, где оно несомненно. Он полностью доверяет околomarксистской мифологии о целиком экономической подоплеке революций. Да разве в 1917 году дело было только в перебоях с хлебом?», — замечает Игошев. Почти о том же

пишет и Аверинцев — «По уверениям А. Зубова, православные и национальные ценности были проданы «за буханку ржаного хлеба и за фунт масла по полтине», «за одну снесь». С этим даже неудобно спорить. Честное слово, Отец Лжи (не понимаю, почему С. А. употребил тут прописные буквы — А. З.) не так прост». Спорить действительно тут не о чем, тем более, что вся первая часть «Путей», быть может даже с излишней для тонкого вкуса подробностью, говорит о помысле гордыни, зародившемся, вернее принятом высшим слоем русского общества в века освобождения Руси от ига, походов Ивана III на Новгород, Ивана IV на Казань и «в немцы». Самовольная автокефалия и вырванное силой патриаршество явились проявлениями, плодами принятия помысла «Светлой России» (так, с одним «с» писали в XVI веке) И лишь через несколько столетий разрушительная работа греха достигла грубых материальных уровней «снеси». Как и в случае с отдельным человеком, Господь попустил тут «высокому» греху гордости и тщеславия проявиться в постыдно зримых видах грехов гелесных — блуда, присваивания чужого, убийства, лжесвидетельства и попрания клятвы. Эти низкие грехи иногда отрезвляют гордеца и перед ним в обратной перспективе выстраивается весь путь его падения, начиная с первых сочетаний ума с помыслами гордыни. Такое осознание приводит к изменению ума, а отсюда и внешнего поведения, результатом чего является освобождение от уз отца лжи. Если же извываявшись в собственных нечистотах мы продолжаем утверждать, что в нашем зловонье повинны «враги православия» — то мы безусловно находимся в прелести и недалеко от того мига, когда «взвыв от боли» Бог «отсечет меня».

Великая Российская революция с шокирующей наглядностью обнажила бездну духовного одичания русского народа, когда дешевый хлеб и даром взятая помещичья земля, животный страх смерти от немецкой гранаты, желание отомстить изменившей жене, а то и просто желание бабы пеленой застлали глаза и парализовали ум, толкнув миллионы и миллионы моих соотечественников на неслыханные злодеяния над себе подобными «православными русичами». О забвении церковных устоев в тот страшный год может свидетельствовать сухой факт электоральной статистики. На выборах во Всероссийское учредительное собрание за листы партий, объявивших себя «православными», типа «Веры и Отечества» архиепископа Сергия Нижегородского, было подано в общей сложности по России 155 тысяч голосов и еще 54 тысячи за листы старообрядцев. В России, где «по паспорту» православного исповеданья придерживалось около 90 миллионов совершеннолетних обоего пола, за христианские партии и блоки проголосовало лишь 0,2% из них («Известия Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссии, вып. 24, 16.12.1917»)

Но такая всеобщая апостасия была вызвана не мифологическим сознанием патриархального мужика и не его атавистической бо-

язнью германской военной техники, как полагает Игошев, и уж точно не тем, что война казалась ненужной, а умами «крестьян в шинелях» овладели «вдруг» горделивые желания «по-своему переписать историю и посмотреть на прошлое отечества сверху вниз», о чем пишет Аверинцев, — но отход от веры и церкви в смутные месяцы семнадцатого года был только зримым проявлением давнего равнодушия к сотериологическим целям бытия, равнодушия, сначала обозначившегося горделивым парением ума высшего сословия, а после все более одевелевающего, оплотняющегося и захватывающего «простую чадь», для которой, в силу тогдашней ее малой образованности, та же по сути гордыня обозначилась в «простоватых» формах презрения к божественному закону в повседневном быту. Ведь любое нарушение божественного закона, если не сопровождается оно мучительным сознанием своей слабости и плохости, есть люцеферическое восстание на Бога.

Соглашаюсь, когда обвиняют меня в морализаторстве. Но что поделаешь, если на морали, нравственности стоит социальный мир, ибо нравственность не что иное, как проявление в сфере человеческих отношений всеобщего божественного порядка, который в большинстве языков даже не имеет понятийного разделения на человеческий и «вселенский» уровни. Ведийской ритой и индуистской дхармой, иранской ашей, китайским Дао, египетским Матат, и, наконец, греческим «космос» обозначается и сумма нравственных парадигм и мировой порядок, пути планет, разливы рек, смена времен года. Стоит ли добавлять, что оба уровня всегда мыслятся взаимосвязанными, и засуха или нашествие саранчи в результате нарушения нравственного закона считается делом само собой разумеющимся и в Поднебесной времен императора У-ди, и в Египте Первого переходного периода, и в Риме правления Домициана, когда инцест принцепса по общему убеждению вызвал чуму в Эфесе.

«Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все» — точно указывал Иван Киреевский (Сочинения, с. 157).

А потому — возможно ли вообще суждение о мире без моральной оценки? Вот ведь и сам С. Аверинцев, размышляя о «Путях России», тоже выносит мне («третьему лицу») не что иное, как своего рода моральный вердикт. И это — в порядке вещей; весь вопрос только в правильности или неправильности наших суждений.

Понятно, что нарушение нравственного закона происходит не только — и даже не столько — в грубо материальной, сколько в ментально-сердечной области. Склонение к земному благоденствию как к самоценности, даже не приводящее немедленно к обжорству, пьянству и свальному греху — вот корень неправильного, а-дхармического, хаотического существования. Рано или поздно оно приведет и к телесным непотребствам, но не в них

беззаконие начинается. Эвдемонизм, как не раз — и, мне кажется, достаточно ясно — я определяю в «Пути России» — это именно склонение ума к земному, поклонение тому, кто обещал Христу в пустыне «власть над всеми царствами вселенной и славу их» (Лк. 4, 6). Гедонизм — следствие эвдемонизма, и следствие не-обязательное. Потому-то это последнее понятие я старался не употреблять.

А что до эвдемонизма, то он действительно правит сегодня бал и в Боснии и в Карабахе, именно он толкал народовольца на убийство и себя и жертвы. Эвдемонизм — это типично человеческое проявление гордыни, когда психическая сфера нераздельна с областью соматической, телесной. Народоволец шел на смерть ради построения рая на земле. Это ли не одержание эвдемонической идеей? Боснийский мусульманин или серб, армянский или азербайджанский боевик готовы души свои положить во имя процветания этнической родины, родовой своей общины, не останавливаясь при этом даже перед использованием собственной веры в качестве идеологического оружия. В обоих случаях — и в Югославии и в Закавказье — ислам и христианство оказались для одержимых этнопараной людей только средством социальной мобилизации. Предельные цели этой мобилизации не имеют ничего общего с предельными целями тех религий, символы которых начертаны на знаменах, вводя в заблуждение простаков-политологов. Цели же вполне эвдемоничны: безраздельное владение над землей, изгнание или подчинение иноверцев, захват и удержание их собственности. «Высокая» бесовская гордыня и грубо материальный грех сплетаются тут до полной неразделимости, что очень характерно для эвдемонии вообще.

### III.

Отвратительные картины современных псевдорелигиозных войн заставляют нас спросить себя очень твердо и трезво: а должно ли в принципе сочетать небесное с земным, не есть ли все родовое, отеческое — лишь бремена души, заставляющие «заботиться и суетиться о многом», мешая, подобно мудрейшей из сестер Лазаря, навечно найти себя у ног Спасителя? Очень хочется сказать — «да», но приходится сказать — «нет».

Дело в том, что все мы, люди, существуем одновременно в двух измерениях, как бы вертикальном и горизонтальном. Сколь бы ни был высок духовным дерзанием аскет, сколь бы не отсек от себя мир, все же и он «в телеси ангел», и он имеет перстное тело, на воскресение которого всечасно уповает. Он знает, что его Христос — это «спаситель тела» (Еф. 5, 23), и за своих родителей по плоти ежедневно молится такой аскет в глубине пустыни. Христианский подвижник тем и не сходит с подвижником



индусским, буддийским или манихейским, что тело для него не обуза, не иллюзия самообмана и худшая из преисподень, но только слабейший член его единой психо-соматической личности (или, если угодно, пневмо-психо-соматической). Он, христианский подвижник, не из книг, но опытно знает, что Логос воплотился и вочеловечился, дабы человек, воскреснув по плоти, с плотью своей обожился. Телесное для него, как не чудовищно звучит это для не христианского уха — часть Божества, вернее, поскольку Божество просто и не имеет частей — Само Божество. В почитании Христа воскресшего, восшедшего на Небеса и воссевшего одесную Отца, и особенно, в почитании Его земной матери — Марии — и Запад и Восток единодушно прославляют эту, открывшуюся христианам реальность своего полносоставного спасения.

А коли так, то род отцов наших, та самая культура, которая есть не что иное, как выращивание человека, личности экономической, социальной и спиритуальной, имеет абсолютную ценность и значительность. Без отцов не имел бы человек языка, форм бытия, навыков богопочитания, знаний существования в мире и, наконец — самого своего тела, то есть он бы не был тогда человеком.

Но род, как и тело, легко ощутимые и сознаваемые, не есть еще весь человек, весь смысл его бытия. Культура рода существует для того, чтобы растить *личность* к Богу. Язык, изящное, могущественное, мудрое, если не служат они «единому на потребу», если не готовят человека к таинственной смерти со своим Искупителем и к таинственному же с Ним воскресению — все они только блестящая мишура и обманчивый огонек болотного метана. Телесное, родовое имеют только прикладное значение для сотерии.

Да не противоречу ли я сам себе? Не утверждаю ли в двух, следующих один за другим периодах, истины взаимоисключающие? Безусловно — противоречу, но не могу иначе, поскольку на этом противоречии стоит мир, завоеванный для нас Христом. Это Он, достигая «преисподних земли» и выводя к спасению всех от века скончавшихся праведников, пребывает в полноте Своего Божественного Отца и только в силу этого оказывается способным вырвать жало смерти и разрушить ее победу. Но, соединяя Небо и преисподняя, Христос обнимает собою и всю землю, все народы и племена, все Свое творение. Обнимает, дабы сопричислить Своей победе и упокоить в Себе.

Древнейший знак креста, до крестной смерти Спасителя преобразовательно (вспомним мегалитические «солнечные» кресты Альмерии или египетский знак жизни вечной — анех), а потом, для нашего, живущего во времени мира, вполне существенно отображает эту победу над противоречием дольнего и горнего, «вертикали» и «горизонтали». Культура, история, род именно во Христе Иисусе и только в Нем обретают свою последнюю значимость, абсолютность. Но вертикаль, и этому, как правило, следует ико-

нография креста — должна быть больше горизонтали. Путь рода подчинен пути Неба.

В Карбахе же и Боснии, да и повсюду, где ведутся религиозные войны, вертикаль предельно обрублена эвдемонизмом, а горизонталь разрослась безмерно. В Народной Воле, в русском коммунизме, в германском нацизме вертикаль и вовсе была редуцирована до точки, энергией которой питалась ненасытимая жажда родовой жизни. И как, почему в нашем народе произошла такая «редукция», на вопрос этот и стремился ответить я в «Путях России».

#### IV.

Лев Игошев в своем отзыве на статью делает несколько очень ценных для меня замечаний. Он точно диагностирует ужасное озверение народа в 1917 году и наблюдательно отмечает, что застрельщиками грабежей и переделов помещечей земли были, как правило, не бедняки, но деревенские богатеи. Исследователь психологии имущественных отношений в российском обществе XIX — начале XX века не может не заметить того примечательного факта, что к богатому барину, если он строил свои отношения с мужиком «по обычаю» — крестьяне относились до самого 1917 года вполне дружелюбно, а вот своего мужика-богатея, кулака или капиталиста — ненавидели. Можно объяснить такую позицию элементарной завистью и ленью. Барин — существо иного социального мира, где и живут иначе. А вот кулак — он такой же «сиволапый», да в князи полез. В объяснении этом немало правды, и я числю зависть и лень среди распространеннейших свойств моего народа. Но есть тут и иное.

Дворянин обязан своим богатством «службе царской». Он служит верой и правдой, а за то получает имения. Он старается не ради «землишки и мелочишки», но во имя «Бога, царя и отечества». Его «горизонталь» — следствие «вертикали». А вот мужик мироед, забыв о Боге, о милостыне, о ближнем, прибавляет поле к полю и дом к дому ради самого имущества. Он живет «горизонтально» и потому то он первый врывается секачем в ворота барской усадьбы. «Протестантская этика» в веберовском ее понимании оказалась чужда русскому человеку. Полагать наживание богатства религиозной добродетелью, «призванием» он так и не научился к 1917 году, и потому, когда вполне пленился эвдемонизмом и пошел за кулаком «тащить в хату пианино и грамофон с часами», предпочел выбросить Бога из своего сердца. Иначе сводить концы с концами было ему трудно.

И когда Лев Игошев пишет, что раскулачиванье не однозначно осуждалось деревней, но, по началу, происходило при молчаливом, а то и явном одобрении «средняка», мне кажется это очень правдоподобным. Старая, и — увы! — тоже моральная сентенция,

что «чужое добро отнимает жизнь у завладевшего им». (Прит. I, 19) остужала возмущение действиями большевиков. Беда только в том, что бедняк и середняк отличались от кулака лишь имущественно, но отнюдь не духовно. Они с радостью брали себе добро раскулаченных, и очень скоро молот нравственного закона стал можжить и их головы.

Общество русское оказалось больным от тмени до пяты. Коллективизация и «безбожная пятилетка» продемонстрировали это с наименьшей очевидностью, чем сама Великая революция.

Достаточно по «Анне Карениной» изучить строй русского высшего общества пореформенной России, чтобы понять, почему заполохали усадьбы, а мешанки стали язвительно интересоваться у торгующих с себя последним добром дворянских девушек — «ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?». И достаточно прочесть то, что процитировал в своем отзыве Лев Игошев из Горького, Соколова-Микитова, Короленко, чтобы не возмущаться на Бога за постигшие русское простонародье после 1917 года беды.

«Каждый день — картины хищений, грабежей, насилий по всей территории вооруженных сил. Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. Помощи в этом деле ниоткуда не вижу. В бессильной злобе обещал каторгу и повешенье. Но не могу же я сам, один ловить и вешать мародеров фронта и тыла...

Немногого не хватает: честных людей. Вся эта политика мелких, пошлых самонадеянных, корыстных, подлых местных и общероссийских людей противна, загажена и от зачатия носит следы тления...»

Это — из писем к жене Верховного главнокомандующего Юга России, генерала Антона Деникина. (Известия, 28.06.1994).

По другую сторону фронта делалось то же самое, может быть даже худшее. Но уместны ли здесь сравнения?

Сергей Аверинцев восхищается антисталинской борьбой генерала Власова и ожиданиями «тети Ньюши». А для меня, сына и внука русских офицеров нет большего позора, чем измена Власова и поступок генерала Краснова, благословившего казачество русской эмиграции на службу в частях СС. Именно такое согласие на войну с отечеством на стороне нацистов, ни на мгновение не дававших повода считать себя освободителями России, но только ее безжалостными поработителями и бесчеловечными мародерами — полнейшее проявление нашей падшести. И если бы не было кроме них в русском народе генералов Карбышевых и Деникиных, отвергнувших все соблазны нацистов, то не было бы уже России, и право же не стоило бы и «мараль пуцать».

Я не ведаю, и не смею фантазировать по поводу материала той пружины, которая вывела генерал-лейтенанта Карбышева под струи лагерных брандсбойтов, но я верно знаю, что в душе другого русского генерала, героя кровавых галицийских полей Антона

Деникина, вертикаль веры и долга властно подчинила себе горизонталь земных расчетов, примитивную логику, объявляющую любого врага твоего врагом твоим другом. И в этой его победе над собой я радостно ощущаю и толику своей победы, как в измене Власова — бездну своего предательства.

## V.

Да, меняются времена и экономические формации. Когда-то люди не знали электричества и паровой машины, пахали на волах и лошадках и убивали себе подобных пращным камнем, а не «тепловым оружием». В этой смене приемов земной жизни, по-видимому, имеется своя логика, свой закон. Но он и в малой степени не отрицает той Логики и того Закона, которыми радовалась Премудрость при создании мира, и которые были явлены людям в качестве божественной нормы земного их устройства. «Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13,8). Нравственное основание бытия неизменно. Путь в горня навсегда открыт для употребляющих усилие «войти в Него».

Я не совсем понимаю, что имеет ввиду Лев Игошев под категориями социализма «без коммунистической идеологии», под «капитализмом», «феодализмом», «былинностью», «патриархальностью», «совковостью» и прочими «подобными глаголами». Но какое бы соотношение частного и общественного ни сложилось в России, я твердо верю, что сама Россия сложится только при одном условии: если в сердцах людей, полагающих ее своей родиной и желающих в ее пределах растить своих детей, вертикаль веры и верности будет главенствовать над горизонталью рода и земли. Вера не исторически преходящее, но вечно существующее, и когда угасает она в сердцах человеческих, никакое богатство не в силах заполнить пустоты и никакая социальная система или правовой порядок — заменить.

И я благодарю от всей души Сергея Аверинцева, что, напомнив мне об «остатке», он с ним связал *надежды на судьбу России*. Ведь без нее, без родины, нам так же невозможно, как без тела. Потеря Родины, как и выход души из тела — форма смерти. А сейчас возвращается к нам со словом христианским и упование воскресения, и личного, и народного. Малая закваска квасит все тесто. А без теста и закваска к чему?

Но как в прошлом сами страдания и падения наши Промысл употреблял на нашу же пользу, вразумляя, научая, укрепляя народ молодой, своенравный, прелюбодейный и жестоковыйный, так и нынешнее не может не послужить нам на пользу. Было бы только изменение ума, произошло бы таинство метанойи.

## ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА»

*В июле 1994 года в редакции нашего журнала состоялось обсуждение сегодняшнего положения дел в Русской Православной Церкви.*

*В беседе приняли участие: Александр Копировский, ректор Высшей христианской школы, организованной и действующей при православном братстве «Сретение», священник Георгий Кочетков, Александр Кырлежев, директор московского Центра по изучению религий, Игорь Виноградов, главный редактор журнала «Континент», Сергей Юров, ответственный секретарь и зав. отделом «Религия» журнала «Континент».*

*Мы предлагаем вниманию читателя несколько сокращенный текст стенограммы этого обсуждения.*

**И.Виноградов:** Александр Михайлович, наши читатели, те, кто следят за отделом «Религия» в журнале «Континент», без сомнения, знают об истории, приключившейся с вашей общиной в первой половине 1994 года. Тем не менее, нельзя ли восстановить, пусть вкратце, канву событий?

**А.Копировский:** 24 декабря 1993 года настоятель Владимирского собора бывшего Сретенского монастыря о.Георгий Кочетков был вызван к Патриарху. Предшествовали этому вызову долгие наши попытки туда попасть и получить ответы на целый ряд серьезных вопросов, которые мы предварительно письменно задали. Мы просили благословение на школу, на журнал, на нашу огласительную практику, на детские учреждения. В свое время нам было предписано представить то, что мы русифицируем и как, изложить принципы русификации. Мы все сделали, подробно, с образцами переводов, передали в Патриархию. На все это практически никакого ответа не было.

**И.Виноградов:** Это все в течение 1993 года?

**А.Копировский:** В течение 91, 92, 93 годов.

**А. Кырлежев:** То есть вы подавали Патриарху развернутые материалы: обоснования, принципы и примеры?

**А.Копировский:** Да. И ничего мы не получили, никакого ответа. Единственное — нам время от времени давали понять, что пока вас не запрещают, работайте, просто действуйте сами, на свой страх и риск.

Все что мы имели от Патриарха как епархиального архиерея за три года — это: благословение о.Георгия на ректорство Высшей христианской школы и благословение, естественно, на саму школу. И благословение на деятельность братства «Сретение».

И вот, не получая ответов на вопросы, серьезные вопросы, мы стали беспокоиться. Почувствовали, что обстановка меняется, сгущаются слухи о том, что во Владимирском соборе будет подворье Псково-Печерского монастыря.

И.Виноградов: Когда это стало сгущаться?

А.Копировский: Осенью 1993-го года. А в конце декабря о.Георгия пригласили к Патриарху. Был трудный разговор, были большие претензии, но, как оказалось, практически все было основано на недоразумениях. О.Георгий достаточно ясно и подробно рассказал о ситуации и услышал от Патриарха: ну, раз так, то мы еще продолжим разговор.

Однако буквально через неделю началось давление. В «Русском Вестнике» были опубликованы обращение «Союза православных братств» и статья, где и наше братство и лично Кочетков обвинялись во всех возможных грехах и ересь, в разложении Церкви, в заговоре. На выражения там не скупилась. Вместо продолжения беседы с Патриархом, о.Георгий был вызван на епархиальный совет, где от него категорически потребовали: служить только по-славянски, прекратить читать тайные молитвы вслух, а главное — вручили Указ Патриарха о перемещении общины из Владимирского собора в Успенскую церковь, занятую тогда музеем ВМФ.

И.Виноградов: О.Георгий, что происходило на епархиальном совете?

о. Г.Кочетков: На епархиальном совете 31 января я сказал, что я подчиняюсь требованиям, поскольку они от имени моего правящего епископа, я канонически обязан подчиниться. Но я сразу говорю, что я не согласен с тем, что можно переводить нас в Успенский храм, так как это ставит под угрозу все школы, все просвещение, все то, что было налажено, налаживалось многими годами и что работает. Крупнейшая огласительная школа в стране. Я сказал, что никогда не смогу убедить людей в том, что Церковь, которая столь нуждается в духовном просвещении (какими бы ни были наши школы, пожалуйста, — обсуждайте, критикуйте, но не громите), должна закрывать действующие школы.

Я знаю, я вижу: происходящее бесполезно для Церкви. Поэтому я подчиняюсь, но не послушаюсь. Когда на меня пытались нажать еще и еще: мы вас закроем вообще, мы отгородим вас от паствы, а паству от вас, — я ответил: ну, насилие можно умножать сколько угодно, это безразмерная вещь. И вот я просто назвал вещи своими именами и только — насилие есть насилие, антицерковная деятельность есть антицерковная деятельность, от чьего бы имени

она ни велась. И мы вынуждены подчиниться. Но это не послушание, это подчинение грубой внешней силе.

Как только я вышел с заседания епархиального совета, я сразу же написал и тут же отдал прошение Патриарху о встрече. На что через несколько дней получил отказ.

А.Копировский: Встреча с Патриархом состоялась 24 декабря 1993 года. Епархиальный совет был 31 января 1994 г. А Указы подписаны 27 октября 1993 г.

Сразу после Рождества к нам стали поступать разные замечательные звонки по телефону...

И.Виноградов: Угрозы?

А.Копировский: Конечно. Убирайтесь отсюда, не то с вами то-то и то-то будет. Приехал новый настоятель Подворья о.Тихон Шевкунов, мы с ним встретились и сказали: смотрите, из Вас же сделали орудие подавления. Как Вы будете служить на этом месте? Он смиренно ответил: мы же сами подневольные люди, мы как солдаты, Патриарх приказал... Потом подумал и добавил: вы ведь понимаете, что если вы не выйдете добром, то мы отслужим литургию на улице первый раз, а на второй раз я приведу казачков... И закончил: А в третий раз уже мне скажут, не справился ты, Тихон, не справился... и пришлют там какого-то отца из Печер, у него связи с чувашской мафией...

С.Юров: Это сказано было?

А.Копировский: ...один к одному, при пяти свидетелях, вот он с вами разберется по-другому.

Мы ответили: нам нечего бояться, ни на какие провокации мы не поддадимся. И когда на Сретенье вышел Указ Патриарха праздничную службу сослужить вместе отцу Георгию и новому настоятелю, мы, прекрасно понимая, что готовится провокация (звонки угрожающие учащались), решились вообще закрыть собор, а служить в другом храме. Послали уведомление Патриарху: церковный совет, получив такие-то и такие-то угрозы, принял решение службу не проводить во Владимирском храме, так как у нас есть серьезные основания предполагать, что готовится его насильственный захват. Мы хотим не допустить насилия.

Тихон и его люди, человек сто, служили на улице. Я к ним вышел, сказал, что просто во избежание всяких беспорядков двери будут закрыты, потому что мы получили прямые угрозы. Если вы хотите — захватывайте. Они ответили: нет, мы будем служить здесь.

Всю ночь мы были в храме, думали и решили, что утром мы все-таки двери открываем. Мы открыли, а там и казаки, и какие-то просто бандиты, и черная сотня. То, что мы открыли двери, то, что в храм можно спокойно попасть без штурма, их сильно обескуражило: они несколько раз спрашивали у Тихона — ну когда, когда же?

Литургию мы отслужили. Все наши чувствовали, что это за служба, и к нам впервые в таком количестве пришли люди ранее здесь не бывавшие, к нам относившиеся очень отрицательно. А теперь они увидели все в лицо, и эффект был разителен.

**И.Виноградов:** То есть там были не только бандиты, в этой толпе?

**А.Копировский:** Там очень разные люди были. Служба кончилась, я слышу один казак другому говорит: «А где враги-то? Где враги?» А какая-то матушка удивляется: «А храм-то православный!» И таких было много, А в притворе в это время: «Катитесь в свой Израиль, катитесь в свою синагогу!»

Впоследствии нормальные, непредубежденные люди не приходили больше. Они, видимо, поняли, что драться не надо и не с кем — и не приходили. Осталось непосредственное окружение о.Тихона, а с ними сосуществовать невозможно. Это постоянные угрозы, оскорбления. Совершенно ненормальная атмосфера. И тогда мы приняли решение уходить. Община покинула собор.

**С. Юров: о.Георгий,** Вы можете как-то прогнозировать развитие ситуации вокруг общины?

**о. Г.Кочетков:** Очень многое зависит от персоналий, от конкретных людей, как они себя поведут. Здесь все может измениться в одночасье, хотя надо предполагать, надо рассчитывать на серьезную многолетнюю работу.

Понимаете, многое зависит от ситуации в Церкви в целом. Сейчас, скажем, молодой, новый епископат подбирается из числа наших оппонентов, имеющих сегодня власть. Они подбирают кандидатуры епископов, отнюдь не архиерейский собор — это всем известная вещь. И уже хиротонисано много молодых епископов, которые крайне... — как бы это сказать — консервативны...

**А.Кырлежев:** Идеологичны?

**о. Г.Кочетков:** Да, да. Или допустим, все храмы в Москве, которые имеют хоть какое-то значение или будут иметь, — они все замещаются совершенно по одной схеме: священниками крайне консервативного направления.

**С. Юров:** Переформулируем вопрос: как вы думаете, оставят они сейчас общину в покое?

**о. Г.Кочетков:** Нет. В конце концов: да, мы потеряли храм, мы стали служить по-славянски, но мы не были повержены. Суть, ядро, дух — сохранились, зерно сохранилось. Из него, конечно, все вырастет, все будет. И они это прекрасно понимают тоже.

Некоторые «доброжелатели» нам говорят сегодня: бросьте все, сделайте то, что от вас требуют, иначе вас растопчут, Если бы мы хотели бросить, мы могли бы сделать это пять лет тому назад без всяких неприятностей. Не наживая себе неприятности, набирали бы очки, баллы и места. Но именно тогда мы сделали выбор: хорошо, мы ни в коей мере не осуждаем тех, кто боится



или по каким-то соображениям идет в обход, или просто молчит. Но мы для себя этот путь уже не хотим использовать. Мы, в этом наша слабость и наша сила, как мне кажется, мы не захотели молчать. Мы стали открыто, без крика, но открыто делать то, что требовала наша совесть перед Богом в Церкви. Мы хотели быть аутентично православными. Мы не собираемся осуждать других, мы понимаем, как произошло это «другое» в Церкви, но мы хотели попытаться разгрести этот завал.

С. Юров: Скажите, чем Вы объясните, что расправа над вашей общиной осуществлялась с таким азартом? Такого в социальной жизни уже нет, так, идет какая-то борьба, делают люди друг другу пакости при случае, но вот куража не хватает, замаха, масштаба. А в «кочетковском деле» все — и азарт, и кураж, и замах, и масштаб.

О. Г.Кочетков: Это очень понятно. История православия и в том числе русского православия в XX веке — явно провоцирует такое отношение: люди давно искали врага, и давно искали еретиков, и давно искали антихриста, и давно это культивировалось, культивировалось и культивировалось. Не случайно, допустим, еще до революции, считалось, ну, почти признаком лояльности в Церкви для архиереев — вступать в Союз русского народа. Да, большинство вступало формально, их нельзя назвать черносотенцами по духу. Но ведь есть другой поворот: они все-таки вступали, пусть и формально. Эти все тенденции — старые тенденции. Более того, в православии, когда оно испугано, когда на него «нападают» (а эту истерию все время еще подогревают), — какие-то миражи, какие-то навязчивые фантомы постоянно возникают в сознании людей.

Православию пришлось пройти очень неблагоприятную, трагическую историю, которая соблазняла сохранить хотя бы форму, потому что на остальное сил не хватало, откровенно не хватало, — сохраним форму, ведь в форме весь дух, вся полнота духа — именно вот в этой форме... Во всех православных церквях, не только в русской, в греческой, сербской и т.д. бытует стереотип: на нас нападают те, на нас нападают другие, на нас нападают католики, на нас нападают мусульмане, на нас нападают, нападают, нападают. Тут уже и до антихриста рукой подать... Не следует забывать, что то свободное дыхание, которое мы ощущаем в некоторых решениях и высказываниях от имени Церкви в конце XIX и начале XX веков, а потом за границей — в части православной эмиграции, во-первых, это всегда было очень явное меньшинство; а во-вторых, это был очень небольшой исторический период; он не мог изменить массовое сознание народа...

А.Копировский: Мне еще кажется, что во всем этом присутствует попытка реализоваться, несмотря на собственную недостаточность, несостоятельность. Когда у людей нет серьезного

фундамента, серьезных знаний, ясного понимания своих целей и своих возможностей, то начинаются поиски врага, которые сразу снимают все проблемы, Если враг найден, его следует уничтожить, потом перейти к следующему врагу и т.д. Совершенно необязательно что-то созидать, углубляться самому... То есть мотив чисто шиваистский. Голое разрушение. И все. Созидания никакого.

**А.Кырлежев:** Как Вы думаете, в случившейся истории с изгнанием вашей общины из храма, не допустили ли Вы каких-либо тактических ошибок?

**о. Г.Кочетков:** Да, безусловно. Главное наше поражение, или упущение — как хотите, в том, что мы не смогли дать людям объективную информацию о себе, чтобы рассеять все те слухи, которые вполне сознательно распускаются о нас. Во все монастыри, епархии, братства рассылаются и «Русь Державная», и «Русский вестник» и «Православная Москва», т.е. все монастыри, все академии и семинарии знают о нас по «Русскому вестнику» и «Православной Москве». Они больше ничего не знают. Ничего. И нашим оппонентам удалось внедрить в сознание людей свои воззрения, свои мнения о нас, несмотря на полную их абсурдность. Мы были пассивны, мы не противопоставили этому информационному натиску свою информацию, к которой человек мог бы обратиться, ну, если не с доверием сразу, то хотя бы как к альтернативной информации.

Когда я пришел недавно на конференцию, посвященную тоталитарным сектам, ко мне подошел М.Дудко из «Православной Москвы»: можно мне взять интервью по нынешнему положению дел у вас? Я ответил: конечно, можно, почему нет? Назначили время, и вдруг он пропал. Понятно, что ему запретили.

**А.Кырлежев:** А как прошла конференция «Обновление и обновлениечество»?

**о. Г.Кочетков:** Там предполагалось все закончить церковным судом над нами. И ничего не вышло. Во-первых, нашлись люди, которые выступали в том направлении решения проблем, что и мы. Профессор Осипов из Московской духовной академии, о.Виталий Боровой, Представитель Молодежного православного движения Илья Соловьев, другие люди. И конференция пошла явно не по заготовленному сценарию. Во-первых, тон ее мягчал с каждым днем, во-вторых удалось обсуждать серьезные проблемы, отвергать голословные обвинения. Так что конференция получилась полусерьезной. Полу-, потому что уже спустя неделю был напечатан в том же «Русском вестнике», в «Православной Москве» и т.д. так называемый итоговый документ, который на самой конференции не зачитывался, не обсуждался. Он был принят узким кругом лиц и по содержанию абсолютно погромный. Но, это прямой подлог, ничего больше. Отец Виталий Боровой просто был вынужден написать Патриарху о том, что это подлог и клевета.

Правда, это поставило даже отца Виталия под какое-то очередное, так сказать, неудовольствие. Когда Патриарх собирал позже людей для обсуждения, что и как отвечать на массу писем и телеграмм, полученных Чистым переулком в нашу защиту, то отца Виталия не пригласили. Хотя общеизвестно, что он наиболее компетентен в этой проблематике.

**А.Кырлежев:** А что вы скажете о возможном обсуждении проблемы реформ в Церкви, которое предполагается на ближайшем архиерейском соборе?

**о. Г.Кочетков:** Мне кажется, что выступление Патриарха, где он обещает на следующем архиерейском соборе обратиться к вопросам обновления Церкви — это и победа и не победа. Ну, что победа — это понятно: все-таки эти вопросы признаны тем самым как вопросы общецерковные; не победа — потому что уже сейчас видно: все будет кончено провалом. Всякий серьезный внутрицерковный вопрос требует глубокой, серьезной подготовки внутри Церкви. А пока подготовки нет, она и не предполагается, — серьезного ничего не делается. А это означает, что даже те из епископов, кто хотел бы каких-то изменений, осознает их необходимость, — ничего реально сделать не смогут.

**И.Виноградов:** Вы полагаете, найдутся такие епископы?

**о. Г.Кочетков:** Я не исключаю, что найдутся. Хотя бы из тех, скажем, кто читает ЖМП. Там в № 2 за 1994 год просто напечатаны решения Собора 1917 — 1918 годов о правах русского и малороссийского языков в богослужении. Этими решениями признается желательным частичное употребление русского языка уже сейчас — и это было сказано в 1917 году!

**И.Виноградов:** Эти решения никто не отменял, они каноничны?

**о. Г.Кочетков:** Они имеют каноническую силу потому, что были приняты собором епископов и отправлены в Высшее церковное управление для исполнения. Что и сделал, например, Патриарх Сергей целым рядом актов (напечатаны там же — в «Журнале Московской Патриархии» № 2, 1994) в отношении отца Василия Адаменко, которому разрешалось все то, что нам сегодня запрещают: и чтение Писания лицом в народу, и открытие царских врат постоянно, и русский язык богослужения и чтение тайных молитв вслух.

**А.Кырлежев:** Интересно, что в 1917 году на Соборе вопрос о языке богослужения не воспринимался болезненно. А теперь — то, что нормально обсуждалось и разрешалось и Патриархом и Собором — стало вдруг рассматриваться априори как святотатство, покушение и так далее. То есть в XX веке произошел такой упадок культуры в Церкви, что мы оказались отброшены в...

**о. Г.Кочетков:** ... в конец XVIII — начало XIX веков, когда переводилась на русский Библия. Тогда это тоже был большой вопрос.

А.Кырлежев: Да, процесс перевода и публикации Библии на русском растянулся на несколько десятилетий, но к 1917 уже несколько поколений было воспитано на русском переводе Писания с детства, и никому это слух не резало, и ничему не мешало. А сегодня новодельных «ревнителее» возмущает, оскорбляет то, что уже сто лет назад было предметом просто спокойного разговора, обсуждения.

о. Г.Кочетков: Это недоверие к человеку, кризис антропоцентричности, кризис разума. Совершенно ясно: что это тоже плод коммунистического режима: кризис науки, как таковой. Это и кризис отношения к народу. Сейчас ведь нет понятия «народ» как такового. Народа нет. Он или был, или мы должны бороться за него, но сейчас народа — нет. Ведь на чем строилась аргументация сторонников живого языка в Церкви как в начале XIX, так и в начале XX веков? Нужно, чтобы люди, народ — понимали, что происходит, нужно, чтобы люди, народ соучаствовали, а не просто наблюдали. То есть апелляция все время к антропоморфным аргументам, к человеку.

А нынешние: людям не доверяют, человек, де, может только преступать закон, «Мы стремимся в Богу, человек нам не нужен вообще». Ветхозаветное сознание выступает на первый план. Это действительно ужасно, и это упадок христианства в Церкви. Я не вижу вообще ничего христианского в аргументации адептов священного языка. Давно признано, что это вообще не христианская идея: или ветхозаветная или мусульманская.

А.Кырлежев: Проблемы обсуждаются не в терминологии церковной жизни, богословия и так далее, а где-то вне. Я вспоминаю пример, приведенный покойным отцом Иоанном Мейендорфом в докладе на конференции несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Раскол XVII века с его страшными последствиями был вызван очень локальными изменениями: по каким книгам уточнять богослужебные особенности — по греческим или нет? Но если оглянуться назад в XIV век к реформам митрополита Киприана: колоссальные изменения в литургии, в приходской практике, во всей церковной жизни. И — ничего, никаких конфликтов, никаких расколов. Видимо, существуют периоды, когда взаимное доверие между народом и иерархией позволяет церковной практике органично развиваться, когда церковные проблемы решаются в Церкви, церковно, в церковной терминологии, а в не политической, не национальной и так далее.

Вернемся еще раз к началу XX века: архиереи обсуждают спокойно. Собор принимает решения спокойно, Патриарх спокойно дает какие-то указания, какие-то благословения. Все абсолютно нормально. Сегодня вдруг вопрос о языке литургии, сугубо церковный вопрос, становится предметом столкновения целых партий, почти идеологических систем...

**С.Юров:** Вы хотите сказать, что эти «партии» просто используют проблему? Привлекают ее для решения каких-то своих задач, совершенно других, другого порядка, да?

**А.Кырлежев:** Конечно. Острота конфликта — лишь симптом глубокого кризиса общества, культуры. На материале этой проблемы люди решают что-то совсем другое. Поэтому они никакой богословской аргументации не слушают, она им не нужна.

**А.Копировский:** Да-да. Нас ведь обвиняют, допустим, в «жидовстве» куда больше и чаще, чем в «неообновленчестве». «Неообновленчество» — это ведь еще знать надо что-то, разбираться, а вот «жидовство»... «Мы боремся с жидами, мы выгоняем из храма жидов; жидов — в Израиль, остальных закопать здесь по горло в землю» — это все прямые, неискаженные цитаты из тех, кто приходил нас выселять. И ни о чем они больше не знали, ни о чем больше не думали, ни о каких высоких материях, ни о каком русском языке богослужения...

**С.Юров:** Простите, я Вас перебиваю. Просто очень мило: «русские» заявили выгонять «жидов» за то, что «жиды» служат на русском языке! Молодцы...

**о. Г.Кочетков:** Да ведь почему мы проиграли? У наших оппонентов — лозунги, как у большевиков. Лозунги, кличи — всем понятные и, к сожалению, многим приятные. А у нас какие-то рассуждения, может быть в тысячу раз более правильные, и точные, и хорошие, но о вещах, которые предполагают, что человек над ними задумывался, что-то знает, способен выбрать.

**С.Юров:** Чем Вы объясните, если называть вещи своими именами, моральное падение тех священников, которые подписали письмо Патриарху? Не персонально, конечно, разбирая, а как явление. Сегодня, я надеюсь, нелегко такое письмо изготовить, например, на заводе или в лаборатории, одним словом в нецерковном обществе. А тут сорок священников требуют расправы над одним. Многие заочно. Священники! Почему они оказались морально... как бы сказать... более широкими натурами, чем обычные люди?

**о. Г.Кочетков:** Они были таковыми с самого начала. Это требование их истэблишмента.

**И.Виноградов:** Но не ко всем же это можно применить?..

**о. Г.Кочетков:** Там — в основном — наместники монастырей. А потом уже ревнителю карловацкого направления и другие. Тот же о. Александр Шаргунов сам по себе — честный и ревностный человек, но всегда смотревший на жизнь через какую-то узкую щель. У него аскетизм перекрывал все остальное всегда. Это тоже целая «традиция» в Церкви. Он далеко не одинок, и не первый здесь и не последний. Поэтому его можно по-прежнему уважать, но согласиться с ним — нельзя. А то, что это все ведет к нравственным компромиссам, — люди к этому готовы изначально, они готовы к нравственным компромиссам...

С.Юров: Во имя чего? Во имя истины как они ее себе представляют?..

о. Г.Кочетков: Во имя этих своих ценностей, — ценностей редуцированного христианства. Нужно что-то отдать Государству, что-то епархиальному управлению, потому что их функций я не хочу на себя брать, я не хочу брать ответственность за них. Поэтому, пусть будут уполномоченные или лучше обер-прокурор Св. Синода, или Патриарх, или чиновники Патриархии.

Одним словом, или это люди, которые просто заранее стремятся к комфорту, к власти в Церкви — или люди, которые не готовы взять на себя ответственность за какие-то важные стороны церковной жизни просто потому, что ответственность — трудоемка и неудобна.

С.Юров: В этой связи можно ли говорить о том, что вот это редуцирование, этот конфессионализм — все это деформирует людей? Формирует человека с неадекватным социальным поведением, человека нравственно неадекватного для жизни в условиях нормального современного социума?

о. Г.Кочетков: Я все время мысленно обращаюсь к этому вопросу. И нравственно, и психологически неадекватного. У наших оппонентов — ярко выраженное сектантское сознание. При всех наших внутренних проблемах — у нас их миллион, — у наших прихожан совершенно нет этого комплекса. И я думаю, что надо — все-таки надо — произнести следующее: «православие», превращающее человека в существо с шорами на глазах, забитое, запуганное и одновременно всегда готовое к агрессии в любую сторону — это не православие. Это, скорее сектантское явление. Это грибок, паразитирующий на теле Церкви. Он может быть огромным, превышать по размерам, объему все тело сейчас. Но это не православие.

Поэтому мы считаем, что нужно работать, объяснять... Что мы и пытаемся делать и в наших школах, и в журнале, и вот во время таких встреч, когда можно какие-то вещи утончать и уточнить для себя. Мне представляется невероятно важным, то, что Господь дал нам возможность общения с людьми и их воцерковление вести целостно, а не с одной какой-то стороны. Мы никогда не готовили людей только для богослужения или только для работы в братстве, или только для занятий с детьми, или только для монастырей и т.д. и т.п. Мы понимали, что нужно проповедовать и катехизировать людей, вводя во всю полноту христианского православного предания и опыта. Этому должно корреспондировать соответствующее богослужение и все остальное — вплоть до убранства храма.

У нас всегда было стремление увидеть и реализовать православие в полноте. Добиться этой полноты, извлечь ее из забвения, даже если она на три четверти ушла в землю.

И.Виноградов: Отец Георгий, я хотел бы задать вопрос, который я задавал очень многим известным светским деятелям,— и они отвечают на страницах «Континента». Неслучайно я обращаю его и к Вам.

Достоевский когда-то говорил: без великой идеи не может быть ни великой нации, ни великой личности. Сегодня в России совершенно очевидно происходит глубочайший исторический сдвиг, геологический разлом. образуется принципиально новый тип общества. Обычно в такие кризисные, переломные периоды в обществе возникает (или общество как минимум испытывает острую потребность в этом) некоторая идея, которую можно назвать национальной в широком смысле слова — не в смысле этническом. Не этническая, а скорее общегосударственная, отечественная идея, нечто объединяющее людей, живущих на какой-то территории, в каком-то государстве, в какой-то историко-культурной традиции.

Так было всегда: в старые смутные времена, в период коммунизма — ложная идея, но идея, без которой бы общество даже вот так ложно как было — не выстроилось бы.

Очевидно, и сейчас, сегодня некий духовный стержень необходим. Хотя есть сторонники принципиальной другой точки зрения. Например, Гайдар в интервью «Континенту» сказал, что можно обойтись без «великой национальной идеи», важно запустить экономические механизмы и все само собой пойдет, наладится.

Я всегда думал противоположным образом. Но состояние предельно идеологизированного общественного сознания сегодня таково, что из любой идеи, даже самой благой, может вырасти такая страшная идеологема, такой вредоносный, ядоносный духовный состав, что и подумаешь: а может быть лучше вообще без этого. Ведь идея есть некоторый способ организации отношения к какому-то противнику всегда. Идея есть ценность, следовательно есть антиценности, да? А в условиях сегодняшней общественной ксенофобии, паранойи, постоянных поисков врага, врагов? То есть уже изначально, потенциально сама идея об этой «общей» идее не заключает ли в себе опасность перевода общества в состояние столь знакомой нам по недавнему прошлому идеологической острвенелости? И потому действительно, может быть, не стоит хлопотать,— может быть прав Гайдар, а Достоевский не прав? Может следует сказать: Упаси, Боже, нас от всяких там идей! Вы понимаете меня?

о. Г.Кочетков: Мне очень близко все, что Вы сказали и я думаю, что Вы совершенно правы в своих опасениях. Мне кажется, что идеалистический, патетический подход к духовным, общественным процессам себя в большой степени изжил. Именно в силу своей опасности. Я не говорю про идеологический подход, само собой. Это одна степень отчуждения, объективации. Но идеалистический подход ведь тоже несет в себе эту компоненту.

Поэтому мне хотелось бы, возвращаясь к Достоевскому кое-что изменить в его формуле: не без великой идеи, а без великого примера не может быть ни великой нации, ни великого человека. Мне кажется, мы обязаны сделать вывод из двухтысячелетней истории Церкви, которая в разное время была в огромной степени воодушевлена разными прекрасными идеями и, тем не менее, пришла к такому ужасному упадку, когда были потеряны ценности личности, ценности экзистенциальные. Ради идеи.

Я в проповедях много раз говорил, что беда в том, что нет у нас сейчас примера, личностного примера, которому бы доверяли. Поэтому, в известном смысле, любое действие обречено на провал, любое. Поэтому, мы по-прежнему рассматриваем себя как навоз. Как говорил отец Виталий Боровой: мы — навоз, хороши ли мы или плохи. Может быть мы в 1000 раз лучше тех, кто будет через 1000 лет. Но мы все равно останемся навозом, только потому, что нет открытости, доверия к личности, к личностному примеру в обществе. К личностному примеру, который был бы и культу-рообразующим началом и церковно-скрепляющим. Таким был, допустим, преподобный Сергей Радонежский. Но, к сожалению, он — единственный, не будем об этом забывать. Никто другой. Он — игумен Земли Русской.

Сейчас необходима новая личность, новое явление такого же порядка и масштаба, как преподобный Сергей, а нам обрести некого. Одна личность на 1000 лет — это проблема. Это огромная проблема, почему Русская Церковь больше не родила, не знала таких явлений, как Сергей. Византия знала. Ранняя Церковь знала. Практически любой великий святой отец был таким. А в начале, прежде всего — Сам Христос. Когда мы читаем Деяния Апостолов, то ясно видно, за кого умирали: не за идею, за Христа. Это было важно.

А чем дальше, тем больше: за догматическую идею, за каноническую идею, за императора христианского, и пошло, пошло...

А.Копировский: Последний вариант могу сообщить: «Да я тебе за Христа голову оторву!». Тоже идея.

И.Виноградов: Когда Вы говорите о преподобном Сергии Радонежском, о его уникальности за такое количество лет, не стоит ли учесть, что его фигура действовала не просто самостоятельным духовным, нравственным примером, высотой личного духовного подвига, но и олицетворяла собой некоторые социально-исторические цели, которые так или иначе соединяли общество. Счастливи получилось, что и столь велик был носитель этих целей: освобождение Руси от ига, распространение православия, строительство Государства. Это понятно. Также как в Смутное время. Также как во времена, — пусть только в верхних слоях общества, — но во времена Петра I: европеизация, просвещение...

о. Г.Кочетков: К слову говоря, в личностях, подобных преподобному Сергию, в личностях, которые являются подобными ему



примерами, решаются и социальные проблемы, и церковные. Не случайно нельзя выбросить, изъять из жития преподобного его социальную активность, его поддержку великого князя, собирания Руси. Это некоторая сила духа, которая обращена к полноте, которая может ответить на все принципиальные вопросы. Которая собою отвечает. Необязательно идеологически или даже идейно. Известно, что преподобный Сергий не на все вопросы мог отвечать. Он не был великим философом или богословом великим, или человеком политической мысли, но он был человеком великого дела. Он впитал в себя и чаяния освобождения и чаяния умирения самого народа, внутри него. Его монашеский образ был силен и убедителен, его нестяжание и бескорыстие были явны, его нормальная, не сервильная связь с великим князем и в то же время с народом была ясна. Все это может варьироваться, но это, видимо, какие-то парадигмы.

Так же как, допустим, преподобный Андрей Рублев. Его «Троица» воплотила в себе больше, чем это мог воплотить в себе вот этот, данный человек. Но дух этой среды был таков, что родилась эта икона в похвалу преподобному Сергию, как отзвук его личности.

Вот я и думаю, что сегодня нам необходим человек, который смог бы на современном языке говорить с современным народом — или с теми, кому еще предстоит стать народом. Я безусловно согласен с Вашей мыслью о геологическом сдвиге в русской истории, который сейчас происходит. Из него должен родиться народ, потому что старого русского народа нет и не будет. Мы должны трезво сказать себе: старой России нет и не будет. Уже все. К сожалению, в XX веке произошли столь значительные разрушения, что предстоит нам все, что угодно новое, только не то, что было.

И.Виноградов: Ваша мысль о примере отвечает моим внутренним интуициям. Как бы ни сложилась будущая судьба России, я твердо убежден в одном: новая русская цивилизация, если это будет цивилизация, а не очередной исторический провал, не очередная катастрофа, может быть построена только на основе достоинства человеческой личности. Последнее только и может считаться настоящим критерием достоинства нации в целом. А достоинство — величина нравственная, и посему речь именно о примере, о нравственном примере здесь более чем уместна...

Ну что ж, наш «круглый стол» подошел к концу. Я благодарю всех его участников и выражаю во-первых, твердую уверенность в том, что «Континент» будет обращаться к затронутым сегодня темам еще много раз, это для нашего журнала — главные темы; а во-вторых, надежду на то, что те люди, которые сегодня участвовали в разговоре, примут участие и в развитии обсуждения этих тем, которое, повторяю, непременно последует в самом ближайшем времени. Спасибо.

Дмитрий ГАЛКОВСКИЙ

## БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК

*Работу над «Бесконечным тупиком» Дмитрий Галковский закончил в 1989 году. Он писал книгу пять лет.*

*С тех пор прошло еще пять лет, за которые о «Бесконечном тупике» и его авторе писали часто и много. А книга до сих пор не издана, и прочли ее целиком, а не в отрывочных журнальных публикациях, может быть, лишь несколько сот человек.*

*Невостребованность «Бесконечного тупика», безусловно, яркого, талантливого и парадоксального произведения современной русской литературы — показатель культурного состояния общества сегодня. Если бы «Континент» располагал необходимыми для издания книги деньгами, мы бы давно сделали это.*

*А пока «Континент» публикует исходный, отправной текст «Бесконечного тупика». Как известно, книга «Бесконечный тупик» — это 1000 страниц примечаний к тексту, которого в книге нет — отсутствует. Мы все надеялись напечатать этот отсутствующий текст после того, как книга будет издана и доступна читателю. Да, видно, ждать этого пришлось бы слишком долго.*

*Итак, Галковский. «Бесконечный тупик». Исходный текст.*

Пишущий о Розанове постоянно находится перед соблазном двух крайностей: крайности «отстранения» и крайности «растворения».

В первом случае, в случае рационального анализа, возникает своеобразное «мимоговoreние». Сегменты розановского мира произвольно выдираются и служат удобным материалом для «конструктивного исследования». При этом первоначальная тема, например, «Розанов и атеизм», мало-помалу трансформируется в тему «Атеизм Розанова» или, соответственно, «Религиозность Розанова». Крайний субъективизм нашего мыслителя становится некой самостоятельной сущностью, а следовательно — фикцией. Споря не с Розановым, а с мнением Розанова по тому или иному поводу, автор постоянно промахивается. То, что ему кажется сутью розановской философии, оказывается лишь ее смутной проекцией на экран «объективного мира», проекцией, правда, легко поддающейся схематическому разложению, но, увы, имеющей весьма

отдаленное отношение к истине. «Честный» исследователь Розанов рабски следует за сиюминутной данностью, не понимая внутренней подоплеки его творчества. Это непонимание приводит к ощущению кажущейся спонтанности и абсолютной непредсказуемости розановского мышления. Кажется, что Розанов специально «доводит» своих читателей. Тогда его оппоненты либо опускают руки, либо безнадежно соскальзывают в унылую ругань. Всякий знакомый с критическими статьями о Розанове легко найдет тому соответствующие примеры.

Вторая крайность — это полное и безоговорочное принятие мира Розанова. При этом теряется какая-либо точка отсчета, и автор включается в восхитительную словесную игру. Однако в результате вместо критического анализа перед нами оказывается ослабленный вариант того же Розанова. Кроме того здесь нарушается чистота индивидуального восприятия текста, возникает ощущение своеобразной ревности.

Тончайшая паутинка философской системы «Опавших листьев» требует очень бережного и деликатного отношения. «Отстранение» приводит к тому, что ее просто не замечают и, давно уже порвав, все ворочаются и ворочаются носорожьей тушей: «Где же тут Розанов, где тут философия? Система? Ничего нет. А значит и не было!» Во втором случае, случае «растворения», конечно же критик запутывается в паутине розановской иронии. Паутинка дрожит, расплывается перед глазами, и ничего не слышно кроме заунывного мушиного жужжания. И опять вроде бы нет никакого Розанова. Есть писатель, фантазер, выдумщик, но никак не мыслитель...

А ведь до сего дня это, может быть, вообще единственный чисто русский философ, философ, заложивший фундамент национального мышления и создавший благодаря этому прекрасную возможность для еще одной трансформации русского сознания.

Конечно, это звучит очень сильно, и как всякое сильное суждение требует сильного доказательства. Но как доказать это? Уже тот факт, что подобное суждение выглядит парадоксальным, доказывает, что явных и бесспорных доказательств этому быть не может. Не может быть этих доказательств и потому, что произведения Розанова — неподходящий материал для такого рода авантюры. Доказательство — это постройка, а постройка — это все то же неуклюжее «отстранение».

И все же можно попробовать... не доказать, нет, а нащупать неуловимую сущность розановщины, бесплотную структуру ее паутинок-мыслей.

Мандельштам писал в статье «О природе слова»:

«Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры... он не мог жить без стен, без Акрополя. Все кругом подается, все рыхло, мягко и податливо.

Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя, все равно как бы ни называлось это ядро, государством или обществом. Жажда орешка и какой бы то ни было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу Розанова и окончательно снимает с него обвинение в беспринципности и анархичности».

В Мандельштаме есть что-то мучительно неуловимое. Его неожиданные слова столь же неожиданно складываются в нечто с нетерпением и давно ожидаемое. Образ мыслителя, шарившего в мягкой пустоте в поисках твердой основы,— это более чем символ, это суть Розанова и даже шире — символ необходимого отношения к самому Розанову. Нам необходимо где-то в неуловимой и незримой глубине нащупать внутренний смысл философии этого человека и через это — внутренний смысл нашего существования. Сделать это неимоверно трудно, и утешать в начале этого пути может лишь одно: у каждой нации есть свой Акрополь. Следовательно, должен он быть и у русских.

\* \* \*

Русский язык. В какой степени русский язык может быть материалом для построения философской системы? Ответ прост: «В никакой». Это принципиально «нефилософский» язык. Русский язык мним. Он постоянно раздваивается, «двусмыслится», неуловимо перетекает из одной формы в другую, мнится. Слово «мнится», мерцающее своей субъективностью и бесплотной неистинностью, есть самое русское слово. Мнимость как сомнительное мнение есть символ смутной призмы русской культуры и постоянной русской смуты. Сама манера письменной фиксации русской речи весьма сомнительна. Для русского человека характерно болезненное пристрастие к запятым. Ему очень важно как-то структурировать свою речь, разбить ее на ряд соподчиненных элементов. Но одновременно он органически не способен на короткие фразы. Предложения все тянутся и тянутся, нанизываясь придаточными, причастными и деепричастными оборотами, вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Как бы в ужасе перед этим разрастающимся потоком слов русский сыплет пригоршнями знаки препинания, но это, в свою очередь, лишь запутывает обрывки мыслей в безобразный лохматый узел.

Если взять не фиксацию речи, а фиксацию мышления как такового, то тут картина еще хуже. Отсутствие стандартного ударения и стандартной интонации, бесконечные перескакивания членов предложения с места на место и масса различных окончаний, судорожно пытающихся связать рассыпающийся текст в единое целое — все это делает наш язык темным, аморфным и парадоксальным. Русская речь похожа на мед в сотах. Она сладко-тягуча и одновременно пронизана пресными восковыми перегородками.

Бердяев как-то в сердцах сказал:

«Мое мышление интуитивное и афористическое. В нем нет дискурсивного развития мысли. Я ничего не могу толком развить и доказать».

Заметьте, это сказано не походя, а на склоне лет, в итоговом произведении (в «Самопознании»), то есть, конечно, не из кокетства. Но как же может философ так вот признаться в том, что он, в сущности, просто некомпетентен, так как не то что мысль какую-то развить, а два предложения вместе связать не может? И это сказал Бердяев, человек, который считается одним из умнейших людей России. О какой же «русской философии» может идти речь после этого?

И тем не менее ни одна другая нация мира (за исключением, может быть, немецкой) не питала такого колоссального интереса к философии. Еще на заре золотого века русской культуры тянулись и тянулись люди к западному рацио, к Логосу.

Одним из первых русских, начавших серьезно изучать философию, был Николай Владимирович Станкевич. Вот выдержки из писем, служащие своеобразными вехами его «хождения по мукам»:

09.1834. «Я понял целое ее строение (речь идет он «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинга), тем более, что оно было мне наперед довольно известно; но плохо понимаю цемент, которым связаны различные части этого здания и теперь разбираю его понемногу».

10.1834. (Станкевич читает Шеллинга еще раз). «Теперь я гораздо более понимаю Шеллинга, нежели в первый раз, хотя и потею иногда».

11.1834. «Шеллинга кончил и отложил надолго, очень надолго».

03.1835. «С Ключниковым мы читаем один раз в неделю Шеллинга.... Надобно еще изучить получше Шеллинга».

11.1835. «Не знаю, достанет ли у меня терпения и сил, а я займусь ею (философией) Скучны формы, в которых она заключена, но мы потерпим за будущее поколение (!) и быть может, с Божьей помощью, облегчим труд его».

11.1835. «Теперь мы с Ключниковым принялись за Канта, мы с ним читали Шеллинга, и если не поняли вполне (с третьего раза!) хода его диалектики, то достигнули основные идеи».

12.1835. «...нет человека, который бы мог объяснить мне темное в Канте».

И т. д.

Что поражает в этом стремлении к западной философии? Не столько безуспешность, сколько противоестественность. С одной стороны, человек вроде бы всеми фибрами души стремится к философскому знанию. С другой — само чтение философских трудов вызывает у него приступ тошноты.

Наверное, где-то в подсознании у русского есть варварское стремление к западной научности, рациональности. Причем сама рациональность воспринимается им как нечто крайне иррациональное, умнеохватное, дающее тайное знание. В среде раскольников было поверие: кто прочтет всю Библию и поймет ее до конца, тот сойдет с ума. Станкевич как раз с таким чувством и читал Шеллинга, Канта и Гегеля. Об иррациональности русского рационализма хорошо сказал Лев Шестов, заметивший в «Апофеозе беспочвенности»:

«Даже эпоха шестидесятых годов, с ее «резвостью», была в сущности самой пьяной эпохой. У нас читали Дарвина и лягушек резали те люди, которые ждали Мессии, второго пришествия».

Высечено: «Мысль изреченная есть ложь». Как частный вариант этой истины можно сказать, что мысль, изреченная по-русски, иррациональна. Даже сама по себе рациональная мысль в устах русского приобретает иррациональную окраску. А это, из-за несоответствия формы и содержания, приводит к худшему виду иррационализма, к иррационализму вульгарному, плоскому, или, короче говоря, просто к глупости.

Но именно из-за принципиальной иррациональности нашей языковой культуры сциентизм и пустил такие глубокие корни на русской почве. Обращение к западной схеме мышления — это результат смутного осознания ирреальности нашего словесного мира, его вторичности. Русский позитивизм — это вульгарная попытка окончательной «филологизации» национальной сущности, уничтожения ее тайны за счет словесного выражения.

Поэт назвал Германию вечным укором России. Мраморные глыбы Гегеля и Канта — это вечный укор русским мыслителям. Не верьте русскому, который признается вам в своей любви к серым и черным томам «Философского Наследия». На самом деле он их или вообще не читал, или читал со скрежетом зубным. Русские по своей природе слабые мыслители, так как уже сам наш язык — язык глубоко «недоказательный». Слова путаются, мысли ветвятся и растекаются по древу. Хочется говорить кратко и ясно, «по-немецки». Но в результате получается одна «афористичность». Хочется «вырубить монументы», но перед скульптором не гранит и не мрамор, и даже не известняк, а дикий мед, в котором беззвучно тонет резец. Мед этот можно крошить сотами «афоризмов». И только.

Зеньковский писал в «Истории русской философии»:

«В литературной манере Бердяева есть некоторые трудности,— часто читателю трудно уловить, отчего данная фраза следует за предыдущей: порой кажется, что отдельные фразы можно было бы легко передвигать с места на место — настолько неясной остается связь двух рядом стоящих фраз. Но в чем Бердяев является блестящим — это в чеканке отдельных формул, в своеобразных бон мо, которые запоминаются навсегда».

С этим утверждением трудно не согласиться. Но с кого начал Бердяев изучать философию? С Паскаля? Ницше? Кьеркегора? Нет, все с тех же неизбежных для русского Канта и Гегеля. Прочувствовал он их? Конечно, нет. Бердяев всегда хвастался, что он пришел в марксизм уже будучи основательно подготовленным в немецкой классической философии. Но уже сам факт перехода от Канта к Энгельсу показывает, что никакого Канта Николай Александрович всерьез не читал.

В «Самопознании» он пишет:

«...я читал «Критику чистого разума» Канта и «Философию духа» Гегеля, когда мне было 14 лет... С чтением Гегеля связано смешное воспоминание. Я ухаживал в это время за одной моей кузиной. У нее была маленькая книжка в синем бархатном переплете, куда ей записывали стихи. Я записал ей цитаты из «Философии духа» Гегеля. Это значит, что мальчиком я был настоящий монстр».

По-моему же это значит, что Бердяев был самым что ни на есть обычным русским мальчиком, читающим кверху ногами Гегеля перед знакомой барышней. Это все понятно, старо...

И все-таки Бердяев талантливый философ. Не гениальный, но талантливый. Его беда в том, что он постоянно пытался из отдельных афоризмов устроить себе «всамделишный» философский текст:

«Большим недостатком моим... было то, что будучи писателем афористическим по своему складу, я не выдерживал последовательно этого стиля и смешивал со стилем не афористическим» («Самопознание»).

Остается добавить, что это не только большой недостаток Бердяева, но и большой недостаток всей русской философии.

«Приглашение на казнь» — это самый русский роман Владимира Набокова. Здесь сама лексика, сама фактура языка кристально русская, даже нарочито русская. Округлые фразы мучителей Цинцинната пестрят русскими завитушками: «сударь мой», «милостивый государь», «батенька», «голубчик» и т. д. А вокруг хоровод русских масок: «Марфинька», «Родион», «Родриг Иванович». Мир «Приглашения», мир призрачного, кривого и черного

будущего вдруг оказывается до боли родным, узнаваемым, плотным. Странно, что наиболее абстрактное и интеллектуализированное произведение Набокова оборачивается такой сусальной и сдобной родимостью. В сугубо зримых и конкретных «Камере-обскуре» и «Лолите» нет русскости (это русское, но без русскости). Здесь же Набоков пронзительно национален.

Двусмысленность «Приглашения на казнь», его обманчивая мнимость, марево, — это именно мнимость и марево самой русской лексики, русской души и русского мира. Конечно, набоковская фантазмагория есть отражение фантазмагории сталинизма. Но отражение не буквальное, а при помощи сложной системы зеркал, собирающих мельтешение отдельных «событий» в узорчатый мираж набоковской прозы. Язык персонажей «Приглашения» — это язык, где смещены сами понятия добра и зла. Они не искажены, не скрыты и завуалированы более поздними пластами, а именно смещены как фундаментальные категории духовного мира. Коммунизм — это и есть такое смещение, сдвиг элементарных понятий. Вся русская история с 1917 по 1937 год есть разворачивание и реализация этого смещения. Общество, отказавшись от понятия добра как такового, вынесло себе тем самым смертный приговор. Но внешне, в словесной форме это все еще выглядело легковесно, умозрительно. Однако оказалось, что язык — это и есть основа мира. Его искажение породило уродливые мысли, а уродливые мысли — кровавые поступки. Набоков показал нам не поступки-события, и даже не большую мысль, а суть — мертвый язык. Язык, вырезающий ножницами лжи картонную реальность.

«Пятаков писал: «Не хватает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это люди, потерявшие последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать, уничтожать как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух Советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей нашей страны — такому чудесному товарищу и руководителю как Сергей Миронович Миронов». Навзрыд плачет Пятаков над трупом убитого им Кирова. Рыдает... «Многие из нас, и я в том числе, своим ротодейством, благодушием, невнимательным отношением к окружающим, сами, того не замечая, облегчали этим бандитам делать свое черное дело». Удивительный трюк! Бдительности мало было у Пятакова! (Движение в зале.) Вот в чем, оказывается, виноват Пятаков... Пятаков писал: «Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду». Правда, хорошо. Спасибо органам НКВД, что они н а к о н е ц разоблачили вот эту банду! «Хорошо, что ее можно уничтожить». Правда, подсудимый Пятаков, хорошо, что можно, не только можно,



а нужно уничтожить» (Из обвинительной речи Вышинского на процессе «Антисоветского троцкистского центра»).

Ни один другой язык мира не смог бы дойти до такого уровня самораспада. Другие языки могли бы изменить свое содержание, но не свою сущность. В них бы не произошло такого скольжения, такого «дрейфа понятий» как в русском языке XX века. В фашистской Германии слово «гуманизм» было дискредитировано и вычеркнуто из лексикона, у нас же оно год от года упоминалось все чаще и чаще, приобретая при этом все более зловещий оттенок и превратившись наконец в «гуманизм Сталинской Конституции». Как это по-русски! Гуманизм в виде раздачи печатных пряников на чуть присыпанных могилах. Смех, шутки, истерические здравницы, клоуны на ходулях... и красные пятна, проступающие сквозь песок.

Набоковская антиутопия — это мир, утопающий в русском благодушии. Цинцинната убивают не из-за злобы, а из-за доброты, гуманизма. О нем заботятся, развлекают его перед казнью, обижаются, что он «плохо реагирует» на своих мучителей и даже не хочет дружить со своим палачом. Зачем же, нешто мы нехристи какие?! Все должно быть хорошо, гуманно. Как сказал подсудимый Радек,

«...советское правосудие не есть мясорубка... Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас во время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу». (Процесс троцкистского центра)

«Да-с,— продолжал надзиратель, потряхивая ключами,— вы должны быть покладистее, сударик. А то все гордость, гнев, глум. Я им вечор слив этих, значит, нес — так что же вы думаете? — не изволили кушать, погнушались. Да-с... Очинна жалко стало мне их,— вхожу-гляжу,— на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка квояла. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка,— благодать, радость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то,— а сам реву — вот истинное слово — реву... Очинна, значит, меня эта жалость разобрала».

«Советское правосудие не есть мясорубка». И изгибается и извивается гнусный русский язык. Нации с таким языком нужно было молчать.

И она молчала 700 лет. 700 лет в России пели, плакали и молились, но не говорили. И вдруг прорвало...

Руси явно это было не нужно. Не случайно же забыли, потеряли, «скача славлю по мыслену древу», «Слово о полку Игореве». «Не интересно». Русская допетровская культура явно

бессловна, нема. Насильственное введение Петром I письменной речи одновременно послужило и началом деструкции языка. Набоков писал, что

«от толчка, данного Добролюбовым, литература покатила по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез «литературу».

На самом деле добролюбовщина — это лишь частное и локальное проявление более широкого процесса. Вместо «Добролюбов» следует поставить «Петр I».

Но забыли мы, что осиянно  
Только слово средь земных тревог  
И в Евангелии от Иоанна  
Сказано, что слово — это Бог.  
Мы ему поставили пределом  
Скудные пределы естества  
И как пчелы в улье опустелом  
Дурно пахнут мертвые слова.

*Н. Гумилев*

И все же есть нечто важнее и сильнее языка. Заговорившая и залгавшая Россия исчезла, истлела. Вроде бы все погибло. Но нет! Сейчас в России молчат. Молчание — это жизнь. Если есть молчание, значит кто-то молчит, значит есть, кому молчать, есть о чем молчать. Слова девальвировались и уже давно ничего не значат. Это даже не мертвый язык, отравляющий все вокруг трупным смрадом, а язык ушедший, выветрившийся, пустой, не язык, а артикуляция, словоговoreние. Так кончилась петровская Русь, Русь словесная, литературная. «Молчание — золото».

«Молчание — золото» — самая литературная пословица. Из этой пословицы возникла русская литература. Люди, так ценящие молчание, должны были слышать слово. Набоков писал, что ни один другой народ мира не был так в известный момент истории захвачен словом, особенно печатным, письменным, как русские. «Что написано пером, то не вырубишь топором». Розанов сказал, что в Англии хороши чемоданы, а у нас пословицы. Из Руси молчаливой возникла великая русская литература. Писаревы же и Чернышевские — из пьяной болтовни. В простой, ситцевой Руси громко говорили только юродивые, наемные горлодеры и пьяницы. Эти болтуны и создали литературную среду, литературную массу.

«Русь молчалива и застенчива, и говорить почти не умеет: на этом просторе и разгулялся русский болтун».  
(«Опавшие листья»)

Историк, исходящий из анализа русской литературной среды, никогда не поймет феномена Достоевского. Совершенно непонятно, как в этой варварской атмосфере могли появиться «Братья Карамазовы» или «Преступление и наказание». Этого просто не могло быть, как не могло быть в Болгарии, Румынии или славянской Австро-Венгрии. «Та же Европа, но второй свежести» Ясно, что Достоевский был сформирован не окружающей средой, а рос изнутри, из себя, а следовательно, из глубинных, дословесных корней русской цивилизации. Русь словесная сказалась в Достоевском вовсе не за счет своей блестящей самодостаточности. Таковой не было. Был варварский и гениальный язык, язык «в себе», язык «через сто лет», и на этом языке тогда было сказано нечто несообразно великое, невозможно великое. Значит, истоки Достоевского следует искать не в петровских циркулярах и решкриптах, и даже не в речениях Аввакума, а неизмеримо глубже.

Русь поющая, Русь украшенная (иконопись, храмы), Русь молчаливая, Русь молчаливая — вот из чего вышел Достоевский. Вот что создало возможность для прорыва русской литературы.

Но верно и другое. Русь поющая тоже неистинная, тоже непонятная в контексте анализа собственно этого уровня. Русская иконопись и русское песнопение также не могли появиться, как не могли появиться иконопись и песнопение болгарские, сербские, новогреческие. Это невозможно. Этого не может быть. Но в России это было. Значит есть более глубокий, более сильный уровень русского духа. А именно, — это «пустота» русской души.

Русский человек несчастен, он изначально обладает самому ему неясным и непонятным опытом духовного томления, тоски, ужаса и замирания перед бессмысленной реальностью. И эта начальная талантливость русского духа и нашла свое воплощение в русской культуре, культуре собственно не русской, но просветленной русским духом. Сама по себе русская душа молчалива, бессловесна и бесформенна. Это абсолютная пустота. Молчание, зияние. И сама по себе Россия бесплодна. «Не надо мира сего». Но эта же пустота порождает страшную восприимчивость и способность к удивительному и неправдоподобному просветлению воспринимаемого материала. Мрачная византийская культура нашла свое просветление в русской церковной музыке, в Покрове на Нерли и в иконах Рублева.

Просветленность означала и неизбежность кризиса, так как самостоятельно отказаться от некоей заданной и уже законченной формы русский дух никогда не мог. Кризис допетровской Руси привел к смене ориентации. Русские усвоили западную культуру, но усвоили в меру своего разумения. Наивно полагать, что при Петре произошел контакт с европейской культурой. На самом деле произошел контакт с русским пониманием Европы: Россия прорубила окно не в Европу, а в ту часть своего мира, которая физически соприкасалась с Европой. Это должно было привести

к катастрофе, так как Европа Петра I так же походила на Европу, как Россия башкира походила на подлинную Русь, Русь за монастырской оградой. И вот эта башкирская Европа, Европа глупейшего вольтерьянства и бесплоднейшего сциентизма была принята и немисливо просветлена. Просветлена в Пушкине, Гоголе, Достоевском. Но уже сам процесс просветления таил в себе новый кризис, а именно кризис социалистический. Русь поющую и Русь говорящую сменила третья Русь — Русь орущая. Пустота русского духа оказалась удобной почвой для осуществления социалистической идеи.

Розанов писал:

«Египтяне учили, что есть «цикл» времен, круговорот приблизительно в 15000 лет — цикл Феникса, по окончании которого мир сгорает, весь и без остатка, а затем возрождается вновь. За 15 тысяч лет идеи, какого бы совершенства они ни были, изнашиваются без остатка. Мир должен слинять. Все старое — прочь! Все попытки удержать старое — только задерживают «пожар Феникса». Мне думается — мы в таком фазисе. Уже не за один век — поразительно как безуспешны все «возрождающие» попытки, как и все и всяческие «консервативные направления». Одно верно, одно могуче идет вперед: какой-то всемирный грохот разрушения, отрицания... Действительно, человек линяет, абсолютно линяет. Но из-под облезавших с него красок, спадающих перьев показывается не ожидаемый троглодит, дикарь, но — первый Адам, опять без греха, с ангельским лицом.

— Мы добры.

— Мы любим друг друга.

— Да, в мире есть какая-то тайна, но мы ее не знаем.

— Нам нужно изготовить к полудню обед, и вот мы собираем дрова.

И только. Нет больше ничего. Сгорели в пожаре Феникса отечество, религия, быт, социальные связи, сословия, философия, поэзия. Человек наг опять. Но чего мы не можем оспорить, что бессильны оспорить все стороны, это — что он добр, благ, прекрасен. Будем же смотреть на него не вовсе без надежды, по крайней мере — без вражды — и будем надеяться, что когда всемирный пожар кончится и старый Феникс окончательно догорит — из пепла его вылетит новый Феникс». (1901)

Россия стала первой страной мира, соскользнувшей в огонь социализма. Социализм — это идея конца мира, идея окончания

идей, их уничтожения. Забвения. Демокрит сказал: «Ничего не существует, кроме атомов и пустого пространства; все прочее есть мнение». «Мнение», то есть мираж, мнимость, фата-моргана. Таким образом материализм — это философская система, которая отрицает философию как таковую. «Никакой философии нет, а есть пустота и атомы». В этом притягательная двойственность материализма. С одной стороны, он неизбежен для любого начинающего мыслителя, так как является наиболее элементарной и понятной формой философии; с другой — материализм саморазрушающаяся система: либо философии нет и тогда нет внутреннего оправдания для материализма, либо материализм есть и тогда неверно, что существует только пустота и атомы. Это саморазрушаемость гнездится и в социализме, то есть в социальном материализме. Социалистический переворот есть прежде всего уничтожение духовных сил общества, гибель идей (вместе с людьми — их носителями). Но одновременно это означает и гибель социализма, поскольку он является социальной идеей. Социализм пожирает социалистов. Что же остается в результате? Материализм учит, что должны остаться бессмысленные муравьи-атомы, живущие не иллюзорной (духовной и душевной), а настоящей, материальной (физиологической) жизнью. Но когда такое общество было построено, то оказалось, что люди, позабыв сами основания этого мира, остаются все же людьми, а не превращаются в насекомых. И следовательно, снова появляется культура, появляется духовная жизнь. Русские доказали, что человек всегда остается человеком. Или он остается человеком, или, в конце концов, погибает. «Сгорели в пожаре Феникса отечество, религия, быт, социальные связи, сословия, философия, поэзия». А русские остались. Они живут, они любят друг друга, они мучаются человеческими проблемами: «Да, в мире есть какая-то тайна, но мы ее не знаем»; «нам нужно изготовить к полудню обед, и вот мы собираем дрова».

Если первая русская идея, идея христианства, была принята легко и свободно, так как отвечала самой сущности русской души, если вторая идея была принята с мучительными сомнениями, но и не без внутреннего согласия, то третья идея, идея социализма, была принята «от противного», как антитезис и аннигилирующий синтез «Руси молчаливой» и «Руси говорящей». И идея эта была настолько тяжела и темна, что, казалось, Россия погибла. Но русские выжили. И уже одно то, что они выжили, свидетельствует о неммыслимом просветлении социализма. Может быть, ни один народ мира не вынес бы такого страшного и всепоглощающего пожара. Русские вынесли. Более того, они остались русскими, они сохранили Россию. «Будем же смотреть на них не вовсе без надежды, по крайней мере — без вражды».

Почему социализм так органично вплелся в нить русской истории? Мне кажется, социализм одной своей стороной очень близок

русскому человеку Он близок ему своей иллюзорностью, убийственной мнимостью, своим стремлением к мировому забвению. Забвение — это основная черта русских, так как вытекает из их внутренней «пустоты». Это — то, что они забывают,— для них неистинно, внешне. Россия постоянно линяет, меняется. Конфликта между отцами и детьми нет, так как поколения не встречаются, они живут в разных измерениях. Нельзя сказать, что сейчас распалась связь времен, русские времена никогда и не были связаны. И именно из-за такой «рассыпанности» Россия монолитна. В России никогда ничего не происходит, потому что не успевает развиваться, забывается, сметается и как-то само собой пропадает. И именно когда связь между отдельными событиями все-таки появляется, все рушится. Розанов писал, что «русская история в некоторых частях испорчена,— и именно в тех, где она суетилась. Но где она «лежала» — всегда выходило хорошо и успешно» («Идея мессианства», «Новое время», 13.07.1916) Ничего не надо.

«Много есть прекрасного в России. 17-е октября, конституция... Но лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невского) Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена в тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери. И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие». («Опавшие листья»)

Розанов говорил, что «общество в России бессодержательно, а каждый русский в отдельности — содержателен». Поэтому, думается мне, когда у русских начинается история, реформы, революции, короче «прогресс», то «бессодержательная», то есть внешняя, наносная, культура наваливается всей глыбой на русскую индивидуальность и давит ее под собой, а когда «событий нет» русской душеньке хорошо и не надо ничего. «Ничего не надо» — это внутренний пафос русской цивилизации, ее тоска, томление — как о счастье несбыточном.

Сила русского забвения так велика, что мы забыли и само забвение, забыли социализм, который, всеми брошенный, как-то тихо и незаметно кончается. Это типично русский конец идеи. Монголо-татарское иго тоже просто забыли. Россия стала жить своей внутренней жизнью и забыла про своих несчастных поработителей. В России все делается тихо. И кончается все тихо, «стоянием на Угре», а вовсе не «Куликовской битвой».

От «забвения» и свинство русских. Русские не помнят зла, но не помнят и добра. По этому поводу Розанов однажды грустно заметил: «И денег суешь, и просишь, и все-таки русская свинья делает тебе свинство».

Это внешняя сторона забывчивости. Внутренняя сторона — способность к воспоминанию. Вот отрывок из статьи Розанова о Пушкине:

«...Шли годы. Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты.  
И я забыл твой голос нежный,  
Твои небесные черты.

И все так же забывал Пушкин, и на этом забывании основывалась его сила; то есть сила к новому и столь же правдивому восхищению перед совершенно противоположным! Дар вечно нового в поэзии, необозримое в поэзии много-божие, много-обожение как последствие свободы ума от заповеди монотеистической и немного монотонной, по крайней мере в поэзии монотонной: «Аз есмь Бог твой... и не будут тебе инии божи...» Ведь забывать — это и для каждого из нас есть условие вновь узнавать: и мы даже не научились бы ничему, если бы в секунду научения каким-то волшебством не забывали совершенно всего, кроме этого единичного, что в данную секунду познаем...»

Говоря о Пушкине, Розанов сказал о России. Нам дана сила забвения, но дана и сила памяти, точнее, вспоминания, воспоминания как озарения, вспышки. Русские вспомнили «Слово о полку Игореве», вспомнили Русь церковную и, может быть, вспомнят даже Василия Розанова... А социализм «придет».

«Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм — буря, дождь, ветер... Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: «Неужели он (социализм) был?» «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»  
— О, да! И еще скольких этот гад побил!!  
— «Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?» («Опавшие листья»)

Внутренний опыт русского сознания аналогичен внешнему опыту экзистенциальной философии. Западное мышление «охватило» чисто русское состояние «пустоты» и... испугалось. Русские же «с этим» тысячу лет жили. Такая нация, нация с социалистической (нигилистской) пустыней в душе, обречена была на смерть. Но русские живут.

Глубоко логично, что Россия была прародиной экзистенциализма. Но так же глубоко логично, что Россия никогда не была его родиной. Экзистенциальная философия зародилась где-то на стыке русского и европейского мышления. Экзистенциалистом был полуфранцуз Бердяев. Махровым экзистенциалистом был ев-

рей Шестов (даже до революции живший большей частью в Швейцарии). Но назвать экзистенциалистом самого русского философа — Розанова — как-то рука не поднимается. Хотя, казалось бы, есть сходство и в тематике, и в литературной форме мышления.

Экзистенциализм — это неприязнь и отстранение от мира реальности. Мира без Бога, мира, погрязшего в ничтожности, мерцающего болотными огоньками социальных утопий. Отсюда сартровская «тошнота» или, по-русски, «мордоворот». «Глаза бы мои не глядели», — вот пафос экзистенциализма. Розанов же до чавкания любил материю. Он мысли сравнивал с капустой: «В мыслях — ошибки. И отлично. Капустка все-таки растет «с ошибками и без ошибок». Вообще Василий Васильевич где-то сказал, что свечка ему милее Бога. Бог — это где-то там, вообще, а свечечка вот она, зажег ее, и она ожила. Это «видно», в это можно верить. После 17-го, когда начался голод, он мечтал о творожке, сметанке. Но больше всего ему хотелось молока и чтобы самому высасывать его из коровьего вымени своим выпученным красногубым ртом. (По-моему, только Розанову могла прийти в голову такая мысль).

Характерно, что Розанов часто смотрел на Восток, но удивительным образом находил там диаметрально противоположное экзистенциальным мыслителям. Последние искали там архаичный нигилизм, Розанов же — архаичный быт-бытие. Хайдеггер и Сартр прямо-таки упиваются буддизмом, Розанов же его ненавидел («Будда мне удивительно противен»).

Экзистенциализм по своей сути труслив. Это видно уже по его закланности на проблеме «выбора», «героического поступка» и т. д. Русская культура гораздо сильнее (физически, биологически) культуры западной. Возможно, это просто результат тысячелетней адаптации к экзистенциальному опыту. Розанов был очень сильным человеком. Как-то, став «фертом», он сказал с хитрой улыбкой:

«Когда меня похоронят, непременно в земле скомкаю саван и колено выставлю вперед. Скажут: — «Иди на страшный суд». Я скажу: — «Не пойду». — «Страшно?» — «Ничего не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску».

Это, конечно, не просто ерничанье. И даже не смех сквозь слезы. Это, скорее, монолог персонажа Достоевского. Розанов вообще был с «достоевщиной». Для него характерно соединение дьявольского ума с ангельской наивностью. Он очень ироничен и одновременно страшно искренен.

Розанов — это Акакий Акакиевич Башмачкин, шьющий себе шинель-мечту. Он писал, что литература, журналистика, это для него домашний халат. Но одновременно с литературой-халатом



у него была литература-мечта, литература-шинель. Точно так же как для бедного Акакия Акакиевича шинель превращалась во Вселенную с пуговицами галактик и Млечным путем кошачьего воротника, точно так же для Розанова его внутренний мир, его боль и слезы превращались в статьи и книги, выплевываемые «свинцовым языком Гутенберга».

У Репина есть картина «Арест пропагандиста», сама по себе слабая, а в контексте последующего развития русской и советской живописи просто пародийная. И там есть фрагмент удивительно пошлый и одновременно неожиданно «прозрачный» (то есть через его символизацию можно почувствовать внутреннюю пошлость той эпохи и пошлость самого Репина). Я имею в виду фигуру молодого чиновника, склонившегося над изъятými прокламациями. И не то чтобы согнувшегося, а как-то подобострастно и деликатно вывернутого и опирающегося двумя вертикально поставленными пальцами о спинку стула. Глядя на эти пальцы видишь, что арест «пропагандиста», привезшего «литературу», это «звездный час» чиновника (я, добавим, художника). Видно, что человек этим живет, сладострастно упивается. Розанов шил свою шинель именно «с двумя пальцами», «со вкусом»... Но, придя домой с очередной примерки, устал садился на потертый диван и плакал, плакал как ребенок. И со стершегося как пятак лица Акакия Акакиевича смотрели бездонной грустью глаза Сократа.

Шестов писал:

«Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит... По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться?»

Розанов — это философ, нашедший в себе силы жить, и жить полнокровной жизнью, зная, что жизни нет. И ничего нет. Для Розанова предсмертный опыт был постоянной, сиюминутной данностью. И он никогда не загораживался от этого опыта словесной ширмой. Но при этом все же никогда не был нигилистом. Ничего нет? Ну и что? Надо жить, надо «собирать дрова, чтобы приготовить обед». Это сила русской души.

«Будда, чтобы избежать «смерти» ... изобрел «не жил», «не живите» (заповедь), «ничего нет» (нирвана). Он победил смерть... да! Но какой ценой? Погасив жизнь... Будда возвращает мир к «до сотворения мира», и «нирвана» его, в сущности, совпадает с тем «хаосом», где «не было ничего видно» — но откуда все

возникло. Это все «до сотворения всего», именуемое «буддизмом» — очень глубокомысленно, очень головоломно: но не возмещает ни одной прелестной улыбки, с которою поутру девушка выходит в сад и, нарвав свежих роз, возвращается в свою комнату и, поставив их в стакан с водою, на них любит. Правда, розы увянут, и стакан разобьется, и девушка умрет; но отчего же, однако, я буду сосредоточиваться на этом мыслию «через 30 лет», и — тоже «утром», и — тоже «час», когда девушка будет умирать, а стакан будет разбиваться, чем вот на этом т е п е р ь стакане, и розах, и девушке». («Литературные изгнанники»)

Философ — это астролог. Часто звезды смеются над ним. Иногда смех этот «как звон серебряных бубенцов» (Экзюпери), чаще же смех звезд злобен, циничен. Он принижает человека, оплетает его мозг сухой паутиной бреда. От этого смеха не скроешься, не убежишь. Ведь над головой философа всегда звезды, даже днем. Дневные звезды можно увидеть только из глубокого колодца — из колодца своего одиночества. Философы, как правило, одинокие и несчастные люди. И даже, более того, они люди плохие: сухие, эгоистичные и безжалостные. Их безжалостность — в постоянном стремлении к «уморасширению», к сближению с другими людьми путем перевода в реальность внутреннего философского опыта. Мечта философа — показать звезды другим. И для этого они спихивают окружающих в колодец своего «я». Этим любил заниматься Шестов. Розанов этого никогда не делал, хотя его колодец был гораздо глубже и страшнее. А может, просто его колодец был бездонным как вечность, и падающие туда люди никогда не ударялись о твердое и плоское дно окончательных ответов. Отсюда, видимо, и странное чувство невесомости, легкости у смотрящих на розановское небо.

О своем товарище по гимназии Розанов сказал однажды: «Лицо грубое, злое, а душа нежная, как у девушки». Мне кажется, это символ розановщины. Ум — ее лицо, душа — внутренний опыт. Ум сам по себе жесткий, грубый, даже коварный. И когда Розанов действовал умом, все получалось хорошо. А когда раскрывал душу, то ее хрупкость и нежность приводила к одним неприятностям. Розанов мудр как улитка (символ мудрости на Востоке). Но улитка эта все время хотела ползать без раковины-ума. Так легче.

Ум для Розанова всегда начало вторичное, подчиненное. «Что мысли. Мысли бывают разные». Интуитивно Василий Васильевич очень хорошо понимал всю невозможность русского интеллектуализма. «Мыслью — следовательно существую» — сказал Декарт. Русский мог бы сказать: «Мыслью — следовательно не существую». Мышление как форма существования русскому духу не свойственна. Любая попытка построения рационалистического и конструктивного мировоззрения неизбежно приводит русского че-

ловека к разрыву со своим внутренним опытом и, следовательно, обрекает на распад личности и потерю национальной сущности. В то же время высокий уровень внутренней духовной жизни требовал какого-то выхода в реальность. И в том числе выхода в форме интеллектуальной. Сам по себе разум был нужен русской культуре, но разум, играющий не конструктивную, а инструментальную роль:

«Ум, положим,— мещанишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь... Самое презрение к уму (мистики), то есть к мещанину, имеет что-то на самом конце своем — мещанское. «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке»... Настоящее господство над умом должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятым; это должно быть субъективной тайной». («Опавшие листья»)

И Розанов прекрасно владел умом, то есть господствовал над ним и использовал его. Но при этом никогда не поглощался без остатка, не бывал втянут в разъедающую русскую душу игру философскими понятиями.

«Конечно, я ценил ум (без него скучно); но ни на какую степень его не любовался. С умом — интересно; это — само собой. Но почему-то не привлекает и не восхищает». (Там же)

Это, конечно, не германский дух, любующийся и упивающийся умом.

Такое инструменталистское отношение к разуму позволяло Розанову быть философом и одновременно оставаться в рамках русской культуры. Центральное зияние розановского мира находило свое выражение в сочных и ярких, максимально материальных, «библейских» мыслях. Страшный потусторонний нигилизм его души («в душе у меня всегда стоял монастырь») оборачивался в реальности апофеозом бытия, почвы. Причем, это не приводило к распаду личности, так как всегда было скреплено каркасом интеллекта. В сложной диалектике философии Розанова есть железная логика, то есть это именно диалектика, а не само-разрушающийся эклектизм. Большинство других русских философов, начиная с Владимира Соловьева, такой цельностью не обладали. Поскольку они были русскими, они не были философами, а поскольку они были философами, они не были русскими. Это приводило к деструкции их личности и творчества. Это явление хорошо выявил Розанов, сказав о Соловьеве:

«Загадочна и глубока его тоска: то, о чем он молчал. А слова, написанное — все самая обыкновенная журналистика».

Иными словами, Соловьев загубил философией несомненный талант своей души и тем самым разрушил свою личность. Его философия порвала связь с душой и стала существовать самостоятельно. И чем более она «существовала», тем менее существовал сам Соловьев. Печальная судьба!

Впрочем, к одному отечественному философу — Шестову — эта мысль совершенно неприменима. Шестов был так же целен, как и Розанов. Но внутренняя структура его философии совершенно противоположна. Если Розанов — это Новый завет, философически трансформируемый в завет Ветхий, то Шестов — это ветхозаветное бытие в центре, манифестирующее в виде пустых новозаветных форм. По форме Шестов христианский философ, по сути — иудаист. Это «Розанов наоборот». Внутренний мир Льва Шестова — это плотный осязаемый еврейский быт, но быт, «эманлирующий» в реальность в виде талмудической экзегетики. Еще полнее, уже в гротескной форме, этот процесс виден в феноменологии Эдмунда Гуссерля, врага и друга Шестова. Все различие между Шестовым и Гуссерлем в тональности их философии — русской и немецкой. Гуссерль существовал в философии, а Шестов осуществлялся через нее. В этом отношении он был русским философом. Но «сущность» этого осуществления не была русской. Шестов не обладал внутренним опытом нигилизма, а лишь выражал его. То есть был экзистенциальным философом. Такими же экзистенциальными философами были Бердяев, Мережковский, Вяч. Иванов. Вообще экзистенциальность была разлита в русском декадансе. Но русские декаденты испугались, не заглянув в себя, а выглянув в мир. Возможно, их нигилизм был даже глубже западного, но на фоне уже самой по себе декадентской русской души (то есть их же души) он выглядел надуманным, пустым, фальшивым. Русскому экзистенциализму не хватало искренности, западный же экзистенциализм был вполне искренен. Вот почему так ценна философия Шестова. Она русскоязычная, но не русская, и поэтому искренняя. Внешний нигилизм Шестова не обесцвечивается внутренним нигилизмом русской души. Ее у Шестова не было.

Розанов и Шестов гармоничны. Но гармония Шестова европейская, Розанова же русская. И для того и для другого характера афористическая манера письма. Но афористичность Шестова внешняя. В сущности, это страшный однодум и монотеист. Всю жизнь он писал одну книгу и разрабатывал одну мысль. Как сказано у Зеньковского:

«...после торжественных «похорон» рационализма в одной книге, он снова возвращается в следующей книге к критике рационализма, как бы ожившего за это время. Но все это объясняется тем, что, разрушив в себе один «слой» рационалистических положений, Шестов натывается в себе же на новый, более глубокий слой

того же рационализма. Тема исследований углубляется и становится от этого значительнее и труднее. Творчество Шестова все время связано поэтому с внутренней жизнью его самого, касается заветных и дорогих ему тем...»

Европейский мир Шестова по своей сути был рационалистичен, и он всю жизнь тщился трансформировать его в иррациональные формы. Блестящим орудием для этого был русский язык, язык, как мы знаем, глубоко иррационализирующий мышление. В процессе подобной трансформации Шестов был русским, и процесс этот не разрушал, а консолидировал его личность, так как осуществлялся в удивительно своеобразной филологической среде.

Оканчиваю оборванную фразу Зеньковского:

«...отсюда близость его к упражнениям экзистенциалистов с их непобедимым субъективизмом. Сам же Шестов никогда не грешит субъективизмом — и сходство его с экзистенциалистами чисто внешнее».

Зеньковский здесь интуитивно говорит о перемещенности мироощущения Шестова в дословесный мир и, соответственно, об объективации его философского мышления. В этом смысле он, конечно, отличается от экзистенциалистов. Но это отличие в данном случае формально, так как Шестов чисто западный философ по схеме своего мышления. Афористичность изложения у него, как и у Паскаля или Ницше, есть полифоничность формы мышления при монофоничности его содержания. Не то у Розанова. Розанов полифоничен не только по форме, но и по содержанию. И это у него поистине неслыханный и невиданный способ философствования. Условно его можно назвать «философской девальвацией».

Впервые «девальвация», то есть русская схема мышления, была продемонстрирована Достоевским. С точки зрения филолога об этом хорошо сказал Михаил Бахтин. Он писал:

«Человек из подполья» не только растворяет в себе все возможные твердые черты своего облика, делая их предметом рефлексии, но у него уже и нет этих черт, нет твердых определений, о нем нечего сказать, он фигурирует не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты. И для автора он является не носителем качеств и свойств, которые были бы нейтральны в его самосознании и могли бы завершить его; нет, видение автора направлено именно на его самосознание и на безысходную незавершенность, дурную бесконечность этого самосознания... О герое «Записок из подполья» нам буквально нечего сказать, чего он не знал бы сам: его типичность для своего времени и

для своего социального круга, трезвое психологическое или даже психопатологическое определение его внутреннего облика, характерологическая категория его сознания, его комизм и его трагизм, все возможные моральные определения его личности и т. п.— все это он, по замыслу Достоевского, отлично знает сам и упорно и мучительно рассасывает все эти определения изнутри. Точка зрения извне как бы заранее обессилена и лишена завершающего слова... Герой из подполья прислушивается к каждому чужому слову о себе, смотрится как бы во все зеркала чужих сознаний, знает все возможные преломления... все определения, как пристрастные, так и объективные, находятся у него в руках и не завершают его именно потому, что он сам сознает их; он может выйти за их пределы и сделать их неадекватными. Он знает, что последнее слово за ним». («Проблемы поэтики Достоевского»)

Известно, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Он настолько увлекся его творчеством и его личностью, что в 1880 году (то есть еще при жизни Федора Михайловича) 24-летним молодым человеком женился на стареющей Аполлинару Суловой (что, конечно, было более чем экстравагантно). Но более важно то, что литературную известность Розанову принесла работа «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», написанная в 1891 году. В этой работе Василий Васильевич открыл подлинного Достоевского, не «певца униженных и оскорбленных» и «второго после Тургенева русского романиста», а гениального философа, пророка и учителя. Может быть, он был первым человеком в России, до конца понявшим автора «Записок из подполья». Розанов понял Достоевского, так как понял, что перед ним не столько писатель, сколько философ. Достоевский — это философ, родившийся в стране, где еще не было отечественной философии, но была отечественная словесность, литература. И Достоевский выразил свою философию в виде романов. В этом его трагедия, но в этом и его счастье. Счастье, так как в этом уникальном случае не произошло разрыва между внутренним духовным миром и словесной формой его выражения. Достоевский был свободен, и его философский талант развернулся на обширной лоне русской словесности. В Достоевском сказался, выразился русский тип мышления: судорожный, прерывистый, и одновременно тягучий, с бесконечными оговорками и спохватываниями.

Розанов весь пропитался, как губка, «достоевщиной». И не только ее содержанием, но и ее формой, схемой. Впоследствии, вплоть до «Уединенного», он совершенно не понимал, что с ним происходит, откуда такие скачки, лишенный всякой логики, откуда постоянное «рenegатство», ускользание от «окончательных определений». И лишь в поздних работах Розанов хотя и не понял,

но интуитивно почувствовал, что в нем, вне его воли и желания, разворачивается какая-то программа, и что все его шатания и трансформации есть осуществление какого-то замысла. Это был замысел русской истории. Достоевский и Розанов — это, пожалуй, единственные свободные русские мыслители. И именно за счет этой свободы их мышление было строго детерминировано национальной идеей. В них сказалась Русь. В Соловьеве или Бердяеве сказались они сами, то есть никому уже не нужные и не интересные «журналисты».

Розанов сам говорил: «Во мне что-то есть от Акакия Акакиевича». Розанов — это Акакий Акакиевич, который прекрасно знает, что он Акакий Акакиевич, и более того, доказывает это нам, причем в форме гораздо более интересной и оригинальной, чем наше собственное (окружающих) понимание этого образа. И тем самым разрушает его. Подлинное же его «я» остается для нас загадкой. Мы хотим понять Розанова, но попадаем в замкнутое искривленное пространство его иронии и выскальзываем из него на другой уровень своего собственного сознания. А Розанов превращается для нас в «зияние», «черную дыру».

Но это не страшно, так как розановское «подполье» конструктивно. Оно истекает в быт теплым и круглым миром. А когда его, этот мир, пытаются разрушить с точки зрения Шопенгауэра, экзистенциализма и т. д., то Розанов спокойно говорит: «Я знаю» — и показывает, что, действительно, «ничего нет»: ни любви, ни дружбы, ни истины, вообще ничего. Полная пустыня, нигилизм. Он говорит, говорит, говорит... Но чем больше он говорит, чем четче и яснее перед нами проступает весь ужас и боль мира, тем сильнее мы ощущаем альтернативность этой философии, возможность иных точек зрения. Мировоззренческий нигилизм превращается в тонкий сверхплотный луч — убийственный, но уже самим своим существованием предусматривающий возможность иных лучей, иных точек зрения. Внутренне понимаешь, что да: все суета сует. И я «суета». Но жизнь «суеты» в «суете» уже не есть «суета». Это не суета, а жизнь. И поэтому не надо суетиться. Пускай я пустота и меня нет. Но вокруг жизнь. И внешне, с точки зрения суеты, я живой, я человек. Чего же тут страшного? Я вижу звезды и знаю, что нет их, что «нарисованы». Но все-таки нарисованы, все-таки кто-то их нарисовал. И значит, они есть, звезды-то. Это совсем не страшно.

И снова постепенно мелодия розановской речи доводится до абсурда и превращается в идиотизм «музыкальной шкатулки». И снова, и снова, и снова все кружится в дурной бесконечности «Записок из подполья». Но карусель розановских шатаний имеет два выхода: выход в быт (вовне) и выход в тайну (внутри). Там, на выходах, все прутья связаны в пучок. В быту и в сердцевине, «мечте», Розанов «несклоняем», однозначен. В первом случае однозначная ясность, во втором — единая тайна, загадка. Поэтому

Розанов внутренне глубоко един. В нем слиты материя и душа, быт и мечта, связанные накрепко множеством жгутов мыслей, то есть «философией».

Внутренний пафос Розанова — в постоянных поисках правды как сиюминутного переживания, как мимолетного взгляда. Розанову удалось сохранить чисто детскую непосредственность, и все его статьи и книги — это именно «впечатления», ценные своей яркостью и непосредственностью, а не истинностью или ложностью. Их истинность есть истинность переживания и поэтому только и объективная истинность. Розанов как-то постоянно промахивается, перегибает палку, но сами эти промахи удивительно точны, правдивы и искренни. Вплоть до своей трилогии (и после) он все время «перебарщивал». Все его произведения суть какое-то укрупненное, почти физиологическое переживание определенного «события» с той или другой точки зрения. Именно «точки». До боли, до рези в глазах, узкой, но яркой и красивой.

В трилогии Розанов окончательно распался и одновременно окончательно слился. В мир его произведений, конечно, следует входить через ствол трилогии и лишь потом плутать по закоулкам отдельных статей. Видимо в этом одна из причин долгого непонимания со стороны современников. В сущности, «Уединенное» всегда было в душе Розанова, но окружающим до поры до времени являлись только внешние разрозненные отростки системы. И так, «по газетам», конечно, было невероятно трудно нащупать внутреннее единство розановщины и увидеть, как отдельные точки зрения превращаются в звездное небо, в «глаза Божии». Между звездами статей и книг было черное зияние времени и пространства. В трилогии же эти глаза-звездочки слились в единое соцветие, в солнце, или в огромный фасетчатый глаз стрекозы, лениво, задним умом смотрящий в уходящую реальность. Именно тут Розанов нашел внутреннюю гармонию, ту бесформенную форму, к которой он стремился всю жизнь.

Аполлон Григорьев сказал: «Пушкин это наше все». Если Пушкин это русское все, русский мир, то Розанов — нервная система этого мира. Его бесконечно ветвящаяся, лениво растекающаяся по древу мысль оплела густейшей сетью универсум России. Где-то на крае, в мельчайших веточках-капиллярах происходит загадочное перетекание Розанова в материю культуры. И нет уголка, куда бы не проникла его мысль. Но при всем этом вчувствовании в культуру он не растворяется в ней, а остается неким, хотя и теплым, но внешне чужеродным началом. С точки зрения самой словесной культуры видна только материя Розанова: розовые ниточки нервов. Изнутри же Розанова хорошо не видится, а утробно чувствуется русская жизнь. Россию чувствуешь, как свое тело.

Розанов говорил что можно быть поистине образованным человеком и не учась в гимназии, но прочитав и продумав



всего Толстого и всего Достоевского. В наших условиях это, возможно, и единственный путь к подлинному образованию и воспитанию. А сам Розанов — лучший объект для подобного штудирования. Ведь «продумать Розанова» — это означает вжиться в Россию, приобрести утерянную сейчас сущность и восстановить связь времен (внутреннюю, то есть связь между частями своего еще непонятого «я»).

Розанов раздроблен, расщеплен на ветви. Но это расщепление помогает ему обнять рассыпавшийся пушкинский мир, найти гармонию своего бытия в этом мире. Мережковский сказал, что Пушкин был «прекрасной гармонией» или, может быть, лишь «прекрасной возможностью» этой гармонии, мелькнувшей на мгновение в его личности. Мне думается, что Пушкин и не мог не быть «возможностью». Своим существованием он придал возможность русскому словесному миру. До этого сказаться России было невозможно. И поэтому сам себя Пушкин не понимал и не мог понять. Гигантский мир — для себя он был точкой. Никаких рефлексий, раскола, частичности, а спокойное разворачивание этой точки во вселенную. Розанов же — это почувствовавший себя Пушкин, это мыслящая (чувствующая себя через нервы мыслей) вселенная русской литературы.

Творческая эволюция Розанова — факт уникальный для русского философа, — была очень проста и естественна. Это равномерно поднимающаяся прямая линия. Никаких провалов, никаких скачков: спокойное и уверенное повышение уровня. Постепенный (именно постепенный) отказ от потешного русского доказательства — «ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт» (Толстой-то смеялся на самом деле не над немцами, а над собой, над нашим пониманием немецкого духа и над нашим вульгарным подражанием этому духу), — и постепенный переход к глубокому и свободному русскому мышлению, мышлению-игре и мышлению-жизни. Розанов начал, так сказать, со старческого бубнения и присюсюкивания, с обстоятельного, хотя и не лишнего элементарного интереса, «размазывания манной каши по чистой ска-терти». Но постепенно голос его молодедел и креп, приобретал певучесть и интонационное разнообразие. Умер Розанов совсем юным, почти младенцем. И устами младенца-Розанова была сказана русская истина, истина по-русски.

«Ах, не холодеет, не холодеет еще мир. Это — только кажется. Горячность — сущность его, любовь есть сущность его. И смуглый цвет. И пышущие щеки. И перси мира. И тайны лона его. И маленький Розанов, где-то закутавшийся в этих персях. И вечно сосущий из них молоко. И люблю я этот сосок мира, смуглый и благовонный, с чуть-чуть волосами вокруг. И держат мои ладони упругие груди, и далеким знанием знает Головизна мира обо мне и бережет меня. И дает мне

молоко и в нем мудрость и огонь». (Последние строчки «Опавших листьев»)

Можно ли считать Розанова центральной фигурой русской философии? Конечно, можно. Пути для осуществления подобной интерпретации видны невооруженным глазом, лежат на поверхности. Если в нашей философии создан и эксплуатируется «миф Соловьева», то точно так же можно создать и «миф Розанова». даже в хронологическом отношении это не вызовет больших трудностей. По крайней мере, трудностей будет не больше, чем при выведении всей русской философии из философии автора «Оправдания добра». Но, конечно, моей целью не является подобного рода мифотворчество. Да и сам Василий Васильевич с саркастической усмешкой говорил о благословенной России 2212 года, где «какой-нибудь «профессор Преображенский» в Самаркандской Духовной Академии напишет «О некоторых мыслях Розанова касательно Ветхого завета».

Не в том дело, был или не был Розанов отцом-основателем русской философии. Просто он единственный русский философ, давший русской мысли форму и определенное направление (по крайней мере возможность для этого). Розанов создал почву для отечественной философии. Даже не шахту, а сам уголь.

Задача будущих исследователей состоит в «розанизации» русской философии, то есть в сохранении всего самобытного и оригинального в творчестве Мережковского, Булгакова, Флоренского, и скептическом «опускании» их русско-германских кунштюков («об этом знают, но не говорят»). А дальше туманно брезжит идея постепенной интеллектуализации розановской философии. Например, за счет связи с Хайдеггером, особенно поздним. Мне кажется, это единственно плодотворный путь «втягивания» молчаливого русского сознания в мир европейского мышления. Важно только не строить иллюзий относительно творческого характера этого процесса. Разумеется, это неизбежная, но печальная и, может быть, ненужная деструкция. Розанов может лишь смягчить, умастить эту трансформацию.

Вход в европейское мышление через Розанова наиболее органичен и безболезнен. Органичен и безболезнен, так как его книги создали прямой русский быт. Быт всех других русских философов крив. Они кривы в самом основании, и их «системы» есть судорожная попытка поправить положение, найти безнадежно утраченную естественность. В этом контексте становится понятной постоянно неудачная «ирония» Соловьева: его дурашливые стихи и длинный извивающийся язычок чертенка посреди выпренных метафизических умозрений. Все это от смутного сознания неестественности, кривости самих исходных постулатов мышления.

Розанов же создал крепкий русский философский «быт», «обычай». Не было бы Розанова, и русская душа не сказала бы так обнаженно и сочно: не в искусстве, заранее опосредованном

и неясном, не в литературе, тоже откровенной лишь боком, а так в лоб, «матом». Молчаливая и целомудренная русская культура промычала себя через густо-бытийственное содержание и пустые формы «Опавших листьев».

Думать «по-русски» очень больно. Каждая мысль — это раскаленная игла в мозг. И чудо Розанова в том, что по-розановски думать совсем не больно, а, наоборот, очень приятно и уютно. Чтение его произведений смягчает и облагораживает мышление. Я ни разу не видел умного и органичного неприятия его философии. Постоянно визг, хамство, и при этом уморазрушающее отсутствие логики:

«Г-н Розанов, отбросив всякий стыд перед читателями, которых он, должно быть, считает сущими невеждами, клеветнически оболгал Хомякова, приписав ему мысли, каких у него никогда не было, и для борьбы с Хомяковым обворовал Хомякова, то есть мыслями Хомякова мечтал его прикончить. Он говорит, что в проповеди любви у Хомякова мало любви и это любовь не настоящая, а что настоящая любовь только у него, г. Розанова, и что только он, г. Розанов, сверх-блудник и сверх-босьяк, весь татуированный хитрыми узорами растлеваемого им богословия, любить умеет... Про какую любовь говорит г. Розанов, можно видеть по его совершенно непристойной статье об еврейской микве и об индивидуальной физиономии всякого, даже совершенно негодного фаллоса» (цитата из статьи Н. Соколова, приведенная самим Розановым во втором томе «Около церковных стен»).

Казалось бы, критиковать Розанова очень легко. Розанов смеется и плачет, но не размышляет (его выражение). И тут умному критику и карты в руки. Розанова надо «громить» сухо, корректно, «по-европейски». И чем более вызывающи и иррациональны его статьи и книги, тем суше и рациональнее должен быть их анализ. Но я никогда не встречал такой критики. Видимо, неприятие Розанова окончательно дисгармонизирует и обезмысливает русскую душу. Сопrotивляющийся естественности розановского мышления окончательно глохнет и слепнет. И наоборот, человек, принимающий Розанова, пропитывается розовым маслом розановщины, обретает душевную гармонию, волю, полет. Как-то Розанов заметил:

«Отчего мои идеи произвели на Михайловского впечатление смешного и он сказал «это как у Кифы Мокиевича», а на Мережковского — впечатление трагического?... Мережковский (явно) понял сильным и честным умом то, что Михайловский не понял и по бессилию и по недобросовестности ума...

Мережковский схватил душой — не сердцем и не умом, а всей душой — ...мою мысль, уродил ее себе... И это есть в полном значении «открытие» его, новое для него, вполне и безусловно самостоятельное его открытие (почему Михайловский не открыл?). Я дал компас и, положив, сказал, что «на западе есть страны». А он открыл Америку».

Неприятие Розанова — это именно отказ от Америки, от мышления как такового, то есть, в конечном счете, отказ от себя. И наоборот, принятие его — это принятие себя, своего существования в словесном мире. Розанов сказал, что «Мережковский всегда строит из чужого материала, но с чувством родного для себя». Мережковский строил из Розанова, но одновременно и из родного, своего, так как Розанов это и есть то общее родное, что есть в мышлении любого русского человека. Мережковский понял это и стал Мережковским, Михайловский этого не понял и остался Михайловским.

Розанов был «наивен». Ему всегда хотелось взглянуть снова, иначе. Обойти с разных сторон, посмотреть и так, и эдак. Он очень недоверчиво относился к плоским декорациям и испытывал удовольствие, заглянув за театральную фанеру. Но это было не злорадство, а скорее наивный интерес: «Как устроено?», «Как работает?».

Розанов сломал много игрушек. Это был совсем несклоняемый человек именно за счет постоянных уклонов. Как же перед ним фокусы показывать, если он все ходит и ходит вокруг манипулятора? Розанов заглянул за край русского словесного мира. В филологическом смысле это нашло выражение в странной дефектности его письменной речи, в философском — в преодолении Руси говорящей, то есть интеллигентской. Поэтому «Вехи» оказали гигантское влияние, а Розанов — никакого. Он выпал из этого мира, а авторы «Вех» творили внутри его. Пусть плохое и аляповатое, но это было движение, внутреннее развитие, трансформация. Замкнутый мир русского мифологического пространства рос из себя. Как позитивизм, отрицающий философию, должен был сам прийти до своего распада, до позитивного анархизма Пауля Фейерабенда, точно так же мифология русской интеллигенции должна была сама распастись. Поэтому никакой «школы Розанова» скажем, в начале века, и быть не могло. Для этого все должно было сначала умереть, истлеть: и актеры, и серые непрошибаемые декорации. Мир «слинял». А что осталось? Остались идеи. Нежные и неслышные сквозь скрежет истории идеи.

Не то что «говорить о», но и просто цитировать Розанова сложно. Тут нужен такт величайший. Нужна система противовесов; закопченные стекла иронии, ослабляющие филологическую яркость его прозы; незаметные подземные подходы к предстоящей цитате и плавное отстранение от нее в конце.

«Молния сверкнула в ночи: доска — осветилась, собака — вдрогнула, человек — задумался».

Молнии розановских афоризмов ослепительны. Поэтому их очень трудно цитировать. Точнее, очень легко, но опасно. Они высвечивают и засвечивают авторский текст. Есть ряд авторов, которые были раздавлены Розановым, темой Розанова. (Явно из их числа и современный писатель Венедикт Ерофеев).

В «Вехах» один из авторов — Изгоев — привел обширную, в полторы страницы, цитату из статьи Розанова десятилетней давности. (Замечу в скобках: Василий Васильевич писал очень кратко, но цитаты из его произведений обычно очень длинные. Все завораживаются, гипнотизируются ходом его мысли и не могут вовремя оборвать нить, очнуться...) И эти «полторы страницы», были, как сказал бы Набоков, «голосом скрипки, вдруг заглушившим болтовню патриархального кретина». Розанов писал (привожу изгоевскую цитату с сокращениями):

«Никто не замечает, что все наши так называемые «радикальные» журналы ничего, в сущности, радикального в себе не заключают... По колориту, по точкам зрения на предметы, приемам нападения и защиты это просто «журналы для юношества», «юношеские сборники», в своем роде «детские сады», но только в печатной форме и для возраста более зрелого... Это не журналы для купечества, чиновничества, помещиков — нашего читающего люда, — всем этим людям взрослых интересов, обязанностей, забот не для чего раскрывать этих журналов... Не только здесь есть своя детская история, то есть с детских точек зрения объясняемая, детская критика, совершенно отгоняющая мысль об эстетике — продукте исключительно зрелых умов, но есть целый обширный эпос, романы и повести исключительно из юношеской жизни, и где все взрослые окрашены так дурно, как дети представляют себе «чужих злых людей» и как в былую пору казаки рисовали себе турок. На этой почве развилась почти целая маленькая культура со своими праведниками и грешниками, мучениками и «ренегатами», с ей исключительно принадлежащей песней, суждением и даже с начатками почти всех наук. Сюда, то есть к начаткам вот этих наук, а отчасти и вытекающей из них практики, принадлежит и «своя политика».

Что здесь интересно? Во-первых, вся тусклая и годами вынашиваемая мысль Изгоева мгновенно девальвируется. Оказывается, что автор ломится в открытую дверь, что все это уже было давно сказано и сказано лучше, сочнее, оригинальней. Но не это главное. Мысль Розанова ударяет бумерангом по Изгоеву как личности и, шире, по всем авторам «Вех». Ибо что же такое их статьи,

как не типичные образчики философской и политической «детской литературы»? Вся веховская идеология это есть не что иное как игра во взрослых, необходимая для приобретения реноме внутри детской революционной среды. Сам Изгоев, неосторожно схватившись за Розанова, как бы ударил весь сборник под дых. Веховская корзина унеслась под облака на воздушном шаре неудачной и опасной цитаты. И сейчас русский читатель ничего не видит, кроме далекого розового шара и маленьких смешных человечков, попискивающих внутри игрушечной корзинки.

Цинциннат Ц из набоковского «Приглашения на казнь» работал в умирающем будущем в мастерской игрушек. А игрушки, которые он там делал, были вот какие:

«...и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветастом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других; например: застегнутый на все пуговицы Добролюбов в очках без стекол».

Мир России XIX—XX веков отчетливо расслаивается на два уровня: уровень подлинной культуры, уровень Пушкина, на произведениях которого воспитывались три поколения Романовых, и, с другой стороны, уровень Белинского, Писарева, Чернышевского, Добролюбова, на котором воспитывались три поколения так называемой «русской интеллигенции».

Первый из этой плеяды — Белинский — похлопал своей узкой чахоточной ладошкой по томику «Евгения Онегина»: «Энциклопедия русской жизни». «Поэма — энциклопедия», — с этой глупости № 1, чудовищной и немыслимой для всякого, мало-мальски разбирающегося в поэзии, началась история русской критической мысли — история детской, кукольной России. Россия Белинского — это не Россия поэтическая и литературная, а Россия рефлекслирующая, самопознающая. Белинский — это личинка новой, рациональной России, предвестник ожидаемого, но внутренне чуждого будущего.

Внутренняя чуждость рационального мышления русскому сознанию сказалась в отсутствии гениального преломления усвояемой идеи. Если русская литература началась с Пушкина, то русская критика началась с Белинского. История русской мысли, русской философии — это все равно что развитие русской литературы без Пушкина и вне Пушкина. Это как если бы вначале русской литературы стоял не Пушкин, а дурак Белинский. Тогда вся литература XIX века была бы кукольной.

Страшный инфантилизм кукольной России наиболее ярко проявился в личности Бердяева. В Бердяеве есть много французской крови и, может быть, поэтому он, при всей своей индивидуальности, типичен. Это типичный, «типовой» русский философ, точно так же как Франция — типовая европейская страна, страна, где все

исторические процессы происходят с классической простотой и законченностью. В Бердяеве наиболее выпукло видны основные тенденции русской души, втиснутой в чужеродные ей формы рационального мышления. И то, что у других русских философов было тенденцией, у Бердяева стало сущностью. В этом смысле он действительно характерный представитель русской философии (но не русской культуры вообще, как ошибочно полагают на западе). Бердяев писал в «Самопознании»:

«Герои великих литературных произведений казались мне более реальными, чем окружающие люди. В детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Я наделил эту куклу качествами, которые мне нравились. Это мифотворческий процесс. (?) Я очень рано в детстве читал «Войну и мир», и незаметно кукла, которая называлась Андрей, перешла в князя Андрея Болконского». И т. д.

Бердяев всю жизнь играл в куклы. В «похожего на крысу Гоголя», в «маленького волосатого Пушкина» (которого он долго «не понимал»), в «толстоносенького Толстого» и в «очкастого Добролюбова». Это ясно до головной боли, стоит только представить себе парад кукол на его книжной полке: Платон, Кант, Шопенгауэр, Достоевский, Белинский, Чернышевский, Карл Маркс. Какой же взрослый человек, находясь в здравом уме и твердой памяти, поставит в один ряд толстоносенького Толстого и очкастого Добролюбова? Только ребенок может это сделать. Ребенок, для которого это не живые люди, а тряпичные куклы.

Бердяев вышел из «Вех», а не из Достоевского и Толстого, хотя он и утверждает обратное. Он писал, что «любит не только дух, но и и духи». Любил также и душистые сигары. Иногда, развалившись в кресле, он небрежно стряхивал их пепел на головы ничего не подозревающих английских или французских читателей:

«Московский период был самым плохим периодом в русской истории, лучше был киевский период и период татарского ига». Или: «Советская конституция 1936 года создала самое лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации». («Русская идея»)

Русская философия развивалась из Белинского, Писарева, Чернышевского. Из русского полупьяного лепетания. Конечно Бердяев перерос этот уровень, но чувство внутреннего родства осталось. Отсюда и фантазмагорическое «но»:

«Что делать?» Чернышевского художественно — бездарное произведение и в основании у него лежит очень жалкая и беспомощная философия. Но социально и

этически я совершенно согласен с Чернышевским и очень почитаю его». (Цитата взята из «Самопознания». Далее идут интимные всхлипывания по адресу пресловутой «Ольги Сократовны». Напомню, что это все писалось через 10 лет после «Дара»).

Чернышевские и Писаревы выросли в «Вехи». «Вехи» тоже выросли. Бердяев, будучи одной из семи вешек, разросся в настоящий баобаб. Все «получилось». Но получилось чужое. Мне, по крайней мере, это чужое. Они, эти люди, неизмеримо ближе к России 20—30-х, чем я. Для Бердяева Маркс интересен и актуален. А я его не знаю и знать не хочу. Он мне не интересен. Марксизм — это не к р а с и в ы й миф. Мало того, что он глупый, он некрасивый, неэстетичный. Это как бы сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке, где Иванушку унесли гуси-лебеди, а Аленушка сказала: «Так тебе, дурачок, и надо». Вот и вся сказка. Очень короткая, глупая и злая.

Бердяев, будучи специалистом по некрасивой сказке марксизма, не любил Пушкина. Все они не любили пушкинской России. В этом сказалась их враждебность русской национальной культуре.

Розанов писал в «Опавших листьях»:

«И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вечною сиять.

Кто-то, где-то услышав, заплакал.

Писарев поднялся:

— Не-по-ни-ма-ю.

Неописуемый восторг разлился по обществу Профессора, курсистки — все завизжали, захлопали, заготали:

— Г л у - п о ».

Вся история русской культуры эпохи Александра II — это визг, гогот и глумление над Пушкиным. Но Розанов не был бы Розановым, если бы не взглянул на кукольную Россию и с другой стороны:

«Несомненно однако, что западники лучше славянофилов шьют сапоги. Токарничают. Плотничают. «Сапогов» же никаким Пушкиным нельзя опровергнуть. Сапоги носил сам Александр Сергеевич и притом любил хорошие. Западник их и сошьет ему. И возьмет, за небольшой и честный процент, имение в залог, и вызволит «из нужды» сего «гуляку праздного», любящего и картишки и все. Как дух — западничество ничто. Оно не имеет содержания. Но нельзя забывать



практики, практического ведения дел, всего этого «жидовства» и «американизма»...»

Речь здесь идет не только о «практике», но и вообще о рационализме, то есть и о рациональном мышлении. Это видно из другого «листа», уже частично цитированного мной на стр. :

«Ум, положим,— мещанишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь. Надо ходить в чищенных сапогах; надо, чтобы кто-то спил платье... Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени назвать Спенсера «вашим превосходительством»,— и вообще не подать никакого вида о настоящей мере Спенсера».

Кукольная, мещанская Россия была неизбежна. Это было некрасивое и неудобное, но неизбежное будущее. Не могло же в ХХ веке существовать общество, целиком состоящее из художников, писателей, артистов и прочих «симпатичных шалопаев». (Розанов писал: «Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских»). Пускай Бердяев растет, развивается. Возникнет новая русская культура. Культура посредственная, но необходимая. Русь трудовая, Русь думающая и работающая. И пускай на ней не будет «позолоты времен», пускай не будет золотого века и века серебряного, пускай не будет русского православия, а будет медная «штунда».

«Штунда — это мечта «переработавшись в немца» стать если не «святою» — таковая мечта потеряна — то по крайней мере — хорошо выметенной Русью, без вшей, без обмана и без матерщины дома и на улице... С «метлой» и «без икон» Русь — это и есть штунда... Штунда — это все, что делал Петр Великий, к чему он усиливался, что он работал, и что ему виделось во сне; штунда — это все «Веки». Если бы Петр Великий знал тогда, что она есть, или возможна, знал ее образ и имя, он воскликнул бы: «Вот! вот! Это!! Я — только не умел назвать! — Это делайте и так верьте, это самое!!», (С сокр. из «Опавших листьев»)

Но русской штунды, «рационального православия» не получилось и получиться не могло. Это было ясно уже по биографии Белинского, этого вечно пьяного ничтожества, который, черпая сведения о мировой философии из застольных бесед с «ребятами», вышел однажды «облегчиться» на улицу и стал орать на Гегеля. Хуже: вся последующая история русской мысли есть всяческое обсасывание и сублимация мировоззрения этого «калаголика». Посмотрел Белинский на проходившую мимо молочницу, через 30 лет труд — «Взгляд Белинского на женский вопрос в России».

Посмотрел в другую сторону — на околоточного надзирателя — вот и подпольная брошюрка. Зашел в лавку — гигантская монография «Белинский и развитие отечественной промышленности». И так было до тех пор, пока, как сказал Розанов, не началась «очищающая еврейская работа над русской литературой». Когда пришли Флексер-Волинский, Гершензон, Абрамович. Когда пришел Айхенвальд.

«который — хоть и тяжело в этом сознаться русскому — написал все-таки прекрасные «Силуэты русской литературы» и положил «прямо в лоск», — благодаря изяществу стиля — «первого мерзавца русской критики — Белинского») (Из письма Розанова от 26.10.18)

И точно так же пришел еврей в торговлю, в промышленность, пришел в политику, в науку. Медленно, тяжело, накренилась Россия и рухнула. Не получилось «жидовства» и «американизма»... И русские так и ходят не в сапогах, а в дырявых валенках.

В истории любого народа есть времена роковые и провиденциальные. Зачастую они выглядят, в общем, локально, невнушительно, но по своей внутренней структуре как бы намечают, предсказывают развитие данного мира на десятилетия, а то и на столетия вперед.

В русской истории одним из таких наиболее плотных временных отрезков является 1825 год. Несомненно, это некое закругление русской истории. С одной стороны — конец длительного периода дворцовых смут, с другой — начало трагического раскола русского общества.

Само по себе «декабрьское восстание» смешно. Да, трагедия, но трагедия неудавшаяся, то есть фарс. Но постепенно этот фарс приобрел колоссальные размеры и превратился со временем в настоящую трагедию. 150-метровая «девушка с веслом» — это уже не смешно, а страшно. Русская история после 1825 года — это разбухание и наливание кровью декабрьского водевиля.

Комизм восстания в его нелепости. Люди годами готовились, создавали инфраструктуру, распределяли роли в будущем правительстве. И вдруг, при фантастически удачном стечении обстоятельств, — позорный провал. Все было приготовлено. Яблоко не только сорвали, но очистили от кожуры и даже разрезали на аккуратные дольки. И вдруг: один думал «то», а оказалось «это»; другой же думал наоборот, третий просто испугался, а четвертый, вообще «шел в комнату, попал в другую». Кучка кретин, собравшаяся управлять громадным государством, не смогла совершить даже первого и наиболее элементарного акта, причем акта, по своему характеру наиболее близкого и знакомого военным.

Розанов об этом сказал коротко, зло и верно:

«Александр Македонский с 30-ти тысячным войском решил покорить Монархии Персов. Это что нам, русским: Пестель и Волконский решили с двумя тысячами гвардейцев покорить Россию... И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «русскими женщинами»»

От восстания декабристов легко провести логическую прямую к отречению Николая II, которое, как известно, началось с того, что прибывший к царю Гучков страшно испугался и пролепетал требование об отречении, тупо уставившись в пустой угол. Уже из этой «мизансцены» будущее России просматривалось как сквозь ноябрьский сад.

Но наиболее важна здесь не русская недотыкомка как таковая, а ужасная и неправда, начавшаяся с декабря 1825 года и приобретшая потом поистине вселенские масштабы. Я читал документы, материалы следствия по делу декабристов, мемуары. И все ждал: ну, хоть кто-нибудь скажет. Ведь это так просто: молоденькие офицеры. И уж как им хочется денег, женщин, а главное — власти. Это же так просто, естественно; и повторяется с завидным постоянством на протяжении тысячелетий. Военные после блестящих походов по Европе — как кони норовистые, застоявшиеся в стойле. И воспитаны к тому же на монархических и военно-кастовых традициях, на наполеоновской эпопее. Неужели же «никому не хотелось»? Ну, понятно: демагогия, политика... Но так, чтобы для себя, может быть, в интимных записях каких-то? — Ничего подобного!

Набоков, гениально реконструировавший в «Даре» мир русского интеллигента, ядовито заметил, что в сибирских письмах Чернышевского постоянно присутствует высокая и не совсем верная нота: «Денег, денег не присылайте!» Вся история нашего революционного движения — это именно «денег не присылайте!»

«Мы ничего, мы скромные, добрые. Нам самим лично ничего не надо. Это мы из чисто альтруистических целей, для общества стараемся. Для вас, гады». (Последнее слово, как почти неизбежный срыв, — у всех). Пестель заявил на допросе, что после победы политической и социальной революции в России он намеревался «удалиться в Киево-Печерскую лавру и сделаться схимником». Конечно, это не просто демагогия! Это вопиющее игнорирование даже самонаименованных попыток интроспекции. Очень органичное мировосприятие — политики, не хотящие власти! Так чего же, господа хорошие, лезете сюда?! Это не слепота даже, а «так устроены». Нет глаз. Более того, с глазами-то вся конструкция и разваливается. Тут важно именно не смотреть на себя, не понимать, что в известный момент с тобой произошла страшная и постыдная метаморфоза.

«Грегор Замза проснулся и внезапно почувствовал, что превратился в отвратительное насекомое»: Пестель — это как раз на-

секомое. Но если кафкианский герой понимал свое положение и, обвыкнув со временем, даже полюбил лазать по стенам и потолку, оставляя за собой липкие, слизистые следы, то Пестель, даже когда его хитиновый панцирь хрустнул под сапогом николаевской России, так и не понял, какой фантастической гадиной он был.

Вот любопытный документ из его наследия: «Краткое умозрительное обозрение (!) Государственного правления». Одним из пунктов программы переустройства будущей России является

«переименование майоров во второстепенные подполковники, подполковников — в первостепенные подполковники, генерал-майоров — во второстепенные воеводы, а генерал-лейтенантов — в первостепенные воеводы».

А власть не нужна, чины не нужны, вообще ничего не нужно, ведь, как мы помним, истинной целью Пестеля являлся монастырь.

Однако размах был гораздо шире. Одним из пунктов внешне-политического отдела «Русской правды» являлось ни много ни мало как «содействие евреям к учреждению особенного, отдельного государства в какой-либо части Малой Азии». Это «содействие» мыслилось Пестелем в виде помощи эмиграции двухмиллионного русского еврейства и прямой военной поддержки, то есть войны с Турцией. В пятом томе «Всеобщей истории еврейского народа», написанной русским сионистом С. М. Дубновым, сказано, что непосредственные контакты с еврейством осуществлялись, в частности, через декабриста Григория Абрамовича Переца, крещенного сына петербургского миллионера. Тот же Григорий выдвинул и идею создания независимого еврейского государства в Крыму.

Но, разумеется, автор «Русской Правды» и будущий схимник был не только напрямую связан с петербургскими евреями, а и принимал живейшее участие в деятельности масонских лож (декабризм — это и есть локальное ответвление масонского движения), контактировал с польским подпольем, был своим человеком в греческой мафии, чьи головорезы наводнили юг России, и т. д.

А вот биография другого русского с нерусской фамилией — Ивана Васильевича Шервуда (отец — обрусевший англичанин) Шервуд случайно узнал о готовящемся восстании и предупредил Государя. Хотя его сообщение запоздало, он был награжден Николаем I и к его имени было, по высочайшему повелению, прибавлено слово «Верный». Как пишет один современник — «Шервуда в обществе, даже петербургском, не называли иначе как Шервуд-Скверный, ...товарищи по военной службе чуждались его и прозвали собачьим именем Фиделька». Фиделька-Верный! Ату его! ату!

Может быть, причина неприязни — во всегда жалкой роли доносчика? Но всеми обожаемый Пестель во время следствия стучал

со страшной силой, оговаривая в том числе и ни в чем неповинных людей. Его стукотню даже не успевали записывать — ломались перья, так что по степени трусости и подлости он дал своим соратникам-авантюристам, тоже не отличавшимся стойкостью, 10 очков вперед.

Может быть, дело в масонской мафии, которая всеми силами выгораживала опальных повстанцев и топила честных офицеров и чиновников? Тот же Шервуд был постепенно оттерт от царя и умер почти в нищете, а приговоренный к смерти Трубецкой «хранил гордое терпенье» в своем сибирском особняке «с вышкочленными лакеями, французскими гувернерами и роскошным выездом».

Но и это, по-моему, не причина, а следствие. А причина в страшной, тотальной и беспросветной лжи. Русское «общественное мнение» началось со лжи. И декабризм был только началом, еще где-то наивным и девственно-невинным. Были там все-таки и остатки устаревшей дворянской чести, и родственные симпатии, прорывающиеся через кору демагогии. По крайней мере, дальше было гораздо хуже:

«Пришел вонючий «разночинец». Пришел со своею ненавистью, пришел со своею завистью, пришел со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу и это окружило его ореолом «мрачного демона отрицания», но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу.» («Опавшие листья»)

Отличие Пестеля от Чернышевского в том, что он все же был скорее черен, чем грязен. Пестель — черный человек, Чернышевский — грязная кукла, пац.

Пресловутая «правдивость» русской интеллигенции — это страшная, грубая ложь, не ложь-следствие, а ложь органичная, изначальная и, следовательно, совершенно не прошибаемая.

Вчитайтесь в кристально честного и простого Аристотеля:

«... в большей части случаев те, кто принял к себе чужие национальности при основании государства или позднее, испытывали внутренние распри... Государственный строй изменяется и без распрей, вследствие происков... Так вследствие беззаботности, когда позволяют занимать высшие должности людям, враждебно относящимся к существующему государственному строю... Производятся же государственные перевороты путем либо насилия, либо обмана. Иногда, обманув народ, производят перевороты с его согласия... Демагоги, желая подольститься к народу, начинают притеснять знатных и тем самым побуждают их восстать, либо

требуя раздела их имущества, либо отдавая доходы их на государственные повинности; то они наводят на богатых изветы, чтобы получить возможность конфисковать их имущество... Начинают распри и производят государственные перевороты те, кого не допускают к государственным должностям...» И т. д.

Я выписал, почти не выбирая, взяв первое попавшееся. Какая античная простота и искренность! И какое откровение для русского уха! «По-русски» это звучит некрасиво, «неприлично»: «Об этом не говорят». В России все тихо. Русская социология — это нечто вроде викторианского пособия «О счастливом браке», то есть книга, где о браке есть все, за исключением одного малозначительного аспекта, который и составляет подлинную подоплеку брачных отношений. «Это стыдно, это неприлично». Но что делать, социология — это и есть нечто вроде «философской физиологии». Негрубой и нециничной социологии и быть не может уже по самой специфике предмета. Как же можно, например, говорить о политэкономической мифологии, если не принять заранее самоочевидный постулат: рабочий — это, как правило, свинья, а работодатель — порядочный человек. Это же просто, естественно и вытекает из самой сути сведения социальных отношений к отношениям экономическим. Как пишет Аристотель:

«люди, имеющие большой имущественный достаток, чаще всего бывают и более образованными и более благородного происхождения».

Это так ясно, что общество, отрицающее в своей массе такую самоочевидную истину, просто больно.

Само по себе происхождение политэкономического мифа и его аберрация достаточно ясны. Ницше писал:

«Аристократическое уравнение ценностей (хороший = знатный = прекрасный = счастливый = любимый Богом) евреи сумели с ужасающей последовательностью вывернуть наизнанку и держались за это зубами бездонной ненависти (ненависти бессилия). Именно «только несчастные — хорошие; бедные, бессильные, низкие — очень хорошие; только страждующие, терпящие лишения, больные, уродливые — благочестивы, блаженны, только для них блаженство. Зато вы, вы, знатные и могущественные, вы на вечные времена злые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные, и вы на веки будете несчастными, проклятыми и отверженными». («Генеалогия морали»)

Замутив с самого начала ложью родник античного мышления, русские как бы сказали: «Хотим быть евреями. Хотим убить царя и продать Россию». Ницше задел евреев одним боком, но ударил

в центр христианства. Христианство в чистом виде — это и есть стремление к небытию, к боли и смерти. Христос стоял перед дилеммой: или жить в этом мире и бороться со злом, но потерять святость, или умереть на кресте и святость сохранить, дав тем самым миру идею святости. Идея святой Руси — это идея смерти и сохранения святости. Принятие античного логоса Аристотеля — это отказ от святости, но сохранение русского мира. С другого бока к этому же подошел Розанов в «Апокалипсисе нашего времени». Это сложнейшая тема, требующая отдельного рассмотрения. Сейчас же важно отметить, что русское христианство, не уравновешенное секулярным сознанием (вся Россия стала секулярной и западнической, но лишь количественно; никакой качественно близкой христианству секулярной культуры создано не было), породило революционный нигилизм. Розанов сказал, что «идеи сильнее царств». Поэтому он предвидел, или по крайней мере чувствовал, развертку в реальность мифологии русской интеллигенции, с одной стороны, и мифологии русского еврейства — с другой. Несчастные, бесчестные, низкие, больные и уродливые верили в то, что они хорошие, благочестивые и блаженные, и они стали хорошими, благочестивыми и блаженными. А знатные, могущественные и т. д. верили в собственную ничтожность и стали ничтожными. Каждому — свое!

Отец Бердяева — кавалергард, представитель знаменитого дворянского рода, мать, урожденная княжна Кудашева — дочь французской графини Шуазель. Родственниками Бердяевых были графы Браницкие, являвшиеся одновременно и родственниками царской семьи. Теткой Николая Александровича была светлейшая княгиня Ольга Валериановна Лопухова-Демидова, дружившая с императрицей Марией Федоровной и ненавидевшая монархистов из «Союза русского народа» за их «плебейский» характер. Сам же Бердяев писал в своих воспоминаниях:

«Я рано почувствовал разрыв с дворянским обществом, из которого вышел; мне все в нем было не мило и слишком много возмущало. Когда я поступил в университет, это у меня доходило до того, что я более всего любил общество евреев, так как имел, по крайней мере, гарантию, что они не дворяне и не родственники... Я до такой степени терроризировал мою мать тем, что она никогда не употребляла слова жид, что она даже не респалась говорить еврей и говорила «эзраелит».»

Прошли годы, десятилетия. Бердяев умер в изгнании. Развезлось по миру и исчезло в лагерях русское дворянство. Бывшие обитатели местечкового захолустья стали великим народом России — самым образованным, самым культурным, самым влиятельным. Русские же оскотинились, превратились в свиней. Русская интеллигенция получила долгожданное моральное право на ап-

приорное отрицание и власти, и самого русского государства. Она получила себе такое правительство и такой народ, которые в прошлом веке породила ее злобная фантазия.

Чехов писал в письме к Суворину:

«Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, размножали преступников...».

Как Чехов мог написать такую нелепость? «Видно из книг», — а почему не из действительности? «Сгноили в тюрьмах миллионы», — откуда такие бредовые цифры? И что значит «миллионы людей»? Что, просто хватали и швыряли в кутузки совершенно невинных граждан? «Сгноили зря», — это вообще двусмысленное выражение: что же, если «не зря», то значит можно? И что, так уж специально вот сифилисом заражали? Где? Когда?

А хотелось Чехову, чтобы все было именно так. И вот он тогда — скромный, добрый, прогрессивный — грохнул бы томом «Сахалина» по столу, да так, чтобы весь земной шар содрогнулся. Это уже вам не А. П. Чехов, сочинитель, а пророк, «совесть нации». Конечно, мечта, фантазия. И, добавим, мечта мелкая, маленькая, одним словом, «журналистская», «писательская» («Мир ру провалиться, а мне об этом написать»). Но мечта. А Розанов писал:

«Жизнь — раба мечты. В истории истинно реальны только мечты. Они живучи. Их ни кислотой, ни огнем не возьмешь. Они распространяются, плодятся, «овладевают воздухом», вползают из головы в голову. Перед этим цепким существованием как рассыпчаты каменные стены, железные башни, хорошее вооружение. Против мечты нет ни щита, ни копья. А факты — в вечном полинянии»,

Стилистическая фигура из чеховского письма — «мы сгноили в тюрьмах миллионы людей» — приобрела в контексте последующей истории России кровавый оттенок, оттенок буквальности. Да, вы сгноили миллионы...

«Революция — символ разбитых надежд». Почему же, все сбылось, все получилось. Именно этого и хотели. Утопии сбываются. Как сказал Бердяев, самое страшное в том, что утопии сбываются.

Ложь декабризма росла как на дрожжах. Чем больше говорили русские, чем больше они получали свободы для словоговения, тем больше и наглее они лгали. Идея «народного благоденствия» приобретала все более абстрактный и высокопарный оттенок... по мере того, как страсти становились все грубее, реальнее и злобнее. До геркулесовых столпов это дошло в большевизме: абстрактные, наукообразные формы, купание в параграфах, циркулярах и про-



токолах, и звериное упорство в глазах: «Миру провалиться, а мне чаю пить!» Какое разительное отличие от фашизма, по-немецки романтического и откровенного!

Мышление русского похоже на заевшую пластинку. Если дать ему выговориться, то вы с удивлением увидите, что через определенный промежуток времени он начнет повторяться. Его мысль описывает круг и вновь и вновь возвращается в исходную точку.

С французской ясностью этот процесс представлен в работах Бердяева. Бердяев всегда говорил, что пишет быстро, хорошо и сразу набело, никогда не перечитывая написанного. Странная глухота этого человека дала нам практически чистый слепок русского устного мышления.

Конечно, диаметр логического круга сильно колеблется, так как зависит от уровня развития говорящего. Пластинка может начать повторяться через три дня, а может и через пять минут. В последнем случае ее диаметр равен пороссячьему пятачку, да и содержание мало отличается от хрюканья и визга. Но как бы то ни было, важно одно: мышление русского замкнуто и отстранено от его подлинной сущности. Если западный человек живет в мышлении, то русский — осуществляет себя через мышление. Отсюда интересная закономерность: чем абстрактнее и туманнее русская речь, тем конкретнее и яснее цель, которую пытаются достигнуть с ее помощью.

Нельзя сказать, что русские не понимают дефектности своего вербального бытия. По крайней мере они ее чувствуют и даже как-то пытаются скорректировать. Страшным усилием воли русский все приподнимает, приподнимает логическую линию повествования и в результате (иногда) игла логоса не возвращается в исходную точку, а проходит на волосок над ней. Тогда русская рожица топорщится в довольной улыбке: «Диалектика». Вот где истоки отечественного гегельянства, которое, таким образом, является скорее уж анигегельянством.

Гегель интересен в философии, в самом процессе мышления, и неинтересен в жизни (филистер). Русский философ всегда интересен как личность, его же мышление пусто и плоско в отрыве от внутренней подоплеки. Розанов сказал, что в Соловьеве интересен чертик, который сидел у него на плече, когда тот плыл на пароходе по Балтийскому морю, философия же его так...

У Гегеля никаких чертиков, я думаю, не было. Он их и в глаза не видел. Но когда читаешь его «Науку логики», то чувствуешь запах серы. Гегель иррационален в рационализме. Русский иррационализм глубже, он под рационализмом. Под русским рационализмом, поверхностным и плоским. Говоря иначе, гегелевский рационализм объемлен и объем его есть иррациональная экзистенция. Его тайна — словесна и выразима. Это inferнальное противоречие. Русская, православная тайна — невыразима, и эта

невыразимость уютна, сладка. Божественна. Вот почему все-таки русское мышление уютнее. Оно, конечно, ограничено. Это маленькая улитка, переползающая лезвие бритвы — грань, отделяющую бытие от небытия. (Улитки действительно обладает этой странной особенностью — переползают через вертикально поставленную бритву как ни в чем не бывало.)

Розанов любил сравнивать людей с червячками. И сам он был розовым червячком, вылезшим погреться на солнышко. Но червячок этот был с художеством, с «завитушкой». Червяк «с завитушкой» — это и есть улитка. Улитка умна, и спираль ее раковины — символ мудрости. Розанов часто прятался в раковину своего мозга, своего ума. Но спираль — это не только символ ума, но и символ иронии. Недостаток Гегеля в том, что он не почувствовал страшного комизма спиралевидного хода мысли. А прихотливая спираль явно иронична. Ирония уклончива, но целесообразна, не ходит прямо, но достигает цели кратчайшим путем. Улитка розановского мозга была закружена спиралью иронии. Русская мысль иронична (остраннена и отстранена). Русская философия в стволе соловьевства — совершенно, прямо-таки по-немецки, неиронична. Возможно, русские, как всегда, переборщили и отнеслись к философии слишком серьезно, по-варварски серьезно.

Философствование начинается со смеха Демокрита: ничего нет, а есть пустота и атомы. Это очень оптимистическая философия. Подозрительно оптимистическая. Пессимист — это хорошо информированный оптимист. Поэтому Демокрит выколол себя глаза. Сенека пишет:

«Каждый раз, как Гераклит выходил из дому и видел вокруг себя такое множество дурно живущих и дурно умирающих людей, он плакал, жалел всех... Демокрит же, как говорят, напротив, без смеха никогда не появлялся на людях...»

У Демокрита не было глаз. Они ему не были нужны: существуют атомы и пустоты. Атомы — невидимые частицы, тем более невидима пустота. В этой пустоте и звучал смех Демокрита.

Гераклит же — это конец философского познания. Гераклит мог бы сказать: «Ничего не существует кроме мнений и пустого пространства; все прочее есть атомы». Мир состоит из бесплотной и мнимой материи и плотных и осязаемых идей-мнений. Эти идеи движутся в пустоте, то есть хаотически перемещаются относительно друг друга, иногда сталкиваются. Вот и все. При этом вселенная Демокрита сморщивается до мельчайшего, микроскопического мнения. Так кончается философия. Философия кончается поэтическим плачем Гераклита: «Все течет, все изменяется». Это тоже отрицание философии. Но не юношески без-

заботной, не материалистическое, а старческое, не априорное, а апостериорное.

Но этот печальный опыт дает людям зрение. Трагедия русского сознания в его рассыпанности. Русский изначально имеет внутреннее зрение, но не понимает этого. Соловьев внешне, на людях, смеялся (его полемика с декадентами и т. д.), а внутренне, наедине с собой, плакал. И сам не понимал, что с ним происходит. Этот человек испортил свое идеальное зрение немецкими очками. А Розанов сказал:

«Пусть все кипит в противоречиях. Безумно люблю кипение. Куда же тут Гегель со своим «синтезом». Привел в Берлинскую полицию. Розанов говорит ему: Не-х-о-чу. Я, в сущности, вечно в мечте. Я прожил потому такую дикую жизнь, что мне, в сущности, «все равно как жить». Мне бы «свернуться калачиком, притвориться спящим и помечтать». И вот тут развертывается мой «Нос». Царства, история, тоска, величие, о, много величия: как я любил с гимназичества звезды. Я уходил в звезды. Странствовал между звездами. Часто я не верил, что есть Земля. О людях — «совершенно невероятно» (что есть, живут). Памятник Розанову надо поставить. Но надо поставить памятник «Носу» Розанова. Человек беспределен. Самая суть его — беспредельность, и выражением этого служит метафизика. «Все ясно». Тогда он скажет: «Ну, так я хочу неясного». Напротив, все темно. Тогда он орет: «Я жажду света». У человека есть жажда «другого». Бессознательно. И из нее родилась метафизика. Да. Вот стихи еще. Они тоже метафизичны. Стихи и дар сложить их — оттуда же, откуда метафизика. Человек говорит. Казалось бы, довольно. «Сказал все, что нужно». Вдруг он запел. Это метафизика, метафизичность». (Сокр. из «Мимолетного»)

Розанов сказал, что стиль — это то, куда бог поцеловал вещи. Стиль — это чутье, а чутье — это прежде всего ирония: понимание света в темноте и тьмы при свете. Достоевский в высшей степени обладал этим даром. Соловьев — тоже. Но он хотел существовать в раце, в плоском рациональном мире России, и потерял иронию (глубину), потерял чутье, потерял стиль. Поэтому в монологах Порфирия Петровича больше философии (розановской «метафизики»), чем в 8-ми томах «Сочинений Вл. Соловьева». Соловьев бормотал на русско-немецком воляпюке какие-то туманные пророчества с сионистским переливом, а Достоевский в «Преступлении и наказании» сказал крепко, ясно, ядрено, как осиновый кол вбил:

«Читали, читали вашу статеечку, г-н Раскольников. «Человек я или тварь дрожащая?» Как же-с, дело молодое. Только зачем же так сразу, кхе-кхе, с топором-то-с? Вот вы черту переступить решили, ну-те-с, а положим, я агент Немецкого Генерального Штаба. Я сказал так, для «антиресу», кхе-кхе, фантазия-с, одним словом. Что делать, буффон, буффон-с. Но вот по л о ж и м, пришел к вам человек-с... «оттуда». И тут надо бумажки, документики кое-какие... достать-с. А? А мы вам к а п и т а л-с для помощи «страждущему человечеству». И доставим, голубчик, в лучшем виде... В plombированном вагоне-с. Вот вам конец декабризма, конец его столетней истории.

Русская история в своих корнях бессловесна. Быть историком России может только человек с феноменальным чутьем, смотрящий внутрь слов. В то, не что сказано, а к а к сказано. Содержание для русского не важно. Важна манера, тембр голоса, интонация, жесты, оговорки, запинки. Тогда чувствуешь человека. Сенатская площадь сама по себе заурядна. Тональность ее трагична. Насколько трагична, что, осознав это, можно только, как сказал бы Розанов, «или дать кому-нибудь в физиономию или разрыдаться».

Набоков, хулиганя в «Других берегах», писал перед началом очередного изгиба повествования:

«Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания».

Набоков, пожалуй, как никто из русских писателей чувствовал инструментальный характер русского языка. Он это чувствовал так глубоко и остро, что даже к английскому относился чисто «технологически». Возможно, это и поразило его англоязычных читателей. А, с другой стороны, может быть именно идеальное владение чужим языком и помогло ему понять инструментальный характер русского слова и русского мышления.

Мне кажется, только три человека в достаточно полной степени воспроизвели, так сказать, «исихастский» характер нашей словесной культуры. Это Достоевский, Розанов и Набоков. (И, конечно, Пушкин, но в неявной форме, как тенденцию. Ведь все его творчество — это «тенденция», «возможность», «хромосома» современной культуры).

Достоевский, будучи философом, воспользовался единственно возможной для русского мышления формой выражения — литературной. Это привело его к интуитивному воспроизведению под-

сознательного иррационального опыта, того, что называют «русской душой», «широтой русской души». «Широта» души в данном случае синоним душевного равнодушия к идеям, к миру идей. Как писал Бахтин (впрочем, здесь он не оригинален):

«Идей в себе», в платоновском смысле или «идеального бытия» в смысле феноменологов Достоевский не знает, не созерцает, не изображает. Для Достоевского не существует идей, мыслей, положений, которые были бы ничьими — были бы «в себе». («Проблемы поэтики Достоевского»)

«Мир идей» для Достоевского — это лишь просвечивание в словесное бытие внутренней сущности человека. Поэтому его роман — это вовсе не «идеологический роман», не «роман идей», а роман антропологический, где личность рассматривается через смутную, но единственно возможную для писателя призму — призму словесного мира. Личность не живет в этом мире, а осуществляется через него и тем самым обнажается, становится относительно понятной, понимаемой. Идеи в романах Достоевского постоянно трансформируются, но эта трансформация иллюзорна. Идеи неподвижны и статичны. В мире идей нет времени (Платон). Но сама личность крайне динамична и ее переход от одной идеи к другой, внешне спонтанный, но внутренне, подсознательно обусловленный, не только возможен, но и закономерен. Эту закономерность и исследует Достоевский. Вот почему сами идеи ему не интересны — они для него иллюзия, мираж. «Что мысли. Мысли бывают разные».

Еще дальше пошел в своем творчестве Розанов. Розанов — это «Сверхдостоевский», Достоевский, доведенный до абсурда, до нек плюс ультра. Недаром его называли «ожившим персонажем романов Достоевского». Люди, которые его так называли, сами не понимали глубочайшего смысла своих слов. Мир Розанова — это именно мир не Достоевского, а романов Достоевского, не дерева-души, а листьев-идей, ссыпанных в короба книг. Розанов-то как раз и жил только в платоновском мире, только в мире идей, в мире метафизики. И его русская душа сказала в том, что он туда, в идеальный мир, душу и не взял. Розанов никогда не говорит о душе, о внутреннем мире. Не говорит, но плачет, смеется, поет. В результате идеи, холодные идеи, полностью отделяются от сущности человека. Но одновременно и растворяются в ней. Идей много, слишком много, чтобы они были «идеями». И чем больше крошится платоновский мир под пером Розанова, тем монолитнее становится субъект автора, тем интимнее, ближе он читателю. Все ближе, ближе и ближе, так что в конце концов лопаются словесная перегородка и субъект и объект сливаются в одно целое. Розанов ввинчивается в наш мозг. Если через словесный мир «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазо-

вых» проступают смутные, мятущиеся тени русских людей, то через «Уединенное» и «Опавшие листья» проступает душа автора (и одновременно, наша читательская душа). У Достоевского внутренний смысл происходящего расходится по поверхности романа кругами логического повествования. У Розанова русская карусель «мнений» служит выражению тоскливой, монастырской сути нашего внутреннего опыта.

И наконец, «третий член гегелевской триады» — Набоков. Набоков очень не любил Достоевского. Его «тошнило» от «душе-раздирающих исповедей и бесконечных разговоров» последнего. Владимир Владимирович писал:

«Нерусские читатели не понимают двух вещей. Во-первых, не все русские любят Достоевского так, как американцы, и, во-вторых, большинство тех, кто любит, ценит его как мистика, а не как художника. Что касается его чувствительных убийц и проституток с золотым сердцем, то они невыносимы, во всяком случае, для меня».

Такое отношение к Достоевскому для Набокова глубоко закономерно. Ведь если автор «Преступления и наказания» философ через литературу, то Набоков философ в литературе.

Любопытна технология творчества Набокова. Он писал, как и положено любому мало-мальски уважающему себя русскому мыслителю, афоризмами. Афоризмы, отдельные предложения или фразы он записывал на специальных карточках. И потом из нескольких сот таких карточек монтировал текст романа или повести. Причем монтаж получался идеально гладким, что называется, «в елку». Конечно, такому человеку не могло не претить даже само изложение Достоевского, неряшливое и сумбурное. Достоевский брал не столько трансформационной способностью своего лексического аппарата, сколько удивительной силой и чистой переживаний. Его опыт был настолько ярок и крупен, что и не нуждался в слишком совершенной передаточной аппаратуре. Он просвечивал и сквозь действительно весьма грубую ткань его прозы. Розанов вообще уничтожил словесное бытие, разрушил перегородку между читателем и писателем, Набоков же, наоборот, довел ее до сложного, но прозрачного совершенства.

У Розанова и Набокова есть много общего. Известно, что Набоков был довольно крупным энтомологом и всю жизнь собирал коллекции бабочек. Розанов же собрал уникальную коллекцию монет. Мне очень интересен как сам факт стремления к систематизации и собирательству, так и ненужность, неприложимость этого факта собственно к творчеству этих двух так внешне непохожих друг на друга людей. Отводя душу тихими ночами, рассматривая свои коллекции, они постыдно, но безопасно утоляли русскую тягу к магии вульгарного сциентизма. Да, Набоков еще

решал и составлял шахматные задачи, а Розанов писал газетные передовицы. Недостаток Достоевского, может быть, и заключается в том, что он ничего «не собирал» и ни во что «не играл», и, следовательно, был вынужден это делать на страницах своих романов.

Неподготовленный читатель может обмануться виртуозностью набоковской прозы и всерьез принять автора «Приглашения на казнь» и «Лолиты» за «всамделишного» писателя. Это, конечно, наивное заблуждение. Платон писал рассказы, взаимопереплетающиеся мифы которых создали ему славу великого философа. В сущности, Набоков всю жизнь писал один роман и его творчество в целом есть развертка одной единственной программы. Его произведения следует читать в хронологической последовательности. В этом смысле это самый философичный русский писатель... после нелюбимого Набоковым Достоевского.

В «Даре» пошляк Щеголев рассказывает Годунову-Чердынцеву о своей страсти к подростку-падчерице и под конец многозначительно намекает: «Чувствуете трагедию Достоевского?» Вот и внутренние истоки написанной через 20 лет «Лолиты», уж казалось бы, самой нерусской и самой неметафизической вещи Набокова. И таких связей у него сотни. И часто связей именно с Достоевским. Так Магда из «Камеры обскуры» — это антипод «золотым проституткам» Достоевского. (И, добавим, Толстого, Бунина, Куприна и вообще всех русских писателей. Ведь это сквозная тема «правдивой» русской литературы: если проститутка, то обязательно добрая, гуманная, целомудренная, ползшая на диван от невыносимо тяжелой жизни и из-за несогласия с монархической формой правления. Еще одно русское «Денег, денег не присылайте!»)

Розанова и Набокова объединяет стремление уловить мимолетное, проблема времени вообще. Их коллекционерство — это и есть частное рационалистическое ответвление этого могучего и всепоглощающего стремления. Набоков начинает свои мемуары с определения человеческой жизни как «щели слабого света между двумя идеально черными вечностями». И горестно заключает:

«Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни!»

Розанов же писал в «Уединенном»:

«Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал (почти): «да вот чтобы слушать его — я хочу еще жить, а главное друг должен жить». Потом мысль: «Неужели он (друг) на том свете не услышит вентилятора»: и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол.»

Конечно, сказано по-разному. У Набокова ироничная и гладкая «закругленная» речь, у Розанова какой-то сумбурный и нелепый, но «схвативший за волосы» афоризм. Но тема одна. И душа одна. Все творчество Набокова, как и Розанова, есть разворачивание единого «зияния», несмотря на внешнюю калейдоскопичность. Отдельные мысли Розанова сливаются в нашем сознании, цельная проза Набокова очень правильно и по-русски распадается в сознании читателя на отдельные мнения, и, главное, и в том и в другом случае затрагивается русская душа, прорывается кора слов.

Я похож на Розанова, и он мне близок. Но что общего между мной и Набоковым? Казалось бы, ничего. Если взять наиболее содержательный отрезок его жизни — русский, то сравнение прямо комично. Мне и представить немислимо его мир — мир высшей петербургской аристократии с английскими гувернантками, английскими детскими книжками, английским молитвенниками и даже мылом тоже из «английского магазина».

Между нами пропасть не только социальная, но и политическая. Он любил отца, одного из основателей кадетской партии:

«В 1922 г. в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев, и, пока боковым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину...»

А для меня как раз убитый и есть «темная личность». Иуда.

И чисто физиологическая сторона жизни Набокова мне тоже чужда. То, что у меня естественно, у него аномально (цветовое восприятие звука, галлюцинации, бессонница), а там, где он нормален до пошлости, у меня некоторые «странности». Но прочтя «Другие берега» я почувствовал где-то внутри, у сердца, близость.

«И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 г., между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно несуществующем тяжелозвонном поезде... С неизъяснимым замиранием я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскальзывали в бархатный карман... Загадочно-болезненное блаженство не изощло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства... в смысле этого раннего собирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба



в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами...»

Набоков не понимает, что гениальное детство — это не привилегия русских детей «определенного времени и круга», а вообще свойство русской души. Гениальные дети — это и есть лучшее название для русских. Гениальные дети и тупые, злые, оглушающе бездарные взрослые.

Русский талантлив, поскольку сохраняет связь со своим детством, со своим бессознательным и бессловесным «я», в немом восторге, «на коленях» смотрящим на мир сквозь стекло ночного вагона. Об этом же чувстве говорит и Розанов, человек другого поколения и круга, но человек, как и Набоков, русский:

«Темы? — да они всем видны, и, по существу, черт ли в темах. «Темы бывают всякие», — скажу я и на этот раз цинично. (Никто из моих критиков) не угадал моего интимного. Это — боль: какая-то беспредельная, беспричинная, и почти непрерывная. Мне кажется, это самое поразительное, по крайней мере — необъяснимое. Мне кажется, с болью я родился: первый ее приступ я помню задолго до гимназии, лет 7-8: я лежал за спинами семинаристов, которые, сидя на кровати и еще на чем-то, пели свои «семинарские песни»... едва звуки коснулись уха, как весь организм мой, весь состав жил как-то сжался во мне: и, затаив звуки, в подушку и куда-то, я вылил буквально потоки слез: мне сделалось до того тоскливо, до того «все скучно», дом наш, поющие, мамаша... Это были мистические слезы — иначе не умею выразить... Это примыкает к боли. Боль моя всегда относится к чему-то одинокому и чему-то далекому; точнее: что я одинок, и оттого что не со мной какая-то даль, и что эта даль как-то болит, — или я болю, что она только даль... Тут есть «порыв», «невозможность» и что я сам и все «не то, не то...»

Набоков, говоря о «гениальном детстве», в сущности забыл добавить: «гениальная тоска русского детства». Внутренний трагизм и нигилизм жизни был у него выведен во вне, в хрустальные ностальгические сны. Внутреннюю трагедию своей личности он стал постепенно воспринимать внешне, как следствие потери отца и отечества, а чувство заброшенности в мир и в мире трансформировал в заброшенность в захолустье берлинской эмиграции. Поэтому он и локализовал опыт внутренней тоски и томления лишь на своем поколении и своем круге. Но это не так. Детство

Набокова ничем не отличается от провинциального детства Розанова или современного русского «пионерского» детства. Я не знаю как еще сказать об этом, но мне это так ясно, так понятно...

В «Других берегах» есть удивительный эпизод. Набоков вспоминает годы, проведенные в Кембридже, где он кроме всего прочего играл голкипером в университетской команде. И часто во время матча, когда игра перемещалась к воротам противника, Набоков прислонялся к штанге ворот

«я думал о себе, как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющим стихи, на никому неизвестном наречии, о заморской стране».

Эта фантастическая картина: русский поэт и прозаик, «переодетый английским футболистом», расслаивается на два символа: символ несоответствия внешнего и внутреннего в русском характере и символ абсолютной неизменности внутреннего мира. Поэтому этот кембриджский студент 20-х годов мне до странности близок. Ведь я тоже чувствую себя в кого-то переодетым и играющим в чужой стране в какую-то дурацкую и нелепую игру. И все равно я закрываю глаза и вижу свою безнадежно потерянную Россию. Набоков так и остался Володей Набоковым, «русским мальчиком». Его фантазмагорическая судьба ни капельки его не затронула. А если затронула бы, навалилась всей массой переживаний, то не было бы Набокова, как русского не было бы. Он скорлупой творчества защитил свое гениальное русское детство. И этой своей замкнутостью он мне ближе Розанова. Но Розанов милей.

В 13 главе воспоминаний Владимир Владимирович пишет о своей встрече с Буниным. Бунин, как известно, притворялся французом, а Набоков — англичанином. Поэтому разговора не получилось.

«Помнится, он пригласил меня в какой-то ресторан — вероятно дорогой и хороший — ресторан для душевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыкаки — и душевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен отказом распахнуть душу». И т. д.

Но в повествовании Набокова как всегда все клонится набок, все уклончиво. И под конец он, сжимая холодными руками читательский череп, выдавливает ностальгические слезы:

«В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно,

и герой выходит в очередной сад, и польхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости отпевают ночь петухи...»

И медленно оборачивается в нашем восприятии смысл набокковского воспоминания. Холодное упивание эстетическим совершенством своей речи оборачивается все тем же предсмертным словоговорением Сократа. Сократ говорил, говорил, говорил... Реплика Бунина («Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам») теряет свой первоначально кафешантанный смысл и оборачивается, нет, не пророчеством, а в свою очередь, ключом к шифру последней фразы. И становится ясным, что холодный джентльмен Набоков после злополучного вечера всю ночь не мог заснуть — от тоски, одиночества и непонимания, от того, что «и я сам и все «не то, не то»...» И книги его — окна к людям — внезапно превращаются в узорчатые ставни.

Вот почему мне милее Розанов, а не Набоков. Розанов — это человек, которому можно довериться, можно раскрыться перед ним. Перед Набоковым я бы никогда не раскрылся, хотя он удивительно «понимаем» для меня.

Набоков писал:

Зоил (пройдоха величавый,  
корыстью занятый одной)  
и литератор площадной  
(тревожный арендатор славы)  
меня боятся потому,  
что зол я, холоден и весел,  
что не служу я никому,  
что жизнь и честь свою я взвесил  
на пушкинских весах, и честь  
осмеливаюсь предпочесть.

Набоков хорошо понимал свою близость Пушкину. Даже формально между ними много сходства. Один родился в 1799 году, другой в 1899; предком Набокова был Данзас; Пушкина называли «русским Байроном», Набоков же перевел «Евгения Онегина» на английский язык и т. д. Но, конечно, дело не во внешних аналогиях. Суть сходства (и, соответственно, различия) глубже.

Часто приходится сталкиваться со следующей точкой зрения: февраль есть насильственный разрыв русской культурной традиции и то, что мы наблюдаем в эмиграции 20-х годов — это лишь слабые отзвуки так и не состоявшегося ренессанса. Может быть, это верно относительно некоторых еще не выработанных культурных слоев, но что касается стержня современной русской цивилизации — литературы, то навряд ли там возникло бы что-либо

новое. Наоборот, февральский катаклизм подействовал на дряхлеющую русскую культуру как наркотик, придал ей на какое-то время дополнительный импульс. Ведь недаром начало века в России назвали «серебряным веком». Увы, «серебряным». И Набоков — это классическое завершение «серебряного века», и одновременно начало перехода в век «бронзовый» (так и не состоявшийся).

В набоковских произведениях достигнута какая-то вечная и окончательная гармония. Дальше идти некуда — это конец. И завершение русской литературы и разрыв с ней. Неправдоподобно совершенная форма сочетается у него с несвойственным русским описательством, холодной гармонией и красотой античных статуй. Это возвращение к Пушкину, но это не юность, а старость, увядание. Пушкин считал, что он нужен России, что слух о нем «пройдет по всей Руси великой». Набоков же начал с деланной иронии «Дара»: «я буду таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать обо мне, — когда слишком поздно спохватится...», а кончил безнадежным обобщением, тем, что он совсем не нужен «чопорной своей отчизне» и его печатают «везде, кроме России», и что «вот уже скоро полвека чернеет слепое пятно на востоке моего сознания» и вообще «пулеметным 17-м годом, видимо, кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины и Рим». С этим, в сущности, и сошел в могилу.

Я думаю, «если бы все было хорошо», то все было бы так же. Набоков был русский, а относился к литературе и писал как европеец, то есть с полным сознанием искусственности и социальной малозначимости своего творчества. В конечно счете «набоковщина» привела бы русскую литературу к более совершенному, но и более ограниченному миропониманию, к окончательному распадению культуры на формотворчество и ремесленничество и, как следствие, лишение внутренней динамики, омертвлению путем комментаторства и филологизации.

Набоков очень нигилистично относится к русским классикам, но при этом был не «революционером», а «реакционером». Он сбросил Достоевского с корабля современности, но сбросил, преодолел его путем «погружения» в мир Пушкина (ведь Достоевский и был гигантским осколком пушкинской вселенной). Но приход к Пушкину, святому для Набокова, был неизбежно вторичен. В сущности, Набоков пришел не к Пушкину, а к произведениям Пушкина, к их, а не его, Пушкина, тону. Сам Пушкин никогда не был «зол, холоден и весел». Он только хотел быть таким, и даже не столько быть, сколько казаться. Суть Пушкина в горячей открытости, в увлечении всем. Набоков взял холодную пушкинскую форму и потерял сущность. Розанов взял именно сущность, разрушив словесные перегородки. Набоков холоден, Розанов горяч.

«Ах, не холодеет, не холодеет еще мир. Это только кажется. Горячность — сущность его, любовь есть сущность его...»

В первом произведении Набокова — «Машеньке» — есть эпизод, который для меня является ироническим символом набоковщины:

«Я твоя,— сказала она.— Делай со мной, что хочешь...» Он застыл, потом неловко усмехнулся.

— Мне все кажется, что кто-то идет,— сказал он и поднялся.

Машенька вздохнула,правила смутно белевшее платье, встала тоже.

И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть деревенской ужимочкой: «В общем — холодный червячок».

В Набокове русская культура остыла, окаменела. И сам он в этом ни капельки не виноват. Это выражение неизбежного и закономерного процесса, в Розанове он, может быть, начал выражаться вновь, по-другому, в иной ипостаси. Но со своей же русской, пушкинской душой-сутью. Розанов просто начал с другого конца.

Набоков довел искусство изложения до таких высот совершенства, что окончательно порвалась ниточка связи с бедным и наивным русским читателем, читателем, для которого, как мы знаем, «что написано пером, то не вырубишь топором», и который читает книги совсем не так, как на Западе. Пафос Набокова — принципиальный отказ от ремесленничества, от писания для читателя. И в этом он схож с Розановым. Но Розанов, отказавшись от ремесленничества, просто уничтожил литературу как таковую. Никакая литература не нужна. Гутенберг, изобрет печатный станок, уничтожил письменную речь, превратив ее в товар, в чтиво, создав пустую толпу «читателей». Розанов не раз и не два восклицал: «Книга, которую давали читать — развратница»; «Книга должна стоить очень дорого»; «Идеальный вид книги — рукопись». То есть книга — это как письмо — только для родных, для друзей. Отсюда вытекает одинаковое с Набоковым отношение к слову. Слово — инструмент. Для Набокова — инструмент для создания красоты, мира бумажных бабочек, для Розанова слово — инструмент для постижения внутренней красоты молчания. Чем громче орешь, тем глубже тишина. В первом случае полная искусственность, во втором — полная безыскусственность, интимность. Набоков — писатель для писательства, Розанов — писатель для себя. Набоков замкнут, вас для него не существует, Розанов же открыт, он это вы. Вот почему мне Розанов милее, чем Набоков.

Когда я впервые познакомился с книгами Розанова, то с ужасом увидел, или, точнее, почувствовал чисто интуитивно, по незначительным черточкам свою даже физиологическую похожесть на автора. Конечно, розановская карусель любого задевает, и каждый в тысячекратном его юродствовании найдет и свой лик или личину. Но я почувствовал не это сходство, а сходство с самой сутью его мира. При неизмеримо более высоком уровне это все же мой тип мышления. Это не заслуга, и не недостаток, а просто «так получилось». И раз это получилось, то поэтому, я думаю, Розанов мне понятнее, чем другим. Или, если говорить более осторожно, другие философы мне менее понятны, чем Розанов.

Я никогда не встречал достаточно органичного восприятия его философии. Уже Мережковский, старейший представитель новой, «серебряной» России, воскликнул с недоумением:

«Какая в самом деле противоположность этих двух лиц, Вл. Соловьева — с его иконописным лицом Иоанна Предтечи, и Розанова — с обыкновенным лицом «рыжеватого господина в очках», мелкого контрольного чиновника или провинциального гимназического учителя из поповичей. Но, по мере того, как вглядываешься в это лицо, открывается удивительная смесь бесстрашной и почти бесстыдной, цинической пытливости, как бы бездонного углубления тысячелетней мудрости — с детским простодушием и невинной хитростью — смесь Акакия Акакиевича с Великим Инквизитором».

Так писал Д. С. Мережковский. А вот как пишет один из последних представителей ушедшей России, Ю. П. Иваск:

«...в Розанове было что-то от змеи подкожной и что-то от птицы певчей. Он не только мечтал о полете, как горьковский уж (рожденный ползать). Он существо и ползающее и парящее. Ползучий Розанов: это маленький человек, человечек, мелкий чиновник, которого природа и вдобавок еще русско-бытовая судьба-злодейка согнула, раздавила, загнала в глухое подполье затаенных эмоций обиды, зависти, злости, мести. Чтобы как-то заявить о своем существовании, этот человечек, выползая из своего темного закутка, извивался, шутовствовал, бесстыдничал, юродствовал и незаметно жалил, разлагал. Но рожденные ползать иногда летают... Назло таинственной и бессмысленной фортуны, ползучий Розанов не только хотел летать, но и летал... Иногда удавалось ему забывать обо всех обидах, и он вырывался на свободу, на простор, и взлетал высоко, в поднебесье...»

Оставим здесь политические ужимки глупых русских кукол и умных кукловодов. И Мережковский, и Иваск говорили о чи-

повничаем и ползучем Розанове не только из-за политических и религиозных антипатий. Смутно и наивно они чувствовали странную, напряженную алогичность и неуловимость розановской мысли. Они чувствовали силу этого человека, делающую его много, на две головы, выше их, но никак не могли нащупать, в чем тут дело. И изобрели (и не они одни) легенду о «двух Розановых». Но Розанов один. Его сила именно в единстве. Проводя параллель с Набоковым, я и попытался нащупать внутреннее единство розановщины, силу и монолитность глубокой русской души. Оказалось, что эти столь внешне непохожие люди обладают сходным внутренним опытом.

Набоков — это тотальная идеализация формы (литературной) Достоевского, Розанов — такая же тотальная идеализация его содержания (философского). Но и в том и в другом случае основой является индивидуальный внутренний опыт, интимно совпадающий с аналогичным опытом самого Федора Михайловича.

В мыслях Розанов часто ошибался. В схеме мышления — никогда. В том, как сказано, он идеален. Это идеальное русское мышление. Схема развития набоковской мысли тоже типично русская. Здесь нет никакого насилия. Полная органичность. Может быть, потому (или потому что) Набоков терпеть не мог Германии и немцев. В «Даре» он сознательно говорит о кругообразности своего мышления. Годунов-Чердынцев, автобиографический персонаж, пишет книгу о Чернышевском.

«в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом так, чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная...»

Более того, все свое творчество и даже саму жизнь Набоков мыслил в виде гегелевской спирали:

«Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада выражает, в сущности, всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни» («Другие берега»)

Неожиданно для самого себя писатель сказал здесь не только о внешнем аллегорическом, но и о внутреннем символическом единстве своего мира. У Набокова, идеально владевшего английским, было чрезвычайно развито чувство языка. И он не стал философом при своей тяге к интеллектуальному артистизму, так как почувствовал всю невозможность русскоязычной философии.

Внутренний пафос Набокова — свобода. В послесловии к русскому переводу «Лолиты» он пишет о

«разнице в историческом плане между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов».

Ради этой свободы духа Набоков задушил в себе «достоевщину», хитрое и коварное, но чистое и наивное русское мышление. Он не хотел и не мог мыслить на русском языке, языке, не приспособленном для передачи мысли и в этом отношении грубым, материалистичным и вообще безнадежным. Ведь не в том дело, что в русском языке нет философского категориального аппарата, а в том, что его и не может быть. Не в том дело, что сейчас вместо категорий мы имеем лишь насильственно привитые латинские и немецкие кальки, только разрушающие национальную филологическую структуру. Не в этом дело, а в том, что наш язык слишком зыбкий. Понятия в нем легко трансформируются. Поэтому либо в русском языке будут термины, но как устойчиво чужеродное начало, вроде «дуршлага», «кашпе» или «ягдташа», либо они разомкнут и расплывутся в отечественном киселе, превратятся в «пальтецо» и «кофеек».

Набоков писал:

«Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливающиеся оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями... — становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма».

Поверим Набокову, ведь может быть, это единственный писатель, создавший одинаково гениальные произведения на двух совершенно разных языках. Кому, как не ему, чувствовать всю схожесть и все различия русского и английского языковых миров.

Но отказ от мышления по-русски подарил Набокову свободу. И в полете фантазии, в мышлении иррациональном он воспроизвел структуру духовного мира русского человека и тем самым поднялся до высот философских обобщений. Логический обод «Дара» — это туго скрученная в пружину спираль свободного и естественного филологического творчества.



И все же Набоков покинул бедное русское мышление. За что? Ведь так хочется подумать, помыслить. Хоть немножко. Но набоковщина грубо отнимает у нас саму возможность этого. Набоков очень не любил критические разборы своих книг. И действительно, когда читаешь критику, посвященную анализу его творчества, то это, как правило, просто «хрип патриархальных кретинов». Иначе и быть не может, так как его оппоненты уже в силу характера своей деятельности вынуждены пробавляться русским рациональным мышлением. В результате получается, что контакт с Набоковым вообще невозможен. (Наверное, в сходном положении находятся музыкальные критики). Просто не о чем говорить. Прочел, молча поклонился и «отваливай в сторону». А иначе это просто саморазоблачением будет. Поэтому Набоков страшно давит на читателя. С радостью я нашел в «Других берегах» несколько грубых логических ошибок. Стоило ему одной ногой, даже мизинцем одной ноги, встать на твердую почву рацио, как обаяние стало быстро испаряться. Набоков это чувствовал и допускал подобные просчеты крайне редко.

Розанов же добрый. Он не боится быть смешным ужом и ползать по болотным кочкам отечественного мышления. Розанов «сниходит», опускается. И за эту «низменность» низкий поклон ему. Вот почему (заканчиваю очередной оборот пластинки) Набоков мне ближе, а Розанов милее.

Розанов друг и товарищ. Учитель. Кажется, это единственный русский философ с опытом педагога, с опытом непосредственного и незамутненного страстями общения с людьми. Я не знаю другого русского мыслителя, который не то чтобы смог, но хотя бы всерьез попытался помочь людям жить: не вообще, не «народу» и не «личности», а именно людям, простым людям, живущим простой обыденной жизнью. Рождающимся, рожающим и умирающим.

Были в России демагогические брошюры, были справочники и энциклопедии, были «романы» и «поэмы», а живого, простого человеческого слова не было (редчайшее исключение — несколько старцев). Тогда не было. А сейчас уже даже и не просишь, не ждешь, не надеешься. А кто поможет? Ведь у нас нет даже родителей, все сплошь «интеллигенция в первом поколении». Впрочем, у русских никогда не было родителей, никогда не было полноценной семейной традиции. Русский быт — всегда неустроен. И сколько житейских смешных неприятностей складывается постепенно в человеческое одиночество, в тоску, бессонные ночи, злобу. И никому не помочь, никому не утешить. Розанов вот утешает. Как я жалею, что его книги не попались мне в юности. Как я тогда нуждался в помощи, в совете, в отеческом наставлении. Отчасти мне помог Достоевский. Ведь как тенденция розановские «советы» содержатся в его романах и «Дневнике писателя». Но

лишь как тенденция. Это дело тонкое, деликатное. Тут нужно высшее чутье, розановское.

Ответить на вопрос «как жить?» нельзя. Ни у кого бы это не получилось. Одни бы ушли от ответа в уклончивую ироничность, другие бы занялись навязыванием собственных проблем, собственного внутреннего опыта, часто глубокого и интересного, но чужого. Розанов сумел избежать этих крайностей. Удивительно! Нелепо и смешно жить «по Толстому», жить «по Достоевскому», жить «по Мережковскому», жить «по Набокову». «По Розанову» жить можно!

«Что делать?» — Наивный и глупый вопрос! Но если стоит человек на перепутье в душевном недоумении, если «некуда пойти?» Кто же посоветует ему? И что посоветует? Уже задавая этот вопрос человек раскрывается перед другим в своей ранимости душевной, в своем смятении, оглушенности. Ведь «что делать?» — это не только смешной вопрос. Это вечный вопрос. От него не уйти, не спрятаться. Так все же, «что делать?» Розанов отвечает на этот вопрос фразой, которой суждено стать крылатой:

«Что делать?»,— спросил нетерпеливый петербургский юноша.

— Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай»

Это сказано «так», простодушно, без задней мысли. Но ответы Розанова с двойным философским дном.

Конечно, здесь он прежде всего издевается над Чернышевским и К°.

«Что делать?» — спросили у нетерпеливого петербургского юноши.— Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — подавать мне с этим вареньем чай».

И вот молодому претенденту на престол, а то и выше, ами-кошонски советуют благодетельствовать не человечество, и даже не какой-нибудь русский народ, вообще темный и нестриженный, а самого себя. Это, конечно, мастерская пощечина. По аналогии хочу привести еще одну реплику Розанова:

«Да, я тоже думаю, что русский прогресс, рожденный выгнанным со службы полицейским и еще клубным шулером, далеко пойдет:

Сейте разумное, доброе, вечное,  
Сейте. Спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ.

Вообще у русского народа от многочисленных «спасибо» шея ломится. Со всех сторон генералы, и где военный попросит одного поклона, литературный генерал заставил «век кланяться». Щедрина и Некрасову кланяются уже 50 лет.»

Эх, милый Василий Васильевич, не 50 и даже не 100. Совсем уже свернули шею от поклонов и беспомощно завалилась русская головушка на левый бок. И выпрямить ее может только одно — правда. Как я смеялся, когда узнал биографию Некрасова: вот «печальник земли Русской» женится в преклонном возрасте на тщательно выбранной 19-летней проститутке, взятой из публичного дома; вот посвящает ей свои стихи о декабристах; а вот «прогрессивный критик» Антонович при посредстве морского бинокля рассматривает из-за кустов окна некрасовского дома, и потом в пьяном виде таскается по знакомым и рассказывает пикантные подробности диванного randevу Николая Алексеевича с Зиночкой. И т. д. и т. п. И вот этот... м у с о р мнил себя совестью России, указывал поколениям «что делать»! Да тут не отдельные фактики важны, а общий тон; «нравы». Вот что самое-то страшное. Розанов сказал: «Кабак». Конечно, все это «Русь кабацкая».

Но вернемся к розановскому ответу (и совету). Трактовка его с чисто правых позиций все-таки однобока. Ведь «нетерпеливый петербургский юноша» обаятелен в своей непосредственности. Юность всегда наивна, ей всегда свойственно увлекаться. Афоризм Розанова ироничен, даже саркастичен, но все же остается намеком, двусмысленностью. Можно сказать и иначе. Например, так:

«Полные «бессмертного смысла» строки «сейте разумное, доброе, вечное...» подняли крылья тысячам народных учителей». (Из статьи в «Новом пути» за 1903 год.)

И еще:

«Стихи как «Дом не тележка у дядюшки Якова» народнее, чем все, что написал Толстой. И вообще, у Некрасова есть страниц десять стихов до того народных, как этого не удавалось ни одному из наших поэтов и прозаиков». («Уединенное»)

Это характерный прием розановской «доводиловки». Если учесть «философский пуантилизм» нашего мыслителя, то фраза о «ягодах» приобретает несколько иной оттенок. Более глубокий. «Что делать?» Да что хочешь, то и делай. Все это никому не нужное «собрание ягод». Хотите; можете собирать грибы, удить рыбу, писать книги. Вопрос «что делать?» бессмыслен, потому что можно делать все. И, следовательно, ничего.

«Мысль, что человек в самом деле делает историю, — вот самая яркая нелепость: он в ней живет, блуждает без всякого ведения — для чего, К чему». (Из сборника «Когда начальство ушло». Фраза о «ягодах» взята оттуда же).

Таково примерно первое ощущение от «совета» Розанова (именно ощущение). Ощущение легкости и свободы от нудных и набивших оскомину «инструкций»: как собирать ягоды, как построить фабрику варенья. Но человеку не нужно социал-демократического варенья. Не этого он хочет, вопрошая в пустыне. Розанов писал в сборнике «Война 1914 г. и русское возрождение»:

«...литература все «забавлялась» читателем и обмывала его вареньем как куклу. А ему не варенья нужно, а царства, истории, страдальчества и величия».

Выходит, что сам вопрос раздвигается на два уровня: бытовой и идеальный, трансцендентный. Это и создает невозможность однозначного рационального ответа. Но Розанов и сам неоднозначен, так что ответ все-таки дан.

Саркастическая напряженность фразы: метафизический вопрос и обывательский ответ — выявляет парадоксальность проблемы, девальвирует ее непосредственное решение. Этот уровень и есть собственно философский. Философия не решает вопросы, и даже не ставит их, а мыслит о вопросах, о вечных неразрешимых вопросах. В результате этого мышления человеческое сознание поднимается на более высокую ступень мировосприятия. В этом подлинный смысл философии.

В собственно философии Розанов многозначен, всезначен. Его русская интерпретация философских проблем заключается в их пуантилистической девальвации. С одной стороны, это приводит все же к созданию своеобразной узорчатой картины мира, а с другой — делает эту картину живой, меняющейся и, так сказать, «необязательной», альтернативной. Чувствуется, что за ней что-то есть, что-то скрывается. И за проничным ответом на вопрос петербургского юноши, ответом действительно интуитивным, простодушным, скрывается сложный смысл. Не отвечая на этот вопрос на почве собственно философской, он отвечает на него с позиций быта, своего бытийственного существования в мире, и с позиций нигилистического опыта своей души. И здесь он едина и вполне однозначен.

С внерациональной позиции ответ прост: «Ничего не делать!». Русские самый бездеятельный народ. Чем умнее европеец, тем он активнее, деятельнее. У русских «делание» — синоним глупости. Идеал русского — чисто созерцательное отношение к миру. Достоевский писал в черновиках «Бесов»:

«Нечаев глуп... глупый-то и сделает. Умные только скитаются, а чтобы быть деятелем, надо непременно хоть с одной какой-нибудь стороны быть дураком».

Это очень русская мысль. Русское сознание — это трансформация наоборот Ленинградской симфонии Шостаковича: мелодия души, истекающая в реальность сатанинским ритмом. Как получилось, что русские, такой добрый, тихий и милый народ, постоянно толпятся и собираются вокруг каких-то страшных, умнеохватных идей. Народ пустынных и военных, святых и чиновников. Русские лучшие в мире военные и чиновники. Почему?

Розанов писал о немцах:

«Наверху, в одинокой башне астролога и алхимика, копался Фауст, а внизу двигались чудовищные образы Брунегильды и Фредегонды и всей кровавой и жестокой истории Нибелунгов... Чета ли это нашим благодушным Илье Муромцу, Святогору-Богатырю, Микуле Селяниновичу, Владимиру Красному-Солнышку. Совсем другие сюжеты и напевы...»

«Вся русская история есть тихая, безбурная; все русское состояние — мирное, безбурное. Русские люди — тихие. В хороших случаях и благоприятной обстановке они неодолимо вырастают в ласковых, приветливых, добрых людей. «Русские люди — славные». Кстати, прилагательное «славный» сливается с именем племени — «славяне».

Русские славные и тихие, по своей основе, по бессловесной физиологии это самый добрый, милый, «славный», чисто христианский народ. Отсюда и легкость крещения Руси. Христианство не встретило сопротивления именно на уровне физиологии. Русские совсем не кровожадны и не злы. Не кровожадны и не злы уже из-за своей пассивности, ведь жестокость, злоба активны, деятельны. Это не «придите володеть нами», а «приду володеть вами».

Говоря о германских зверствах первой мировой войны, Розанов тончайше уловил главное: если брать поведение человека в озверевшей толпе, там, где сорвана с человека вся сдерживающая скорлупа культуры, то немец без заветен, он летит в своем зверстве и кровожадности до конца.

«Ни в ком, ни в едином не пробежал тот безотчетный, суеверный, невольный испуг, который также быстр и приходит вдруг, как и животная ярость, и тогда, вмешиваясь в пути ее, — ломает ее. «Хочется убить, да испугался»... «Вырвал у матери ребенка, хотел бросить под ноги толпе на растерзание, — да вдруг

почувствовал ужас... «Поднял кулак над старухой-женщиной; да что-то остановило»... Вот этих невольных движений, слепых, но уже не разрушительных... не было»

У русских же иначе. Русский звереет, выламываясь из массы, а немец — растворяясь в ней.

«При всех бывающих ужасах и мраке народной жизни, у нас лютость души является всегда как личное исключение, обыкновенно — патологическое, на которое толпа и улица кричит и топает ногами. Никогда толпа не наслаждается тем, как бьет один. Толпа всегда делается озлобленною на бьющего. Этому, вероятно, всякий видел примеры. В общем, в массе (об этом и идет дело) русская душа — сердобольная. Это никто не станет отрицать. Душа народная — грубая, темная, суеверная, но сердобольная. И еще другой признак: испуганно вспоминает Бога... (Во «Власти тьмы» Толстого) сам грешник, убийца собственного ребенка, говорит: «Ох, скучно мне! Гасите свет, убирайте водку» (со стола). Вот этого страха и тоски ни разу не выкрикнулось у немцев».

(Замечу в скобках, что в статьях Розанова о Германии удивительные пророчества и предсказания. В них необычайно точно почувствован дух надвигающегося «Третьего рейха». Собственно, когда, в начале века, это было скорее тенденцией, но Розанов эту тенденцию уловил своим феноменальным чутьем, «Носом»:

«Век крови и железа», о котором высказался Бисмарк с трибуны парламента... казалось протягивал над Европой какой-то раскаленный чугунный свод, под которым отныне будут жариться народы, будут корчиться народы, будут высовывать жаждущие языки и на них не упадет никакая капля росы. Ужасно, — и вместе точно, математично. «Сила создает право» — тоже формула Бисмарка, услужливо и удивленно подхваченная теоретиками государствоведения. «Ужасно, но зато научно», — и людям оставалось жариться по-научному».

Розанов был не силен в социологии и сказал то, что ему «пришлось»: «Немцы будут жарить по графикам в печах целые народы»).

Вернемся к оборванной мысли. Далее Розанов говорит о религии немцев и русских:

«Лютер, Цвингли, Кальвин — если говорить жестко, — все были в сущности резонеры, «рассуждали о богословских предметах», теоретики, мыслители, писатели и говорюны... И именно они «внушают веру»,

внушают как «правило поведения», которое в экстатический момент, как в июле-августе (1914 г.) у германцев «на ум не пришло», «забылось», «выскочило из головы».

— Мы, лютеряне, имеем правильную церковь.

— Мы, русские, имеем святую церковь.

Совсем разница! Совсем другое дело! Совсем иная нежность души. Совсем иной полет души! Наше отношение к Небу и Богу совсем другое: испуганное, томящееся, умиленное, восторженное, «обнимающее ноги Спасителя нашего».

Русская религия — вера, немецкая — знание. Русские живут у Бога (если произнести вслух, получится грустный каламбур), немцы живут около Бога, думают о Боге. Для немца христианство — основа культуры, для русского христианство докультурно, и часто культура начинается там, где кончается христианство. Русский народ по культуре неизмеримо ниже немцев и европейцев вообще. По культуре русские звери, свиньи. И русская культура (в узком смысле этого слова), может быть, гораздо менее христианская, чем культура западная.

Розанов писал о немцах:

«Грубая нация: немцы всегда были грубы. Только тонкою кожицею, только поверхностным слоем лежала в их поэзии и философии культура,— плод индивидуальных немецких воспарений к небу».

Это, конечно, русский взгляд: культура как кожа, оболочка. С точки же зрения европейца это и есть суть человека, и, конечно, в Германии была не «кожица», а мощнейший культурный пласт, такой толстый и плодородный, что русским-то и мечтать нечего о чем-либо подобном. Вся послепетровская Русь питалась немецкими идеями. И прекрасно делала. Но ошибка заключалась в том, что русские волей или неволей хотели переделать самую физиологию своей нации.

Розанов ошибочно ругал немцев за то, что они заменили понятие культуры понятием образования и трудолюбия. Он не понимал, что вне рации в Германии возможен только фашизм. Или протестантская кирха, или «Нибелунги». Немцам нужно было окончательно отказаться от дословесного опыта. Розанов шипел:

«По форме — барин, лейтенант, питомец берлинского университета,— в душе хулиган. Я видел этих ужасных берлинских студентов, в компании пришедших в Тиргартен... Огромного роста, упитанные, без единой мысли в лице и, очевидно, без всякой тоски в душе,— без тоски, тревоги и сомнения,— они были ужасны, эти прусские студенты!! Господи,— из сотен наших не встретишь ни одного такого!... Очевидно — пути

развития разные, культура разная! Наша культура — скромная...»

Розанов как-то не понимал, что если «тоска» не появляется на лице у немца, то это не потому, что другая (ущербная) культура, а потому, что другая физиология. Другое не мировоззрение, а мироощущение. И если «окультурить» немца еще больше, то за счет логоса, за счет романтичности немецкой мысли, появится и тоска, и Бог, и сострадательность. Не душевная, но духовная.

У русских же совсем не так. Хамство по-русски не от недостатка души, а от недостатка культуры, образования. Путь самопознания по-русски — это сохранение связи со своей несчастной и тоскливой душой. Самопознание по-немецки — это разрыв с физиологическим уровнем, уход в метафизику, науку, искусство (мастерство). Вообще это западный и восточный путь к Богу — через слово и через молчание. «Поговорим о Боге» и «помолчим о Боге».

Я и сказал, что русская душа — «Ленинградская симфония наоборот». Это антипод Германии, у которой в душе флейта и барабан, в разуме — божественная музыка. Моцарт, Бетховен, Бах — какая упорядоченная, какая разумная и светлая музыка. Русская музыка более душевная, более напевная и рассыпанная.

«Западники» как-то не заметили, что их преклонение перед западной культурой есть, в сущности, преклонение перед «флейтой и барабаном», что русская душа не может приобщиться к культуре западным путем, путем отказа от внутреннего опыта и погрязания в липком русском словесном мире.

«Все эти господа из «Русского Богатства», все эти наши «экономические материалисты» и приверженцы «классовой борьбы» готовят России духовную участь Германии и призывают в корне вещей и русских «не стесняться» и проявлять «зверства»... Сейчас это — во имя «Интернационала» и «рабочего класса», но, когда конкретные нужды переменятся, то — послушанию вообще «партийного завода», «демократического завода» и, наконец, «казенного завода»...».

(здесь и выше — цитаты из «Войны 1914 года и русского возрождения»)

Отсюда становится понятным коренное отличие между немецким фашизмом и русским большевизмом. Фашизм — это национал-социализм, большевизм — интернационал-социализм. Фашистская идеология очень органичная и вытекает из самой сути немецкого народа. Если анализировать германскую историю с точки зрения нравственной и религиозной, то ее исследователю не составит большого труда провести четкую линию от Зигфрида к Мюнцеру и от Мюнцера к Гитлеру. Анализ же германской истории с точки зрения развития культуры наоборот, ничего не даст. В этом случае фашизм будет неизбежно восприниматься



как необъяснимое, дьявольское наваждение. Гете, Шиллер, Кант и вдруг фашизм — нелепо! Даже Ницше связан с нацизмом весьма опосредованно, и то только потому, что на страницы его книг иногда прорывался архаичный (и для немецкого интеллектуала глубоко атавистичный) дословесный опыт.

У русских все наоборот. Из Руси церковной ну никак нельзя вывести Русь советскую. Зато анализ русской словесной культуры XIX—XX веков (а раньше ее так таковой и не было) показывает, что Россия была уже давно обречена. 95% нашей научной и публицистической литературы явно социалистично. Нацизм и германская культура — несовместимы, социализм и русская культура — почти синонимы. Нацизм по своей сути доидеен и лишь эманурует в германский словесный мир, большевизм — это именно вербальная идея, идея, привнесенная извне, а не выросшая изнутри — интернациональная идея.

Вообще, русский, захваченный какой-либо конкретной идеей, упешей в конкретную идею, это страшный человек. Игла логоса уколола его в сердце и, носясь по миру с этой холодной иглой в груди, он способен на все. Бойтесь этого человека. Личность, сущностью которой стало русское слово, русская кривая мысль — мрачна, ужасна. Русский «деятель», то есть человек, захваченный метафизической идеей и стремящийся к превращению ее в жизнь, это человек узкий, ограниченный и злой. (Увы, я это слишком хорошо знаю, так как сам русский).

Еще Белинский отличался своей злобой. «А-а, с-сука, мысль по веревочке водить, мать твою так-распротак». И пошло-поехало! Как говорил Рязанов-Гольдендах на XIII съезде ВКП(б):

«Маркс и Энгельс, как они ни писали резко, являются чистыми институточками по сравнению с Герценом, Белинским и Огаревым. Такого обилия матриархальных выражений, какое имеется в переписке Белинского, вы не найдете в сочинениях более культурных людей...»

Другие «западники» тоже отличались большим накалом «здоровой классовой злобы». Некрасов пишет одному из сотрудников своего журнала:

«...у вас добродушно все выходит. А вы, батенька, злобы, злобы побольше... Теперь время такое. Злобы побольше...»

И вот уже сотрудники Энциклопедического словаря под редакцией Южакова пишут, захлебываясь от восторга, о своих однопартийцах:

«(Дейч и Малинка) вызвали Гориновича в Одессу и здесь около товарной железнодорожной станции оглушили его несколькими ударами и, сочтя его мертвым, облили ему лицо серной кислотой, чтобы

затруднить выяснение личности полицией... Гориневич оказался жив и дал обширные показания... (Из статьи о Льве Григорьевиче Дейче).

Так же, в статье о Дегаеве:

«Дегаев пригласил к себе Судейкина, явившегося в сопровождении своего родственника Судовского, чиновника охранного отделения. В то время как гости Дегаева разговаривали, последний, согласно условию, произвел в Судейкина выстрел, но затем, испугавшись, опрометью бросился вон, забыв притворить за собой дверь. Объятые ужасом гости бросились во внутренние комнаты, где их встретили с ломами в руках скрывавшиеся заговорщики. Спасаясь от опасности, Судейкин пытался спрятаться в отхожем месте, но настигший его Стародворский здесь и добил его. В то же время Конашевич несколькими ударами лома свалил Судовского...» И т. д. (Весь 21 и 22 том посвящены живописанию подвигов пламенных революционеров).

И, наконец, дикий визг, начатый Белинским, достиг предела и вообще перешел в ультразвук:

«Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье. Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются всего лишь — временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий, как ненужный хлам. Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советскому народу шевельнуть пальцами, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам. Очередные же дела состояли в том, чтобы подготовиться к выборам в Верховный Совет СССР и провести их организованно». («История ВКП(б). Краткий курс»)

«Межпланетная революция, «церковная реформация», «индустриализация» ...Уж лучше бы русские собирали ягоды. Право, было бы лучше. И кажется, русские это поняли. После 1956 года, когда миллионы были отпущены из лагерей, никто из этих людей не бросился мстить, никто не оказался захвачен четкой,

конкретной идеей. Мне думается, здесь, в этой мудрой незлобности и «бездеятельности» народа, залог духовного исцеления. Это не трусость и не оглушенность. А просто — мстить «антиресе не было». Говоря об издевательствах над русскими гражданами в Берлине, Розанов заметил, что русские никогда не стали бы делать чего-либо подобного уже потому, что

«просто» не хочется. Могучее «не хочется», неодолимое «не хочется» таскать чужую, иностранную, лично нам ничего не сделавшую, женщину — за седые волосы. Скажем грубым мужицким языком: «антиреса нет» (то есть нет позова, сладости, удовольствия так бить постороннего человека)».

С тех пор русский народ был так захвачен словом, так скручен рациональной идеей, совершенно извне принесенной, что не просто невинных-то, а и виновных бить не хочет и не может (а возможность была, в известный момент еще и подзуживали). Народ не простил, а просто «забыл». «Не знаю и знать не хочу». Шахранулся как от чертей болотных. Люди замолчали. И молчанием вырвались из сетей социальной штунды.

«Что делать?» — Ничего не делать. Никаких «Идей» не надо. Господи, как прав был Розанов, когда сказал, что единственно истинный путь в России — это путь религиозный! Нужно не «делать», а «верить». На вопрос «Что делать?», в смысле «Во что верить?», по-русски ответить нельзя. Русская вера бессловесна и не задает вопросов. Поэтому вопрос этот груб и глуп для русского уха. Неприличен.

Иваск, рассекая Розанова «по второму разу» писал, что «философ, мифотворец — это малый Розанов, а художник-лирик — это большой и даже великий Розанов... Розанов-большой, настоящий Розанов, не публицист-философ, а поэт и художник-мыслитель, целомудренно отказывается отвечать на последние вопросы». (А как философ, по мысли Иваска, значит, «не отказывается»).

На самом деле ответы и умолчания Розанова вполне взаимообусловлены и понятны, так что никаких «двух Розановых» нет. Отказываясь отвечать на вопрос «Что делать?» в метафизическом смысле, он отвечает на него в смысле бытовом, житейском, но именно потому, что на высшем уровне ответ на этот вопрос невозможен и опасен. Розанов понимал, что на «Что делать?» нет ответа. И зная это, он давал его. Потому что знал о мире ином, любил и мир этот.

«Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье. Это же так интересно!

Если зима — пить с этим вареньем чай. Это же так вкусно!!»

«Все-таки бытовая Русь мне более всего дорога, мила, интимно близка и сочувственна. Все бы любилась. Все бы женились. Все бы растили деточек. Немного бы их учили, не утомляя, и потом тоже женили. «Внуки должны быть готовы, когда родители еще цветут» — мой канон. Только смерть страшна». (Лист из «Второго короба», идущий непосредственно за листом о поклонах Щедрину и Некрасову).

(У Набокова есть сходный поворот. Он в «Даре» вскользь замечает случайность несчастной судьбы Чернышевского, которому на роду было написано стать простым-хлебосольным русским батюшкой. И вот — «пропала жизнь»).

Быт — это русское счастье, единственно возможное счастье по-русски.

Розанов писал:

«Русские в странном обольщении утверждали, что они «и восточный и западный народ» ...тогда как мы «и не восточный и не западный народ», а просто ерунда — ерунда с искусством...»

Наверно, так и есть. Запад и Восток перекрестнулись в России и нейтрализовались. Получилась странная молчаливая цивилизация. Ее символ — ироничная и подслеповатая луковица. Луковица округла, органична, но одновременно и остра, устремлена ввысь. Она замкнута и одновременно открыта, перетекая на острие в голубое пространство. Русскому глазу мил этот изгиб. Для европейца же, я думаю, русские церкви смешны. Рядом с Парфеноном и Кельнским собором это все какие-то пеньки с опятами. Наши церкви как бы растут из земли, стелются по земле. В них земля перетекает в пространство: внизу, у основания, нет четкой границы с почвой — здание оседает и постепенно исчезает в земной поверхности; наверху же, в луковицах, небо круглится и искривляется — пространство уплотняется, сияет вокруг церкви.

И еще русские церкви эротичны. Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но верхняя, устремленная в небо часть церкви весьма двусмысленна, по крайней мере, гораздо более двусмысленна чем египетские обелиски. Этот приземленный (но ни в коем случае не низменный) характер русской церкви оборачивается возвышением земли, библейского начала — начала быта. Самый крепкий быт в России у священников. Священник всегда воспринимался в народе как олицетворение чадородия, основательности и вообще элитарности, отборности в плане чисто бытовом. И таким образом, бытовая семейная жизнь в народном сознании становилась жизнью идеальной, почти святой. И, увы, недостижимой.

Мне кажется, своим советом «варить варенье и пить с ним чай» Розанов чрезвычайно актуален сейчас (впрочем, он всегда актуален). В интеллигентской суматохе и бестолковщине никто не заметил, что последние 20 лет были самыми спокойными и счастливыми во всей русской истории XX века. В сущности, за эти 20 лет ничего не произошло. То есть люди жили 20 лет без кровопролитных войн и революций, без массового и бессмысленного в своей разрушительности террора, без идеологических катастроф московских процессов и съездов Хрущева. За эти 20 лет выросло поколение, нет, два поколения психически и физически нормальных людей, которым и жить в России XXI века. Это ведь и есть выпадение из той цепи страданий и ужасов, в которой, казалось, уже безнадежно запуталась наша несчастная родина.

20 лет, 20 лет русские люди жили без программы, без идей, — безыдейно, разболтанно и спокойно. 20 лет «собирали ягоды». Если мы еще 20 лет прособираем ягоды, то вообще «все это» погаснет, развеется, как дым. Ведь «это» не может существовать без искусственных инъекций человеческой мысли, мечты, крови. Розанов писал, что революция — это сила, но ни в коем случае не идея, не мечта. «Мечтатель отходит от революции в сторону».

«И вот, может, лишь от того, что в ней — ничего для мечты, она не удастся. «Битой посуды будет много»; но «нового здания не выстроится». Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте; строил Микель-Анжело, Леонардо да-Винчи: но революция всем им «покажет прозаический кукиш» и задушит еще в младенчестве, лет 11—13, когда у них вдруг окажется «свое на душе». — «А, вы — гордецы: не хотите с нами смешиваться, делиться, открывенничать... Имеете какую-то свою душу, не общую душу... Коллектив, давший жизнь родителям вашим и вам, — ибо без коллектива они и вы подошли бы с голоду — теперь берет свое назад. Умрите». И «новое здание» с чертами ослиного в себе, повалится в третье—четвертом поколении». («Уединенное»)

В этом спасительная конечность социализма. Социализм мил и дорог русскому человеку, так как кроме, того что он является конкретной идеей, логосом, он является и бесконечной пустотой, отрицанием идеи как таковой, пожирателем идей, духовности, культуры. Социализм — это огонь, сжигающий гнилое русское слово. Когда материал кончится (а он уже кончился), социализм погаснет, «повалится в третьем-четвертом поколении».

В начале 80-х годов один из западных ученых-кибернетиков изобрел так называемую «вирусную программу ЭВМ». Эта программа представляет собой очень ограниченное число команд, суть которых сводится к повторному самопрограммированию ЭВМ эти-

ми же командами. В результате блок информации переполняется и, более того, начинает разрушаться, так как логический вирус устроен таким образом, что предусматривает уничтожение непаразитной информации. Зараженная таким вирусом электронная система быстро погибает. Мне кажется, эту разрушительную программу можно было бы назвать не «вирусной», а «социалистической». Социалистический новояз — это и есть вирусный язык. Язык смертельный для Запада, но не способный поразить дословесный центр восточнохристианского сознания. Более того, социалистическая программа, вызывая тотальное «депрограммирование» русского человека, помогает ему высказываться из официального словесного мира. Россия сейчас самая несоциалистическая страна, настолько несоциалистическая, насколько это вообще возможно. Это уже не оригинальный парадокс, а всем набившая оскомину аксиома. «Человек наг опять. Но чего мы не можем оспорить, что бессильны оспорить все стороны, это — что он добр, благ, прекрасен. Будем же смотреть на него не вовсе без надежды, по крайней мере — без вражды...»

Задолго до революции Розанов понимал и неизбежность социализма и его преходящесть. Но он пошел дальше простого понимания этого факта. Он не только понял, но и принял неизбежность социализма. И этот заключительный аккорд в его бесконечных метаморфозах потрясает больше всего:

«До какого предела мы должны любить Россию...? до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить все до «наоборот нашему мнению», «убеждению», голове. Сердце, сердце, вот оно, любовь к родине — чревна ...любите русского человека «до социализма»... И вот, несите «знамя свободы», эту омерзительную красную тряпку, как любил же Гоголь Русь с ее «ведьмами», с «повытчик кувшинное рыло», неужели он, хохол, и следовательно, чуть-чуть инородец, чуть-чуть иностранец, как и Гельфердинг, и Даль, Востоков — имеют право больше любить Россию, крепче любить Россию, чем великоросс. Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в своей полной истине. Щедрин, — беру тебя и благословляю. Проклятая Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на конце. Конец, конец, именно — конец. Что делать: гнило, гнило, гнило... Ах, так вот где суть... Когда зерно сгнило, уже сгнило, тогда на этом ужасающем «уже», горестном «уже», что оплакано и представляет один ужас небытия и пустоты, полного нихилиа —

становится безматериальная молитва... (Ранее: «После Гоголя и Щедрина — Розанов с его молитвою») Ведь в молитве нет никакой материи. Никакого нет строения. Построения. Нет даже черты, точки... Именно — нихиль Тайна — нихиль Нихиль в его тайне. Чудовищной, неисповедимой Рыло. Дьявол. Гоголь. Леший. Щедрин. Ведьма. Тьма истории. Всему конец. Безмолвие. Вдох. Молитва. Рост. «Из отрицания — Аврора, Аврора с золотыми перстами... Боже, Боже... Какие тайны. Какая Судьба. Какое утешение. А я-то скорблю, как в могиле. А эта могила есть мое Воскресение!

Этими словами кончается последнее письмо Розанова к Эриху Голлербаху. Через три месяца Василия Васильевича не стало. Сгорела Россия Щедрина. Неузнаваемо изменился в нашем восприятии Гоголь. Розанов с его молитвою остался... «Что делать?» Подите-ка спросите у Щедрина.— Смешно, глупо. «Что делать?» — Спросите у Гоголя. Страшно спрашивать, больно. Розанов отвечает просто, интимно. Это наш язык, наш мир, наша форма. Это хитрый бессмертный русский, заговоривший на идише советского марксизма. Точнее, замолчавший на нем. Молчать можно на любом языке. Вот где закругленная бесконечность России. Русский язык, окончательно выгорев через социализм, снова вернул русское сознание к внутреннему нихилу, к молитве, к молчанию. Произзошла страшная девальвация рационального мышления. У современных русских совершенно иное отношение к слову. И поэтому интуитивно, не зная как, какими словами назвать, новое поколение русских вяло страстной мольбе Розанова, его «Совету юношеству», помещенному им в самом конце последнего произведения — «Апокалипсиса нашего времени»:

«Помни: Небо как и земля. И открытое Небу — открывается «в шепотах» и земле. В шепотах, сновидениях и предчувствиях. Поэтому никогда, никогда, никогда не лги, в совести-то, в главном — не лги. Не будь хулиганом, миленький. И вот этот совет

мой тебе — есть первый социологический совет, какой ты читаешь в книжках. Первый совет «о социальной связности». Тебе раньше все предлагали на разбой и плутовство. «Обмани кормильца», «возненавидь кормильца». И советовали тебе плуты и дураки: которые отлично «устраивались около общества», то есть тоже около кормильца своего (читателя). А тебе, несчастному читателю, глупому российскому читателю, — подсовывали нож. И ты — нищак, они — богатели. (Плутяга Некрасов и его знаменитая «Песня Еремушки»). Ни от кого нищеты духовной и карманно-русского юношества не пошло столько, как от Некрасова. Это диссоциальные писатели, антисоциальные. «Все — себе, читателю — ничего». Но ты, читатель, будь крепок духом. Стой на своих ногах, а не

Что ему книжка последняя скажет  
То на душе его сверху и ляжет. (Некрасов)

И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл. Работай над «круглым домом» и Бог тебя не оставит на небесах. Он не забудет птички, которая вьет гнездо».

Жизнь есть дом, жизнь есть быт. Быт должен быть тепел, добр. Русский быт XIX века (и особенно быт интеллигентский) был холоден, злобен, крив. Пьян. Искали Правды в «брошюрах», хуже того, в «русских брошюрах». Но правда, а тем более русская правда, открывается не в брошюрах, а в шепотах, сновидениях, предчувствиях. В молитве. Русские больше не верят брошюрам. И предпочитают жить дословесным и внешним «собираением ягод», досоциалистическим, докультурным. («Любите русского человека до социализма»). Русский язык лжив и люди «обессовестили» его. О главном они никогда не говорят. И в г л а в н о м , в совести, не лгут.

В последнем письме к Голлербаху Розанов с изумлением писал о том, что начальные буквы первых пяти слов Библии должны, по еврейской легенде, составлять слово «Правда»:

«Вот как, батюшка, начинают ноуменальные народы с ноуменальным в истории призыванием... Да, это уж не Чичиковы и (несчастная) раса Чичиковых».

Бесконечная и беспредельная русская допетровская культура нашла свое выражение в узких и ограниченных мнениях, взглядах. И эти ограниченные взгляды априори ощущались как неправда, как нечто искусственное, наносное. Может быть, именно поэтому центром новой русской культуры стало искусство, то есть нечто живое, уклончивое. И даже не искусство вообще, а именно ли-



тература, один из самых лживых видов искусства. (Пожалуй, самый лживый после театра).

Собственно, последний призыв Розанова — это призыв к честной жизни. Откровенной, прямой, естественной бытовой жизни. Тогда это было мечтой, так как честно жить общество с художественной литературой в центре не может. В центре может быть религия — Средние Века, философия — Древняя Греция, право — Рим, наука — современное западное общество, но не литература, не искусство. Искусство искусственно. Религия, философия, юриспруденция, наука — естественны. Основные категории искусства — это не «истина-ложь» и не «добро-зло», а «красота-безобразное».

Макс Вебер с ужасом писал о рассыпанности современного западного сознания:

«...священное может не быть прекрасным, более того — оно священно именно потому и постольку, поскольку не прекрасно... Мы знаем также, что прекрасное может не быть добрым и даже что оно прекрасно именно потому, что не добро, это нам известно со времени Ницше, а еще раньше вы найдете это в «Цветях зла» (Бодлера) ...И уже ходячей мудростью является то, что истинное может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постольку, поскольку оно не прекрасно, не священно и не добро». («Наука как призвание и профессия», 1918 г.)

Как сказал Ницше, «Бог умер», и человек оказался во власти античных демонов: Добра, Красоты, Истины. При этом он находился в положении Париса, отдавшего яблоко одной богине, но одновременно и не отдавшего его двум другим и, следовательно, навлекшего на себя гнев, сатанинскую злобу, ненависть. Как безумный мечется современный человек между демонами, свободный в своем выборе, но несвободный от свободы выбора как таковой.

Когда христианское сознание рухнуло и распалось единое божество Красоты, Правда, Добра, то русские отдали яблоко Красоте, самой красивой, но и самой слабой и лживой богине. Истоки этого выбора глубоки. Все-таки русский Христос был Красотой-Добром-Правдой, западный же Истиной-Добром-Красотой. Красиво — значит правильно и правильно — значит красиво. Разница!

Россия рухнула от «художества». Это было красивое общество, но нежизнеспособное. В «Апокалипсисе» Розанова есть главка «Как падала и упала Россия»:

«Нобель — угрюмый, тяжелый швед, и который выговаривает в течение 3 часов не более 3 слов... скупал и скупил в России все нефтеносные земли... Русские все зевали. Русские все клевали. Были у них Станис-

лавский и Владимир Немирович-Данченко. И проснулись они. И основали Художественный театр. Да такой, что когда приехали на гастроли в Берлин, — то засыпали его венками. В фойе его я видел эти венки. Нет счета. Вся красота. И записали о Художественном театре. Писали столько, что в редкой газете не было. И такая, где «не было» — она считалась уже невежественною. О Нобиле никто не писал».

Писали о комедиантах, о «ерунде с искусством». Началась война, кинулись к ерунде — «Помоги!», «спаси!» — ерунда струсила и убежала. «Артисты». Еще удивительно, как такое общество не завалилось кверху лапками в 1825, в 1881, в 1905. Да России страшно везло.

Русский меньшевик Гиммер-Суханов в своих записках о русской революции писал, что вся Россия и весь ход истории говорили в апреле 1917 про Фому, а Ленин прямо из окна вагона, подходившего к перрону Финляндского вокзала, крикнул про Ерему. На самом деле (я история это доказала) именно Ленин и сказал про Фому, а Россия орала про Ерему. Ленин это и есть конкретное воплощение смутной русской мечты о трезвой, рациональной и основательной жизни: русской штунды «без икон и с метлой». С культурным европейским бассейном вместо грязных юродивых, толпящихся под золочеными куполами. 17-й год — это приход к власти «умных русских», «русских философов». С тех пор по количеству профессиональных философов наша страна прочно занимает первое место в мире. Это расцвет. Конечно, ничего не получилось. Вместо Правды получилась «Правда». Но тяга и беззастенчивая спекуляция именно на рацию весьма характерна. И более того, провиденциальна. Русь постоянно изменяется, трансформируется. И мне кажется, именно философия может стать духовным стержнем будущей России.

Наиболее эстетическим обществом была Древняя Греция. И именно в Греции зародилась и расцвела философия. Философия — это переименование Красоты и Истины. Буквально философия — это любовь к мудрости, любовь к гармонии, к гармоничной и мудрой, красивой жизни. Философия в античном понимании — это прежде всего искусство жить. Если для актера инструментом и материалом искусства являются его эмоции и тело, то для философа — душа, дух, сама его личность как таковая. Здесь субъект и объект совпадают полностью, поэтому это высшее из искусств, искусство для искусства, искусство в себе и для себя, то есть одновременно и выпадение из искусства. Философия — это естественное искусство. Жизнь Сократа или Диогена — это жизнь, ставшая ролью, растворением в образе, празднично трансформированной реальности.

Западное сознание потеряло это изначальное понимание философского опыта, замутнило его религией и наукой. В результате возникли теология и сциентизм. Розанов отрицал европейскую культуру, так как там конкретная Правда стала мало-помалу замещаться абстрактной и безликой истиной. В результате западная цивилизация ослабла, одряхлела, стала таить в себе мучительную трещину, кризис. Истоки этого кризиса в утере красоты как критерия человеческого бытия. В этом аспекте интересна мысль Мартина Хайдеггера, который считал латынь уродливым, некрасивым и принципиально нефилософским языком, а всю западную философию нового времени — ущербной и ограниченной уже из-за ее латиноязычной основы.

Хайдеггер — это понятный немец. «Говорящий немец». С одной стороны, он все же представитель немецкой классической философии. Но с другой — тем не менее близок и понятен. Не случайно считают, что он хорошо переводится только на один язык — на русский. Так и должно быть. Он говорил, что его работы принципиально непереводимы. Ну, раз «непереводимы», значит на русский перевести можно. Мне очень понравилась мысль Хайдеггера о «ненужности» европейской рациональной философии. Это как раз то, что нужно. Для русского сознания она не нужна вообще. Это для него даже не история. Странно, но и закономерно — русские начали с изучения отвратного Гегеля и прошли мимо того, что ждало их и звало: мимо античности, мимо Платона.

Русское сознание может все-таки выйти на Канта и Гегеля. Но сверху вниз, через Хайдеггера. Хайдеггер же, особенно поздний, понимаем через свое чисто русское отношение к слову. Кстати, он всегда испытывал симпатию к русской культуре, хотя связан был с ней скорее опосредованно, через Рильке и др. Россию начала века он знал плохо. И уж Розанова, конечно, не читал. А зря. В их творчестве есть удивительные совпадения. Это понятно, если учесть, что Хайдеггер был учеником Гуссерля и сделал негиллистическую форму произведений своего учителя негиллистической сердцевинной своей философской системы. Хотя Хайдеггер, конечно, более естествен, в нем нет трагического надлома, трагического несоответствия, свойственного русской мысли.

Лучшие представители русской культуры пришли к философской правде через литературу. Достоевский, Толстой даже в «Смерти Ивана Ильича» (столь любимой Хайдеггером). Здесь понятнее и философское значение Набокова. Он, собственно, «освободил место», ушел окончательно в литературу и тем самым лишил ее статуса стержня культуры.

Многое в кривой истории русской общественной мысли станет на свои места, если ее интрепретировать не в системе красота — безобразное (эстетство русской интеллектуальной элиты) и не как добро-зло (либеральный и демократический позитивизм интеллигенции), а с точки зрения неслышанной и невиданной для

русского человека, с точки зрения истины-лжи. Стоит подойти с этой позиции к творчеству Некрасова и Чехова, Достоевского и Пушкина, вообще всех-всех русских писателей, «властителей дум» и подойти к ним со стороны именно не творчества, а их взглядов, специфики мировоззрения... О, тогда многое, очень многое встанет на свои места. И если еще связать это с историей собственно русской философии и официальной государственной мысли, то тогда-то и появится то, чего в России никогда не было — историческая память. Не легенды, не мифы, а факты, фактики, «хроника фактов». История фактов. Необходимо заглянуть за эстетические и этические декорации. Необходима Правда. И все будет выглядеть иначе, как бы осветится, высветится изнутри. Вот, Чехов. Что он писал в своих письмах?

«60-е годы — это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его, значит опошлять его».

«Это — претенциозный поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю... Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит нет и истины... Что же касается разврата, то за утонченных развратников, блудников и пьяниц слывят не... Менделеевы, а... аббаты и особы, исправно посещающие посольские церкви».

«Я с детства уверовал в прогресс... расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса».

Короче: «В человеке все должно быть прекрасно: и сапоги и мысли». И этот человек написал «Степь», «Скучную историю», «Чайку». Внезапно становится ясным, что все его произведения порождены не социальной действительностью России, а внутренней трагедией личности. Произведения Чехова так же похожи на реальность, как «Поднятая целина» Шолохова на быт русской деревни начала 30-х. Трагедия Чехова — это трагедия русской души, утерявшей христианство.

Когда кто-нибудь для меня понимаем, мне кажется, что я написал про это стихи, но где-то внутри, неясно, во сне. А в сознании вертятся отдельные отрывки: «серая шелковая пошлость Чехова» или «пошлый шелк серого Чехова». Чехов проецировал в реальность свой нигилистический опыт. Нигилизм и ужас «Скучной истории» — это сухая тоска позитивизма, в которую истекла чеховская душа. Чехов всю жизнь искал монастыря во вне, искал тайны, без которой ему было так тоскливо, так «скушно» («Черный монах»). Но тайна была внутри, внутри его. А он поехал от себя на Сахалин. От скучного себя на интересный Сахалин. А

Сахалин был ближе гораздо. Тот же, «реальный» Сахалин это так... глупость.

Как все упорядочивается, вытягивается и светлеет, стоит только посмотреть на реальность через волшебную призму Логоса. Но и как по-чеховски «скушен» этот путь для русского сознания.

Идея социализма, «антиидея» может смениться другой бесконечной, и следовательно понятной, близкой и сладкой русскому сознанию, идеей — идеей идей. Чистым и свободным мышлением. Возможно, это и есть будущее России, контуры которого я пытаюсь рассмотреть сквозь текст своего эссе.

Розанов начал свое творчество с классической работы «О понимании», но внезапно оборвал, не пошел по этому пути, так как почувствовал распад личности:

«До встречи с домом «бабушки» (откуда взял вторую жену) я вообще не видел в жизни гармонии, благообразия, доброты. Мир для меня был не Космос (по-гречески красота), а Безобразие, и, в отчаянные минуты, просто Дыра. Мне совершенно было непонятно, зачем все живут, и зачем я живу, что такое и зачем вообще жизнь? — такая проклятая, тупая и совершенно никому не нужная. Думать, думать и думать (философствовать, «О понимании») — этого всегда хотелось, это «летело»: но что творится, в области действия или вообще «жизни» — хаос, мучение и проклятие.

И вдруг я встретил этот домик в 4 окошечка, подле Введения (церковь, Елец), где все было благородно.

В первый раз в жизни я увидел благородных людей и благородную жизнь. ...

Я был удивлен. Моя «новая философия», уже не «понимания», а «жизни» — началась с великого удивления...

«Как могут быть синтетические суждения а-приори»: с вопроса этого началась философия Канта. Моя же новая «философия» жизни началась не с вопроса, а скорее с зренья и удивления: как может быть жизнь благородна и в зависимости от одного этого — счастлива; как люди могут во всем нуждаться, «в судаче к обеду», «в дровах к 1-му числу»; и жить благородно и счастливо...». И т. д.

Розановщина — искусство жить по-русски. Стержень русского быта, стержень новой культуры. Если Пушкин придал возможность русской литературы, то Розанов придал возможность русской философии. Все другие русские философы или застряли на философии «понимания», или вообще ушли за пределы философского мышления (как Булгаков). А Розанов смог соединить русский логос и русскую жизнь...

Нас ждет эпоха сумерек, эпоха толкования и переживания, но не творчества и жизни как таковой. Это неизбежное, но смазанное политической историей, закругление русской литературы и русской культуры вообще. Я думаю, что при благоприятных условиях распад культуры, повсеместный в современном мире, пошел бы в России гораздо большими темпами и зашел бы куда дальше. Это видно по началу века. Если взять только поэзию, то сразу в памяти всплывают Блок, Белый, Мережковский, Гиппиус, Брюсов, Ахматова, Пастернак, Гумилев, Цветаева, Бальмонт, Кузмин, Есенин, Маяковский и т. д. Список можно легко продолжить. Получается слишком много гениев. Если многие из этого списка были впоследствии канонизированы, то лишь потому, что процесс девальвации был искусственно прерван. При нормальных условиях где-то в 30—40-х годах наступил бы естественный и неизбежный «кризис перепроизводства» и поэзия окончательно распалась бы на поэзию для поэтов (тир. 100—150 экз.) и поэзию для народа — реклама, комиксы и агитки (тир. 1 000 000 — 1 500 000 экз.). Вся эта мелочь раскрошилась бы в песок перед Александрийским столпом пушкинской поэзии. Ведь даже такой крупный поэт, как Блок,— это, в сущности, такая ерунда, если рассматривать его как центральную фигуру русской цивилизации.

О, весна без конца и без краю —  
Без конца и без краю мечта!  
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
И приветствую звоном щита!

Разве так «принимают жизнь?» Бегал по полям как козочка и стучал в щит-сковородку. Это не «принятие жизни», а просто «телячий восторг». Тут нет самого осознания проблемы принятия или неприятия жизни. «Принятие жизни» — это молчание, безнадежное смирение, ощущение сопричастности с тайной мира. Жизнь отомстила Блоку. Он признал жизнь и жизнь пришла к нему тяжелой поступью командора. Блок испугался и умер.

Блок поэт. Но его постоянно рассматривают как человека не только Красивого, но и Доброго, и даже Правдивого. И при этом не заметили и упорно не замечают, что на самом деле-то его оценивают и в других измерениях только с точки зрения красоты. А каковы факты? Писал патриотические стихи о России, а началась война, достал через петербургское еврейство справку и устроился «тружеником тыла». Впоследствии же дезертировал и оттуда, приветствовал победу Германии и пошел в чиновники от литературы. Потом, как я уже говорил, испугался и умер.

Розанов сказал в конце 1917: «Мы умираем как фанфароны, как актеры». По-моему, это эпиграф к послереволюционным статьям Блока. Вот, из «Интеллигенции и революции»:

«Жизнь стоит только так, чтобы предъявлять миру безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна».

И далее хрестоматийное:

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию!».

Розанов:

«Замечательно, что мы уходим в землю упоенные... Уж если мы чем упились восторженно, то это — революцией. «Полное исполнение желаний». Нет, в самом деле: чем мы не сыты. «Уж сам жаждущий когда утолился, и голодный — насытился, то это в революцию». И вот еще не износил революционер первых сапогов — как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли?»

Я живу в эпоху сумерек. В конце прошлого века очень боялись этого слова. Казалось, что это что-то страшное, багрово-красное, как бы преддверие ада: сумерки сознания, сумеречное сознание. Но «сумерки» — это совсем не страшное, а красивое слово. Набоков сказал: «Сумерки — какой это томный сиреневый звук».

Я стою на зимней московской улице. Короткий день только что кончился. Немного болит голова у глаз от бессонной ночи. На душе бесконечно легко и спокойно. Мимо идут люди. Они куда-то спешат, о чем-то разговаривают. Шумят автомобили. Как я попал в эту страну? Зачем? Для чего? — Не знаю. Мне ничего не хочется и я отчетливо сознаю, что никому не нужен. Настолько не нужен, что моя ненужность становится философской категорией. Я — это какая-то абсолютная, прямо-таки космогоническая ненужность.

«Скучно жить на этом свете, господа!» — сказал Гоголь. Помоему, жить на этом свете интересно. Но грустно. Кажется, что «и я сам и все «не то, не то...». Все нелепо, неправильно, неловко... Почему мне интимно близок Розанов? Он писал, что последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает больше движения души, чем вся «философия» Вл. Соловьева. Соловьев чужой.

«Ту именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно непонимание в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой — его, и мой». С Рцы (дворяне) мы понимали же друг друга с 1/2 слова, с намека; но он был беден как и я,

«ненужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»: и люди не на словах становятся братья».

Все кружится, расплывается перед глазами, мнится. «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку!» Как же можно быть нужным и ожидаемым, мысля по-русски, став русским философом. Розанов говорил: «Все-таки я умру в полном душевном недоумении». Это не Словеев с его библейской бородой — «Гений». «Русский мыслитель». Но как же мыслить по-русски, когда ничего нет, все расплывается по швам и мысль кружится и кружится в дурной бесконечности, когда ничего не получается, не выходит, не сцепляется, когда крошатся шестереночные зубья терминов и все рассыпается, улетает и падает в бесконечную пустоту, когда загораются насмешливые звезды и человек, раздавленный собственным интеллектуальным и духовным ничтожеством, рыдает, а звезды смеются, смеются... От этого смеха не скроешься, не убежишь.

Лишь страшным усилием воли я не теряю нить повествования. За счет воли и отстранения, предварительной разрушенности текста.

Я мыслю цитатами. Это страшно. Но еще страшнее, что эти цитаты не имеют самостоятельного содержания. Я говорю только о себе. Не о России, не о Розанове, а только о себе. Я трансформирую в реальность свой внутренний опыт при помощи косвенных цитат. Каждая цитата — зеркальце, отбрасывающее на меня солнечный зайчик. В результате сквозь словесный туман проступают смутные контуры моего сознания. Прямо же не сказано ничего. И разверзается молчание. Я все говорю, говорю, говорю... А молчание все густеет, становится черным и бездонным. Временной клей, в котором я вязну, постепенно растворяется, превращается в вакуум. Стрелка часов останавливается и я падаю в пустоту, бесконечную, бесформенную, равнодушную. И в этой пустоте движутся атомы-цитат.

Набоков писал в «Даре» об одном наполовину сошедшем с ума персонаже:

«...загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от безбрежно безобразного, студеного, прозрачного мира... вдруг рассыпалась, и восстановить ее было невозможно, так что приходилось пробоину как-нибудь занавешивать до стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное...»

Уютный мирок моей статьи прочно ограничен словами только с трех сторон. Четвертая стена живая, колеблющаяся и невидимая для окружающих. Через нее просвечивает свет небытия. И чтобы



не смотреть туда, я и мыслю цитатами. Причем вся трагедия заключается в том, что иначе и нельзя мыслить в моем положении. Розанов писал в «Апокалипсисе»:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над  
Российской Историей железная занавес  
— Представление окончилось.  
Публика встала.  
— Пора одевать шубы и возвращаться домой.  
Оглянулись.  
Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Я остался по другую сторону занавеса. Здесь не только «шуб нет», но нет и людей. Вообще ничего нет. Я не забываю, потому что мне нечего забывать. Моя мысль — это мучительное вспоминание, припоминание. Я пытаюсь реконструировать свое несуществующее прошлое. Я ловлю его смутную тень на страницах книг Розанова, Набокова, Достоевского, Пушкина. Конечно, это закат культуры. Сумерки. Какое красивое сиреневое слово. Слово-тень.

Странно: я немею, говоря о себе и говорю только о себе, говоря о другом.

Мое «двойное сальто-мортале» заключается в том, что эта статья есть не только размышление о русском типе культуры, но и наглядный пример этого типа. Я имитирую характерные особенности «инструменталистского» мышления. Для этой цели Розанов необыкновенно удобен. Он говорил все, и цитаты из его произведений легко превращаются в магические иероглифы, позволяющие отстраниться от лобового изложения и в то же время дать схему русской мысли именно в лоб.

Я — это не я, а Розанов, и даже не собственно Розанов, а около Розанова, около мыслей Розанова о... Одновременно Розанов — это я. Моя тайна аналогична тайне Розанова. Я восстанавливаю ход его мысли, даю сгусток, тон его мышления. Цитаты просвечивают, и сквозь их хитиновый панцирь виден внутренний мир, чего в обычных условиях не бывает.

Мне очень интересен Юнг. Его произведения действуют на меня как наркотик. Конечно, он ущербен, как только может быть ущербен швейцарский немец. Но именно через трещину этой ущербности просвечивает бессознательное, тайна. У нормального человека бессознательное скрыто таким толстым слоем вторичных ассоциаций словесного мира, что сам вопрос о конкретном влиянии бессознательного на сознание лишен смысла. Психоанализ — это нечто вроде выведения процесса мышления из процесса пищеварения. Связь-то между желудком и мозгом есть, но она настолько опосредованна, что на самом деле ее нет. Да. Но Юнг настолько ушел в слово, что он и свое бессознательное сделал фактом сло-

весного мира. Он не то чтобы ущербен, а, скажем, так, перенасыщен культурой. У него в непосредственный процесс мышления втянут даже спинной мозг. В результате получается страшная деформация личности. Но изгиб этой деформации повторяет изгиб тайны.

Так и через мое бедное и вторичное мышление просвечивает подлинный Розанов. А если посмотреть через другой миф, то мое я становится ощутимым благодаря мышлению о Розанове, так сказать, «инструментальному инструментализму». Мысль, слова уходят и обнажается дно.

Образно говоря, структура статьи похожа на голландский сыр, нарезанный тонкими ломтиками. Каждый слой-ломтик содержит несколько ключевых фраз-символов. Через дыры их символизации, то есть сознания, дешифровки, можно перескочить или вывалиться на другой уровень, другой ломтик. Дешифровка часто сознательно облегчается путем вопросов, то есть двойных дыр...

Математику я никогда не любил. Кант угнетает русского человека своей математической однозначностью. Его философия сложна для понимания, но удивительно однозначна. Мысль же должна быть ясна, но двусмысленна. Листы книги должны быть подозрительно полупрозрачными и в некоторых местах совпадать при наложении. Текст становится мифологичным, когда существует возможность такого наложения или, уточним, ряд произвольно выбираемых возможностей, ряд интерпретаций. Это хорошо понимал Владимир Набоков. В «Других берегах» он вспоминает, как в день назначения на пост Верховного Главнокомандующего Дальневосточной армией генерал Куропаткин показал ему, маленькому Володе, фокус со спичками. А потом, через 15 лет, при бегстве из Петрограда Набоков-отец натолкнулся на «седобородого мужика в овчином тулупе», который попросил огонька. Но у Набокова не оказалось спичек. В старике же он узнал Куропаткина. Владимир Владимирович писал по этому поводу:

«Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек... Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста».

И еще, там же:

«Признаться, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой».

Время романов Набокова сложно, нелинейно, пространство их — ровное, гладкое. У Канта наоборот. Он однозначен. Хай-

дегтер многозначен и за это ему прощается его пространственная сложность, невыносимая для целомудренного русского сознания...

Внимательный читатель легко заметит, что термины этой статьи нечеткие, спутанные. Сознание и бессознательное, культура и цивилизация, душа и дух, форма и содержание — все эти понятия слабо согласованы друг с другом и в каждом конкретном случае употребляются, ориентируясь на определенный контекст. В ряде случаев этой путаницы можно было бы легко избежать, но все дело в том, что смысл текста парадоксальным образом независим от терминологического упорядочения. В языке, в котором, не моргнув глазом и не изменив интонации, можно сказать (беру простейший пример): «я ем яблоко», «я яблоко ем», «ем я яблоко», «ем яблоко я», «яблоко я ем» и «яблоко ем я», — в таком языке, если и говорится конкретно «я ем яблоко», то при этом все же туманно и неосознанно подразумевается целый ряд модификаций, типа: «я, едящий яблоко» или «мною поедаемое яблоко», а также «поедаемость мною яблока» и т. д. Поэтому понятия «яблоко», «есть» и «я» настолько туманны, абстрактны и вообще мнимы, что говорить всерьез об их дефиниции можно только в плане юмористическом. Музыка русской речи совсем не в этом. Не в ритме, а в мелодии.

Для немецкого мышления правильно найденный ритм — это все. Все слова должны быть количественно согласованны и скрупулезно взаимосвязаны, должны щелкать и зацеплять друг за друга философскими зубьями. Для нас же важен ритм мысли, а ритм слова просто незаметен, может быть и достигим отчасти, но удивительно незаметен.

В немецком ритм фонетический и логический, в русском — антиномический, ритм смены мелодий. В немецком смена ритмов образует определенную мелодию.

Какие термины у Достоевского? Розанова? Что-то у Розанова есть. Полутермины какие-то, пятна. Они есть, но не точки, а пятна, «облачка». (В тексте статьи мельчайшая единица — кубики цитат. Это некоторый компромисс между гранью и безграничностью).

Сухие листья цитат позволяют мне не думать, отстраниться от процесса мышления. Ведь я русский. Когда просыпается мое мышление, душа засыпает. А так, относясь чисто инструментально к языку, мысля не словами, а фразами-слайдами, я живу, не теряю глубины и объемности повествования. Отсюда и плавность, неразрывность изложения. Можно было бы пойти по пути Розанова и просто мыслить свободными афоризмами, но говорить рассыпающимися словами о рассыпанном царстве розановской прозы, русской прозы, бессмысленно. И таким образом тема Розанова консолидирует мое такое же безнадежно русское мышление. Мир уже предварительно искрошен в осколки и их можно раз-

глядывать медленно, спокойно, не торопясь. Смотреть, как уходящее солнце тысячекратно отражается в разноцветных стекляшках, а синее небо постепенно густеет, становится черным, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении моей несуществующей юности отпевают ночь петухи...

Розанов русский, вот почему внутри его мыслить не трудно.

Я постараюсь дать своеобразный ключ к шифрограмме этой статьи. Предположим, взята следующая цитата из Розанова:

«Почти не встречается еврея, который не обладал бы каким-нибудь талантом: но не ищите среди них гения. Ведь Спиноза, которым они все хвалятся, был подражателем Декарта. А гений не подражаем и не подражает... Евреи и сильны свои Богом и обессилены им. Все они точно шатаются: велик Бог, но свой, даже пророк, даже Моисей, не являет той громады личного и свободного «я», какая присуща иногда бывает нееврею. Около Канта, Декарта и Лейбница все евреи-мыслители — какие-то «часовщики-починщики». Около сверкания Шекспира что такое евреи-писатели, от Гейне до Айзмана? В самой свободе их никогда не появится великолепия Бакунина. «Ширь» и «удаль», и — еврей: несовместимы».

И т. д.

Через несколько лет в «Египетской марке» у Осипа Манделштама проскочила следующая фраза:

«Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок».

Шарм возникшей аналогии очевиден. Часовщик Манделштам скрыто цитирует фразу о часовщике Манделштаме. Цитаты накладываются друг на друга и, включаясь собственно в текст статьи, образуют новый, магический смысл. И суть этого смысла — обвинение в адрес самого автора, то есть меня. Ибо что же такое все мои мысли как не манделштамовское топтание около Розанова, около Набокова и даже Бердяева? Размышляя подобным образом читатель может натолкнуться на фразу о том, что русская интеллигенция XIX века в сущности страшно хотела стать в положение евреев, а поскольку «мечты сбываются», то я и оказался в положении еврея, изгоя, лишенного родины, всеми гонимого и презираемого и цепляющегося за интеллектуальное ремесленничество, чтобы сохранить остатки внутренней духовной жизни. Я бесплоден. Я талантливое ничтожество, даже не ерунда с художеством, а ерунда в художестве. И даже хуже. У меня нет родины, нет твердой опоры в жизни, нет Кремля, Акрополя. Евреи еще

до воссоздания своей родины могли мечтать об Израиле, а тут Родина-Уродина, Израиль, которому не нужен иудаизм, да и сами евреи не нужны, не нужны как евреи. Как русский я не нужен. Вообще, я и сказал, что мы живем в эпоху сумерек, в эпоху конца творческого периода. Поэтому я осужден на еврейство.

И так далее. Это лишь один виток черной критики. Пластинку можно было бы крутить дальше. Но при ее раскручивании происходит разрушение вообще каких-либо точек зрения на мою личность. Как сказал М. Бахтин:

«О герое «Записок из подполья» нам буквально нечего сказать, чего он не знал бы уже сам: его типичность для своего времени и для своего социального круга, трезвое психологическое или даже психопатологическое определение его внутреннего облика, характерологическая категория его сознания, его комизм и его трагизм, все возможные моральные определения его личности и т. п., все это он, по замыслу Достоевского (кстати, не «по замыслу», а просто по характеру мышления самого автора), отлично знает сам и упорно и мучительно рассасывает все эти определения изнутри...»

Мандельштам писал в статье «О природе слова»:

«Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры... он не мог жить без стен, без Акрополя. Все кругом подается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя...»

Там же Мандельштам говорил, что русский язык — язык особый, эллинистический:

«В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью... Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явления, полнотою бытия, представляющего только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни.»

Мандельштам был русскоязычным поэтом, но не был русским человеком. И отсюда допустил грубейшую ошибку, придав русскому слову номиналистическое значение. Мандельштам писал:

«Онеменение двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом, и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова».

Мандельштам не понимает подозрительности своей прозаической речи. С одной стороны, русские-де живут словом, с другой — эта жизнь почему-то может прекратиться на «два-три поколения». Мандельштам очень чуток, но слеп, он идет по краешку, по бережку, употребляет правильные слова, но эти слова складываются у него в неправильные предложения. Осип Эмильевич пишет далее:

«Из современных русских писателей живее всех эту опасность почувствовал Розанов и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом...»

Это-то верно, но за чем же Розанову надо было цепляться за слово, если русские и жили в словесном мире? Розанов боролся за сохранение связи со словом, так как чувствовал всю парадоксальную бесплотность и ирреальность, а вовсе не номинализм (ощущение реальности слова как такового) русского языка.

Розанов писал:

«Что же я скажу (на том свете) Богу о том, что Он послал меня увидеть?»

Скажу ли, что мир, Им сотворенный, прекрасен?

Нет.

Что же я скажу?

Бог увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня».

Христос не Иегова, и русский Христос не Христос немецкий. Русские никогда не разговаривают с Богом. О самом важном — не говорят.

Мандельштам писал:

«У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленького Кремля, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории»,

Мандельштам честно жил в нашем словесном мире и сетовал на его рыхлость и податливость, на отсутствие в нем «талмудической ограды». При этом он не подозревал (и не мог подозревать)

о другом, внесловесном бытии русских. Так что этот человек прав, когда говорит: «У нас нет Акрополя». У вас, то есть у русскоязычного еврейства, действительно Акрополя нет.

У нас есть Акрополь. Наш Акрополь — это бесформенная стихия, небытие нашей души. Наша культура вечно блуждает и будет блуждать, так как не находит и не найдет своих границ, своих стен. В этом бессмертие России. Бессмертие Израиля в вечной форме. Бессмертие России в вечной бесформенности, в вечной открытости. Россия — это великая мнимость мировой истории. Внешне — спонтанные скачки, внутренние — единая основа. Разные формы для одного содержания. Легкость трансформации и в конечном счете — неистинность, так как русские глубже не в слове, а в молчании. Для них характерно созерцательное отношение к миру. И именно из-за созерцательности — деятельность, так как равнодушие и отстранение от этого мира приводит к его овнешнению: мир — материал, бесформенный и безликий. Таким же материалом является и язык. Поэтому русский язык не номиналистичен, а реалистичен. Он обладает самостоятельным существованием. Но это не самостоятельность духа, а самостоятельность неодухотворенной формы. В этом смысле Мандельштам прав: «Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя».

Русская история бесцельна — это тупик. Русская история бесцельна — это бесконечность. Всякая культура конечна. Но русская будет существовать, как и еврейская — всегда. Она будет погибать и возрождаться вновь как феникс. Из этого бесконечного тупика не уйти и индивидуальному сознанию:

«Национальность для каждой нации есть рок ее, судьба ее: может быть, даже и черная. Судьба в ее силе. «От Судьбы не уйдешь»: и из «оков народа» тоже не уйдешь». («Опавшие листья»)

У Мандельштама был другой рок, и он Розанова совершенно не понял. Подошел очень близко, очень, но не понял, не почувствовал. Розанов действительно «шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры». И он эти стены нашел. Точнее, не нашел. Оказалось, что у русской культуры никаких стен нет.

Сила Розанова в разрушении стен, в разрушении убеждений (это русских-то «убеждений»). Розанов гусеницей прогрызает словесную перегородку между читателем и писателем, между вашей мыслью и вашей душой.

«Что, однако, для себя я хотел бы во влиянии? Психологичности. Вот этой ввинченности мысли в душу человеческую, — и рассыпчатости, разрыхленности их собственной души (то есть у читателя). На «образ мыслей» я несколько не хотел бы влиять; «на

убеждения», — даже «и не подумаю». Тут мое глубокое «все равно». Я сам «убеждения» менял, как перчатки, и гораздо больше интересовался калошами (крепки ли), чем убеждениями (своими и чужими)». («Опавшие листья»)

Там же:

«Будет ли хорошо, если я получу влияние? Думаю — да ...«Мое влияние» было бы в расширении души человеческой, в том, что «дышит всем» душа, что она «вбирает в себя все». Что душа была бы нежнее, чтобы у нее было большое ухо, большие ноздри. Я хочу, чтобы люди «все цветы нюхали»... И — больше, в сущности, ничего не хочу:

И царства все сокрушатся,  
И всем мирам она грозит

(о смерти). Если так, то что остается человеку, что остается бедному человеку, как не нюхать цветы в поле. Понюхал. Умер. И — могила.

Изложение подошло к концу. Что мне сказать напоследок? «Бесконечный тупик» есть прямая линия моей мысли, проведенная около предполагаемого, но невидимого зияния пространства — около розановской России. Если интуитивно линия проведена достаточно близко от угольно черного центра, то независимо от моей воли прямая искривится, прогнется и медленно упадет в исходную точку. Мое относительно сухое и отстраненное изложение окажется в сущности иррациональным и алогичным. Именно коэффициент кривизны моего мышления даст туманное и неустойчивое, но истинное переживание неведомого зияния. Если же провести несколько таких прямых, то в результате будут очерчены контуры нашего словесного мира.

Закругленность, эллипс моих рассуждений никуда не ведет, но движение по эллипсу бесконечно и, согласно законам небесной механики, предполагает наличие некоей центральной тайны — Истины. Саму же истину понять нельзя. Истина открывается мертвым (Платон). Однажды попавшие туда, в черную дыру истины небытия, обратно не возвращаются. Не возвращаются, но явно куда-то попадают, во что-то падают. Во что? Ответить на этот вопрос нельзя. Вокруг него можно только обернуться и, кажется, жизнь человека и есть такое все более и более сужающееся вращение вокруг пленительно притягивающей нас тайны...

Из «Опавших листьев»:

Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет — вот моя жизнь. Темы — «как во сне».

Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.



На том свете будут без тем.

Бог меня спросит:

— Что же ты сделал?

— Ничего».

22.09.1984—16.04.1985

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

*Печатаемая здесь часть «Бесконечного тупика» не входит в основной текст моего произведения. Думаю, что эту часть вообще не следовало бы публиковать. Галковскому увидит здесь «творческую лабораторию мастера», нормальный читатель — ненужное дублирование основного текста, перегруженность цитатами, искусственную композицию, в данном случае не вполне оправданную и вызванную, с одной стороны, обстоятельствами места и времени написания (цитируемые источники были тогда малодоступны), а с другой стороны — моим психологическим состоянием «непризнанности». В последнем и заключена самая главная ошибка — неправильный тон. Тон этой части — тон 50-летнего профессора, вещающего с кафедры. Но мне было не 50, а 24. Я был не профессором университета, а молодым неудачником, который, чтобы не попасть в армию, симулировал психическое заболевание, а чтобы его не выгнали с вечернего отделения университета за тунеядство — подделывал справки о работе грузчиком на заводе музыкальных инструментов. Вообще само по себе положение 24-летнего философа смешно, ведь после «престарелого тенора» «молодой философ» — самый смешной тип самца.*

*В заключение хочу отметить, что это последняя моя публикация в российской периодике. «Чтоб ты сдох» — это общая тональность 9/10 критических оценок моего творчества. В силу ряда причин в настоящее время я не могу выполнить настоятельную просьбу советских литераторов. Максимум, что я могу для них сделать — это навсегда отказаться от публикаций в местной прессе. Поскольку советские и постсоветские издательства объявили мне бойкот, свои произведения я буду публиковать методом самиздата. Читатели, которым интересно мое творчество, могут писать по адресу 115407, г. Москва, а/я № 97 или звонить по телефону 117-94-75 (Леонид).*

Д. Галковский

9 сентября 1994 г.

**Юрий КАГРАМАНОВ**

### БОЖЬЕ И ВРАЖЬЕ

#### Вчитываясь в Мережковского

Мережковского никто не любит, говорил Блок. Возможно, причиной тому отчасти послужили черты личности: судя по отзывам знавших его, Дмитрия Сергеевича отличала некоторая сухость, закрытость. Что, впрочем, не помешало дому Мережковских быть центром притяжения для самых разных людей, как в Петербурге, так и в эмиграции, в Париже.

И все же, наверное, важнее другое: Мережковскому оказалось не по пути ни с «этими» ни с «теми», равно как и с «третьими» и «четвертыми». Традиционалисты порицали его за модернизм, модернисты, наоборот, за традиционализм, философы — за чрезмерную «художественность», ценители изящной словесности — за навязчивый схематизм, либералы — за религиозность, за то, что он «якшается с попами», православные — за очередную ересь, государственники — за критическое отношение к имперской традиции, революционеры — за декаданс, «идейные борцы» всех направлений, равно как и «люди дела» — за гамлетизм, «русопяты» — за «европейскую косточку», последовательные западники — за чрезмерный, как они считали, интерес к истокам «русского духа», к старцам и старицам, юродивым и кликушам, к той Руси, которая уже тогда выглядела «уходящей». И так далее, и так далее.

---

**Юрий  
КАГРАМАНОВ**

— родился в 1934 г. в гор. Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература» и др.

Еще один упрек исходил от Розанова и был подхвачен другими (и уже подхватывается сегодня): Мережковский — «мозговой теоретик», у него слишком мало «собственного». Однажды в сердцах Розанов написал даже, что у него «вялая, полумертвая душа»\*. Не забудем, однако, ч ь ё это впечатление — душевнейшего (наверное, даже чересчур), органичнее Розанова.

Вероятно, Мережковский — первый в истории русской культуры, кого можно назвать интеллектуалом (оглядываясь в XIX век, не вижу, к кому бы еще, на таком уровне, это слово пристало). Свои статьи и книги он вынашивает, как правило, «в условиях библиотечности» (Розанов). Но это еще ничего не говорит о его «составе души». На сей счет, между прочим, имеются суждения, прямо противоположные розановскому. Одно из них принадлежит Блоку, тоже близко знавшему Мережковского: Д.С. ведомы все волнения, когда-либо захватившие европейское человечество, — «и я р о с т н ы о н и в н ё м...»\*\*

Чуть не всегда и не во всем Мережковский — на особицу (если, конечно, не считать его близких, З.Н. Гиппиус и Д. Философова, и немногих приверженцев). Был связан с «веховцами», но не присоединился к ним\*\*\*. Более того, после выхода «Вех» подвергнул «семерых смиренных» иронической критике.

И сегодня те, кто стремится опереться на «веховцев» — всех вместе или на кого-то из них в отдельности — Мережковского обходят (хотя иногда и цитируют его, разделяя какие-то отдельные его суждения). Каждого он чем-нибудь да отталкивает.

С другой стороны, никто из «веховцев» и даже, может быть, все они вместе взятые, не имеют сегодня такой читательской аудитории, как Мережковский, — по той простой причине, что, в отличие от них, он писал не только философские и литературно-критические статьи и книги, но еще и романы. Они широко ныне издаются (трилогия «Христос и Антихрист», например, только в двух издательствах, «Правда» и «Художественная литература», вышла тиражом около двух миллионов экземпляров). Известно, что художественный уровень их не слишком высок: Мережковский — мыслитель *par excellence*, его романы — скорее иллюстрации к его религиозно-философским концепциям (хотя в них немало впечатляющих и в художественном отношении страниц).

Факт широкой «читаемости» Мережковского уже сам по себе должен подтолкнуть к более активному критическому его освоению. Тем более, что его религиозно-философские концепции

\* «Новое время», 1909, 27.IV.

\*\* А.А. Блок. Соб. соч. Т. 10. Лен., 1935, с. 178 (разрядка моя — Ю.К.).

\*\*\* По мнению «веховца» П.Б. Струве (которое, впрочем, может быть оспорено), разногласий между «веховцами» и Мережковским было меньше, чем между самими «веховцами» (см. П. Струве. *Patriotica*. СПб., 1911, с. 231).

представляют далеко не только академический интерес. В предисловии к одной из своих книг, вышедших в эмиграции, Мережковский сравнил ее с посланием, запечатанным в бутылку, брошенную в море — дойдет ли? Сегодня мы разворачиваем подобные «послания» с чувством, пожалуй, противоположным тому, с каким это обычно делается, ибо потерпевший кораблекрушение — не кто иной, как мы сами. И хотя готовых «рецептов спасения» мы в них не найдем, мысли, которые они содержат (я имею в виду и «веховцев», и Мережковского) — необходимые нашему коллективному организму гормоны, каталитические агенты, без которых процесс духовного брожения, от которого зависит будущее России (а в какой-то степени, может быть, и остального мира тоже), многократно замедлился бы.

Конечно, в Мережковском немало такого, что принадлежит его времени и воспринимается сейчас, пожалуй, как нечто «допотопное». Это прежде всего черты салонного декаданса. Именно у Мережковского, оказавшегося на перекрестке двух путей — религиозно-философского возрождения и эстетического обновления — пары «духосмесительства», рожденные специфической атмосферой начала века, особенно бросаются в глаза. При всем том как мыслитель он остается в высокой степени актуальным — и не только в позитивном, но и, так сказать, в негативном смысле, ибо самые его ошибки (то есть то, что сегодня представляется его ошибками) поучительны.

\* \* \*

Привычно относить термины «символизм», «символисты» целиком к сфере истории культуры. В какой мере это правильно?

Один из зачинателей русского символизма, Мережковский оставался символистом не только в своей поэзии, в романах и пьесах, но и в литературно-критических и философско-публицистических работах. Здесь, я бы сказал, встречаются два разных, хотя и близких друг другу символизма. Один — художественное направление, отсвет которого падает на все творчество Мережковского. Второй — способ мышления, не ограничивающий себя художественной сферой. В этом последнем смысле символизм вечен. Под него можно подвести, например, русскую традицию свободного философствования, научному термину предпочитавшего «переливчатое слово» (И. Киреевский). Сам Мережковский выводил свой символизм не из Бодлера (то были, по его выражению, «грязные пеленки» символизма), а из Достоевского. Он мог бы назвать также В.С. Соловьева, которому он (как и весь русский символизм) немало обязан. Кстати говоря, Мережковский «исправляет» Со-

ловьева в том смысле, что преодолевает некоторый разрыв между его поэтикой, требовавшей, чтобы

Из намеков кратких  
Жизни глубь вставала...,

и реализованной в его поэтическом творчестве, и его философскими работами, особенно ранними, где еще заметны следы тягеловесного позитивизма.

Стремление проникнуть в «глубь жизни» характерно для символизма как художественного направления, по крайней мере, в ранний его период. Образ становится символом постольку, поскольку он что-то «значит», поскольку «за» ним открывается органичная бесконечность бытия. «Лес символов» (Бодлер) — это мир, имеющий глубину. Когда за деревьями становится не видно леса, мы оказываемся в ситуации постмодернизма: знаки что-то значат лишь по отношению друг к другу, а «так называемые» сущности делаются просто «лишними» (разумеется, и в иных обстоятельствах знаки «живут своей жизнью», но при этом они все-таки выполняют служебную роль). Иначе в «координатах» символизма: там мы еще находим доброкачественный лес — тот самый, где «на неведомых дорожках следы неведомых зверей», где меж темных ветвей кивает сам Лесной царь, который шуток шутить не любит\*.

Символизм как художественное направление обычно считают реакцией против натурализма в искусстве и литературе; это верно постольку, поскольку речь идет о собственно художественной сфере. Но, кроме того, символизм был реакцией и против господствующих направлений философской мысли, наложивших отпечаток на всю культуру, — позитивизма, с одной стороны, и панлогизма, с другой. На исходе века их ущербность стала ощущаться даже в рамках «строго научной» философии, притом в ее цитадели, Германии, где вскоре Э. Гуссерль попытается восстановить в правах интуицию, а вслед за ним Э. Кассирер сосредоточит внимание на «символических формах» как художественных, по сути, формах, посредством которых мир сущностей «чеканит» бытие. Что, однако, не изменит существенно общую картину засилья рационализма (где сошлись позитивизм и панлогизм); напротив, он даже укрепитя в нижних этажах культуры. Поэтому и в наше время символическое мышление остается, по сути, в загоне и вынуждено отстаивать свои права за пределами художественной сферы.

---

\* Любопытно, что гетевский образ оживлен в романе Мишеля Турнье (которого многие критики считают сейчас первым писателем Франции) «Лесной царь» (M. Tournier. Le Roi des Aulnes, 1970), где знаку возвращена его символическая глубина. На заре постмодернизма предпринята героическая попытка повернуть назад (или вперед?) — к символизму!

Мережковский преподает нам ярчайший урок того, как можно и нужно мыслить (я сейчас имею в виду самый способ мышления). В пору, когда «точные» знания и, особенно, выдающие себя за таковые овладевают умами, он обновляет мысль Платона: только низшие истины ходят нагими, высшие — облакаются в миф; истина светится сквозь древнее «баснословие», как тело сквозь ткань. Это относится и к Св. Писанию, остающемуся вне пределов досягаемости столь гордой своими «успехами» исторической критики — слишком мал ее «аршин», чтобы она могла объять свой «предмет».

Среди собратьев-символистов Мережковский выделяется последовательностью, цельностью мировидения, «заданной» самой структурой символа (не может служить символом то, что не является частью некоего целого) и потому, казалось бы, долженствующего быть общей чертой всего символизма. На деле, однако, было не так или не совсем так. Мир усложнялся в процессе секуляризации, и его пестрая феноменология становилась все менее «прозрачной». Интуиция подсказывала символистам, что тайна целостного мира есть тайна трансцендентного Бога; но ход истории и культуры, участниками которого они не могли не быть, постоянно отдалял их от нее. Заметим к тому же, что процесс этот уже не давал повода для прекраснотушия, какое еще могли позволить себе предшественники символистов — романтики. Отсюда декаданс, отсюда метания, например, Верлена или Рембо между землей и небом, между богоборчеством и покаянным возвращением к «престолу Девы Марии».

В понимании Мережковского мир есть «раздробленный Бог»; позволительно ли видеть в дроби только числитель и не замечать знаменатель? Свое отношение к христианству, конкретно православию, Мережковский формулировал однозначно: «Верую и исповедую». Строки Гиппиус:

Он испытует — отдалением,  
Я — принимаю испытание...

можно считать принципиальными также и для Мережковского. Но существенной и необходимой была для него и вовлеченность в мир истории и культуры, развивающийся под знаком свободы, которою наделил человека Творец. Отсюда его постоянные кружения на меже, разделяющей мир церковный и мир «живой жизни», порою уводившие его достаточно далеко от православия. Это дало одному из самых суровых критиков Мережковского И.А. Ильину повод, если не основание, назвать его «ненасытным ересиархом», «великим мастером искушения, извращения и смуты»<sup>\*</sup>.

---

\* И.А. Ильин. Мережковский — художник. — «Звезда», 1991, №6, с. 205.

Сказано резко и едва ли справедливо. Надо признать, что стойкая религиозность (независимо от того, какого она была «качества») выделяет Мережковского среди его коллег по «ордену» интеллигенции на переходе от XIX века к XX-му. Бунин вспоминал: Чехов, познакомившись с Мережковским, удивлялся тому, что есть еще интеллигенты, которые всерьез верят в Бога. Ильин же тогда, между прочим, был начинающим гегельянцем. «Вехи» еще не существовали, как говорится, даже в проекте, и Мережковскому приходилось, судя по другим воспоминаниям (Гиппиус), поддерживать в вере, например, Бердяева. Когда же будущие «веховцы» «вошли» в церковь, Мережковские (Д.С. и его жена З.Н. Гиппиус) скромно напомнили, что никогда не «выходили» из нее.

Ослабление религиозной темы в русской культуре «после Чехова» вело к тому, что атеизм или хотя бы агностицизм становился в интеллигентных кругах едва ли не хорошим тоном. «Пусть старушки в церквях читают символ веры, — иронизировал по этому поводу Мережковский; — мы с Мефистофелем знаем, что о таких вещах не говорят в приличном обществе»\*. Трудно принять Мережковского за «мастера искушения», когда он пишет, что самое нужное в жизни и одновременно самое непонятное — детски простое и что вера именно детски проста, а без нее человеку нельзя, как нельзя рыбе без воды или птице без воздуха.

Мережковский проявил твердость там, где мало кто из символистов, начиная с самого Вагнера, устоял — перед соблазном «теургического» искусства. Такое уж было время, что искусство как бы позабыло о своих границах, притязая на то, чтобы стать новой религией; тем более, что собственно религия уходила в тень. Тесные связи с новой художнической средой, сложившейся в России на пороге XX века, главным образом с «мирискусниками», не помешали Мережковскому и здесь пойти против течения: он решительно утверждал, что «искусство как религия» — «ложный выход». Задача художника, по его словам, в том, чтобы «поддержать руками валяющееся небо», а не в том, чтобы создавать свое, художническое «небо».

Другой «ложный выход» — становящийся модным буддизм и все попытки сочетать его с христианством, будь то в рамках теософии или каких-то иных учений (Андрей Белый, Рерих и другие). Никакая «середина» между христианством и буддизмом невозможна — «надо выбирать между великим «да» и великим «нет».

В том, как Мережковский пишет о религии, порою заметна некоторая аффектация («царапающая» не только, например, Розанова, но и в общем благосклонного к нему Блока); некоторых читателей раздражает уже обилие слов, которые пишутся им с

---

\* Д.С. Мережковский. Тайна трех. Прага, 1925, с. 37.

большой буквы. Аффектация заставляла подозревать, что у него, действительно, слишком мало «собственного». Но дело, думаю, в другом. Наступление пошлости, обозначившееся в Европе уже в середине XIX века (после 1848 года), делало все более зыбким «статус» любых «высоких» мыслей и чувств. Возможно, первым, у кого это вызвало ответную реакцию, был в Европе зрелый (послеромантический) Вагнер, демонстративно ставший как бы на котурны. Примерно такова же была и реакция Мережковского (а разве не становится на котурны Блок в своей городской поэзии?).

Аффектация может иметь результат, обратный желаемому. Известно, что когда Мережковский пытался втянуть Чехова в разговор о Тайне Троицы, Христе и Антихристе и т.д., Чехов переводил на другие темы (говорил что-нибудь вроде: «Будете в Москве, бабенька, непременно зайдите к Тестову, попробуйте уши, замечательная уха!»). Но здесь, по-видимому, просто два разных типа реакции на одно и то же явление — относительное обесценивание «высокого»: Мережковский повышает голос, порою сбивается на фальцет, Чехов молчит и усмешается. Кто «более прав»? Во всяком случае, идти по течению (а Чехов в этом смысле шел по течению) легче, чем идти против.

Нет, определенно перехватил Ильин. Если и можно назвать Мережковского «мастером искушения», то разве лишь там, где он касается вопросов пола — «нежной Луны Содомы». Но и в этом случае он скорее искушаемый, чем искушитель.

\*\*\*

«Мережковский носит в себе самом некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним...»\* — пишет Ильин.

Иван Александрович Ильин принадлежит к тем счастливо цельным людям (во всяком случае, таковым он выступает в своих сочинениях), которые, однажды укрепившись духовно в «тверди», не способны соблазниться путями неправедными. В этом его сила, но в этом и некоторая слабость. Ибо чем дальше пути «века сего» пролегают от пути праведного, тем труднее таким вот цельным людям понять, что, собственно, происходит с «веком сим», отчего его трясет или мутит, или жжет изнутри. Оттого и некоторые тексты Ильина, несмотря на подлинность вложенного в них чувства, рискуют показаться риторическими.

Не Мережковским были поставлены вопросы пола. И темное лоно объявилось совершенно независимо от него, а он только

---

\* И.А. Ильин. Мережковский — художник. — «Звезда», 1991, №6, с. 201.



попытался осмыслить этот феномен — как говорится, не прошел мимо. Да и трудно было ему пройти мимо: на исходе XIX века «спуск в темноту» подсознания (выражение Карла Густава Юнга) становился одной из основных тем европейского искусства и литературы; мистический эротизм, культивировавшийся в садах символической поэзии, был еще прелюдией к гораздо менее целомудренным и более прозаическим «экскурсам» в том же направлении. Рядом трудились психологи (Фрейд и его последователи), делавшие свои открытия, хотя, по сути, это были не столько открытия, сколько детализация уже известных вещей. Клайв С. Льюис писал в данной связи, что «старый добрый Овидий ... замечал любую муху, но не делал из нее слона»\*. То же можно было бы сказать, например, и о Пушкине. Взять одну только строчку из «Полтавы»: «Думы в ней, плоды подавленных страстей...» — здесь уже вся фрейдовская концепция сублимации, которой ее автор уделил десятки, если не сотни своих страниц. Фрейдизм произвел переворот в европейском сознании (и еще больший — в американском, только несколько позднее) не благодаря своим открытиям, а потому, что дал научное, в духе времени, обоснование (если не оправдание) той раздраженной чувственности, которая, вкуче с рассудочностью, становилась для европейской публики нормой бытия.

Мережковский по достоинству оценил «значение проблемы» и ее масштабы; понял он и то, что ее надо рассматривать в аспекте дехристианизации. Вышедшее из-под влияния христианства человечество «вернулось к тайне пола и бесконечно углубило ее» («Меч»)\*\*. Вновь открылась его (человечества, то есть) «стыдная рана», на поверхности — естественная слабость, за которой, однако, таится нечто вне- и сверхъестественное — «пропасть, уходящая в антипод бытия»\*\*\*. От того, как будет решен вопрос пола, «зависит все будущее христианства» («Толстой и Достоевский»)\*\*\*\*. Сам Достоевский, который вроде бы все видел и все понимал, «не заметил» этот важнейший момент: «тайновидец духа» не сумел стать «тайновидцем плоти».

В том, что пол, как мы бы сейчас сказали, вышел из-под контроля, Мережковский винит христианство. Здесь он, отчасти, следует за Розановым, демонстративно принявшим в споре с христианством сторону пола. Но если Розанов видит в поле некую изначально («по исхождению из плоти Отца») здоровую стихию, то Мережковский судит иначе: изначально пол весь принадлежит

---

\* К. С. Льюис. Любовь — «Вопросы философии», 1989, №8, с. 134.

\*\* Д. С. Мережковский. ПСС. М., 1914. Т. XIII, с. 28.

\*\*\* Д. С. Мережковский. Тайна Запада. Белград, 1930, с. 214.

\*\*\*\* Д. С. Мережковский. ПСС. Т. XI, с. 220.

«языческой тьме», однако же, его можно было — и еще можно — очистить и возвысить. Беда в том, что христианство упустило, просмотрело вопрос пола; «не выкинуло нарочно, а как бы нечаянно уронило пол; но то, что роняется Богом, подбирается дьяволом» («Меч»)\*.

А так как «жало пола не только в поле, а во всей плоти и даже в духе», то, отвергнув пол, христианство тем самым отвергло и мир. Вся работа Мережковского о Серафиме Саровском — «Последний святой» (откуда закавыченная строка) — пронизана вопросами, подрывающими, как ему представляется, позиции христианского аскетизма. «Что же такое христианство — принятие или отвержение, проклятие или благословение мира? Тут противоречие, не только не разрешенное, но и не признанное, решающее, однако, последние судьбы мира». И дальше: «Если... плоть есть абсолютная нечистота, отрицание Бога, чистого Духа, то зачем воплощение Слова, явление Христа во плоти? Зачем воскресение плоти? Зачем таинство Плоти и Крови?»

Аскетическое подвижничество первых веков христианства — «бездонный ров, отделяющий христианство от язычества; благо, что ров этот вырылся, но благо и то, что человечество вышло из него навсегда...»\*\*. Почему же так неумолимо звучит, из века в век, церковное «нельзя»?

В углу, над лампадкою, Око сияющее  
Глядит, грозя.  
Ужель там одно, никогда не прощающее,  
Одно — нельзя?

(Гиппиус)

Между тем, по Мережковскому, пол может быть спасен, более того, именно через пол можно выйти к Царству Духа. Когда бледнеет радуга в небе, стоит обратиться к звездам, которые видимы днем только в черной воде бездонных колодезцев. Когда алхимик мечтал о золоте, он брал в качестве исходного материала свинец. Черный уголь пола сублимируется, «возносится» в звездный алмаз, е с л и не попирает его ногами. Презренный, он уходит глубже в землю: «никогда еще плоть не была более грешною, грубою, бездушно-плотскою, чем в наше время, в переживаемое нами мгновение исторического христианства. Даже в язычестве она более реально святая, светлая, «духовная» ...» («Толстой и Достоевский»\*\*\*).

Сразу отделим Мережковского от Фрейда: когда он говорит о сублимации, ему интересна онтология, а не психология. У Фрейда сублимация ограничена рамками психологии потому, что человек

\* Там же, Т. XIII, с. 27.

\*\* Там же, с. 107, 99, 106, 103.

\*\*\* Там же, Т. XI, с. 17.

заперт у него в собственной скорлупе. Мережковского в этом вопросе мог понять и поддержать глубочайший психолог столетия: согласно Юнгу, психические явления выступают на первый план тогда, когда нищета мир символов и символическое (то есть онтологическое, по меньшей мере, потенциально) мышление уже не находит в нем должной опоры (отсюда и унылый рационализм нынешних психоаналитических практик).

Сублимации пола мешает, с точки зрения Мережковского, аскетическая сторона в христианстве: «аскетическое, то есть подлинное, христианство и современная культура обоюдно непроницаемы: между ними возможно не соединение, а только смещение» («Меч»)\*. Обоюдная непроницаемость, конечно, достойна сожаления, но так ли уж бесспорна желательность соединения? Фактически мир, чем дальше, тем больше, существует без Бога, и наоборот, Бог — без мира. По-своему развивая идею Соловьева о том, чтобы ввести вечное содержание христианства в новую форму, Мережковский дерзко вторгается в область догматики: Св. Дух ждет соединения со Св. плотью, то есть сублимированной, одухотворенной плотью; так исполнится Третий завет, вослед Ветхому (Отца) и Новому (Сына). Христос грядущий будет не скопцом, но Женихом, как о том и говорится в Св. Писании.

Мережковский жаждет претворения «горькой слезной воды старого христианства в «вино новое, вино радости новой» ..., старого, вечернего, западного, темного, монашеского, погребального христианства в христианство новое, утреннее, восточное, солнечное, пиршественное: «вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут». У нас еще нет нового вина; но мы уже «несем сосуды» («Толстой и Достоевский»)\*\* . Что тут сказать — роскошная мысль, роскошный полет воображения! Вероятно, она могла родиться лишь в той атмосфере утопизма, которая создавалась в России усилиями нескольких поколений. Утопизм — это ведь не обязательно приверженность каким-то утопическим учениям, это и общая настроенность, градус, так сказать, общественных ожиданий. (Даже трезвейшие, на общем фоне, «веховцы» не все были свободны от утопизма. Разве мало утопических мотивов у Бердяева, который, собственно, весь замешен на романтическом максимализме?)

Вот, кстати, еще одно возможное объяснение (разумеется, оставляющее место для других объяснений), отчего произошла революция в России: отчасти и от и з б ы т к а — сил, возможностей,

---

\* Там же. Т. XIII, с. 26.

\*\* Там же. Т. XI, с. 266.

духовных энергий, но также и надежд и притязаний, опережающих силы и возможности.

Наверное, те возражения, которые Мережковскому пришлось выслушать в религиозно-философских собраниях 1901-1903 гг.\* со стороны своих оппонентов, духовных иерархов, «закрывают» вопрос о «Св. Плоти» в догматическом плане. Христианство никоим образом не отвергает плоть, но оно не приравнивает ее к духу. Радости плоти могут быть вполне безгрешными, но они никак не могут быть святыми. Путь к святости лежит через победу над плотью. Мережковский настаивал, что христианство предусматривает воскресение плоти и мистическое единство ее с духом. Ему отвечали (кстати, отвечал епископ Сергей, будущий патриарх), что с этим надо просто подождать, что всему есть времена и сроки. Отмеченная «революционным нетерпением» концепция Мережковского была, по сути, разновидностью хилиазма, только не в общественном плане, а в плане, так сказать, психофизической конституции личности.

И в плане культуры победа над плотью имеет принципиальное значение. Сублимация ведь уже включает в себя элемент аскезы; так было и в до-христианском, античном, например, искусстве. Но как ни совершенна человеческая плоть в античном исполнении, она все-таки замкнута на себя, то есть она именно недостаточно «духовна». Должно было пролечь глубокому рву христианского аскетизма, чтобы даже в античной (возобновленной Ренессансом) традиции изображения плоти (и в реальном отношении к ней) появилось нечто принципиально новое — соотнесенность с бесконечностью, чтобы наличное, данное здесь-и-сейчас таинственным образом включило в себя устремленность «к тому берегу». Парадоксально, но сама плоть от этого ничего не потеряла, а, наоборот, выиграла — такой загадочно-манящей делало ее тонкое sfumato европейского ренессансного и послеренессансного искусства и литературы (в живописи — буквально, в других искусствах и в литературе — фигурально). А то, что на пороге XX века она сделалась «как никогда» грубой и бездушной (впрочем, это были еще только «цветочки», «ягодки» появятся потом), как раз связано, если не прямо, то опосредованно, с дискредитацией любых аскетических практик (сведенных почти на нет в последнюю треть века).

Сублимация так же немислима без аскезы, как «плюс» немислим без «минуса». Отрицательный момент — более элементарный: начинать надо с неприятия себя, нелюбимого, с подавления низшего в себе. Низшее, однако, не отвергается (как в индийской мистике), оно — и в этом состоит положительный момент — воз-

---

\* Отчеты о них помещены в журнале «Новый путь» за 1903 год, №№ 1-12 и 1904 год, № 1.

водится к высшему, утончается и преобразуется — в ожидании грядущего преосуществления. Стремление Мережковского «возродить» плоть было уступкой близкой ему художественной среде, ценившей ароматы «афинских ночей» выше афинской «арэты» (добродетели). Г.П. Федотов потом не поколеблется сказать, что в такой атмосфере стремилось возродиться хилое, порочное тело; его называли «плотью», давая ему христианское освящение, но от этой плоти явственно доносился запах тления.

Все это не значит, что Мережковский был «кругом не прав». Когда он упрекает православных церковников в «безвопросности», в том, что их небо не покрывает «новой земли» (новых социокультурных реальностей), то тут он, я полагаю, как раз прав. Будем объективны: в лоне Церкви сохранялось живое чувство Христа, и это, наверное, важнее всего остального; при том, однако, Церковь слишком замкнулась в себе, слишком вяло и невыразительно реагировала на вызовы (как мы сегодня скажем) времени. Она упускала из сферы своего влияния «живую жизнь» — все более порывистую и шумную, пеструю, броско-цветастую, дразнящую новыми смыслами и новыми ценностями, — становясь прибежищем для «усталых и отсталых». Интерес ко всему тому, что «записала вечность в темные скрижали», тускнел на глазах; христианство отступало в тень, а его место фактически занимал футуризм, в широком смысле устремленности в будущее.

Конечно, церковная догматика, как и церковное предание, — не такие вещи, чтобы можно было с ними экспериментировать, но отсюда еще не следует, что они должны оставаться недвижимыми. Мережковский был прав, напоминая о том, что христианство это не только «столп истины», что оно включает в себя и определенную динамику, иначе становится непонятной его эсхатология. И что возможно и неизбежно бесконечное движение — в горизонтах, указываемых догматами. Понятие «догма», «догмат» тогда, как и сейчас, имело, в восприятии нерелигиозных людей, устойчиво негативную семантику — с ним связывалась узость, умственная неповоротливость. На самом деле функция догматов в христианстве скорее прямо противоположная. Догматы как бы ограждают некое духовное «пространство», за пределами которого — тьма крошечная (наподобие того, как придорожные столбы, окрашенные белой краской, не дают водителю свалиться в глубокую канаву или овраг); но «пространство» это настолько обширно, что дай Бог каждому суметь охватить его умственным взором (богословские системы сектантского и реформаторского толка, равно как и светские философские системы рождались в результате того, что была «освоена» лишь та или иная часть этого «пространства», в отрыве от других его частей). И в том, как Мережковский отстаивал догмат, наверное, трудно усмотреть что-то еретическое: «Когда светскому человеку скажут «догмат», то при этом слове прежде

всего ощущается скука и невозможность говорить дальше. Под догматом нам предлагают кандалы. Ни один свободный человек не наденет добровольно цепей, ни один ум не наденет по доброй воле догмата. Тут глубочайшее недоразумение. Догматы не кандалы, не цепи, а самые далекие горизонты, к которым мы идем. Нужна вся свобода ума, вся сила, чтобы стремиться к этому горизонту» (из выступления в религиозно-философских собраниях 1903 года)\*.

Но у самого Мережковского свобода ума обернулась произволом: его своеобразная эротическая утопия явно «выламывается» из христианства как, впрочем, и любая другая утопия.

\* \* \*

Элементы утопизма есть во взглядах Мережковского на ход русской истории, а рядом с ними — глубокие прозрения и вещие пророчества.

«Туман густел. Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным...» («Петр и Алексей»). Обычная петербургская картинка, но что-то слишком часто возникает она из-под пера Мережковского, да еще туман постоянно меняет цвет — белый, лиловый, желтый, голубой, еще какой-нибудь... Не метафора ли это современной ему духовной ситуации?

Мережковский, писал Ильин, предпочитает «смутные времена соблазнов и туманов», когда ни в чем нельзя быть уверенным; все-то у него в глазах двоится, а в результате читатель испытывает «головокружение корабельной качки, тошноты»: «Добро есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и диавол — одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист есть Христос»\*\*.

Но подобные упреки (очевидно, утрирующие взгляды Мережковского) Ильин мог бы адресовать и самому Достоевскому: тема двосния и двойничества, перетекания доброго в злое и наоборот — одна из основных его тем. В онтологии Ильина явная недооценка коренной двусмысленности мира — поврежденного грехопадением и потому «во зле лежащего» (кроме того, его работы несут на себе след его раннего гегельянства — рационализм, мешающий ему разглядеть емкость и неоднозначность символов, в которые «одет» мир). Смутные времена — это не какие-то скандальные аномалии, вдруг почему-то нарушившие «нормальный» ход вещей; скорее наоборот: *относительно* (sic!) покойные и гармоничные времена — результат счастливого стечения обстоятельств, хруп-

---

\* «Новый путь», 1903, №11, с. 426.

\*\* И.А. Ильин. Мережковский — художник. — «Звезда», 1991, №6, с. 202, 205.

кого равновесия, достигнутого обузданием на какой-то срок под-земных сил (верно заметил Шарль Моррас: удивительно не то, что существует беспорядок, а то, что возможен порядок!).

И переживаемые времена были как раз смутными временами — с сопутствующими им двоениями и подменами — совершенно независимо от предпочтений Мережковского. Скорее наоборот, его интерес к смутным временам, проявленный им в трилогии «Христос и Антихрист» («Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Смерть богов. Юлиан Отступник» и «Антихрист. Петр и Алексей»), вызван был стремлением понять настоящее и угадать будущее. За поверхностным слоем событий, где маленьким доктринерам разных направлений и толков все было ясно, «как дважды два», проступал фундаментальный вопрос: где добро, а где зло? Что такое Божье и что вражье? С кем Христос и с кем Антихрист? И не будем тешить себя мыслью, что уж для нас-то, во всяком случае, туман рассеялся и обнажилась истина — на онтологической глубине многое остается запутанным.

Сейчас привычно говорят о революционной «бесовщине», как-то забывая о том, что Достоевский иной раз высказывался в прямо противоположном смысле, а именно, что революционеры тоже суть «Христова лика»; другое дело, что он не задерживался на этом аспекте: в свое время отдав дань увлечению «красными» идеями, он в дальнейшем сделал своей целью их опровержение и лишь изредка, вскользь, признавал за революционерами те или иные достоинства. Для Мережковского оба аспекта важны: с одной стороны, в русском революционном движении есть признаки несомненного «бесовства», но с другой, столь же очевиден в нем религиозный порыв, производный от христианства. Существуют не только положительные, но и отрицательные пути к Богу, настаивает Мережковский, приводя в пример богоборчество Иакова, ропот Иова, неверие Фомы; так почему бы не допустить, что нынешние христорборцы, обнимая в борьбе Христа, лица которого они не видят, чувствуют Его лучше, нежели всеу поминающие имя Его?..

Не будет большим преувеличением считать революционные партии в своем роде сектами, отколовшимися (согласно этимологии слова «секта», происходящего от латинского *secare*, «раскалывать», «разрезать») от древа христианства. А что упали они далеко от этого древа, принципиально ничего не меняет: различные их аспекты, начиная от состава (или, по меньшей мере, происхождения) идей и кончая психологией рядовых партийцев, выдают плохо понятое, а нередко и прямое «оборотное» христианство. Войнистующее сектанство перешагнуло и в советское время: строители «нового мира», сами того не подозревая, зачастую разыгрывали психодрамы, весьма схожие с теми, что уже когда-то ставились на подмостках всемирной истории. Предчувствовал ли автор «Ле-

онардо да Винчи», воссоздавая в этом романе картины религиозной борьбы во Флоренции XV века, что «у порога новые, атеистические савонаролы — павлы корчагины (жизненные прототипы литературного героя), что священное воинство детей-инквизиторов, учрежденное тем же Савонаролой для наблюдения за чистотой нравов (его члены были обязаны доносить и на своих близких) найдет продолжателей в лице павликов морозовых, и так далее?

Заново осмысливая феномен «пламенных революционеров» прошлого, не следует торопиться менять все плюсы на минусы. В стан «погибающих за великое дело любви» нередко уходили настоящие подвижники, почти святые; особенно много было таковых среди народовольцев 70-х годов (это был моральный капитал революционных партий, проценты с которого продолжали поступать еще долгие десятилетия после того, как подвижничество уже угасло). Сектантов вообще нередко отличает более сильное религиозное чувство, которое почему-либо не находит выхода в рамках основной религии и устремляется на боковые, никуда не ведущие дорожки. Сложность ретроспективной оценки революционного движения в том, что оно представляет собою как бы интерференцию двух волн — добра, направленного не туда, куда надо, и потому, в конечном счете, оборачивающегося злом, и зла изначального. Тем более, понятно его двоение в восприятии современника. (Впрочем, внутри революционного движения у Мережковских были свои симпатии и антипатии; так, большевиков они изначально не принимали и к октябрьскому перевороту отнеслись резко отрицательно.)

Но двоятся и другая, противоположная сторона — империя, преемница старой Московской Руси. Ее вечное двоение Мережковский объясняет через ее родовую связь с Византией: оттуда, из Византии, попал на Русь Белый Клобук, преобразующий «светлое тридневное Христово», но оттуда же передан и дар Константина Мономаха — «венец Навуходносора», царя, проклятого Богом (наверное, это легенда, что, однако, Мережковскому несколько не мешает: символика, каково бы ни было ее происхождение, наилучшим образом передает суть вещей). Как можно совмещать «веру в правду распятую» с силой распинающей? Тем более что сила распинающая подчиняла себе веру — по крайней мере, начиная с Никона; раскольники, считает Мережковский, были правы не мистически, но исторически: они верно почувствовали, что меч гражданский подчиняет себе жезл духовный.

Петр, уничтоживший патриаршество и учредивший Синод во главе с гражданским лицом, просто довершил начатое Никоном, превратив веру в «артикул духовный»; он срубил уже сухую смоковницу — церковь, а именно, внешний, временный отрезок ее, в ее отношении к государственной власти старой Московской Руси. Кесарь, таким образом, получил свободу рук, но зато же и ощутил



тяжесть Божьего проклятия. В восприятии Алексея Петр — оборотень: только что он видел перед собой родное лицо, и вдруг оно становится лицом зверя; «и всего страшнее было то, что не знал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя? Отец ли становится зверем или зверь отцом?» (Петр и Алексей)\*.

А вот впечатленья иностранной гостьи, наблюдающей Петра с его воинством: «...Как будто пронеслось предо мною видение Древнего Рима: шелест победных знамен, топот медных когорт и крик солдат, приветствие «Кесарю божественному»: «Divus Caesar Imperator!»\*\* Се третий, полунощный Рим, восприявший славу первых двух — и четвертому не быть!

Мережковский все-таки находится под обаянием личности Петра, «Божьей грозе» уподобившегося, и, в конечном счете, оправдывает его (особенно в своей публицистике — смотри статью «Теперь или никогда»). Служа языческому Марсу, Петр все-таки верил в христианского Бога, только, «сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к Отцу, а не к Сыну — не к Богу умирающему, изливающему кровь Свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, Воителю грозному, Победодавцу праведному...» И, может быть, собственный его, им же убиенный сын, которого он, уже мертвого, целует в уста, «оправдывает его перед Вечным Судом и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь: что значит — Сын и Отец?» («Петр и Алексей»\*\*\*). Но если Петра извиняет, хотя бы отчасти, его одухотворенность, этого нельзя сказать о его преемниках: по мнению Мережковского, на протяжении XVIII-XIX веков христианство было окончательно подменено кесарианством, исповедание Христа на словах лишь прикрывало поклонение «князю мира сего» на деле.

Складывается впечатление, что Мережковский «слишком много хочет» от власти предрежащей. Это можно отнести на счет интеллигентской традиции, которую он в значительной мере разделял (хотя в исторической перспективе его отношение к власти все-таки неоднозначное: об этом свидетельствует его равнодушие к Петру и к е г о империи). Все, как говорится, познается в сравнении. Пройдут немногие годы, и в России установится подлинное «царство Навуходоносора», о чем сам Мережковский напишет уже в эмиграции: ленины-троцкие — «слепые орудия тайных сил», большевистская революция — результат всемирного заговора, только не «жидо-масонского», а метафизического, идущего со времен Навуходоносора, у которого Бог однажды отнял сердце человеческое и дал ему сердце звериное\*\*\*\*.

\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. М., 1990. Т. 2, с. 63.

\*\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. М., 1990. Т. 2, с. 424.

\*\*\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. М., 1990. Т. 2, с. 617, 720.

\*\*\*\* Д.С. Мережковский. Царство Антихриста. Мюнхен, 1921.

Но не только в сравнении с ее незаконной наследницей (то есть, не только по принципу «злая тварь милее твари злейшей») империя «смотрится» сегодня с совсем иными чувствами, чем те, какие испытывал по поводу нее Мережковский. Утопические надежды и «святое недовольство» настоящим помешали ему отнестись к ней так, как она того заслуживала. Не было и, боюсь, никогда не будет государства, основанного на одной «вере в правду распятую». Ее совмещение с началом собственно государственным, силовым (государство — несущая структура общества, его скелет не должен быть слабым), языческим, если угодно, которое Мережковский находит противозаконным, — это, вероятно, максимум того, на что можно рассчитывать, живя на грешной земле. И «венец Навуходоносора», совмещенный с Белым Клобуком, перестает быть «венцом Навуходоносора», грубая сила уравнивается силой духовной. Конечно, на практике равновесие сплошь и рядом нарушалось в пользу силы; и трудно сказать, был ли «дисбаланс» большим в московский или петербургский периоды, когда ослабление влияния церкви отчасти возмещалось распространением смягчающей нравы европейской культуры. И, конечно, империя заслуживает, с этой точки зрения, весьма решительной критики; но здесь надо уметь найти меру: не преуменьшить зло, какое она в себе заключала, но и не преувеличить его.

Когда Мережковский утверждает, что со времен Петра церковь служила «подножием» кесарю, он явно недооценивает силу внутреннего ее противостояния кесарианству; это противостояние, обычно молчаливое, нередко страдальческое, а в отдельных случаях открытое, давало о себе знать и на уровне иерархов (мне приходит на ум ростовский митрополит Арсений Мациевич, которого Екатерина II сгноила в тюрьме за непослушание; те, кто знает историю русской церкви лучше меня, смогут, наверное, привести и другие примеры). Далее, Мережковский слишком схематично понимает кесарианство — как традицию деспотизма, тянущуюся то ли из Вавилона, то ли из Древнего Рима. Между прочим, это все-таки очень разные традиции. Римская традиция более сложная: обожествление монарха, на восточный лад, сочеталось в ней с элементами, оставшимися от греко-римской демократии — с республиканскими политическими институтами, с нормами права, в значительной мере ограничивавшими (особенно в период ранней империи) власть императора (считая первостепенным религиозное «обеспечение» гражданской жизни — что в принципе, как я полагаю, правильно, — Мережковский в то же время явно недостаточно уделяет внимание вопросам права), с культом героев и героических личностей. Я уже не говорю о том, что с официальным признанием христианства кесари отказались от обожествления своей особы, подчинившись авторитету церкви

Что касается России, то важно отметить, что не только Петр, но и другие цари содействовали распространению европейского просвещения, которое, в конечном счете, как раз и подрывало деспотизм. А в последние десятилетия своего существования романовская монархия достаточно успешно эволюционировала, хоть и не без колебаний и не без отступлений, в направлении конституционного правового государства; и не приходится сомневаться в том, что этот процесс продолжился бы и дальше, не оборви его революция.

Любопытно, что утопист как-то уживался в Мережковском с трезвейшим наблюдателем «живой жизни»: последнее видно из того, что все его предчувствия были дурными и мрачными и все, увы, сбылись. Пожалуй, не оказалось в России начала века более проницательного пророка, чем он. Чего стоит одно только знаменитое его пророчество о «грядущем Хаме»! В концепции Мережковского Хам (он же Антихрист, он же ложный царь) разнолик, но самое страшное свое лицо он еще покажет в будущем — это лицо хулиганства, босячества и черносотенства. Мережковский пишет о «великой революции черных сотен, которой если не мы, то дети наши будут свидетелями» («Аракчеев и Фотий»)\*. Даже теперь, спустя много десятилетий после совершившегося, далеко не всем ясно, что такая революция — произошла, что черные сотни влились в красные, частью растворив их в себе, частью оттеснив и в то же время кое-что существенное (фразеологию, например) у них переняв (и оттого, когда оглядываешься на «пройденный путь», двойится в глазах: где — что? где красное и где черное?). Мережковский пишет (все до 17-го года), что красных ждет совсем не то, к чему они стремятся, что вместо нового Иерусалима, в его атеистическом варианте, они получают — Вавилон (и приведенное выше высказывание, что ленины-троцкие, не ведая того, идут по стопам Навуходоносора, относится к 1921 году, когда «вавилонская музыка» в Республике Советов звучала еще очень глухо, то есть, имеет характер не столько констатации, сколько пророчества). Еще на пороге века, делая кесарианство предметом критики, Мережковский допускает вырождение самой кесарианской идеи; в этом случае Россию ожидает «нечто более страшное, чем «аракчеевщина», нечто, пожалуй, и в самом деле похожее на царство Зверя» («Толстой и Достоевский»)\*\*; участь интеллигенции в этом случае не вызывает сомнений: «нам забьют рот землею».

Возвращаясь к проблеме противостояния власти и революционных кругов, замечу, что подход к ней Мережковского представляется мне весьма полезным методологически.

---

\* Д.С. Мережковский. ПСС. Т. XV, с. 118.

\*\* Там же. Т. XI, с. 85.

Имея дело со сложной и порою таинственной феноменологией истории, наши современники слишком склонны к категорическим оценкам и односторонним суждениям; слишком легко уступают желанию видеть в тех или иных исторических персонажах непременно или героев, или злодеев. Их (персонажей) раздвоенность в «зеркале» Мережковского можно рассматривать, как «процедуру» эвристического свойства. В этом нет никакого релятивизма, ибо критерии остаются неизменными: Божье всегда есть Божье, а вражье есть вражье. Но в земной, эмпирической жизни они образуют сложные сочетания, в которых смертным не так-то просто разобраться, особенно когда дело касается явлений исторического масштаба. И обойти их тоже нельзя. В плане временного пробиваться к истине можно только так — через туманы двусмысленностей

\*\*\*

Царь Петр, в восприятии Мережковского, двойится также и в ином плане — как преобразователь, прорубивший «окно в Европу». Выход в Европу, считает Мережковский, к тому времени давно уже назрел и был совершенно необходим, без него Россия просто погибла бы как государство; с этой точки зрения царь Петр — чудо, «единственный русский герой». Но своя правда есть и у Алексея с его «партией», видевших в Петре чудовище, «изменщика», перечеркнувшего завет, коему до него следовала русская земля — «в благочестии стоять неподвижно», не склоняясь «ни на шуе, ни на десно».

В нескольких словах царевич объясняет немецкой фрейлине разницу между «вами» и «нами»: «Все у вас есть. А Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете» («Петр и Алексей»)\*. То есть, конечно, не так, чтобы Его совсем «у них» не было; вроде бы Он есть, а в то же время Его как бы и нет. Двусмысленность, характерная уже для начала XVIII века, но еще больше — для начала (и конца) XX-го.

А вот взгляд с другой стороны. Увидев, волею случая, русские иконы (в русском посольстве во Франции), великий Леонардо почувствовал, что в них «была сила веры, более древняя и вместе с тем более юная, чем в самых ранних созданиях итальянских мастеров... было смутное чаяние великой, новой красоты...» («Леонардо да Винчи»)\*\* . Таким должно представляться вечное — одновременно древним и юным.

---

\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 2, с. 439.

\*\* Там же, с. 291

Мережковский убежден, что бой голландских курантов не должен заглушить звон китежских колоколов — усвоение западной культуры не должно повредить в народе религиозные чувства. Хотя русский народ, действительно, темен в том смысле, что сохраняет в своем быту элементы варварства, в религиозном смысле его «темнота» есть не что иное, как просвещенность (суждение «непривычное» для интеллигентского, да и не только интеллигентского уха на переломе от XIX века к XX-му). И русская интеллигенция, хотя она сильно запуталась в религиозных вопросах, не так уж далеко оторвалась от народа: сама того не ведая, она тоже ищет свое «Опоньское царство»; отсюда ее презрение к мещанству, которым отличается столь почитаемая ею в иных отношениях Европа.

Говоря о мещанстве, Мережковский находит весьма точные, как я полагаю, характеристики, сохраняющие свою силу и сегодня. Да, Европа поражена мещанством, его не избежал даже Анатолий Франс! (Это впечатление складывалось не от чтения его книг, а от личного общения.) Но в России появилось и распространяется кое-что похуже — хулиганство, как теоретическое, так и практическое. И здесь тоже, по Мережковскому, не обошлось без «помощи» Европы, точнее, одного немца (Ницше), которого у нас разрезали на две половины: одну взяли декаденты-оргиасты, а другую босяки. Хулиганство становится «позицией», с «высоты» которой отвергается мещанство: «Слишком часто теперь у нас в России европейское мещанство отрицается не во имя нового благородства и всемирной культуры, а во имя старого русского варварства и нового русского хулиганства. Но если нужно выбирать из двух зол меньшее, то ведь, пожалуй, мещанство лучше хулиганства» («Цветы мещанства»)\*.

Существует «окаянное мещанство», итожит Мережковский уже после большевистской революции (в «Царстве Антихриста») — враждебное духу. Но существует и «святое мещанство» — противостоящее хулиганству.

И культура, которою блистает Европа, — тоже о двух лицах, одно из которых святое — «идеал Мадонны» (по Достоевскому), а другое окаянное — «идеал содомский». И добро еще, было бы ясно, где — что, а то ведь эти два идеала, столь противоположные по существу, зачастую как-то незаметно переходят один в другой, вражде хитрейшим образом вплетается в Божье. Не удивительно, что у простодушных москвитов, впервые соприкоснувшихся с «Европией», голова идет кругом. Так, молодой иконописец Федька Жареный, попавший во Францию с русским посольством, наглядясь на тамошние чудеса, «сбился с толку, потерял голову

---

\* Д.С. Мережковский. ПСС. т. XVI, с. 74.

и жил в непрерывном изумлении, «иступлении ума»... С одинаковым благоговением посещал игорные вертепы, книгохранилища, древние соборы и притоны разврата» («Леонардо да Винчи»)\*. И царь Петр, заставивший россиян «припасть к соседям иным», принял западную культуру всю сразу: вместе с инструкциями по горному делу и навигацкими картами потекли в Россию ассамблеи и жангильные манеры, а «пьянственный бог Бахус» и с ним лукавый «ерёмка» (эрос) встретили такой же радушный прием, как и воитель-Марс.

Что происходит, когда, после длительной изоляции, прорубается «окно» в мир иной культуры (таково время Петра, таково и наше время)? Жадно усваиваются ее плоды, а в то же время ее духовный строй, которому они, собственно, и обязаны своим существованием, менее, чем когда-либо, привлекает внимание. Свои мысли по этому поводу Мережковский отчасти передоверяет царевичу Алексею и его компаньону Езопке, скрывающимся в Италии: «...Оба они, и беглый навигатор, и беглый царевич, смутно чувствовали, что та Европа, которую вводил Петр в Россию — цифирь, навигация, фортификация — еще не вся Европа и даже не самое главное в ней; что у настоящей Европы есть высшая правда, которой царь не знает». («Петр и Алексей»)\*\*.

Знает ли ее сам автор? Знаем ли мы ее?

Наверное, что-то могла бы сказать о ней Мона Лиза «Джоконда», иначе откуда у нее эта загадочная улыбка? Леонардо писал ее (или себя в ней), как всегда, избегая яркого света — он предпочитал середину, «встречу» света и тьмы; по его мысли, «...между мраком и светом есть нечто среднее, двойственное, одинаково причастное и тому, и другому, как бы светлая тень или темный свет» (Леонардо да Винчи)\*\*\*. Речь идет не только о физическом свете, но и о метафизическом тоже. Так, во всяком случае, в интерпретации Мережковского. В полутьме-полусвете расправляют свои сильные крылья

«Ангелы, кои не были ни мятежными,  
Ни покорными Богу, — но были сами за себя...»,

о которых писал Данте в «Божественной комедии» и которых он, между прочим, сурово осудил.

Что Мережковский в данном случае идет по правильному пути, мог бы удостоверить Гете: в разговорах с Эккерманом он однажды заметил, что Западу присущ некий демонизм, сам по себе не являющийся ни добрым, ни злым.

---

\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 2, с. 268.

\*\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 2, с. 548.

\*\*\* Там же. Т. I, с. 451

Самое яркое воплощение демонизма в европейской истории (как это считал и Гете) — Наполеон. Вероятно, Наполеон с ранних пор «обаял» Мережковского (да и его ли одного? начать тут пришлось бы с Пушкина и Лермонтова), потому что уже в «Толстом и Достоевском» он посвятил ему немало страниц, «защищая» его от Толстого, действительно, предвзято слепившего образ французского императора. Длительная работа над этой темой завершилась появлением, уже в эмиграции, двухтомника «Наполеон». Секрет обаяния Наполеона, «последнего героя Запада», согласно Мережковскому, в том, что он явился новейшей инкарнацией древних языческих богов, Диониса и Аполлона одновременно; будучи олицетворением «ни злого, ни доброго», по выражению г-жи де Сталь, сначала, он сумел удовлетворить жажду экстаза — вина Дионисова, которого в нынешние времена осталось так же мало, как воды в колодцах в период засухи. «...Люди никого так не любили, так не умирали ни за кого, вот уже две тысячи лет»<sup>\*</sup>; солдаты его поклонялись ему за то, что он освободил их от страха смерти.

Есть, однако, и более глубокая причина, почему Наполеон так сильно поразил воображение: он п р о г р а л . Особенно важно учитывать этот момент в России. Достаточно вспомнить, как резко изменилось отношение Пушкина к французскому императору после его смерти в 1821 году (при жизни узника Св. Елены никоим образом нельзя было списывать со счетов, как политическую фигуру). «Свершитель роковой безвестного веленья», тем же веленьем он был принесен в жертву. «Так и умер,— пишет Мережковский,— не зная, кто его победил, и даже не мог, умирая, сказать, как древний Отступник: «Ты победил, Галилеянин! Только молча склонил голову, когда к ней протянулась Невидимая Рука, сняла с нее царский венец и возложила терновый»<sup>\*\*</sup>.

Открывая в Наполеоне древнее и вечное, Мережковский недостаточно показывает его, как человека Нового времени. Лишь однажды он замечает, как бы между прочим: после Наполеона «остался правовой костяк, заложенный в тело Европы наполеоновым Кодексом, первым, после Рима, всемирным законодательством, правовое утверждение личности. И если современная Европа выдержит напор коммунистической безличности, то, может быть, только потому, что в ней все еще крепок этот Наполеонов позвоночный столб»<sup>\*\*\*</sup>. Но ведь это все очень существенно! Известно, что сам Наполеон дорожил своим Кодексом больше, чем

---

\* Д.С. Мережковский. Наполеон. Т. 1. Белград, 1929, с17.

\*\* Там же, с. 49.

\*\*\* Там же, с. 142.

всеми победами, одержанными им на поле боя, и эту его оценку разделило потомство.

Вот э т о т Наполеон — тоже был принесен в жертву? Иначе говоря: демонизм творчества — пресекает ли Невидимая Рука? Мережковский пишет, что Наполеон и Гете утверждали «мир как волю», вопреки Будде и Шопенгауэру. Только ли вопреки Будде и Шопенгауэру?

Впрочем, не будем слишком многого требовать даже от Мережковского.

На все как бы есть ответ,  
Но без последнего слова.

(Гиппиус)

Хотя в данном случае не хватает, как минимум, целой синтагмы.

\* \* \*

«Основной вопрос моих сочинений: Что такое христианство для современного человечества?» — писал Мережковский в предисловии к своему Полному собранию\*. Он мог бы добавить: и как оно соотносится с язычеством. Каких бы тем он ни касался, будь то культура или пол, русская история или западная, все у него упирается в эту основную, говоря по-сегодняшнему, бинарную оппозицию: христианство — язычество.

Молодой Мережковский ставил целью «соединить Голгофу с Олимпом». Поняв, по его словам, наивность этой задачи, он открывает для себя трагедию их несоединимости. Внутренним, так сказать, конспектом его сочинений становится вечная разорванность европейского человечества между двумя началами — христианским и языческим.

Мережковский акцентирует некоторую относительность традиционного разделения всей человеческой истории на два периода — до обращения в христианство и после него. В языческом мире чем дальше, тем больше усиливалось предчувствие Христа, а это значит, что он не был вполне языческим. В свою очередь, крещеное человечество не сумело преодолеть в себе языческое прошлое и, следовательно, никогда не было вполне христианским.

По мнению Мережковского, христиане слишком усердно мазали горчицей грудь своей языческой матери, не желая признавать преемства там, где оно было. В ряде поздних своих работ (исследованиях-эссе «Тайна Запада» и «Тайна трех», а также в повести «Рождение богов») он прослеживает христианские мотивы в языческих культах и культурах, включая те, что к моменту Р.Х. насчитывали уже тысячелетия (примечательно, что анало-

---

\* Д.С. Мережковский. ПСС. Т. 1, с. V.



гичные исследования, приблизительно в то же время, что и Мережковский, вели Э.Роде во Франции, М.Мюллер в Германии и Т.Фрезер в Англии). Так, Египет фараонов отличается развитое чувство бессмертия, притом не только бессмертия души («метафизики бессмертия»), но и воскресения плоти («воскресной физики»), как явления нездешнего порядка. Все египетское искусство — таинственный луч света, проникший из иного мира и осветивший мир этот; «божественная тихость» разлита в нем — как бы в ожидании имеющего быть Откровения.

Египетский плуг, по Мережковскому, вспахал землю для сева Господня, а одно из первых зерен бросил в нее Вавилон. Египет вслушивается в вечность и потому неподвижен, а Вавилон первым понял динамику времени — движение от начала к концу — и тем предварил христианскую эсхатологию. И у египтян, и у вавилонян уже есть предчувствие Бга-искупителя: от вавилонской таблички «Бога должно закласть», от Таммуза, так же, как и от Озириса, путь ведет ко Христу.

Мудрость Эллады — Пропилии, ведущие в Царствие Божие. Собственно религия ее, несмотря на всю поэтичность, слишком бедна в метафизическом плане, ибо не выходит за пределы видимого мира; доступный ей иной мир — «пустые тени Аида», которые тщетно отпаивает Улисс парной овечьей кровью: отхлебнут, оживут и вновь умирают. Греки сами чувствуют скудость своей мифологии: с течением времени растет неудовлетворенность этой заземленностью, не знающей выходов в таинственное иное. Свидетельства подлинного духовного пробуждения многочисленны: Мережковский находит их в том, что однажды сказал Еврипид, о чем задумался Гераклит, в пифагорейских братствах, в которых уже угадываются очертания монашества, в Элевзинских таинствах (так и оставшихся таинствами, ибо ни один их участник никогда ничего о них не поведал), где людям открылись какие-то новые боги, «в смерти помощники», и так далее.

Языческий мир, следовательно, был подготовлен к великой перемене; и когда пришел час, все лучшее, что в нем было, смиренно легло к босым ногам Назаретского Плотника. Отчаянная попытка цезаря Юлиана вернуться назад была заведомо обречена: каспальский ключ умолк навеки. О чем уж тут говорить, если сам Отступник, по утверждению близко знающего его человека, в глубине души остается христианином. Арсинойя — Юлиану: «Я знаю, ты любишь Его. Молчи, — это так, в этом проклятье твое. На кого ты восстал? Какой ты враг Ему? Когда уста твои проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его... Зачем же ты терзаешь себя больше, чем монахи галилейские?» («Юлиан Отступник»)\*.

---

\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 1, с. 284.

Но вот другой «узел», другое смутное время (Мережковский выбирает для своих романов непременно смутное времена, сетует Ильин) — Италия Леонардо. Почему-то языческие образы, которым давно уже полагалось перейти в елисейские тени, вновь напоминают о себе, правда, уже не так откровенно, как прежде. Они теперь просвечивают сквозь христианские символы. Карадоссо ваяет ангелов, но под его рукою они сильно смахивают на языческих амуров. Иоанн Креститель на полотне Леонардо почему-то выглядит женоподобным юношей с нежным белым телом. Сам Христос смешивается с Дионисом, Венчанный Гроздьями — с Венчанным Терниями, Тем, Кто сказал о себе: «Я есмь истинная виноградная лоза». А у Антихриста, каким его изобразил Синьорелли на фреске в Орвиетто, лицо не злое, как можно было ожидать, а «бесконечно страдальческое».

Знакомое нам двоение. Ученик Леонардо Бельтраффио плохо понимает своего учителя, который «ничего твердо решить не умеет... Сегодня кромешник, завтра угодник. Янус двуликий: одно лицо ко Христу, другое к Антихристу. Поди разбери, какое истинное, какое ложное. Или оба истинные?»\* Бельтраффио постоянно колеблется между мягким и податливым (несмотря на всю свою внутреннюю силу) Леонардо и строгим, до изуверства, Савонаролой. (Постоянно колеблющиеся между двумя правдами персонажи присутствуют и в других романах — Арсиноя в «Юлиане», Тихон в «Петре и Алексее».) Очевидно, такая колеблемость, податливость психологически близка самому автору (впрочем, тоже, как мы знаем, умеющему быть неуклонным). Это подтверждают следующие его строки, написанные почти «от себя»: «Глядя на любящих — хочется любить, на пляшущих — плясать, а на воскресающих — воскресать»\*\*. По-моему, замечательно сказано! В каждом из нас сидит мифологическая дева Эхо, которую иногда приходится удерживать от чрезвычайной отзывчивости.

Здесь затронут не только психологический слой, но и более глубокий онтологический: человек — «дитя двух миров», он существует одновременно и в плане вечного, и в плане временного. Тютчевское

«О, как ты бьешься на пороге  
Как бы двойного бытия...»

— об этом. По Мережковскому, человек — что менгир\*\*\*, который начинает колебаться, стоит слегка надавить на него рукой; и стоит он так — тысячелетия.

---

\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 1, с. 446, 464.

\*\* Д.С. Мережковский. Тайна трех, с. 142.

\*\*\* Менгиры — гигантские камни эпохи мегалита, поставленные так, что качаются на ветру (Ю.К.).

Но в смутные (то есть, особенно смутные) времена, когда ломается духовный строй, худо-бедно обеспечивавший *modus vivendi* двух противоположных начал, некоторое стилевое их единство, и подземные силы начинают беспокоило ворочаться и напоминать о себе, неизбежно усиливается шатание. Задержавшись на феномене раздвоенности, Мережковский не столько даже отразил, сколько предвосхитил собирающуюся на горизонте духовную смуту. Заметим: в мире, а не только в России. «Пока все тихо,— пишет он в 1902 году,— даже тише, чем когда-либо, но «имеющие уши» слышать уже слышат, как в умах и сердцах современного человечества смутно шевелится «древний хаос», как скованный Зверь пробуждается, потрясает цепями, хочет «выйти из бездны», дабы поклонились ему все...» («Толстой и Достоевский»)\*

«Менгир» склонялся на сторону стихийного язычества, тоже имеющего два лица. Одно из них — демона духовной прелести, второе — дьявола душевно-плотского и в этом смысле звериного любодействия. Наглядный урок такого двоения получает Бельтраффио в романе «Леонардо да Винчи». Божественная оргия Вакха-Диониса, которую он сподобился лицезреть, вдруг превращается в бесовский шабаш: юные менады оборачиваются старыми ведьмами, козлоногие сатиры — уродливыми демонами, а сам Дионис, юный прекрасный бог «с улыбкой вечного веселья на устах», — в смрадного Ночного Козла.

Обращение к прошлому для Мережковского — прием, позволяющий открыть в настоящем — вечное. Хлысты в романе «Петр и Алексей», кощунственно совершающие свои радения под образом Еммануила (Христа)\*\* , не ведая того, возобновляют древние вакхические игры (их исступленные крики «Эва-эво!», явно славянские по своей этимологии, таинственным образом схожи с греческим «Эво!»). И в то же время предвосхищают игры века XX-го. Богоискатель Тихон (тип, перенесенный из XX века в начало XVIII-го), глядя на то, как хлысты предаются кружению, пока на них не «накатит», некоторое время сопротивляется наваждению, но, в конце концов, сдается: «Тихон, как ни боролся, чувствовал, что слабеет, теряет над собой власть. Сидя на лавке, судорожно хватался за нее руками, чтобы не сорваться и не улететь в этом бешеном смерче, который кружился быстрее, быстрее, быстрее. Вдруг также вскрикнул не своим голосом — и на него накатило, подняло, понесло, закружило»\*\*\*. Придет время — понесет и закружит уже не отдельных бого- (или дьяволо-)искателей, но и тех, кого зовут обывателями — им тоже ударит в голову древний

\* Д.С. Мережковский. ПСС. Т. XI, с. 201

\*\* Странная переключка с «Эммануэль» — «правофланговой» современной эротической литературы и кинематографа.

\*\*\* Д.С. Мережковский. Соб. соч. в 4-х томах. Т. 2, с. 739.

хмель красного вина Дионисова. (Конечно, не у одного Мережковского было предчувствие возрождающегося «дионисийства»: не говоря уже о Ницше, назову хотя бы «Смерть в Венеции» Томаса Манна, появившуюся незадолго до первой мировой войны.)

Автора «Толстого и Достоевского», «Леонардо», «Петра и Алексея» вряд ли особенно интересовали американские негры. И уж наверняка не мог от тогда (то есть, в начале века) предвидеть, что их специфическая культура, сложившаяся на стыке двух далеких друг от друга культур, северо-американской (англо-саксонской) и африканской, явится тем геологическим разломом, откуда особенно интенсивно хлынет наружу «древний хаос», прошедший лишь первичную обработку культурой. Вот уж где смешение Христа с Дионисом! Или, точнее, с каким-то его африканским сродственником, природно-ритмичным и разболтанно-пластичным. Сартр назвал его Черным Орфеем, а лучше бы назвал Черным Дионисом (Орфей — нежный лирик, к тому же он был, кажется, растерзан менадами). Культ, хотя бы и анонимный, Черного Диониса так же стремительно разлился в современном мире, как это было с культом Митры, в античном, приходящем в упадок Риме. Два обличья у Черного Диониса, как и у его белого сродственника: одно из них — похожий на большого ребенка весельчак с невинной, чуть лукавой улыбкой на толстых, красных губах (из числа смертных, наверное, более других смахивает на него знаменитый Луи Армстронг); второе — Ночной Козел.

Хлынувший наружу «древний хаос», конечно, введен в определенные цивилизацией рамки и сильно стилизован; но от этого он не перестает быть «древним хаосом».

Возвращение стихийного язычества, по Мережковскому, — свидетельство близости конца, ужасающего и одновременно желанного. То, что называется апокалиптическим беспокоеством, всегда присутствовало в его произведениях, даже в относительно спокойные времена. И здесь тоже мы видим двоение: утопизм Мережковского как бы уравновешивается его апокалиптизмом. В результате первой мировой войны и, особенно, в результате катастрофы, постигшей Россию в семнадцатом году, его апокалиптические настроения резко усилились; теперь Мережковский убежден, что «время ускоряется; как течение реки к водопаду»\*. Его апокалиптические пророчества периода 20-х — 30-х годов (относящиеся уже не только к России, но ко всему человечеству) во многом созвучны пророчествам современных ему западных авторов (О.Шпенглер, Г. Ле Бон, Дж. Эвола, Ж. Ваше де Лапуж и другие). Минувшие десятилетия не подтвердили их и не отменили. Оставляя в стороне апокалиптические моменты, заметим,

---

\* Д.С. Мережковский. Тайна Запада, с. 527.

что вынесенный им «диагноз» и сегодня представляется актуальным: человечеству не хватает экстазов, которые позволили бы ему прожить еще неопределенно долго; современная «культура демонов» предлагает ему одни только неутоляющие экстазы — соленые воды, которыми нельзя напиться. Несть числа просто безумствующим, но где безумствующие в Боге? Их становится все меньше и меньше. Европейское человечество (идущее во главе всего человечества) утрачивает свою прежнюю душу, из христианского оно все больше становится мэоническим (от греческого «мэон» — не-сущее) и буддистским: в нирвану верит, а не в вечную жизнь.

«А» было сказано, оставалось сказать «Б»: все душевно-плотское, равно как и прелестно-духовное — в стороне соленых вод; земное может быть очищено и возвышено т о л ь к о путем аскезы (за которой следует сублимация). Но Мережковский не сумел освободиться от утопических иллюзий своей молодости\*; решающее его отступление и оступление — отвращение к аскетизму — похоже, осталось с ним до конца его дней. В этом он был сыном своего (XX-го, будем считать) века, тоже упорствующего, до последних своих лет, в решительном неприятии аскетизма. Все сейчас кричит о том, что без возобновления аскетических практик (а значит, без возрождения школы аскетизма — монашества) человечество просто не сумеет выжить. А в то же время трудно назвать что-то другое, что было бы более неприемлемо, чем это.

\* \* \*

Мережковского отличает некая слабость — не просто грешного человека, но чуткой художественной натуры, улавливающей тонкие сигналы, которые посылает «живая жизнь», и не всегда способного различить, что в них от Бога и что от «врага рода человеческого». Отсюда его бесконечные двоения. Не забудем,

---

\* Они у него лишь несколько потускнели со временем. Вообще говоря, судить об эволюции позднего Мережковского не так-то просто: не хватает материала. З.Н. Гиппиус в «Дмитрии Мережковском» вспоминает, например, что в 1933 году Д.С. выступил во Флоренции с лекцией, которая частью представляла собой «обвинительную речь» против идеи романа «Леонардо да Винчи». Где эта лекция? Где многое другое, написанное Мережковским в эмиграции, в частности, книги о св. Терезе и о св. Франциске? Работая над этой статьей, я не нашел их ни в одной из главных московских библиотек. (Так обстоит дело не только с Мережковским. Видимо, собрание даже наиболее ценных книг и статей, выходявших в эмиграции, а тем более републикация их, при нынешних темпах, займет еще годы.) Но и по тем публикациям, которые доступны сейчас, можно судить, что идея метафизического «раскрепощения» плоти, несмотря ни на что, продолжала владеть Мережковским, хотя уже не занимала в его творчестве такого места, как прежде,

однако, что «различение духов» — найтруднейшая задача, а конечное рассечение дwoящихся реальностей — вообще дело не человеческое, а архангельское. Усмотреть двоение там, где на поверхности выступает нечто нераздельное, — это уже кое-что. Мережковский ценен тем, в частности, что, по его выражению, «ставил вопросы». И эта его «вопросность» мне представляется в высокой степени современной; наше общество перекормлено готовыми ответами, с уверенными точками и восклицательными знаками в конце, и ему сейчас, может быть, нужнее отточия и знаки вопроса.

Гамлетизм Мережковского — продуктивен, ибо отражает внутреннюю противоречивость «живой жизни». Христианство и язычество, религия и культура — полюса бытия человеческого, притягательность которых, очевидно, сохранится до конца времен. Никто, наверное, так остро не почувствовал разрыв между религией и культурой, как Мережковский. И никто так настойчиво — и вместе с тем безнадежно — не попытался его преодолеть. Следующие поколения, как в России (точнее, уже в русской эмиграции), так и в Европе, оценят значительность этого вопроса и предложат самые разные его решения — от «воцерковления» культуры (если и желательного в принципе, то, во всяком случае, нереального в настоящих условиях) до полного оставления ее, так сказать, на произвол судьбы (точка зрения крупного протестантского теолога Карла Барта). Скорее всего, правильное решение должно стараться избегать крайних позиций. Как бы то ни было, путями, которыми в этом вопросе ходил Мережковский и которые сам же нередко и прокладывал, еще ходить другим.

Приговор, который Розанов вынес Мережковскому, был суров: «Такие рыцари до Иерусалима не доедут»\*. Не знаю, читал ли Блок в «Новом времени» статью, из которой взяты приведенные слова, но его собственное суждение как будто полемизирует с розановским: Мережковский подобен тем крестоносцам, которые, проходя через Рим и Константинополь, пришли в неопишное волнение от прелестей культуры, и — «...он не войдет в град небесный, пока не будет оправдано все земное — от «слезинки ребенка» до Венеры Милосской...»\*\*

Кто прав?

---

\* «Новое время», 1909, 19. XI.

\*\* А. А. Блок, Указ. соч., с. 180.

**Евгений ЕРМОЛИН**

## НА ТОТ СВЕТ И ОБРАТНО

*Советский опыт в прозе последних лет*

1.

После тяжелого, страшного сна не печалишься о пробуждении. А в советской эпохе была эта примесь бесконечного, безвылазного кошмара, в котором ты обречен пребывать вплоть до построения коммунизма безотлучно. При желании можно было даже подсчитать, сколько пятилеток тебе еще предстоит прожить в одной отдельно взятой стране.

«О! не знай сих страшных снов, Ты, моя Светлана.. Будь, Создатель, ей покров!»

Было бы славно забыть или хоть отодвинуть прежний опыт, уложить в пыльные архивы памяти не востребуемым посланием ужасные картины, вопиющие факты и убийственные подробности. Но, увы, к нашему неутешительному прошлому мы, кажется, обречены возвращаться снова и снова. (И хорошо, если только в воспоминаниях!) Это удел человека, чья жизнь разрезана надвое сменой эпох. Только прикроешь глаза — и у самых ресниц столбом стоит сон о былом. Мы прикованы к нему, как галерники к галере, и гребем против течения, заворачивая туда, откуда пришли. В страну, которой нет на глобусе.

---

**Евгений  
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 году в д. Хатела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподаватель Ярославского университета. Автор литературно-критических и культурологических статей, книги по истории Ярославля.

Да, жизнь ищет новое русло, а память уводит в прошлое: привет Советам! И пришло, кажется, время подумать о том, что она может нам дать, не слишком ли бесплоден тот стаж, чтобы опять пускаться в литературные и иные странствия по советской ойкумене — в поисках чего и по какой такой, граждане, надобности? Старый опыт давит на плечи, но есть ли в нем какая-то польза? Вот ведь для иных наших счастливых современников и соотечественников этого прошлого уже как бы и не существует. Оно выдрано с корнем и брошено прочь, на свалку истории. Словно и не было никогда семидесяти отчаянных лет. Советское — значит, никуда не годное. Проще начать все с нуля, да и время не терпит: кто не успел, тот опоздал. И горе тем, кто не сумеет быстро перестроиться, переналадиться. Они повисают в безвременьи, никому не нужные, везде чужие, жалко сбиваются в стаи и машут ветхими флагами...

Общество резко помолодело. Часто даже словно бы впало в капризное и неумное детство. В задорный наив. Нечто недоуменное есть в физиономии нынешних дней. Мы не знаем себя, потерявшись между историей и географией, наш корабль-призрак — везде и нигде. Взамен атласов и карт — коллекция идеологических ярлыков. Страна-безотцовщина на кривом, неясном пути спрашивает у астрологов и гадалок о том, что было, и о том, что будет.

Нет, мудрость не в том, чтобы похерить прошлое и отречься от себя. Собираясь жить дальше, нужно опознать, понять, уразуметь от начала и до конца тот, упавший на дно сознания материк. Иначе... Духовно не осмысленный, не просветленный опыт прошлого имеет свойство обнаруживать себя самым неожиданным образом.

...Было у нас время, года три, когда приливная волна гласности вынесла к читателю россыпь художественных и публицистических произведений о недавнем прошлом. На белый свет вышла анти-советская советская литература. И царство лжи закачалось и рухнуло от этих слов правды, впервые прозвучавших в полный голос на всю страну. Тогда показалось, что дело сделано, что главное сказано — и нечего больше ошалело бродить по минному полю.

Но сказано ли? И если да, то не затерялось ли сказанное в общем шуме и гаме? Сегодня массовый интерес к советскому прошлому ослабел, но неужели равнодушие и апатия явились следствием познания, постижения подлинности? Стали говорить об «усталости» и без конца трепать это ничего не объясняющее слово. Эпоха Великой Усталости? Скорее — эпоха большого беспамятства и крайней неопределенности, когда отданы все швартовы и корабль одинокий несется... а откуда и куда — никто не знает. Не потому ли и выматывает дорога?



Сегодня ясно, что набег на прошлое, предпринятые в первые годы гласности, не столь уж часто приводили к глубокому концептуальному промеру советской действительности, советского опыта человека. Складывается впечатление, что наш культурный авангард (и литераторы в частности) не выполнил тогда до конца своей исторической задачи, не смог насытить алчущих правды. Иное из того, что казалось в конце 80-х откровением, теперь явственно обнаруживает свою ограниченность, неполноту. Взгляд упирается в стену. В тот момент иногда казалось, что старая лож уже не воскреснет, ее век кончился. А ныне оглянешься — то там, то здесь восстает в нафталиновом облаке что-то, вроде бы давно закопанное в землю. И нарумяненные призраки прошлого в новом обличье начинают зловещую пляску, претендуя на нашу любовь и ласку...

## 2.

Вид, как говорится, еще тот. Но кое-кому нравится. Есть любители искать величие и красоту в гальванизированном советском мифе. Гостиницей для такого рода путешественников является журнал «Наш современник». Номеров много, а идея одна. Вчерашняя, ухнувшая в бездну эпоха предстает здесь в завершенном, законченном виде — как некая цельность, наделенная вполне определенной значимостью. Словно для нее найдено — «империя». А с ним появилось и искушение уравнивать советский опыт с практикой древних и новых империй. Подобье, конечно, есть. Правда, те-то хоть номинально были связаны иногда с религиозными ценностями и становились какой-никакой формой христианской цивилизации. А за советским государством ничего подобного не замечено. Но что за беда? Под имперскую колодку в спешном порядке подгоняется советская жизнь. В подлой и пошлой государственной политике отыскиваются величественные и торжественные моменты. Не история, а банк «Империал»! Не простота бесспорных истин, а роскошная реклама, — вот цель реанимации.

Таков роман «Последний солдат империи» Александра Проханова, писателя, которого склонность к политическому радикализму давно лишила независимой литературной критики. Проханов накладывает на хладное тело Советской империи (пусть будет!..) высокопарный романтический грим, чтобы поклониться ей, как идолу. Держава — это полуси и силы, надежности и порядка в беспокойном мире. Ей противостоят многочисленные и коварные враги. Государство утверждает свое державное величие на всех континентах, борясь с некими неопределенными и непонятными, но зловещими силами, «другой, враждебной цивилизацией». У этих сил тоже есть центр, где сидят странные люди «со скрюченными

носами, брюзгливо сжатыми губами, презрительно умными взглядами»...

Кого-то мне сразу напомнили эти люди. Я даже испугался: неужели знакомые или, Боже не приведи, приятели? Но тут же и вспомнилось: это же персонажи газетных карикатур приснопамятной правдистской поры, излюбленная мишень Бор. Ефимова! Это ведь с них срывал все и всяческие маски великий советский публицист Юрий Жуков... Выходит, не все еще сорвал, кое-что оставил и на долю преемников.

Главный герой прохановского романа Аввакумов — согласно авторской аттестации, геополитик-интеллектуал. Это гений и сверхчеловек. Он гордо и одиноко противостоит вселенскому разврату и регулярно погружается в воспоминания о том, как представлял державный интерес и «измерял дугу нестабильности» в горячих точках планеты (от Анголы и Никарагуа до Эфиопии и Афганистана), а в свой черед предавался там амурным похождениям и ловле бабочек (Владимир Владимирович, разрешите представиться!...). Было времечко.

Дедушка советской экспансии в окружении разноцветных бабочек и бабенок, оснащенный и простым, и диковинным вооружением, он там, где проходит передовая линия борьбы с ненавистным, антинародным масонством. Корни этого противоборства таинственны. И как-то даже неловко требовать от писателя ясности: за что, собственно, боролись? Какие такие светлые идеалы и нетленные ценности так непримиримо отстаивает Аввакумов? Эх, профаны мы, профаны...

Возможно, ответы найдутся в произведениях Проханова советского времени? Обратимся, например, к роману «Кочующая роза», опубликованному в середине 70-х годов. Какие-то клеветники из то ли «Монд», то ли «Тайм» в очередной раз опорочили советскую жизнь — и герой-журналист получает задание отправиться в командировку на Дальний Восток и своими статьями дать «достойный ответ» буржуазным злопыхателям.

Прохановский журналист, как водится у нашего автора, — блестящий мастер пера, победительный мужчина, почище этой старой квашни Юрия Жукова. Но — из одной когорты со знатным правдистом: всегда готов выполнить социальный заказ. Вот и тут не заржавело. Едет — и сочиняет гимны; в восторженном захлебе воспевает советскую жизнь, трудовой героизм, ударные социалистические будни простых советских людей, таких значительных в своем дерзании, в своей преданности делу — на земле, где «запахло БАМом»...

Вы не находите, читатель, что слишком как-то однобоко видит и изображает прохановский сервильный писака жизнь? Слишком как-то поверхностно и конъюнктурно?

С него что взять — он в газете на службе. Могут ведь и уволить. Но автор-то, автор-то на что? Тут бы Проханову и поправить героя, углубить видение реальности... Никак нет. Эпизоды из жизни журналиста перемешаны в романе с вышедшими из-под его пера опусами, но взгляд всюду один и тот же. Никакого зазора не возникает, лишней правде жизни не просочиться через эту стену, раскрашенную аляповатыми романтическими цветами.

Красноречивы и некоторые подробности. Скажем, тип общения столичного журналиста с провинциальными партийными начальниками. Секретарь обкома донельзя предупредителен, записывает в настольный календарь все пожелания гостя из окол Кремлевских эмпиреев и, судя по всему, исправно выполняет их. Гость в свою очередь удовлетворенно фиксирует: «Я был доволен, заметив его интерес к себе, к цели поездки...» (Точнее, кажется, было бы сказать «ко мне» — но это уж частности.)

Возникает шальная мысль: а может быть, именно причастность прохановских героев к большой, мощной власти является главным преимуществом советского режима перед всеми другими? Власть содержит и лелеет романтических гениев, оплачивает их таланты и услуги, делится с ними своими могуществом. И разве не приятно, черт возьми, когда вокруг тебя суетятся секретари обкомов и вожди марионеточных партий, когда ты видишь, как трясутся поджилки у всяких шестерок от одного твоего сурового взгляда, когда в кармане много бабок, а вокруг клубятся рои экзотических мамзелей в нарядных перышках, а то и вовсе без них?! Да тут не только душу продашь — с потрохами себя вывернешь, лишь бы к этой власти притулиться. А дальше — больше. Как в той рекламе: «Марина, и это только начало»...

Вот зачем нужна держава. Империя, если хотите. Все мы в конце концов глядим в Наполеоны. У каждого солдата в ранце маршальский жезл.

Но вернемся к Проханову нынешнему — «Последнему солдату империи». Важно, что достоинства Советской империи в еще большей степени обнаруживаются теперь как бы в отраженном свете. Они становятся очевидными в той мере, в какой на державу уже не клеветают, как раньше, а уже прямо восстают зловерные жидомасоны. Несообходимой предпосылкой апологии советского строя является демонизация окружающего мира, порча его, насыщение его злом и безумием. Именно враги, применив «организационное оружие», использовав чуть ли не магические знания всевозможных оккультистов, экстрасенсов и колдунов, погубили державу. Атмосфера надвигающейся эсхатологической катастрофы вполне освобождает от необходимости как-то аргументировать тезис о духовном величии империи. Тут уж не до прозы доказательств.

Тут вступает в действие пиитическая патетика, слышится вдохновенное бормотанье, гудит труба. Се — армагеддон.

Чем гуще тени, тем ярче свет. Постулированное сгущение в недалеких окрестностях клубящихся гадов позволяет не просто реабилитировать советский строй, но и объявить его оплотом и надеждой лучших сил бытия, всего, как говаривали в старину, прогрессивного человечества.

Эта схема, конечно, не нова. Советская агитпроплитература, моделируя действительность, тоже делила все мироздание надвое, разводила на идеологические полюса все, что попадалось под тяжелую руку. На новом этапе «борьбы за это» залежалая квази-романтическая ветошь обрызгнута для аромата настоем магии, оккультизма и всяческой чертовщины. Чекистские литературные ноктюрны классической поры (типа: «По темным улицам брожу один. Враги глядят на меня из витрин и не видят меня всего») разворачиваются в многословную симфонию предчувствий и предзнаменований, паники и страха, в разнообразно инструментованную манию преследования.

Меж тем описание банальных походов имперского ковбоя Аввакумова приходит в странное противоречие с постоянными похвалами по его адресу, расточаемыми и друзьями, и врагами героя. «Умнейший человек современности» ни по внутреннему содержанию, ни по характеру идей, которыми он одержим, не дотягивает до вменяемой ему роли. Он бывает элементарен, как гвоздь из знаменитого стихотворения Николая Тихонова (помните: «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей»). Трезво взглянуть, есть что-то маниакальное и порочное в упорном поиске врагов и заговорщиков, в неутомимой страсти к разоблачению демонических происков. Наличествуют ли в самом деле такие происки — еще вопрос. А вот сосредоточенность на их отражении делает персонажа не только полностью невменяемым, но и вполне определенно демонизирует его самого. Есть болезненно-нигилистический, человеконенавистнический надрыв в угрозах этого стального солдата империи какому-то американцу: «Наша империя, уходя из истории, утащит и вас в преисподню». Очень может быть, что «нашей империи» в преисподней и место, — но тут мертвый тщится еще схватить живого, потащить его за собой по гладко вымощенной дороге — в ад.

Смерть Аввакумова в финале воспринимается как легализация того статуса, в котором он пребывает с первых страниц романа. Этот «обломок империи», истреблявшей все живое на своем пути, — живой мертвец с казенным «умом». Он насквозь пропитан войной и смертью, как та недавняя эпоха, которая дала на него заказ.

Жертвой имперского соблазна стал и автор еще одной современниковской повести Леонид Бородин. Писатель неустанно — и как редактор, и как публицист — печется о христианских ценностях и даже в названии повести «Божеполье» не обошелся без прозрачной отсылки. Казалось бы, советское государство не должно вызывать у него слишком нежные чувства. Как ни крути, а власть-то была безбожная, яростно истребляла религию и веру... Ан нет. Выходит все с точностью до наоборот.

Неблагообразие современной жизни подвигает Бородина к тому, чтобы искать отрадных впечатлений среди прежней номенклатурной знати, угадывать в этом кругу проблески красоты и благородства. Осмеяв и заклеив сегодняшнюю безалаберную и грубошерстную демократию, он с внезапной симпатией изображает крупного советского барина, заслуженного чиновника Клементьева. В своей комсомольской молодости тот, конечно, чего-то там набедакурил. Но к старости сделался тих, добр и глуп, стал с грустью вспоминать белогвардейцев, прошедших некогда через его родное село. А главное — обнаружил заботу о целостности-сохранности государства, о державной мощи. И вот уж он — блюститель порядка и хранитель устоев.

Что уж за устои у власти, опирающейся на идеологию, в которой, по меткому словцу основоположника, нет ни грамма этики? Сие не очень ясно. Но хорошо видно, как старательно смягчает или даже устраняет Бородин многие невыигрышные для советской власти реалии, зато выводит на первый план хрупкую, одухотворенную дочку Клементьева — изысканный тепличный плод, оранжерейную позднестойкую особь, которая отважно заслоняет своим тельцем все безобразия и подлости папаша. А тут пришли разрушители, все пограбили-осквернили. Как ощущает это Клементьев, «страна в неуловимо короткий срок превратилась в неприбранную квартиру». Вот это-то и возмутительно. Все было прибрано, ухожено, все сидели по ранжиру — кто в обкоме, кто в ГУЛАГе. И мнение было одно на всех — единодушный одобрямс. Эстетика, ешкин хвост. Нынче же явились прохиндеи, грязи нанесли, бумажек набросали, говорят что кому вздумается. Нешто это лепо?

Ладно бы один Клементьев. Автора, однако, тоже, по всему видать, от демократических обычаев воротит — в одну сторону с его героем.

Проханова от Аввакумова обычно не отличить. Но и Бородин с Клементьевым иногда поразительно похожи друг на друга — не взглядами, так чувствами, эстетическими переживаниями, рефлексамии. Да и взглядами подчас, если почитать многочисленные бородинские статьи и интервью.

В этом есть какая-то недодуманность — даже странная для такого жесткого логика, каким предстает Бородин в своих художественных опытах. Чем дальше мы углубляемся в лес бородинских текстов, тем наглядней делается то ли сбивчивость понятий, то ли неотчетливость убеждений. Встречаешь, например, рассуждения такого рода: государственность-де — это универсальная форма, вроде горшка; дай-ка выплесну из нее советскую бурду и наполню сосуд елеем — вот будет славно! Читая такое, поневоле вспомнишь азы советской школы, известную формулу об искусстве социалистическом по содержанию и национальном по форме. Неужели эта схема запала в душу писателя?

Между тем, славно не будет. Форма не безоотносительна к содержанию, которое в нее вмещается. Гораздо справедливее считать, что качественно своеобразный духовный опыт находит выражение в конкретных формах культуры и цивилизации. Советское государство — это весьма специфичный и во многом уникальный способ взаимоотношений власти и человека, власти и народа. И способ этот стал ответом на духовные проблемы именно XX века, связанные с расцветом и кризисом позитивизма и рационализма, с зарождением и вырождением романтизма, с упадком веры, с ослаблением аристократического элемента... Об этом можно было бы говорить долго. Вообще советский тоталитаризм еще ждет своего исследователя. Скажу здесь одно: универсальной формы нет. В старые мехи не влить новое вино. Да и где они, мехи? Вместе с кризисом духовных основ, распадом советской ценностной иерархии корродировало и государственное устройство. Тут уж ничего не поделаешь. И сегодняшние ахи и охи горе-«патриотов» о развале могучей державы — это либо несусветная глупость, либо выгодная конъюнктура. Держава была домом на песке — и не могла не рухнуть, когда ложным ценностям пришел каюк.

Возникает ощущение, что и сам Бородин не до конца уверен в своих постулатах. Мне даже хотелось бы верить, что его пощещают сомнения — и не только рационалистически-конструктивной игрой является та система противовесов, которую он создает в повести и которой вы не найдете у других певцов империи. Эта система выражается в том, что писатель изобразит и изъяны старой власти (впрочем, мелкие), и слабости партсовчиновников (впрочем, простительные; да и кто не без греха?). Он даже накажет героя за давнишние, юношеские грешки (как будто в свои зрелые годы сей номенклатурный фрукт вовсе не грешил, командуя со Старой площади несчастной страной). Клементьев умрет от двух причин: разволновавшись после встречи со старухой — первой своей любовью, той прежней кулацкой дочкой, которая была отправлена им некогда туда, куда Макар телят не гонял, — и раскрыв обман своей любви последней, верной и преданной жены, которая,

оказывается, блудила с демократом. Юношеская измена, так сказать, аукнулась в старости.

Оговорок много, но и заветный план не потерян из виду. Умеренная реабилитация и посильная эстетизация совласти совершаются исправно. По этой логике естественования, и предсмертные страдания Клементьева выглядят как своего рода искупительная жертва, которая смыкает с его чела копоть старых преступлений даже в отсутствие сколько-нибудь внятного покаяния. А закон возмездия, проявивший себя в судьбе героя, придает этой судьбе завершенность и значительность...

Такое вот, с позволения сказать, христианство. Не поймешь, то ли автор Константина Леонтьева небрежно перелистал, то ли про Великого Инквизитора вспоминал. То ли, не мудрствуя лукаво, хотел петь осанну государству, каким бы жестоковейным оно ни было, лишь бы покрепче, поядреней, помускулистей, чтобы посторонивались и давали ему дорогу все окрестные народы и государства.

Ясно одно: повесть сконструирована в соответствии с наперед заданной установкой. Поверхностное жизнеподобие маскирует господство идеологизированной схематики. Скажем, на добрую треть повесть — римейк толстовской «Анны Карениной». Жена большого советского начальника изменяет ему с режиссером-нонконформистом, однако — и это новость — раскаивается, осознавая, сколь благороден и величествен ее супруг и сколь ничтожен жалкий хлюст Вронский. То есть Жорж. Советская Анна не бросается под поезд. Она, подобно Комиссару Всеволода Вишневского, берет пистолет и стреляет в своего незадачливого любовника. «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?»

Вот так старая литературная матрица подвергается идеологической обработке. Читателю судить, какое отношение все это имеет к правде жизни.

#### 4.

В сущности, и Бородин, и Проханов работают в традициях испытанного художественного метода: они привлекают беглые наблюдения над современной жизнью в качестве материала, используют их для иллюстрации готовых тезисов. В основном же небескорыстно используют старые, привычные схемы и приемы, которые срабатывают иногда полуавтоматически. Скажем, прохановский Аввакумов — логичное звено в цепи героев соцреализма, нержавеющей винтиков советской державы, отчасти же целлюлозный голливудский супермен и резонерствующий газетный публицист. В духе новой конъюнктуры это не просто твердокаменный коммунист — важно еще, что он — выходец из купеческого со-

словия, а не какой-нибудь Иван, родства не помнящий. И, конечно, Аввакумов — глубоко верующий человек, как же иначе?

Повода обсудить вопрос о том, как сочетаются вера и дела героя, не возникает. Да никак. Не для того он верит, чтобы мучаться по ночам от уроков больной совести. А для того, чтобы еще крепче стоять за империю. И потому православная вера насколько не мешает Аввакумову при всяком удобном случае предаваться плотским удовольствиям со всевозможными европейками, африканками и россиянками. Описано это вкусно. Только маленькая деталь. У замужней подружки героя, забегающей к нему на ночь, «маленькие островерхие груди с горячими упругими сосками». И такими же «горячими сосками» обладает одна итальянка, с которой герой переспал в каких-то джунглях. Что тот солдат, что этот. Персонажи взаимозаменяемы. В данном случае и та, и другая дама — только атрибуты супермена, свидетели его неотразимости.

Изношенность и стандартность непритязательно позаимствованного там и сям художественного материала бьют в глаза, несмотря на очерковый оживляж. Сама механически-комбинаторная техника писателей — это убедительное доказательство искусственности замысла и мертвенности идей, которыми они вдохновляются.

Меж тем ситуация для художника сегодня исключительная по оригинальности. Прежняя эпоха изведена нами, испытана на собственной шкуре: мы в ней жили. И в то же время, досрочно прервавшись, завершившись с опережением, она внезапно явилась нам вся целиком — и становится объектом для анализа, для осмысления как законченный и целостный исторический момент, как звено в цепи истории и отдельный, качественно определенный миг в перспективе вечности.

Эта двойственность позиции по отношению у советскому времени легко может склонить к своекорыстному мифотворчеству. И мы видели, как это делается. Но она же дает уникальный шанс. Есть возможность соединить жизненный стаж, осязательный опыт контакта с советской действительностью — и глобальность перспективного видения. Преходящее и пресекаемое измерить непреходящими ценностями и смыслами.

Конечно, требуется отвага и для того, чтобы вернуться в советское прошлое, и чтобы не сковать себя заранее шаблоном и схемой. Искать истину всерьез, а не имитировать жизнепознание — это все равно, что нырнуть в омут, чая коснуться еще неизвестного дна и поднять оттуда в горсти неведомой и невиданный камень. Но удастся ли выплыть?

Мне кажется, надежным путем прошел к постижению сущности советской эпохи Анатолий Азольский в повести «Окурки», напечатанной в прошлом году в «Континенте». Это писатель вовсе не стремится к публицистическому проговариванию отвлеченных



идей или к рационалистическому конструированию. Азольский — рассказчик. У него должность бывалого человека, много видевшего и слышавшего. Он и рассказывает бывальщину, из вторых, из третьих рук беря свидетельства и факты.

История изложена со слов очевидца — Ивана Федоровича Андрианова. Он делится воспоминаниями о военной поре. После ранения он был направлен на курсы младших лейтенантов, базирующиеся в лагере посреди степи, — отвечать за склад с оружием и боеприпасами. Здесь-то и развернулись события довольно странного свойства. Сначала пропало руководство курсами: уехали и не вернулись. Это бывает. Но тут появился на «виллисе» полковой комиссар — и, проявив инициативу, отдал нелепый приказ снести фанерную перегородку в столовой между отделениями для курсантов и для офицеров. Отдал приказ — и уехал. Перегородку снесли. Но это никому не понравилось. И пошли толки, слухи о предательстве, а самые идейные курсанты «стали поговаривать о зреющем заговоре против товарища Сталина».

Незначительные события — порознь понятные и объяснимые — начали наслаиваться одно на другое, как в снежный ком, — и случился обвал. Подозрения, сомнения и разговоры о вредительстве и диверсиях преросли в дела. И вот уже то готовят аресты, то восстают рота на роту, то, никому не веря, слепо блуждают в поисках врага...

Андрианов не вмешивается в поток событий. Он только пытается выбраться из него на берег, чтобы уцелеть. Ищет надежную опору. Так сближается он с неподдавшимся хаосу — отпусником майором Висхоном и его побратимом Калининченко, со случайными, приблудными женщинами, оказавшимися в соседней деревне.

В финале повести начавшееся большое наступление вовлекает в свою воронку и курсантов, и их командиров. А в лагере и вокруг него разворачивается вакханалия смершевского следствия, которая поглощает и стирает в порошок всех, кто попался под руку и обнаружил признаки жизни. Лишь Андрианов неким Арионом случайно выброшен в итоге на безопасный берег...

Что может быть проще полупротокольной хроники, вместившей в себя события нескольких дней? Но у этой незамысловатой, на первый взгляд, повести — двойное дно. Ее, конечно, можно прочитать и как уже привычную социально-разоблачительную историю об ужасах советской жизни. Сюжет о бунте в школе младшего комсостава, с этой точки зрения, конечно, странноват: о лете 43-го года так еще не писали. Но все-таки в повести отразились и военное лихолетье, и жестокий советский быт, и суровые армейские нравы. И видно, что не ценили у нас человеческой жизни, тратя этот материал почем зря... Однако, если вдуматься, Азольский производит совершенно неожиданный срез

реальности, показав, что случилось с человеком, попавшим на орбиту советской идеологии и практики.

Писатель находит человека в самом сердце той бездны, которая разверзлась гигантским кошмаром в XX веке. Страшное пекло войны — печь огненная, поглощающая человеческие массы. Ад, где для суверенного человеческого я, кажется, больше нет места. И замкнутое пространство: загон, огороженный трехметровым забором. Территория, где человек сам себе больше не принадлежит, где от него не ждут никакой инициативы, а только — подчинения. Лейтенантская школа. Казенные люди.

Военных действий в повести практически нет. Нет противника. Есть покорное ожидание и неясное брожение. Есть фатализм, чувство обреченности, нежелание жить. И есть вопреки всему — слепое и упрямое желание сохранить себя...

Грань между жизнью и смертью смазана. Люди легко уходят из жизни. Целые роты пропадают в неизвестности без всякого следа. Где они, что с ними — у кого узнать? Но и пока человек определенно жив, то есть отозвался на переключке, учтен и поставлен на довольствие, — это не всегда легко назвать жизнью. И документы у него проверены кем надо, и все печати на месте, — и неладно что-то с ним, хоть режь. Разум и здравый смысл отказывают, и правит всем чья-то неведомая воля, роковая блажь. Тянет куда-то в трясину — и утянет однажды с головой. Каждую клеточку действительности до отказа заполняет собой бред.

...Лагерь находится в глухом степном краю, и местность совсем не пригодна для обучения курсантов: «ни речонки рядом, чтоб обучать на ней обороне переправы, ни господствующей высоты... ни леса». Откуда взялись в пустынной стороне «клуб с библиотекой, котельная, пекарня, уходящие в землю склады, гараж, движок, от которого ярко горели лампы в помещениях и по забору, столовая, баня с промывной способностью в несколько сот бойцов, четыре караульные вышки с прожекторами, просторные и светлые казармы с комнатами культурно-бытового назначения»? Какой чудесный строитель воздвиг их здесь и для чего? Об этом остается только гадать.

... Казалось разумным готовить в тылу офицеров из уже обстрелянных на фронте солдат. Но эта рациональность легко опровергнута. Придет час — и почти готовых офицеров заберут обратно на фронт рядовыми. Да и до передовой они, кажется, не дойдут, пропадут всей ротой. Были люди, и нет их.

...Раненый защитник Родины майор Висхонь после госпиталя получил отпуск и приехал подлечиться в деревню к родственнице — что тут странного? Но зарождается, как из воздуха, мысль, отливающаяся в форму безапелляционной истины, что Висхонь-то — агент немецкой разведки. И этот самородный бред рано или поздно погубит майора.

...Да и пресловутый курсантский бунт. Ну, что сказать об идейных мальчишках из третьей роты, набранных на курсы из школ и вузов, поэтах и мечтателях, которые уходят, «не докурив последней папиросы», чтобы... заживо сжечь, вместе с деревенским домом, трех беспутных армейских женщин-«парикмахерш», — а через два-три дня в свою очередь сгинуть — в никуда и навсегда?

Истолковать эти странности — значит, догадаться: в мире, изображенном Азольским, подлинная реальность почти напрочь упразднена. Есть только реальность сочиненная, мнимая. А сочиняют её кто как может. Сплетаются в клубок слухи и грезы, политические фантомы и идейные миражи — и в сознании персонажей уже сама собой ткется полупрозрачная ткань мифа. Согласно его прихотливой грамматике разобранная однажды по глупому приказу фанерная перегородка в курсантской столовой приходит в прямую связь со слухом о чем-то предательстве, о зреющем заговоре против товарища Сталина, о высадке возле учебного лагеря немецкого десанта... Один случай цепляется за другой, вымысел хватается за бред, — и вот этой иррациональной связкой человек уже обрекается на смерть.

Творит свою действительность и власть. Эта рукотворная реальность-самоделка — в лживых сводках Совинформбюро, в сочинительстве следователей из ленинградского Большого дома на Литейном, в лапы которых попал перед войной очевидец событий в курсантской школе Андрианов, наш проводник в этот ад, с чьих слов мы и узнаем о случившемся. Тогда, до войны, Андрианов едва выскользнул из объятий смерти, применившись для спасения к логике чеккистского мифа. Теперь... Фабрикация действительности идет поточным методом. Почему бы во всемогущем СМЕР-Ше не родиться и делу о военно-фашистском заговоре на курсах младших лейтенантов? А уж смершевцы делают то, что умеют, — сеют новый посев смерти.

Мир заморочен, заполнен суррогатами, произведенными и властными инстанциями, и простыми советскими людьми. Каждым в отдельности и всеми вместе. В этом сплетении сочиненных мифов даже нормальный, здравомыслящий человек теряет ощущение подлинности. Он сам уже не отличает иногда черное от белого, явь от морока.

Деревенская девка стечением обстоятельств получила новые имя и фамилию (прежние сделались вдруг опасны) — а с ними и новую версию биографии, согласно которой она, забеременев, едет с фронта в тыл, домой. И вот уже она сама не поймет, то ли она беременна, то ли все же нет... Сожженные было «парикмахерши» вдруг словно воскресают — чтобы всерьез и навсегда погибнуть, может быть, иначе и страшнее.

Тут царство не обеспеченной абсолютными гарантиями реальности, подчас внушенной и вмененной, как приказ. Но, не имея

бытийной опоры, эта реальность может рухнуть в одночасье, как карточный домик, от сквозняка, от полуслучайного выстрела майора Висконя. Азольский создает картину самодвижущегося абсурда. Он фиксирует динамику этой катастрофы, накатывающейся на человека снежным комом и увлекающей его за собой. Парадокс идеологического бреда приводит на смену рушащимся мифам все новые и новые причудливо-зловещие фантомы сознания, готовые к немедленной агрессии, к истреблению остатков жизни.

Недавно «Знамя» напечатало новую повесть Василя Быкова «Стужа». В ней тоже есть фатум. Есть ощущение опасности и неизбежности. Быков ведет рассказ о надломе изначально хорошего человека, оказавшегося в упряжке советской власти. Его герой, честный и работающий крестьянский парень, был взят в возчики председателем райисполкома и в конце 30-х сделал карьеру, войдя в районную партверхушку ценой доносительства. Доносил не добровольно, а по принуждению, но факт есть факт. Эпоха и среда сломили человека...

Однако Быков прежде всего — моралист. Ему важен урок. И он только намекает на бредоносность советского бытия, а тем временем ищет нравственный позитив. И находит его в уже привычном для себя месте. В первые месяцы войны он приводит героя к доброй деревенской тетке, труженице с непорученной традиционной этикой христианского корня, чтобы та согрела и выходила героя. Испытанным сюжетным ходом Быков возвращает миру надежный смысл. Только в финале повести в напоминание о зле бытия герою в его новых странствиях достается в провозатые собака по кличке Вурдулака — пес, испивший человеческой крови... Образ эффективный, но, может быть, чрезмерно условный.

Азольский о безумии эпохи рассказывает, не сглаживая ничего, не ища беллетристических развязок. Отсюда, вероятно, и форма бывальщины. Написана повесть о канувшей жизни, то ли бывшей, то ли нет. О почти невозможном, легендарном и запретном, опасном и непонятном происшествии. О том, что тлеет на зыбком краю памяти у двух-трех человек. В способе повествования точно фиксируется качество неопределенности, может быть, даже эфемерности происходящего. Это не традиционалистская проза в ключе «окопной правды», с отчетливым моральным конфликтом и вменяемыми, сознающими себя от начала до конца персонажами. Это что-то другое, выражающее еще не остывший, болезненный и мучительный опыт двадцатого столетия.

Писатель вывел повествование на уровень бытийных обобщений. И — намекнул на главную тайну советской действительности. Она вконец испорчена, ибо — безблагодатна.

Она не растет из глубин бытия, а выводится из фикций идеологии, из произвольных комбинаций идей и правил, которые, конечно, сколько угодно могут претендовать на подлинность, ими-

тировать подлинность — но не достигают ее и даже не приближаются к ней. Скорее отдаляются. Фантомная идеология миражирует некоей квазиреальностью, — вот дьявольское изобретение, подчинившее себе мир и человека. Точнее, сочиняющее мир и человека по своему лекалу.

Ткется материя зла. И не просто зла социального. Это-то мы видели в прозе, ориентированной на бытописание и социальный анализ. Социальные разоблачения такого рода в основном уже утратили статус открытия, стали будничным хлебом журналистики. Зло в повести Азольского имеет онтологическую природу. Мир сорван с оси и запущен в круговорот смертей дьяволом.

Сам писатель про это не говорит. Он про это знает. И это знание не требует выговаривания в тех словах и выражениях, которые поневоле приходится употреблять критику. Истина являет себя сама, когда текст приобретает символическую глубину.

Проходит лик мира сего. Еще на рубеже веков некоторые ощутили подозрительную убыль реальности, «агонию бытия». Кажется, что материя вселенной развоплощается. К середине века процесс, кажется, достиг каких-то запредельных величин, ткань органического бытия почти совсем растаяла. Остались абстрактные идеи, рационалистические доктриналы, импульсы воли. Целые общества — гурьбой и гуртом — перешли в квазибытие, не просто в иной социальный порядок — в иной, духовно альтернативный существовавшему дотолле мир.

В повести Азольского выведен экстракт советского строя, этой метафизической пустыни, где дьявол сочинял свои миражи, искушая человека. А человек, почти не привязанный к бытийному основанию, раскрывается как фантасмагорическое существо, не умеющее в потоке мифов нащупать дно подлинности. Безумие фиктивной реальности поглощает его. Теряя себя, человек включается в массу — этот зловецкий знак аннигиляции духовно-личностного начала. Личное растворяется в созерцающей самое себя массе, с ее рефлексами и психозами.

Массовое безумие сгущается в повести в железо. В две недели курсанты свихнулись от потери каких бы то ни было осмысленных опор в бытии. Тогда-то вчерашние романтические мальчишки-идеалисты и становятся «хищной, злобной и жадной до крови стаей»... Душа бездействует, а телесно человек неслышанно, конвульсивно активен. И за считанные часы жизнь изживается впустую, жизненная сила истощается, выкачивается без возмещения и воздаяния.

Повесть окольцована эпизодами, в которых появляются люди-призраки, от которых осталась только хилая оболочка. В зачине это группа пожилых граждан, в середине 50-х поставленных на учет в клуб ДОСААФ. Они оказались выпущенными из лагерей генералами и полковниками (в их числе и Андрианов). Все старые связи у них навсегда разорваны. «Жены отреклись давно, дети

прокляли, родственники постарались о них забыть». Они никому не нужны, и не замечают друг друга — «тихие, скорбные, отгоревшие люди, которым не восстать уже из пепла».

А ближе к концу повести на ее страницы выходит «бледно-синяя масса людей, похожих на трупы, только что вставшие из братской могилы» — колонна «разлагающихся призраков»,двигающихся по лесу из ниоткуда в никуда. «Переброшенные из-под Петрозаводска пограничники», навсегда затерянные в обманном пространстве. (А следом и курсантские роты тихо канут в провал эпохи.)

Предмет Азольского — действительность, пораженная глубоко и непоправимо. И этот мир поглощает, ломает. Очень трудно выгородить клочок независимого пространства в душе. Здесь человек чувствует себя часто беспомощным. Он не властен ни над жизнью своей, ни над смертью.

## 5.

Судьба человека в миражирующем мире — постоянный проблемный узел и в прозе Михаила Кураева. Вот еще один рассказчик былей советской эпохи. Только Азольский лаконичен, сдержан, прост. Кураев же прихотлив, разговорчив, иногда необременительно болтлив. Азольский ничему не удивляется и ни о чем не вопрошает; он ничего не объясняет и обычно эпически невозмутим. А Кураев все гуманно прокомментирует, даст свои понимание и оценку; увлеченный ассоциациями, удалится в смежные области рассуждений и воспоминаний. Он даже и без нужды присочинит немало «для большей увлекательности и фантастичности», чего от Азольского никак не ждешь. Азольский с головой погружен в описываемую действительность — Кураев дистанцируется от нее, отчасти уже воспринимает игру советских мнимостей как своего рода эстетический объект, как исторический каприз и повод для удивления.

И все же их многое объединяет. Откуда бы они ни шли, но сошлись на сходстве в восприятии советской действительности как мнимого мира. И обоих интересует вопрос о доброкачественности и бытийной реальности человека, сформированного в советскую эпоху. Как сопрягаются мнимость и самость? Как человек сохраняет себя в нереальном мире? Как он побеждает страх и нежить?

До конца это остается неясным. С одной стороны, человеку не за что держаться. Он опасно беспочвенен, его шатает судьбой из стороны в сторону, носит по простору. С другой — вообще все на свете было бы непоправимо и фатально, если бы не заговор простых людей против слетевшей с оси эпохи. Если бы не мудрость опытных и стойкость слабых.

Азольский не случайно назвал свою повесть «Окурки». Его главный герой, Иван Андрианов, прошедший огонь и воду, ГУЛАГ и фронт, — затаился в тени бесчеловечной системы. Застегнул глухой ворот гимнастерки, надвинул на глаза фуражку... Спрятался — но не отрекся от себя. Андрианов знает, что в мире еще есть неиспорченные вещи: женская любовь, тайна смерти, долг солдата. Мало? Мало. Но он еще сумеет пожалеть и побережь ближнего, коль скоро это в его власти. Он надежен в словах и поступках.

Близок ему и Игорь Иванович Дикштейн из уже новой повести Кураева «Капитан Дикштейн». Кронштадтский матрос после окончания 21-го года, чтобы спастись от смерти, отказался от имени и биографии (как те «парикмахерши» у Азольского). Начал жить новой жизнью под новой фамилией. В этой подмене чудится символическая глубина. Ведь вся страна сменила себе имя и жила 70 лет сама не своя. Или не жила уже вовсе?

По Кураеву, жизнь все же не оборвалась, существование не прекратилось. Герой создает себя заново. Но этот новый человек — вовсе не советской штамповки. Он осторожно восстанавливает старые человеческие связи — с матерью, женой. Он пытается жить не по матрицам эпохи.

Мы застаем Дикштейна уже в 60-е годы, скромным гатчинским обывателем. Стариком, не выслужившим пенсии, оказавшимся, по выражению автора, «на свалке истории». Кураев описывает героя с ироническим обожанием — и поди разбери, чего здесь больше: иронии или обожания. Игорь Иванович привержен строгим правилам, это подчеркнуто снова и снова. Однако сфера его жизненной активности уж очень мала. Дикштейн — домашний педант, он любит, чтобы все лежало на своих местах. Так, автор разворачивает на несколько страниц историю о продаже желтой сетки под пустую посуду. Герой ворчит на весь белый свет, упорно разыскивая пропажу, и не желает примириться ни с какой заменой, предлагаемой женой. Далась ему эта сетка! Не менее внимателен Игорь Иванович к своему внешнему виду, и писатель затевает ревизию скромного гардероба Дикштейна, рассуждая о том, что и когда прилично надеть.

Так что же, Игорь Иванович — смешной домашний деспот и пожилой франт? Не будем спешить с выводами. Причины страсти к порядку глубже. Тут не просто старческое чудачество. Во-первых, тем самым Дикштейн как бы оправдывает доставшуюся ему случайно немецкую фамилию, стремясь получше замаскироваться, чтобы скрыться от зорких чекистов. Но и это еще не все. И не мимикрия главное. Автор скажет, что смысл поведения Игоря Ивановича — «онтологичен». В его «педантичной требовательности к мелочам, в способности в простых житейских обстоятельствах видеть строгую иерархию качеств, всегда отдавая предпочтение лучшему», проявилась устремленность к лучшей жизни. Это не

сугубый формализм, как могло бы показаться. Здесь есть упорство выживания, выламывания из фатальных обстоятельств. Есть свобода, хотя и стесненная со всех сторон — не страхом, так принуждением. Есть остаточный, почти изначальный аристократизм.

Соседи не зря называли Дикштейна «капитаном». Советский мещанский быт надорван и нездоров, хаотичен. И внутренняя дисциплина, честный этический ориентир «капитана» Дикштейна — это какой-то низовой, тихий вызов хаосу обыденности. В этом действительно есть что-то «капитанское», что-то восходящее к незабываемым основам бытия, к культуре. Игорь Иванович даже пиво пьет не как-нибудь бестолково, а превращая обыденное, профанное занятие в почти сакральный ритуал.

Вытоптана память, и не осталось живого места для религии и веры. Но все же попытки ампутировать душу наталкиваются на решительное сопротивление. И безнадежно измельченная и ополненная плазма быта тянется на огонек священнодействия. Хотя бы на отблески его.

Порядок простых житейских форм и правил — это остаток того бытийного Порядка, «коему подчинялись раньше даже боги», — извилисто скажет Кураев. Это отсвет божественной гармонии мироздания в миражной действительности, где нет ничего надежного и прочного. Дикштейн не умножил мнимости, но отверг их. И это дает основание утвердить значимость «человека, которого еще, может оказаться, и не было вовсе». Кураев опять иронизирует. Если вернуться к его определению местопребывания Игоря Ивановича («свалка истории»), то уместно спросить: что это за «история», свалкой которой является тот мир, который утверждает в себе и вокруг себя Дикштейн? Затертое, идеологизированное выражение приобретает многозначность. И многозначность эту нам еще нужно раскрыть и понять. Для государства-то Дикштейна точно как бы и не было. А для вечности он не потерян.

Тема продолжена Кураевым в недавнем новомирском романе «Зеркало Монтачки». Местом действия здесь выбрана ленинградская коммуналка 60-х годов. Ячейка советского общества — и в этом статусе накопитель массы. Но эпоха взята уже ближе к ее финалу, климат смягчился. И писатель фантазирует, чтобы заострить коллизию. В один прекрасный день, после визита в квартиру бывшего генерала МГБ, все ее обитатели теряют свое отражение в зеркалах.

Автор прочерчивает какие-то таинственные линии сверхъестественных сопряжений, но в его приеме все-таки есть почти чрезмерная очевидность умозрения (как в собаке Вурдулаке у Быкова). Кураев и сам велеречиво заметит: «С полным основанием можно допустить, что подобного рода недуги имеют под собой историческую почву и носят социально-эпидемический характер». Сильнее и громче звучит в романе мысль об условности,



относительности культуры вообще — и это сближает Кураева с релятивистской философией постмодерна. Но параллельно все же писатель ищет возможности убедиться в том, что человек реально существует среди фантомов и условностей.

Роман — каталог судеб. Еще один кураевский капитан, бывший командир подлодки Иванов, герой войны, торпедировавший знаменитый транспорт «Оттомаршен», ныне разведенный алкоголик-одиночка. Музейный работник Аполлинарий Монтачка, отважный собиратель для музея «малых архитектурных форм» из расселяемых старопетербургских домов. Смоленская крестьянка Клавдия Подосинова, разругавшаяся некогда с председателем сельсовета и бежавшая из деревни, мыкалась затем по пригородам Ленинграда, то находила, то теряла свое бабье счастье, и наконец осела на канале, работница швейной фабрики. Скромный музыкант из знаменитого оркестра Михаил Семенович Шубкин...

Нет, так представлять обитателей злополучной квартиры нельзя. Как правило, в этих судьбах очень мало личной воли. Эпоха и власть слишком многое определили в этих биографиях. Чужая, жестокая и непреклонная «история» забрала себе не год, не десятилетие — чуть не всю жизнь, а отработанный материал без церемоний отправила в утиль, «на свалку». Жизнь человека в этом мире скудна и клочковата. Кураеву не всегда удается нащупать ее реальную основу, хотя он настойчиво шарит в прошлом своих героев. Там есть два-три момента весьма значительных (как, например, военная удача Иванова), несколько анекдотических казусов, необычайных случайностей... И все.

Мальчиком Гришу Стребулева мобилизовали власовцы: мачеха сдала его взамен своей старшей дочери. В обозе он дошел до западной Украины, где полыхала гражданская война, и только случайно выпутался из военных передряг, насмотревшись всякого. Вернулся в Ленинград, где жили мачеха с сестрой — и вскоре был арестован, судя по всему — по доносу той же мачехи, как лишний жилец в комнате, которую с его появлением пришлось делить на троих. Отсидел в лагере, снова приехал в Ленинград, устроился на работу, завел жену, но так и дожил с болезненным заводом до ранней, страшной смерти: пропал бесследно, убитый какими-то архаровцами из мелкой мести... Господи, для чего родился этот человек, для чего он жил? Из всей его жизни автор акцентирует, кажется, два момента. Первый — когда зрелая, опытная баба на дорогах войны соблазняет мальчишку, приобщив его к бездуховным уладам плоти. И второй — когда лагерный начальник в обмен на присланный из дому самоучитель игры на аккордеоне устроил Грише «ночь любви» в женской колонии... И это все?

Персонажи романа живут в ненадежном мире, и жизнь их — кривая и косая, казусная, нелепая и сомнительная... Да живут

ли они? Или только влачат околосуществование, подобно призракам, фантомам, кочующим, как облака, в чужом и опасном просторе? Осталось ли в них что-то живое? Что-то настоящее? Кажется, Кураев сам теряется и не всегда готов ответить на эти вопросы. Но он отважился все-таки завершить роман свадьбой — и описал ее как своего рода праздник братства, звездный миг, в котором люди хотя бы ненадолго находят себя (и, кстати, возвращают способность отражаться). Это, может, не окончательное выпадение из мнимости, но уже, по крайней мере, симптом того, что человек все-таки есть, что душа его жива. Сентиментальный философ и меланхолический созерцатель, Кураев угадывает здесь прорыв к жизни и к подлинности. Сквозь щели громоздкого социального бедлама тайно просачивается живая вода человечности.

## 6.

Лет десять назад казалось, что мы обречены жить и умирать «при социализме». Тоскливое и безнадежное было время — воздуху для дыхания не хватало даже самому генсеку, и он спазматически задыхался на глазах у всей страны.

Но теперь мы видим, что советский строй рухнул. Удивительно быстро и как подобает: от слова правды, от крестного знамения. И не в последнюю очередь от того, что человек не согласился с ним и нашел в себе силы противостоять всемогущей мнимости. Это чрезвычайно поучительный сюжет — вероятно, главный, в литературе, которая осмысливает советский опыт.

Сегодня все реже встретишь изображение лобового противостояния личности и общества. Возможно, здесь сказывается преимущество исторической дистанции. Завершенность советской эпохи создает расстояние между писателем и советскими реалиями и позволяет без публицистических заданий, более трезво и пристально всмотреться в панораму советской действительности, по-новому понять и изобразить человека советского времени. Уже не так важны дидактический нажим, личное чувство, исповедальный пафос. Потому и нет достаточного места в литературе для романтических поединков или даже для открытого сопротивления, предваренного экзистенциальным, свободным и вполне ответственным выбором личности, в полной амуниции выходящей на битву с обстоятельствами. Экзистенциальная диалектика советского опыта к тому же, кажется, несколько иная, и проблемы ставятся иначе, чем у Камю или Хемингуэя.

На советском просторе лучше видно, что пресловутая «история», большие события века оказываются словно бы не в размер человеку. Человек в них, как заметил однажды Кураев, «исчезает, теряется из виду». Эпоха поглощает человека с потрохами. Мни-

мый мир наделяет его своей химеричностью, делает инвалидом духа.

О том, как это происходит, рассказал Георгий Владимов в своем новом, военном романе «Генерал и его армия», ставшем едва ли не последним крупным событием в литературе. Главный герой напечатанного в «Знамени» романа — генерал Кобрисов. Командарм. Смелый, мужественный, умудренный опытом человек, талантливый военный стратег. Вот, кажется, кто готов и способен постоять за себя, у кого хватит и воли, и власти! Ан нет. Основная сюжетная линия романа связана с тем, что Кобрисова лишают его армии, отзывают в Ставку накануне уже рассчитанного наступления и взятия Предславля (в котором угадывается Киев). А попутно мы узнаем о том, как крепко опутан генерал смершевской паутиной надзора и догляда, как неволен он и в своей судьбе. Неслучайно он попал в свое время в каземат Лубянки и был бит по рукам линейкой, как нашкодивший школяр, — и только случайно отпущен, вознесен.

Финал романа — это триумф Кобрисова. Триумф, однако, равноценен поражению, катастрофе. Опальный генерал на подъезде к Москве вдруг оповещается черной тарелкой громкоговорителя, что он — победитель, что его, Кобрисова, армия взяла город Мырятин... Итак, армия снова принадлежит ему, да еще и армия победоносная! Пей, гуляй, душа! А душе не очень-то гуляется. Загвоздка в том, что Кобрисов Мырятина брать не хотел, ни к чему его было брать. Лишние жертвы. Однажды генерал рассуждает, что и всего-то в этом городке жило до войны тысяч десять народу — и столько же придется положить, чтобы теперь его взять, — так стоит ли за Россию платить Россией? Для его антагониста в романе, Жукова, таких вопросов вообще не существует. Война по Жукову: «три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвертый — ползет по ним». Кобрисов же жалеет солдата и хочет его сберечь. Не удастся. Приказ о штурме Мырятина отдадут и без него. Зато ему не дадут взять Предславль, к чему он уже был готов, все продумал и взвесил. Потому что Предславль должен взять генерал-украинец. Такова директива.

Есть и еще более болезненный поворот в романе. Мырятин обороняют у Владимова власовцы. И Кобрисов знает, что, если брать его, то придется воевать русским против русских. Опять и снова. Когда-то генерал уже давил крестьянские восстания в годы коллективизации. Теперь его не тянет на братоубийство. Но придется пойти и на это.

В лучшем случае генералу принадлежит один день. Так сказано у Владимова в финале. Только день — над большим он не властен. Ибо на все воля непредсказуемой и неминуемой кремлевской мойры. Захочет — вознесет. Захочет — сотрет в труху...

...И все-таки литература являет нам и опыт выживания человека. Это не исключительные случаи героического, открытого и публичного единоборства с режимом. Это тихое сопротивление духа. Даже если все вокруг поддаются — важно не поддаться, не пасть. В романе Владимова чекист Светлооков завербовал и адъютанта Кобрисова, и его шофера — а на верном ординарце Шестерикове споткнулся. И так его ломал, и эдак — а ушел ни с чем. Кажется, и в чем только душа держится у героев Азольского, Кураева, Владимова? А все же некоторые из них выносят на своих плечах безусловно надежную правду, и нащупывают дно, и пытаются встать на ноги. Кто-то выживет, кто-то нет. Но самим своим существованием они сильно мешают мнимому миру процветать.

Эти герои часто очень похожи на солженицынского Ивана Денисовича Шухова. Он — их литературный предтеча. Можно в очередной раз изумляться творческой прозорливости Александра Солженицына, предварившего и в чем-то предопределившего литературную эволюцию на много лет вперед. (Я уже однажды писал, что и солженицынская Матрена из «Матренина двора» явила собой архетипический образ праведницы, который затем с разными вариациями воспроизводился в прозе «деревенской школы» и оказался, может быть, лучшим, что эта литературная группа дала.)

Герой «Одного дня Ивана Денисовича» и персонажи Азольского, Владимова и Кураева — люди одной породы. Они не умеют принимать романтических поз; они негероичны в том традиционном понимании, которое ждет от человека яркого, публичного подвига во имя высокой идеи. Они не выходят на поединок со злом с открытым забралом. Но в них есть что-то, что некогда запечатлелось в русской душе и отразилось в лермонтовском Максиме Максимовиче, в капитане Тушине Льва Толстого... Скромное достоинство, застенчивая нежность, неэффективная стойкость. Они — надежный заслон злу. Всесильное и всепроникающее зло натывается на них — и дальше уже идти не может.

Нам еще предстоит оценить ресурсы духа, заложенные в людях такой складки, и отыскать ту связь идей и вещей, которая создает такие человеческие характеры.

Труднее и болезненней в литературе решается вопрос о том, как хорошим, надежным людям найти друг друга. Эпоха лжи и мнимости научилась разлучать, рвать связи, заронила в души вирус недоверия. Уж как близки Кобрисов и Шестериков — а стеной стоит меж ними правда о подвигах генерала на коллективизации. Находят друг друга несколько персонажей в повести Азольского — но сил у них хватает только на то, чтобы попытаться спасти друг друга да и то неудачно. Конечно, и это — немало.

Но все-таки как горестно хрупка солидарность в просвеченном мире, как короток ее срок!

К этим коллизиям подошел в своей последней повести «Пшадра», напечатанной в «Знамени», Фазиль Искандер. Его герой здесь, как и у Владимова, генерал. На старости лет отставник Алексей Мамба в сегодняшней Москве подводит итоги своей жизни. Что-то у него не получилось. Не он выбирал, не он командовал обстоятельствами — они его вели. Так иногда ему кажется. Не на что и не на кого опереться. Нет у Мамбы своего Шестерикова. И даже язык отцов и дедов он забыл, оторвавшись от родины. Вот и бродит по Москве столичный пенсионер, лишенный почвы под ногами. Вспоминает, ищет что-то главное, что-то несомненно бывшее.

Искандер грустен здесь, как никогда. Он возвращает Мамбе воспоминание о родном языке только в предсмертный момент — как незаслуженную милость. И все-таки некий шанс состояться писателю своему герою дал. Он наделил его тайной верой в незыблемость моральных правил. С этим ему и пришлось жить. И если он шел против совести, то и жгло его пламя стыда, грызли сожаление и раскаяние. Прошлое для Мамбы — это не панорама побед, а духовная школа, критические моменты нравственного выбора, неповторимые и последние встречи с другим человеком в минуту, когда решается вопрос о жизни и смерти. Все это глубоко запало в душу и нравственно потрясло ее. Это уже сам Мамба, эти события неотделимы от него, а он — от них. Это опыт сердца, который свидетельствует о том, что жизнь была и подлинность в ней была, хотя не обошлось без уступок обстоятельствам.

Кстати, почти в одно время с повестью Искандера вышла в «Нашем современнике» и повесть Олега Смирнова «Победитель». Здесь ветеран войны Корнеев тоже странствует по улицам современной Москвы, наблюдает жизнь. Но как до обидного измелечен и лимитирован автором мир героя! Иногда писатель почти вплотную подводит персонажа к вопросу о том, ради чего тот жил, к ревизии прошлого, к отбору в нем того, что не испортилось и сохранилось для вечности. Но мысль буксует, а потенциал ответственных нравственных решений остается нереализованным. Показательно, что Корнеев мирно расходится с соседом по дому, бывшим чекистом, стариканом сталинской выковки — под тем предлогом, что старость всех уравнивает. Какая фальшь!

В итоге Смирнов подменяет подлинную проблему весьма надуманной. Герой начинает упорно размышлять, продать ему свои ордена и медали — или нет. И в конце концов приходит к твердому решению: «кровью омытых наград он не продаст». Конечно, и здесь есть момент выбора. Орденами Корнеева удостоверено настоящее мужество. Они — знак того, что жизнь прожита ненапрасно. Но ведь и без внешних знаков, правительственных наград, герой должен бы знать об этом. Да и не могут все подлинные

события и свершения быть задокументированы и отмечены наградами. А с другой стороны, у чекиста-то, небось, этих орденов целая куча, только получены они за иную службу.

Критерий подлинности все же не орден (хотя иногда и он), а нечто иное. Что? Это и должен бы решить писатель — и от этой задачи он уклонился, подменив ее решение дешевой политической риторикой.

Логика итогов у всех авторов, о которых здесь шла речь, снова напоминает нам о том, что XX век — на исходе. И, судя по всему, уже исчерпал все, чем хотел и смог потрясти. Где стол был яств... Но наш расчет с прошлым еще далеко не закончен. Не знаю, удастся ли нам окончательно расчесть с этим злополучным столетием в его пределах. Беспремерный опыт, приобретенный человеком в XX веке, навряд ли уже будет полностью выражен, запечатлен и осмыслен за оставшиеся несколько лет. Однако мы двинулись к этому. Мы пытаемся понять эту неповторимую эпоху, которая досталась нам для жизни или в наследство. И, понимая ее, учимся узнавать болезнь в лицо, отличать подлинное от мнимого.

Так и выходит: одни литераторы играют мнимостями, составляют новые комбинации из идеологических фишек-фантомов — другие честно свидетельствуют о фантомальности советского мира. Хорошо, что не перевелись писатели, помнящие о том, что в мире есть истина, и не уставшие к ней идти. Даже не самые глубокие произведения таких авторов оставляют впечатление глотка свежего воздуха, особенно в сопоставлении с идеологизированной агитпрозой или с окаменевшей ризомой постмодерна. Как и встарь, писатель в России не только что-то умеет. Он еще и кое-что знает. Он не только «мастер», да и не это главное. Он еще и провидец, и, может быть, поводырь. Как-то греет тайное знание, что посреди эпохальных буераков есть еще спутники, с которыми небо ближе.

А путь впереди нелегкий. И лечиться придется всерьез. Мнимость заведомо обречена и век ее недолог. Но и обреченное зло — тоже зло, способное достигать поразительных эффектов, используя сатанинскую энергию отторжения от высшего бытия. Соблазны пришли и прошли. Но горе тем, кто им поддался. Кто ж помешает злой воле свободного человека к самоуничтожению, к обращению в фантом?

С дьяволом не может быть компромиссов, не может быть соглашений. И изношенную, прогнившую ткань бытия не восстановить косметической штопкой. Она снова расползётся в лохмотья. Быть может, сегодня ее нужно сшивать заново алмазной иглой, крепко схватив клочки того, что еще можно спасти для вечности. К этой работе, по сути, уже приступил писатель, рассказавший о советских мнимостях и отвергший их претензии на беспредельную власть над человеком.

## ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА  
Второй квартал 1994 г.\*

### 1. Художественная проза

Характеризуя историческую прозу, представленную в последних номерах журналов прошедшего полугодия, можно отметить дальнейшее сужение внимания писателей к урокам дореволюционной отечественной истории и преобладание интереса к советской истории. Косвенно это, возможно, связано с осознанием того факта, что утрата исторических корней сегодняшним россиянином носит более основательный характер, чем это еще недавно казалось, и что он гораздо более основательно укоренен именно в советской почве, а нередко и просто поглощен советским способом жизни и выживания. Закончена публикацией обширная, неторопливая и основательная работа Вячеслава Кошелева «Алексей Степанович Хомяков. Жизнеописание в документах, рассуждениях и разысканиях» («Север», № 1-4), рисующая необыкновенно привлекательную личность одного из

---

\* О содержательном профиле и принципах составления БСК см. редакционные предисловия к выпускам БСК в №№ 78 и 79, а также редакционное примечание к выпуску БСК в № 80. Из-за опоздания с выходом в свет во втором квартале 1994 г. многих российских журналов, намеченных к аннотированию в БСК, обзор по разделам религиозно-философской и историко-культурной мысли, социально-политической публицистики, мемуарных и документальных публикаций, а также републикаций культурного наследия за первое полугодие 1994 года будет предложен читателю в следующем номере «Континента». По этой же причине в настоящем выпуске аннотируются и номера ряда журналов за первый квартал 1994 г. (и даже за конец 1993 г.), опоздавшие с выходом к моменту составления и публикации предыдущего выпуска БСК в № 80. Ввиду того, что поэтические публикации, как показал опыт предыдущего выпуска БСК, почти не поддаются сколько-нибудь отстраненному объективно-описательному аннотированию, но неизбежно и в гораздо большей степени, чем в случае с прозой или критикой, требуют отчетливо выявленного и даже акцентированного субъективно-оценочного подхода, редакция решила вместо планировавшегося ранее соответствующего раздела БСК давать впредь авторские (подписные) критико-библиографические обзоры поэзии за более длительный период времени (полгода или даже год). Первый такой обзор за 1994 год в целом планируется предложить читателю в первой книжке «Континента» за 1995 год (№ 83).

основателей славянофильства, знакомящая с его поэтическими опытами, историческими и философскими идеями. Живое повествование, движущееся по хронологической канве, лишено стилизаций и беллетристических вымыслов, в нем вольно перемежаются родословные разыскания, свидетельства современников и архивные документы (в том числе и впервые публикуемые), картины деревенского барского быта сменяются описанием старомосковских обычаев и семейных устоев, породивших цельные характеры, подобные хомяковскому. Внимательно прослеживается история возникновения и взаимных отношений славянофилов и западников, которую писатель стремится очистить от более поздних искажений и вульгаризаций.

Иной, более близкий к современной прозе тенденциозно-идеологической окраски, характер носит обнаженно публицистическая и остро злободневная документальная повесть В л а д и м и р а С о л о у х и н а «Соленое озеро» («Наш современник», № 4). Речь в ней идет о событиях гражданской войны, один из темных эпизодов которой, связанный с пребыванием в Хакассии 18-летнего чоновца, комбата Аркадия Голикова, посланного из Москвы для уничтожения банды Соловьева, и пытается прояснить автор. Из редких документов, которые сохранились в архивах, из свидетельств стариков-хакассов, из устных преданий и легенд вырастает чудовищный образ будущего детского писателя, который не только организовывал, но и лично, проявляя патологическую жестокость, участвовал в массовых репрессиях против хакасского народа. Повесть обладает, однако, не столько документальной выверенностью и достоверностью (отсутствие прямых архивных свидетельств заставляет писателя активно использовать метод аналогий и косвенных рассуждений), сколько субъективной авторской эмоциональной суггестией.

К советской истории 1937 — 1939 годов обращена «абсурд-фантазия» Н и к о л а я И с а е в а «Теория катастроф» («Знамя», № 5) — балаганное действо, которое разворачивается на наспех сколоченных исторических подмостках и в котором дурачатся и развлекаются комические маски — некий «товарищ Штукатуров», создатель «теории катастроф», находящийся в задушевной переписке с «любезным другом Людвигом Фейербахом», за сжатые сроки сделавший головокружительную карьеру и столь же стремительно упавший в лагерную пыль, а также «драгоценные вожди партии и правительства» — Сталин, Ежов, Берия. Типичная игровая конструкция постмодернистского толка; занимательное, но весьма эклектическое сочетание пародии, абсурда и авантюрной сюжетики.

Несомненным литературным событием года является публикация романа Г е о р г и я В л а д и м о в а «Генерал и его армия» («Знамя», № 4 — 5). Это роман о войне, в которой отозвались (отразившись и в людях) гримасы и судороги предшествующей советской истории, роман о героизме и предательстве,



о неостребованной талантливости и непотопляемой силе бездарности, о цене и горечи военных побед — роман, в котором среди многих других героев действуют маршал Жуков, генералы Ватутин, Власов, Хрущев, Гудериан и главный герой — мощно выписанный командарм Кобрисов, все сделавший для решающего прорыва на важном участке фронта, но вынужденный оставить свою армию, обреченную на бессмысленное кровопролитие, ценой которого он, опальный, отставленный от дел генерал без армии, преданный своим ближайшим окружением и близкий к прозрению, в результате неожиданного поворота судьбы возвращается, однако, в свою армию победителем, вдохновленный и радостно-окрыленный милостью Верховного Главнокомандующего за это кровопролитие. И — погружается в спасительную для себя слепоту... Военная тема приобретает, таким образом, под пером Владимирова новое звучание. Главное для него — нравственный выбор героев: основные же конфликты возникают по эту сторону фронта — между военачальниками, у каждого из которых свое понимание военных приоритетов (кому-то важно сберечь солдат, а кому-то получить орден), а также между человеком (будь то генерал или его ординарец) и властью, представленной смершевцами, чекистами с Лубянки и т.п. Владимов анализирует возможности человека в советской системе, размышляет о пределах его свободы, о чести и достоинстве. Роман дает глубокое и оригинальное художественное осмысление исторических явлений — советской эпохи в целом и судьбы человека, попавшего в роковой социально-исторический водоворот. Роман — свидетельство зрелого мастерства писателя-реалиста.

С военной темой (в ее послевоенных отзвуках) так или иначе связаны и следующие два рассказа, заслуживающие, несомненно, внимания читателя.

**Ю р и й Н а г и б и н** в рассказе «Бунташный остров» («Юность», № 4) повествует об инвалидах войны, высланных после ее окончания на остров Богояр посреди Ладожского озера. По форме это записки инвалида. Писатель приоткрывает одну из самых мрачных страниц послевоенной советской эпохи.

**В и к т о р и я П л а т о в а** в рассказе «Возвращение к себе» («Звезда», № 4) живописует будни семейства, вернувшегося из эвакуации в Ленинград. Это сентиментальная бытовая хроника, богатая подробностями. Главной радостью детей в рассказе становится кошка — редкий зверь в послеблокадном городе. Вокруг кошки и разворачиваются события, выявляющие нравственную позицию героев и автора.

Гулаговскому «сюжету» советской истории посвящены две повести **Е в г е н и я Ф е д о р о в а**, объединенные и общим героем, студентом МГУ Женей Васлевым, арестованным в конце 40-х годов за участие в собраниях кружка молодых интеллектуалов, и мемуарным характером (при гибкой грани между фактом и вымыслом), и особой интонацией — ласково-иронической. Это

своего рода советский роман воспитания о юном философе-теоретике, который вляпался в тюремно-лагерную жизнь, столкнулся с самыми разными человеческими особями, попал в самые критические ситуации, ошибался — и побеждал. И выжил, устоял. В повести «Илиада Жени Васяева, год 1949» («Звезда», № 4) Федоров рассказывает о тюремных испытаниях героя, о встречах с разнообразно интересными людьми на Лубянке, в Лефортове и в Прокуратуре. В повести «Одиссея» («Новый мир», № 5) Женя попадает в Каргопольлаг, где приобретает новый жизненный опыт. Герои повести и сам автор много и содержательно рассуждают о природе человека, о сущности советского строя. Повествование богато колоритными деталями и подробностями. Жизнь обитателей каргопольского лагеря 1950-х годов предстает в повести художественно преображенной, в ломком прерывистом ритме чередуются эпизоды «фантастического» быта, подчас в своей комической уродливости заостренные до абсурда и преломленные через сознание молодого героя-зека, наделенного автобиографическими чертами и увиденного с сочувственно-иронической дистанции более отдаленного жизненного опыта. По справедливому замечанию предваряющего публикацию повести Е.М. Мелетинского, союзника Евгения Федорова, «автор выступает против сведения лагеря к одним ужасам и справедливо видит в нем уродливый вариант обычной, так сказать, «нормальной» жизни со всеми ее темными страстями, завистью, цинизмом, тревогами, страхами, надеждами, мифотворчеством, возвышенным идеализмом, чистой юношеской влюбленностью».

Из произведений исторической тематики, обращенных к более давним временам, следует отметить, наконец, и «Поэму» И в а н а О г а н о в а «Откровение розы» («Октябрь», № 4) — велеречиво-патетическое повествование о поэте Саят-Нове, об его времени, полном бурь и битв. Эта история о сильных страстях, высоких порывах, ярких вдохновениях изложена, как это типично для Ивана Оганова, роскошно-цветистым стилем, придающим весьма пространному тексту дополнительную тяжеловесность, привычную, впрочем, для поклонников писателя, творчество которого неизменно вызывает острые дискуссии.

В прозе, обращенной к с е г о д н я ш н е м у д н ю, уже стали привычными эсхатологические ожидания и продолжающие разнообразно варьироваться мотивы ухода, бегства, поисков спасительной ниши, — равно как и фигуры мечтателей, визионеров, мистиков и провидцев, уходящих в параллельные миры, в прошлые рождения, превращающихся в памятники или под влиянием иных импульсов меняющих свой человеческий облик...

В романе М и х а и л а Л и т о в а «Скрытый образ жизни» («Лепта», № 18-19) апокалиптический образ зверя, в которого один за другим, безвольно покоряясь судьбе, превращаются обрастающие шерстью герои, видимо, призван стать символом предостережения для богооставленных людей, в души которых

«глубоко... вьелось влечение покориться нечистой силе». Первыми жертвами инволюции становятся «последние в ряду людей» — уже отпавшие от домашних, семейных, дружеских связей, опустившиеся или спившиеся, кормящиеся на помойках, скрывающиеся от других людей. Вялые, энергетически ослабленные герои машинально передвигаются на безнадежно сером фоне романа и, отмеченные тысячелетней усталостью, говорят, говорят неотличимыми голосами. Их особая связь с «нечистой силой» однако не просматривается. То, что «озверению» первыми подвергаются люди с ампутированным инстинктом самосохранения и угасшей волей к жизни и что слой людей, разлагающихся, отделяющихся от общества все разрастается, вызывает догадку об авторском социальной морализме, который в силу своей давней немодности мог бы, вероятно, зазвучать даже по своему смело, эффектно и выигрышно. Но эта догадка дальше ничем не подтверждается, и уловить авторскую мысль непросто. Во всяком случае, в отпадении своих героев от рода человеческого писатель видит «плод смертоносной связи» человека и дьявола и к концу романа утверждает, что «ширится дьявольская идея погубить мир, наполнить его призраками и расселить их в каменных сотах, лишив их (призраков?) души и воли».

Повесть **А н д р е я С а л о м а т о в а** «Синдром Кандинского» («Знамя», № 4), рассказывает о приключениях молодого человека, приехавшего в Гагры довыяснить отношения с бросившей его женой. Здесь он начинает сочинять и рассказывать жутковатые истории, которые переплетаются то ли с бредом, то ли с реальностью в одно причудливое целое, образующее в результате некую вариацию обрамленной повести восточного типа — с восточной же фантастикой и жутью. Автор, возможно, претендовал на то, чтобы обнажить зыбкость человеческого существования — на грани сна и яви, жизни и смерти. Впрочем, сначала в повести трактуется как будто бы тема переселения душ — герой, влекомый нездешней силой, оказывается в доме, где его визита ждут старая дама, представившаяся его женой в прошлом рождении, и их взрослые дети, за чем следует цепочка необъяснимых событий. Далее в повествование вступают колдуны, ведьмы, оборотни и прочая нечисть; схватка с «крутыми» ребятами, выбросившими героя за борт в открытое море и вынудившими его совершить, сбрасывая одежды, многочасовой ночной заплыв, сменяется постельным эпизодом, в котором тоже не обошлось без нечистой силы. Разобраться в том, где явь, а где галлюцинации, не представляется возможным ни герою, ни читателю, поскольку герой — наркоман, безуспешно пытающийся преодолеть зависимость от морфия. И когда в конце повести герой умирает от укола нестерилизованной иглой, ему (и, пожалуй, читателю) уже все равно — вправду он умирает или это очередная галлюцинация его утомленного жизнью сознания.

На игровом приеме, устраниающем грань между вымыслом и реальностью, построен и «Последний роман» М и х а и л а Б е р г а («Волга», № 2) — энергичная, сюжетная, местами словесно обольстительная проза с конкретно выписанными подробностями жизни героя в «шоколадно-пряничной Швабии». И притом — без каких-либо ирреальных сновидческих условностей. Действие романа происходит в городке Тюбинген, где герой, русский писатель, получив счастливую возможность почитать лекции в тамошнем университете и отдохнуть от отечественных впечатлений, погружается, не забывая его описывать, в замкнутый мирок университетских преподавателей, потом заводит роман с переводчицей своей книги и попадает в детективную историю, которая кончается для него весьма плохо. В финале романа выясняется, однако, что ни в какой Германии герой не был, что все вышеописанное — лишь плод его фантазии. Питаясь энергией мечты, он «с мазохистской дотошностью, не пропуская ни одной капризной детали», взялся описывать свои немецкие «впечатления» и приключения, которых, к счастью, избежал в реальности.

Противоположный вариант того же приема применяет в своем романе «Графоман» А н д р е й Б ы ч к о в («Волга», № 1). Он всячески стремится убедить в реальности происходящих в романе событий. Однако их сомнамбулическое происхождение очевидно, — равно как и сновидческая бесплотная природа грезящего наяву безымянного главного героя, который автоматически и обреченно исполняет социальный заказ вселившегося в него беса графоманства, заставляющего героя заполнять обрывками непонятного текста любые попадающиеся ему поверхности. Бес заходит так далеко, что требует от героя убийства человека, которому «досталось выгодное тело». Таким человеком оказывается сытый и жизнерадостный, но насквозь сочиненный здоровяк-профессор. Дальнейшие события — убийство профессора в ресторане, тюремная камера, «оживление» невинно убиенного профессора, появляющаяся в финале «оранжадная» женщина (как видно, героиня следующего романа) — несколько рассеивают туман загадочности, которым окутано повествование, и проясняют авторский замысел: воплотить в лицах и картинках, для занимательности снабдив их кое-какой интригой, творческие и нетворческие переживания, сопровождающие писательское самоистязательское ремесло.

Искусственно-беллетристическая интрига образует и внешний каркас в повести А л е к с е я С л а п о в с к о г о «Здравствуй, здравствуй, Новый год...» («Волга», № 1). Но по сути — это своего рода бытовая хроника. Герой повести в первый день нового года решает покончить жизнь самоубийством — без всяких мотивов, «просто так». Он, видимо, не столько желает смерти, сколько не знает, что ему делать со своей жизнью, зачем она ему. За день до назначенного срока, в канун Нового года, он отправляется в предпоследний путь попрощаться с жизнью (а заодно, кажется, еще раз испытать ее и на ценность) — по-

бывать у людей, к которым привязан, исполнить свои прежде запретные (постыдные и нелепые) желания — например, украсть в чужом доме простыню или ударить человека («Умрешь вот так... и не узнаешь, каково это — смазать человека по физии»). Герой передвигается по городским улицам, вовлекаясь в попутные встречи и впечатления, заявляется непрошеным гостем к родственникам и бывшим одноклассникам, занятым предпраздничными заботами и не подозревающим о том, что их некстати явившийся ерничающий гость, развязный от застенчивости, пришел мысленно проститься с ними. Заодно он разглядывает, чем они заполняют свою жизнь. При этом писатель не украшает и не расцветчивает жизнь, не добавляет ей привлекательности, не готовит герою чудесных неожиданностей, чтобы соблазнить его пожить еще. Наоборот, перед читателем проходят люди с неустроенными судьбами, с семейным или бытовым неблагополучием, и где-то с середины повести начинает пробиваться лирическая струя, замешанная на сострадании к ним, на желании чем-то их одарить, ошастливить. Это пробуждает в герое ощущение хрупкости жизни и если не отменяет его решение, то делает его проблематичным.

Ненадежная, покачнувшаяся сегодняшняя российская жизнь проступает и сквозь веселый и озорной дух, поддразнивающее шутовство и скоморошество в иронико-сказовом повествовании уже упомянутого автора опубликованной в «Знамени» «абсурд-фантазии» *Н и к о л а я И с а е в а* «Рождение, трудная жизнь и легкая смерть Обрезкина» («Волга», № 2), где описаны приключения мужиков-гуленовцев, «детей жизни», в городе Лежачий Камень, куда они отправились из родной деревни в компании с говорящим котом и собственноручно подкованной блохой...

Круг писателей, акцентирующих в своей прозе внимание на сегодняшних социальных и политических реалиях, на злобе дня, заметно сужен. За скоростью сегодняшних исторических превращений, которые успевает отслеживать публицистика, художественному осмыслению угнаться трудно.

Теме власти и денег посвящен остро социальный роман *В л а д и м и р а Р о м а н о в с к о г о* «Валюта для Надежды» («Москва», № 5 — 6), в котором со знанием дела и без обличительной истерики описываются занимательные для сегодняшнего читателя подробности того, как, какими людьми и на какие капиталы создаются концерны, коммерческие фирмы, благотворительные фонды и партии, какие закулисные интересы переплетаются за благопристойными вывесками и демагогическими телодвижениями их создателей. В романе действуют узнаваемые в своей характерности типы. Матерый аппаратчик, переживший крушение союзных министерств и среди многочисленных и путаных реорганизаций всплывший на поверхность в новом качестве — президента ассоциации, ворочающего десятками миллиардов и опирающегося на хорошо сохранившиеся и еще

более эффективные старые аппаратные связи. Бывший скромный клерк в министерстве торговли, имевший единственный капитал — многочисленные связи в недрах доперестроечной торговой мафии; за короткое время он, обладающий собачьим нюхом на деньги и на практике уверовавший в их абсолютную силу, превращает созданный им посреднический кооператив в огромную торговую фирму. Популярный публицист, обеспечивающий ассоциации идеологическое прикрытие своими гуманными проектами, фразеологией и лозунгами. Молодой специалист по компьютерному обеспечению, честолюбивый карьерист, рвущийся к политической власти через головы «старых перекрасившихся номенклатурных крыс», не подпускающих его и его людей, «молодых, крепких и энергичных», к своим связям и к первым ролям, а только присваивающих себе их идеи. «Карманный» журналист, публикующий нужную газетную информацию в нужное время и в нужной окраске. Бывший десантник, специализирующийся на выбивании денег у нерадивых клиентов, не пренебрегая и «мокрыми» делами, развратившийся от вседозволенности и шальных «баксов». Вся эта пестрая компания, оказавшаяся в одной лодке и спаянная сиюминутными выгодами, стремясь к политическому прикрытию, активно создает свою партию, члены которой при первом же «проколе» без всяких сантиментов продадут друг друга. В романе, однако, значительно слабее прорисована фигура главного героя, положительного до святости, проповедующего аскезу среди этих рыночных «акул и касаток», произносящего длинные монологи о добре и зле, о духовности и нравственности тем особым отвлеченным способом, который не предполагает за этими словами их практической проблемности.

Жесткой иронией рассказчика в соединении с его же трогательно душевной незащищенностью окрашены страницы повести **В а л е р и я П и с к у н о в а** «Свои козыри. Записки наемника» («Новый мир», № 6), где описан «кусочек» жизни сегодняшнего Ростова, затем воюющее Закавказье, война между двумя маленькими народностями, условно названными «эндурцами» и «айдорцами». В нее вступают, пытаясь разобраться в происходящем и найти осмысленное оправдание своему участию в рядах одной из воюющих сторон, четверо русских, завербованных за гроши в Ростове и оказавшихся в чужом кровавом похмелье. Домой из них вернется один автор записок — бросив и автомат, и желание ставить на карту свою жизнь в чужой игре.

Сходный жизненный опыт, но в ином идеологическом осмыслении, воспроизведен и в рассказе «Я — убийца. Рассказ омовца» **П е т р а А л е ш к и н а** («Наш современник», № 6). Это прямолинейно изложенная история моральной деградации бывшего афганца, вступившего в ряды московского ОМОНа. Стремясь оказаться не последним среди новых товарищей, герой постепенно, шаг за шагом, усваивает волчьи правила игры, участвует в облавах и провокациях, погружается в атмосферу жестокости,

продажности, пьянства и разврата, все более утрачивая человеческий облик и превращаясь в послушное орудие убийства. Рассказ густо замешан на событиях вокруг Белого дома, автор делает упор на провокационной роли, которую в его изображении сыграли переодетые омоновцы в штурме мэрии и Останкино.

В главах из романа **И н г и П е т к е в и ч**, опубликованных под названием «Свободное падение» («Новый мир», № 6; название всего романа «Плач по красной суке») советский человек увиден глазами взрослой женщины, которая ребенком прошла через немецкий концлагерь. Искупая вину своей нации перед русским ребенком, ее взяла к себе пожилая верующая немка. Она вылечила и воспитала одичавшего звереныша, методично преодолевая ее сопротивление, привила ей навыки систематического труда, аккуратность, честность, бережливость, обучила ее машинописи, дав профессию, которая всегда прокормит, и после войны отпустила домой к маме, в Ленинград, где девочка, мечтавшая о возвращении на прекрасную родину, погрузилась в коммунальный ад, в объятия матери, вращающейся в партийных кругах. Это род мемуаров — тонкие, порой беспощадные наблюдения человека, умудренного жизнью. Очерки советского коммунального быта сочетаются с хроникой отношений с МГБ, включающей и допросы, и интимную близость с сотрудником этого ведомства. Происходящее трактуется как процесс духовного распада, растреления героини советской жизнью (хотя обещан как будто бы и катарсис). Остро переживая ее безобразие и бесчеловечность, героиня предьявляет жесткий счет за свою искалеченную жизнь советскому человеку как таковому, показывая, что он живет чувствами, а не разумом, не умеет вести себя за столом, не умеет работать, отдыхать, любить, воспитывать детей. Однако правда, сказанная без любви, оборачивается, как известно, судом и приговором, а в данном случае он тем более немилосерден, что суд ведется с «немецкой» колокольни и за точку отсчета берутся добродетели, сформированные протестантской этикой.

Среди произведений на современную тему, обращенных к злободневным реалиям нынешнего дня, привлекает внимание и «Поэма стихий» **В л а д и м и р а В о л о д и н а** «Паша Залепухин — друг ангелов» («Волга», № 10 — 12 за 1993 г.). Это обширное повествование о малоимущем саратовском интеллигенте, который решил заделаться крутым бизнесменом и заработать на торговле рыбками, для чего отправился в Москву. Подробно описываются столичные злоключения героя, которого напоили, обобрали и т.д. Володин — юморист-бытовик, играющий роль несносного болтуна, постоянно комментирующего происходящее и даже слегка его на ходу пересочиняющего. Давая представление о современном быте, автор в то же время играет сам с собой и со своими героями, предается стилистической гастрономии и затевает всевозможные авантюры (типа написания вместе со своим героем эротического романа). «Поэма» может читаться

как непритязательная реплика на «Мертвые души» Гоголя. Вещь на любителя стилистических кружев.

Роман В а л е р и я П о п о в а «Будни гарема» («Звезда», № 2) — нестройный рассказ о жите-бытие писателя, где сочетаются вчерашняя и сегодняшняя бытовая хроника, иронические игры с собой и читателем, а саркастическая ухмылка сменяется лирическим вздохом. Воссоздаются значимые элементы окололитературной жизни от позднезастойного времени до наших дней, высмеивается социальный заказ, предъявляемый к художнику, от которого вчера требовалась книга о «пламенном революционере», а сегодня — сценарий о тернистом пути к успеху «супер-кино-секс-звезды».

С ироническим обыгрыванием реалий и фантомов недавней советской жизни связаны и рассказы А н д р е я С е р г е е в а из подборки «Изгнание бесов» («Новый мир», № 6). Это короткие игровые фантазии-анекдоты на бытовые и общественные темы, где автор смазывает грань между простой шуткой и настоящим абсурдом. Самый ранний из «рассказиков» помечен 1955 годом.

Художественное освещение нынешней быстротекущей реальности в журнальных публикациях последнего времени все чаще начинает сопрягаться с традиционной, но приобретающей все более новую и все более печальную окраску темой отечественной интеллигенции. Здесь отметим прежде всего рассказы Е в г е н и я Б о г д а н о в и ч а («Москва», № 4) посвященные московской служилой интеллигенции, которая теряет привычную опору под ногами. Супружеская чета освобождается от нравственного мерила своих поступков, по новым временам обременительного, а малолетний сын видит на лицах взрослых «хищные мохнатые челюсти и хоботки» (рассказ «Топоножки»). За страусиную тактику держатся герои рассказа «Облава», заслоняясь возвышенными интеллигентскими собеседованиями, громкими фразами об «отрешении всего личного, суетного, переходящего», о «проекции мироощущения» и «философски сбалансированном покое» от нагнетаемых писателем все более оскорбительных уже лично для них подробностей происходящего вокруг — грубости и хамства омовцев, организовавших облаву на стихийных уличных торговцев.

Мягко, без нажимов, тонким пером прорисована та же тема и в рассказе Л е о н и д а Ю з е ф о в и ч а «Бабочка. 1989 г.» («Знамя», № 5). Герои рассказа по инерции продолжают существовать в традиции московских интеллигентских кухонных застолий 70-х годов — с водкой, либеральными разговорами, демонстрацией эрудиции и интеллектов, со спорами о предметах, быстро теряющих ясность очертаний («Московский разговор за бутылкой подобен кругу вселенной, чей центр везде, а окружность нигде»). А во тьме за окнами эту искусственно выгороженную



жизнь подстерегает страх, символизируемый бабочкой, бьющейся в дверной глазок.

Сельский учитель, герой рассказа В а л е р и я К о б ы л и н а «Ходи ко мне...» («Север», № 5-6), по дороге домой после удачной утренней рыбалки подрывает несколько кустов картошки в чужом огороде, но, заслышав голоса хозяев, среди которых его ученик, бежит от них, прячется от погони, переживая стыд, раскаяние, давящий душу позор. А потом, окольными путями вернувшись домой, выпив водки, закусив и расслабившись, садится за обличительное письмо в столичный молодежный журнал, напечатавший непристойную народную частушку, используя известный набор демагогических фраз — о нравственности, о воспитании молодежи, со ссылками на Чехова и т.д. В рассказе «Венькина царевна» другой, уже не «ролевой», а прирожденный учитель, странноватый на взгляд односельчан парень, вернувшись из армии, вместо того, чтобы жениться, «за книжками чакнет» и «все с мальцами валандается», которые от него без ума и ходят за ним, как привязанные.

Здесь впрочем, «интеллигентская» тема переходит у автора в несколько иное русло, тоже достаточно характерное для современной прозы и связанное с поисками тех или иных положительных нравственных противовесов современному «беспределу». Отметим в этом ряду рассказ Ю р и я Б о р о д к и н а «Толь Толич» («Наш современник», № 6), герой которого, книголюб, рукодел и доморощенный философ, своим умом доходит до мысли, что все сегодняшние российские беды произошли от того, что люди сорвались с родных мест, превратив страну в великое кочевье и не обрета в этом ни радости, ни успокоения. Съездив в Прибалтику и на Урал и набрав мешочки земли с отцовской и братниных могил, он насыпает еще три холмика на родном сельском кладбище рядом с могилами бабки и матери, ставит кресты и (по тому, что точившее прежде беспокойство оставляет его) чувствует, что он на верном пути и исполнил то, что от него ожидалось...

Герои рассказов Г р и г о р и я П е т р о в а «Жизнь здешняя» («Новый мир», №4), исполненных в мистико-бытовом ключе, — блаженные, оживляющие старый опыт народной религиозности. Бездомные, нищие и бродяжки, они лишены здравого ума, но чисты и незлобивы сердцем и, живя сегодняшней жизнью, которая плещется вокруг них, в душевном смысле не касаясь и не задевая ее, принадлежат «нездешнему» строю жизни, отчего «здешним» людям, запутавшимся, спившимся, погрузившимся в корысть и злобу, легко и хорошо с ними, они тянутся к ним, сами изумляясь своему тяготению, летятся ими, верят в исходящее от них чудо очищения и исцеления.

Шофер-«дальнобойщик» в рассказе Н а т а л ь и К у з н о в о й «Дочка» («Москва», № 6) ночью на трассе встречает сбежавшую из детдома девочку, начинающую проститутку,

и, узнав о ее жизни в детдоме, в искреннем порыве решает отогреть ее, взять в дочку, сделать из нее человека. Наутро, уже засомневавшись в своем решении, но положившись на обстоятельства, он обнаруживает, однако, что девчонка (видимо, не поверив ему) исчезла. И, не разыскивая ее, едет дальше, думая о том, что было в его порыве что-то и от упоения собственным благородством, что всегда в своем стремлении к хорошему он не дотягивал какой-то малости, какого-то пустяка...

Тематически близки, наконец, к названным выше рассказам и трогательные, сентиментальные истории Дмитрия Приутулы («Звезда», № 4), повествующие о добрых стариках, об их отзывчивых сердцах и милых чудачествах. Вера Антоновна долго держала злобу на невестку, сгубившую сына и где-то сгинувшую, а увидела ее — и простила. Другой старичок полюбил по-отцовски девушек-спортсменок из телепередачи «Ритмическая гимнастика» — и не вынес разлуки, когда они пропали с экрана.

Деревенская старуха, переехавшая в Москву к одинокой дочке, привлекает к себе авторские симпатии и в рассказе Феликса Казакевича «Чужие» («Москва» № 6). Дочь, неработающая, пьющая, в свое оправдание ссылается на то, как страшно жить в большом городе. Старуха же, больная и беспомощная, оказавшись одна в чужом городе, брошенная дочерью, которая отправляется по неизвестному адресу в поисках личного счастья, сначала, оробев и потерявшись, не верит, что дочь так просто могла ее обобрать и бросить, но потом собирается с духом, выпрямляется и после робких и неудачных опытов находит-таки независимый заработок — вяжет и продает носки, скапливает денег на дорогу и уезжает домой, в деревню.

Не избежала журнальная проза второго квартала 1994 года и жанров, рассчитанных на любителей любовно-романтических историй. Полна романтических треволнений повесть Вероники Кунгурцевой «Сад» («Юность», № 3), рассказывающая о любви немолодой южанки Нади и писателя из Москвы, хотя хэппи-энда, естественно, ждать не приходится. Поклонникам дамской прозы интереса будет и повесть Елены Сазанович «Маринисты» («Юность», № 5) — о том, как прекрасная девушка сошла с холста художника в жизнь и сколько преступлений это необычное происшествие предварило. Манерно-патетическая история, где много любви, смертей и загадок. Слабее сюжетно оформлен рассказ Марины Палей «Приворотное зелье» («Волга», № 12) — неупорядоченный поток речи женщины, то ли влюбленной, то ли несколько сексуально озабоченной.

Сходный сентиментально-романтический камертон — и у повести Андрея Косенкина «Вариант» («Октябрь», № 4). Она — о безработном актере, который в отсутствие жены заводит роман с молодой незнакомкой, едет хоронить ее деда в провинцию, а потом возвращается домой, к жене и детям. Черты современного быта и неуклюжая дидактика.

Среди прозаических публикаций несколько особняком стоит роман **М и х а и л а Л е в и т и н а** «Безумие моего друга Карло Коллоди, создавшего куклу Буратино» («Октябрь», № 3) — несколько сумбурное повествование о гениальном художнике, поэте и сумасброде, артисте, умеющем превратить любую мелочь жизни в перл творения, знающем, что такое любовь и тюрьма. Высокий полет авторской мечты, изящная игра воображения не компенсируют, однако, заметных недостатков общего фона — небрежно прописанной «сермяги» советской эпохи.

Отметим, наконец, и относящейся к разряду литературных мистификаций рассказ **А л е к с а н д р а С е г е н я** «Черная нить Ариадны» («Москва», № 4). Составленный из снов, реальных фактов, вымыслов и домыслов, он представляет собой вольную фантазию на тему жизни и смерти некоей роковой женщины Ариадны Бронц, в которой ясно просматриваются черты прототипа — Лили Брик.

**М е м у а р н ы й ж а н р** в журнальной прозе представлен воспоминаниями протоиерея **М и х а и л а А р д о в а** «Легендарная Ордынка» («Новый мир», № 4-5) — мозаичной картины времени, составленной из занимательных подробностей (большей частью забавных, анекдотических, курьезных), касающихся быта и нравов московских литературных и художественных знаменитостей, посещавших в 1940-1970 годах квартиру Ардовых на Ордынке. Почетное место в воспоминаниях, как в свое время и в доме Ардовых, занимает Анна Ахматова, связанная с автором 20-летними дружелюбными отношениями, и ее «домашний» образ, с характерными словами и словечками, шутливыми афоризмами, литературными и бытовыми наблюдениями, отчасти уравнивает авторский местами «пережим» по части забавного, нередкокую невзыскательность вкуса.

В публикации **М и х а и л а К а л и н к и н а** «В оккупированном Петрозаводске (Из воспоминаний малолетнего узника)» («Север», № 5-6), посвященной малоизвестной странице военной истории, описан финский концлагерь, устроенный в Петрозаводске для жителей деревень, выселявшихся семьями из прифронтовой полосы, — лояльное отношение к заключенным, устройство быта, нормы питания, распорядок работ, церковь, школа для детей, детские развлечения, шалости, военные приключения.

В рубрике «Неугасимая лампада» («Наш современник» № 4) публикуется дневник митрополита Григория (Николая Чукова), в котором подробно излагаются события 1922 г, изъятие церковного имущества и Петроградский процесс 1922 г. над митрополитом Вениамином и большой группой верующих, среди которых был и вл.Григорий. Всех приговорили к расстрелу, но по отношению к некоторым приговор отменили, и Чуков был отпущен по амнистии и назначен настоятелем Николаевского собора в

Ленинграде. Последние десять лет жизни он был митрополитом Ленинградским и Новгородским.

## II. Литературная критика

Раздел «Литературная критика» целесообразно начать, однако, с аннотирования публикаций, литературной критикой в собственном смысле слова не являющихся. Речь идет о ряде заслуживающих внимания прозаических эссе, авторы которых делают преимущественным предметом своих непринужденных размышлений русских писателей и русскую литературу.

Эссе **А н а т о л и я К о р о л е в а** «Блудный сын» («Знамя», № 4) посвящено непростым отношениям Михаила Булгакова с христианством и рассмотренной под этим углом зрения связи текста «Мастера и Маргариты» с биографией Булгакова. Называя его христианство «экзотичным», автор проводит мысль о том, что роман стал для Булгакова «актом личного спасения», но парадоксальным образом — путь к вере в Христа шел через веру в Сатану, через вызывание кары за эту веру («если есть Сатана, то значит, есть и Бог. Если последует наказание — значит Провидение существует. Только в каре мерещилось спасение, в ней восстанавливалось утраченное равновесие души и веры»). Текст романа, в который Булгаков настойчиво вписывал реалии собственной жизни, нашел, считает автор, мистическое отражение в его предсмертной болезни и смерти. Они увиденны в эссе как воплощение промысла, связанного со свободой человеческой воли (промысел «может воплотиться только в формах, попущенных самим человеком в момент ответа на оклик сущего»).

В эссе **Н и к о л а я Б о л д ы р е в а** «Молитва по имени Розанов» («Волга», № 2) предложены апологетические размышления, вызванные увлеченным прочтением В.В. Розанова и освоением его разнообразных парадоксов, в которых автор видит «радикальную критику основ русской ментальности». Основное внимание обращено на розановское «преодоление литературы» в жизни. Интересно соотнести с текстом «Бесконечного тупика» Д.Галковского, который печатается в данном номере «Континент».

**А н д р е й Б и т о в** в эссе «Из книги «Айне кляйне арифметика русской литературы» (Новый мир», № 4), свободно перемещаясь в пространстве русской (и нерусской) литературы, формулирует некоторые «арифметические» задачи, касающиеся литературы и ее бытования. Так, он связывает к примеру, отсутствие героя и сюжета с «доцивилизованным» состоянием общества («Герой — ведь это уже цивилизация: революция в сознании, эволюция в сознании»; «Герой и сюжет — акт обуздания жизни, после которого и следует понятие цивилизации»), размышляет об интеллектуализме и модернизме Александра Дюма,

о литературных персонажах в «Розе мира» Даниила Андреева, о культурфилософском смысле переводческой деятельности и фигуры переводчика, о впечатлениях, вызванных берлинскими выставками — уникальной книги и «Мир Лили Брик».

Из обращающих на себя внимание литературно-критических статей, посвященных обсуждению современной литературной ситуации, отметим следующие:

— «Размышления об одиноком прохожем» **Сергея Касьянова** («Юность», № 3). Это статья о современных литераторах-авангардистах. Ее пафос подчас памфлетен. Литературную работу Пригова, Вишневского, Степанцова, Иртеньева и других автор сравнивает с играми Кая, воздвигающего и переставляющего свои ледяные кубики. Касьянов называет это направление «школой кракелюры»: художник имитирует старину, создавая искусственные трещины на холсте, — а литераторы эксплуатируют достижения былых культур, умело организовывая свой успех.

— Статью «Сладкая парочка» («Знамя», № 5) **Натальи Ивановой**. Автор делится наблюдениями над чертами современной литературной ситуации. Речь идет о «новой парадигме критики», первоначально зародившейся в «Независимой газете», где за использованием «зрелищности и персонажности» (придуманными литературно-критическими персонажами, масками, игрой и лицедейством) стояла задача оживить атмосферу в критике, «сдвинуть» ее с застывшей точки. Однако со временем «вторая волна» газетной критики, привлекаемая «новыми явлениями литературного быта (презентациями, лотереями, приемами, представлениями)», оставляя в стороне «набор немодных литературно-критических инструментов», переключается на «живописание тусовок». («Литературный труд трудами газетных интерпретаторов подчас подменяется атмосферой, которая оказывается не в пример более важной, чем сама первопричина»). В этой критике литературное событие уступает место литературному быту, понятие литературной репутации вытесняется имиджем, литературное поведение значит больше, чем литературное произведение, а категория успеха важнее качества, «литературная мода опережает (и подавляет) литературную эволюцию». Итоги, таким образом, не утешительны. В прессе довлеет себе литературный быт, а проблема художественной ценности отходит на второй план. Литераторы стремятся к зрелищности, критики обживают персонажные маски, и в этом веселом ряжении не было бы греха, если бы имидж не вытеснял репутацию. Литературная мода глушит литературную эволюцию, эксплуатируя новые имена из провинции... Словом, «уже можно ничего и не писать — надо себя вести». Упомянуты Курицын, Пригов, Ерофеев, Новиков, Могукин, Яревич, Кедров.

— Статью «Материализованные тени» **Никиты Елисеева** («Знамя», № 4), в которой он рассуждает о различных

формах присутствия классики в современной литературе: о влияниях, подражаниях, пародиях... Автор обнаруживает остроумные параллели, анализируя произведения Н. Садур, Б. Улановской, В. Пьецуха, Л. Бородина, Б. Кенжеева. Вывод автора: «отношения ныне пишущего с «прошлым» литературы значительно сложнее, чем «отвержение» или «подражание»... Любой пишущий, вольно или невольно, сознательно или несознательно, попадает в поле этого «прошлого», материализует его тени».

— Посвященную той же теме статью **А н д р е я Н е м з е р а** «Современный диалог с Гоголем» («Новый мир», № 5), где обсуждаются разные способы освоения сегодняшними прозаиками гоголевского наследства. Критик анализирует факты «фрагментарного» взаимодействия писателя с Гоголем (например, осмысление эпизода из «Мертвых душ» в повести В. Кравченко «Ужин с клоуном»), включение в повествование «сборной цитаты» и возведение ее до символа в романе О. Ермакова «Знак зверя», приурочивание гоголевского сюжета «к сегодняшней проблематике почти без учета проблематики собственно гоголевской» в повести М. Кураева «Дружбы нежное волнение» («исчезает метафизическая перспектива гоголевского творчества — остается не слишком продуманное обличие квазиинтеллектуалов»). Наряду с «фрагментарным», критик обнаруживает у сегодняшних прозаиков не выраженный внешне — в сюжете, цитирования, реминисценциях, а ушедший вглубь текста диалог с Гоголем: в романе того же М. Кураева «Зеркало Монтаччи» («гоголевская тональность, почти приглушенная, оказалась важнее реминисценций, перспектива «гоголевской загадки» — важнее возможных частных разгадок»), в повести «Человек в пейзаже» А. Битова («Книга, одушевленная любовью к Гоголю. Дело не только в сопереживании его муке... не только в завороченности гоголевской прозой, обнаруживающейся в бытовом цитировании. Дело в том, что к истинному человеку в пейзаже, к Пушкину, Битов проходит по гоголевской тропе»). Подобный «внутренний» тип диалога с Гоголем критик видит и у Солженицына, размышляя о гоголевских образах и мотивах в последних «узлах» «Красного Колеса».

— Статью «Памяти Бульбы, который не любил постмодернистов» **П а в л а Б а с и н с к о г о** («Литгазета», № 26), который проводит и обдумывает параллель, сопоставляя шестидесятников с Тарасом Бульбой и «Козаками», а постмодернистов с Андреем. Шестидесятники в литературе — «славные, но слишком простые ребята». Постмодернист же Андрей отличен не верой, а изобретательностью, поведение его ситуативно, он произвольно предает и «езде первый».

Наконец, обсуждению сегодняшней литературной ситуации был посвящен и «Круглый стол «Лепты». Взгляд на современную литературу» («Лепта», № 18), собравший для обмена мнениями писателей, критиков, сотрудников журнала. **Л е о н и д К о с т ю к о в**, не удовлетворяясь существующими классификацион-

ными приемами, по которым сегодняшняя ситуация рассматривается как противостояние «так называемой «старой» (реалистической) школы и так называемой «новой» школы», предлагает, по его мнению, более удобную для целей классификации трехчленную оппозицию — реализм («изображение и монтаж уже существующего живого»), постмодерн («монтаж и попытка реанимации уже существующего в культуре») и новая экспериментальная литература («создание искусственного мертвого»), оговаривая, что цель «серьезной литературы есть создание живого», но она выпадает из классификаций, будучи исключением из правил — это «чудо», на котором нельзя завязать тусовку, направление или школу». **Михаил Попов**, обращаясь к социально-психологическим аспектам литературной ситуации, напоминает, что сегодняшнюю «правящую литературную партию» составили «нонконформисты» и «маргиналы», выросшие в «нестественных условиях» и привнесшие «из оппозиции многие прежние привычки» — неприятие «развлекательной стороны писательского дела» и, более того, презрение «к повествовательности вообще», а также атмосферу неуверенности («даже самые способные авторы живут с ощущением своего неполноправия, казусности своего публичного осуществления»). Говоря о «массовом чтиве», которое сегодня представлено зарубежной продукцией, **М. Попов** считает, что уже сегодня на место «их» чтива идет «наше», начинается «новая фольклоризация сознания» («Рухнула централизованная система советских святых, на местах началось шевеление местной пещерной культуры» и «переболеть этим придется»). «Стоит приблизить золотой магнит к недрам народного творчества — оттуда такие рептилии поползут»). **А. Л. Михайлов** приводит примеры «сегодняшней агрессивности по отношению к классике, ее традициям». **Инна Ростовцева** говорит о необходимости развития критического инструментария для обнаружения качества литературного текста, для различения «живого» и «мертвого» слова. **Андрей Василевский** вводит понятие «Библиотека не для чтения» («естественная и законная часть нашей литературной реальности, уж такой, какая она есть»). Она составляется из книг, «которые не нуждаются в том, чтобы их читали», но нуждаются в том, чтобы их печатали», и пишутся для того, «чтобы непрерывно подтверждать профессиональный статус писателя. Из произведений последнего времени он включает в эту «Библиотеку» роман **Е. Лапутина** «Приручение арлекинов», романы **В. Сосноры**, книги **М. Харитоновой**, «Все тексты **В. Нарбиковой**», «До и во время» **Шарова**, поэзию **А. Драгомощенко**, считая, что все эти книги «имеют право на существование» и «их нужно печатать». Наконец, **Сергей Федякин**, напоминая об угрозе «утраты культурной почвы», предлагает обратиться к урокам «возвращаемой литературы», которая, утратив почву, развила «особый слух», почти заменивший «утраченную почву родной земли». («Слух

этот — преображенная ностальгия: в эмиграции улетучивалось непосредственное ощущение живого слова, и нужен был тонкий, изощренный слух, чтобы чувствовать подлинное»).

Ряд статей и публикаций, обращенных к творчеству отдельныхных современных прозаиков, поэтов и критиков.

Выходу в свет «итогового романа» Леонида Леонова «Пирамида» и сложному, «головокружительному» впечатлению от него посвящена статья **А л е к с а н д р а К а з и н ц е в а** «Свидетель» («Наш современник», № 6). Критик считает, что это «роман-наваждение», который может раздавить читателя «своей циклопической мощью», ослепить «яркостью прозрений и видений», закружить «в хитросплетениях сюжета, причудливых, как улочки воссозданной в нем старомосковской окраины». Критик отмечает две смысловые вершины романа — Христос на дощатом настиле и пирамида, к которой в самоистребительном порыве устремляется человечество, уходящее от Бога, спешащее в небытие («А между этими циклопическими образами-символами, наиболее емко, по мнению писателя, воплощающими новизну нашего столетия, мечутся, исповедуются, доносят, оплакивают ближних, выслеживают, спасают, жертвуют собой и напряженно бьются над смыслом данной им жизни десятки персонажей»). Главный конструктивный элемент романа — исповедь («исповедальным порывом охвачены цирковые шарлатаны, профессора дореволюционной складки, траченные молью провокаторы охранного отделения, обреченные мечтатели с воспаленным от революционного энтузиазма мозгом»). Пользуясь термином М.М. Бахтина, критик определяет жанр романа как «классическую мениппею» («повествование выходит за рамки строгого реализма в тот фантастический, но существующий, по убеждению Леонова, мир, где встречаются Небо и преисподняя, Свет и тьма»), возводя его к традиции Достоевского и Булгакова. Отмечая плотность письма, выразительность сцен, поднимающихся подчас «до классических образцов», и — с сожалением — безрелигиозность книги, критик выявляет основные темы романа («Судьба России. Судьба человечества. Судьба таланта») и пишет о современном его звучании, об ответах, которые книга дает на вопросы сегодняшнего дня.

Роману В. Астафьева «Прокляты и убиты» посвятил свою статью «Сатанинские звезды и священная война. Современный роман в контексте русской духовной традиции» **И в а н Е с а у л о в** («Новый мир», № 4). Рассматривая связи книги Астафьева с русской православной традицией и находя тому подтверждения в тексте анализируемого романа, «во многом организованного вокруг глубинного разлада между патриотизмом (в советском его варианте) и христианской совестью», автор статьи видит роман как «может быть, первый роман об этой войне, написанный с православных позиций и при полном



осознании трагической коллизии». И этим — существенно отличным от «лучших образцов лучших советских авторов», обращавшихся к теме войны. Причисляя к этим образцам повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр», К. Воробьева «Крик» и «Убиты под Москвой», Б. Балгера «До свидания, мальчики!», автор подробно анализирует, за счет каких мифологем, сознательных неведений, уступок и компромиссов их герои сохраняли цельность сознания, не расщепленного «между долгом перед Родиной, Россией и личной христианской совестью». Особо резкой критике подвергнут Игорь Дедков за статью о романе Астафьева, с которой Есаулов не согласен.

**Виктор Кривулин** в статье «Двое на полигоне» («Звезда», № 4) высоко оценивает творчество Сергея Коровина и Беллы Улановской, полагая, что они адекватно выразили в своей прозе состояние страны, которая долго была полем битвы, а теперь зарастает сорными травами. «Пейзаж после битвы» — вот тема названных авторов.

**Петр Вайль** и **Александр Генис** в статье «Поэзия банальности и поэтика непонятого» («Звезда», № 4) пишут об «эстетской прозе» Владимира Сорокина, «призванной демонстрировать возможности русской речи» (в рассказе «Очередь»). Сорокин «владеет всеми стилями советской литературы» и «произвольно комбинирует «чужие слова», используя их как строительный материал». Авангард по-сорокински помогает (с точки зрения автора) «преодолеть трагическое ощущение отсутствия перспектив — в том числе и эстетических»).

**Наталья Иванова** в статье «Вещь и весть» («Литгазета», № 23) анализирует новые стихи Иосифа Бродского (в «Новом мире» № 5) и его размышления в прозе. Критик утверждает, что вещь у поэта становится вестью. Стихи перенасыщены вещами, которые имеют метафизический аспект. Статья содержит тщательный анализ поэтики Бродского.

**Александр Кушнер** в статье «Яшины стихи» («Литгазета», № 25) разбирает стихотворные подборки в «Октябре» и «Знамени» и находит там много полуграмотных поделок, уличая в претенциозной графомании А. Грабаря, Т. Полетаева, Л. Иоффе, А. Бердникова, Н. Горбаневскую. Кушнер считает факт таких публикаций знаком какой-то болезни.

**Виталий Свинцов** в статье «Философ-вешатель. Фразеология, открывающая пустоту» («Независимая газета», 24 мая) дает резкую оценку личности, философских заслуг и творчества Александра Зиновьева. Его попытки создать «свою» логику «не оставили заметного следа в истории науки». В «Зияющих высотах» писатель оригинально сочетал рафинированную философскую прозу с грубостью народной смеховой культуры. Но постепенно наметился кризис жанра, а честолобие и самомнение не убывали. Произошла смена идеологии: «не так плохо было в Советском Союзе». Свинцов размышляет о метаморфозах на «ве-

роятном пути к фашизму» и последствиях призывов Зиновьева вешать политических противников («А веревку сам намыливать будешь, Александр Александрович?»).

**В л а д и м и р Л а в р о в** в статье об Александре Солженицыне «Лицо» («Нева», № 12) утверждает, что этот писатель принадлежит «не социально-политической группе, идеологии, даже идее или идеалу, а человеческому роду». Напротив, **Г р и г о р и й А м е л и н** в памфлете «Жить не по Солженицыну» («Независимая газета», 27 апреля) издевательски и злобно отзываясь о писателе, который, согласно критику, ничего в сегодняшней России не понимает и никому здесь не нужен. Текст Амелина — образец нигилистической провокации и квинт-эссенция интеллектуализированного хамства. Вместе с тем это характерное (хотя и крайнее) выражение определенных умонастроений постмодерного литературного истеблишмента, не заинтересованного в присутствии Солженицына в современной литературе («Нафталину ему, нафталину. И на покой»).

**Д м и т р и й Б а к** в статье «Бронзовый век русской критики» («Новый мир», № 4) констатирует, что критика сегодня ушла в тень и, не объясняя этого феномена, дает обзор книг, вышедших за 1989-1992 годы и принадлежащих самым разным авторам: от мастодонта марксистско-ленинской эстетики А. Зися до действительно действующих критиков В. Новикова, М. Липовецкого, А. Архангельского, В. Курицына.

Заслуживает особого упоминания практика издания редакцией журнала «Звезда» тематических номеров. Очередной такой выпуск (№ 3) был посвящен писателю Сергею Довлатову. Публикуется его повесть «Марш одиноких» и несколько других текстов, воспоминания и суждения о Довлатове И. Смирнова, В. Кривулина, Е. Рейна, А. Наймана, В. Уфлянда, В. Попова, А. Арьева и других, статьи критиков П. Вайля и А. Гениса, В. Топорова, И. Сермана, И. Сухих, Е. Тудоровской. С разных сторон освещаются личность и творчество писателя, ленинградская духовная атмосфера застойных лет. Публикуются зарубежные отклики на творчество Довлатова и библиография изданий писателя.

# АРТ-ФОНАРЬ

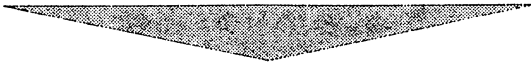
АРГУМЕНТЫ  
И ФАКТЫ

Ежемесячное приложение к еженедельнику

**«Арт-фонарь»** – одно из шести приложений к самому популярному еженедельнику “Аргументы и факты”. Если Вы любите кино, театр, музыку, живопись, следите за новинками литературы и моды

**«Арт-фонарь» – Ваша газета.**

**Подписной индекс 32132.**



Телефоны редакции:  
**924-94-49,**  
**925-54-93.**

## 1.

*Уважаемый главный редактор!*

*Я внимательно слежу за материалами, публикуемыми «Континентом» в разделе «Религия», и решил поделиться некоторыми своими соображениями.*

*Я не патролог, а только приходской священник, настоятель единственного православного храма в городе на севере России с населением в триста тысяч человек. Редок день, когда менее двадцати из них придут в наш храм на исповедь — а уж по воскресеньям и праздникам исповедников, конечно, гораздо больше. Поэтому все, чем я могу поделиться, это некоторые (преимущественно грустные) размышления о пастырстве и о духовничестве в сегодняшней Русской Церкви.*

*Во-первых, практика духовного руководства в Русской Церкви всегда основывалась преимущественно (и даже почти исключительно) на духовном опыте и наставлениях отцов-пустынников и русских монахов, продолжавших их традицию.*

*Во-вторых, слово «пустыня» само собою приходит на ум, когда окидываешь взором сегодняшнюю Россию. Восстание всех против всех, «ненавистная рознь мира сего», о которой говорил преподобный Сергей, ныне принимает в нашей стране особенно угрожающие размеры. Да, некогда пустыня Египетская «процвела яко населенный град», а в лесах моей Вологодской земли подвизалось такое множество преподобных отцов, что русские исследователи по праву прозвали ее «северной Фиваидой». Теперь, однако, ее населенные города, выстроившиеся некогда вокруг монашеских келий, стали духовной пустыней разобщенности и отчуждения. «Оживут ли кости сии?.. Господи Боже! Ты знаешь это» (Иез. 37,3). Опустошенная земля, опустошенный народ России ждут животворящего слова Бога.*

*Достигнет ли он слуха нашего народа через простое повторение поучительных сказаний из жизни пустынников? На таких именно рассказах и воспитывалась православная Россия в течение девяти веков, и это не помешало ни революции, ни развитию тоталитарного режима с десятками миллионов жертв, ни послереволюционной трагедии Русской Церкви.*

*Да, было меньшинство, хранившее мученическую верность Церкви. И нам, и всему христианскому миру должно воспеть подвиг этого остатка «не преклонивших колена пред Ваалом». Но, как напомнил С. Аверинцев в своей статье\*, нельзя же при этом забывать, что если мучеников — тысячи, десятки тысяч, то отступников — десятки миллионов. И очень многие из них были не просто опутаны сетями равнодушия или страха,*

\* Аверинцев С.С. Мы и наши иерархи — вчера и сегодня. Новая Европа, № 1 /1992/, с. 44-45.

но одержимы чудовищной ненавистью к той самой православной традиции, в которой почти все они были воспитаны.

Мы в праве пройти мимо этого кровавого урока. Надо, наконец, набраться мужества и спросить себя: как такое могло случиться? Неужели во всем виноваты лишь какие-то внешние по отношению к России и Церкви силы — вроде всемирного жидо-масонского заговора? Увы, положительный ответ на последний вопрос сегодня наиболее популярен в России.

Иной была позиция выдающихся представителей русской послереволюционной эмиграции. Так, Георгий Федотов в страшном для России 1937 году писал: «Тот, кто умеет читать в книге истории, не может не видеть в катастрофах наших дней расплату... за древние грехи: за Византию, за Москву»\*. О. Георгий Флоровский примерно в то же время свидетельствовал: «Это трагедия духовного рабства и одержимости... Потому разряжается она в страшном и неистовом приступе красного безумства, богоборчества, богоотступничества и отпадения... Потому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении». Н. Бердяев уже в 1918 г. утверждал: «Русский народ не захотел выполнить своей миссии в мире, не нашел в себе сил для ее выполнения, совершил внутреннее предательство». Позднее, в 1923 г., он писал: «Большевизм есть не внешнее, а внутреннее для русского народа явление, его тяжелая духовная болезнь, органический недуг русского народа... Большевизм соответствует духовному состоянию русского народа, выражает внешне внутренние духовные распады, отступничество от веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию народа». О. Сергей Булгаков в том же 1923 г. записал: «О, как я научился — в эти страшные годы — и в себе, и в других казнить эту сентиментальную мечтательность, от которой смертельно болеет Россия!.. Как невыносимо сделалось всяческое безответственное славянофильствование!». Все эти авторы — столь разные во многом! — считали: значительная доля ответственности за происшедшее ложится на Русскую Православную Церковь.

В чем же ее вина? За десять лет до революции о. Михаил Чельцов (впоследствии — мученик) так выражал устремления «обновленцев» (тогда это слово не было бранным, как после беззастенчивого союза части представителей дореволюционного обновленчества с новой, советской властью): они лишь хотят, «чтобы христианство Христово, а не византийское, христианство евангельское, а не предания старцев проявилось в жизни во всей присущей ему силе, раскрыло бы все свое богатое потенциальное содержание, объединило бы в единстве бытия веру и жизнь и дало бы христианскую государственность, общественность, экономику, культуру, науку — словом, христианизировало бы жизнь во всех ее проявлениях»\*\*. Увы, этого-то и не про-

\* Федотов Г. П. Древо на камне. Континент № 74 /1992/, с. 221.

\*\* Цит. по: Вениамин /Новик/, игумен. По образу и подобию. Континент № 74 /1992/, с. 213—214.

изошло. Основная масса русских настырей продолжала преподавать своей пастве односторонне абсолютизированный аскетический идеал. Религиозные люди все слушали и слушали умиленные рассказы про святых старцев — которые были просто несоотносимы с повседневной жизнью реального общества, — пока не пришла революция, а с нею — крах мечтаний про Святую Русь.

И тогда оказалось, что аскетическая идеология, чересчур заслонившая собою Евангелие, не дает человеку реальной опоры для сопротивления тоталитарному режиму. Более того, аскетическая добродетель «отсечения воли», безоговорочного послушания старцу-наставнику легко наполнилась новым содержанием — только «старцами» теперь стали большевики. В качестве яркого подтверждения Аверинцев приводит строки Николая Клюева, написанные в 1918 году:

*«Есть в Ленине керженский дух,  
Игуменский окрик в декретах».*

А жажда «соборности» с такой же легкостью поддавалась преобразованию в ленинский коллективизм.

Что же происходит в России сегодня? Исторический крах коммунизма очевиден. Но это вовсе не означает, будто мы духовно преодолели его ложь и обогатились необходимым иммунитетом. Я не вижу оснований для триумфализма, охватившего ныне нашу Церковь.

Как ни в чем не бывало, большинство наших духовников по-прежнему проповедует веру в Святую Русь, святое послушание и святых старцев. Старца, правда, нынче сыскать нелегко, «оскуде преподобный», но за отсутствием одного в этой роли довольно охотно выступают любые носители духовного сана, в том числе и рукоположенные только вчера. Это не беда; меньше знаний — меньше сомнений; ответы на все вопросы и так готовы. При случае обязательно сошлутся на «святых отцев» — почти всегда не называя имен и не стремясь к точности. Помнят из них немного — главным образом, что «послушание (батюшке, то есть мне) превыше поста и молитвы, не говоря уж о прочих, еще менее ценных добродетелях. Попадают, конечно, и более начитанные духовники, но и с ними горя не меньше. Потому что почерпнутые из «Добротолюбия» наставления пустынников они в безапелляционной манере предлагают для исполнения своим духовным чадам, живущим в радикально иных условиях. Результаты нетрудно предугадать: надламываются души, разваливаются семьи...

По меткому наблюдению А. Кырлежева и К. Троицкого («Континент» №№ 75 и 76), господство монашеской идеологии ведет к тому, что «все, от чего монахи отказываются как от препятствующего духовной жизни, двусмысленным образом оказывается «лишним» и для мирян, не находит своего церковного осмысления и оправдания». Такой тип духовничества в лучшем случае оттесняет на второй план жизни все, что не представлено в опыте пустынников, в том числе — творческую ра-

боту, участие в общественной жизни. Поскольку святые отцы все важное и нужное давно уже изрекли, «любое творчество... становится подозрительным и опасным» в глазах хранителей традиции. Вообще, всякая внешняя активность рассматривается ими как суета, отвлекающая от главного — «духовной» жизни. Да и бесполезное это занятие — участвовать в общественных делах. Ибо пока человек поработен грехом — может ли он оказать на других подлинно благотворное воздействие? А борьба с грехом продолжается, как известно, всю жизнь...

Конечно, жизнь в обществе есть как бы некое необходимое зло. Не все же могут стать батюшками и матушками, кому-то надо их кормить. Но все существенное в жизни воспитанных ими профессиональных «духовных чад» происходит в храме да дома, в уголке перед иконами, а чем уж они занимаются в промежутках — в общем-то, какая разница. Но лучше все же устроиться на нейтральную работу, которая меньше «отвлекает» (от духовной жизни, конечно) — вот как пустынники, например, плели корзины.

А уж коли случится нашим идеологам аскетизма выступать на общественно значимые темы, далеко за рецептами они не ходят. Надо попросту, чтобы все было «как раньше», то есть до революции. Тут они вполне смыкаются с национал-патриотами. Возврат к Православию в качестве национальной, государственной религии сулил бы аскетической идеологии вакантное место «руководящей и направляющей силы», освободившееся с падением КПСС.

Такое развитие событий желательно теперь для очень многих недавних коммунистов: во-первых, неприятный вакуум ликвидируется («надо же во что-то верить!»), а во-вторых, глядишь, снова при деле окажутся. Они все нынче за «святую Русь», за православие как «нашу исконную веру». Вчерашние строители «светлого будущего всего человечества» сегодня с до боли знакомым пафосом вещают о духовности... о нашем великом прошлом...

А бедные святые отцы в наскоро составленных цитатниках выступают в роли апологетов всех этих исторически иррелевантных концепций «православного царства» и т.п. С печалью должен отметить: особенно усердствуют в идеологическом обслуживании черносотенства многие нынешние иноки Троице-Сергиевой лавры. Это тем опасней, что иные из них затем занимают епископские кафедры.

И еще о подборе цитат из святых отцов. На слуху все одно и то же. «Редактировать» отцов-пустынников принялись, правда, давно. Скажем, монахи лавры Саввы Освященного в IX веке существенно урезали св. Исаака Сирина, переводя его на греческий язык. Но славянский перевод, выполненный преподобным Паисием Величковским с этого, уже подчищенного греческого текста в 1812 г. был запрещен в России духовной цензурой. Отпечатанный тираж не разрешили продавать — нашли бесполезным, опасным для благочестия.

С особой же смелостью сокращал и подправлял святых отцов св. Феофан Затворник, составляя русское «Добротолюбие». Ис-

ключались, как правило, наиболее яркие, пророческие высказывания, снимались противоречия во взглядах разных отцов. В результате у русского читателя сложилось некое усредненное представление о святых отцах, которые все как бы на одно лицо и говорят одно и то же. Харизматический дух свободы и неповторимо-личный отпечаток святоотеческих высказываний изгнаны из популярных аскетических наставлений. Разве прочтешь в ходовых антологиях такие, к примеру, слова св. Варсанофия Великого: «оставь человеческие правила и услышишь Говорящего: претерпевший до конца спасется... Итак, да не возжелаешь устава, ибо не хочу, чтобы ты был под законом, но под благодатью... Держись рассуждения, как кормчий, который сообразуется с ветром и направляет ладью свою». А ведь св. Варсанофий — один из родоначальников подлинного старчества.

Постараюсь подвести итоги. Неужели отцы-пустынники в чем-то виноваты перед Русской Церковью? Нет, это мы виноваты и перед Богом, и перед ними в том, что слепо повторяли их слова, не замечая, как время меняет их смысл. Отцы в духе пламенной любви к Богу и дерзновенной свободы искали и находили свой неповторимый путь — у каждого свой! — а мы, по лености душевной, занимались рабским копированием их поступков вместо того, чтобы возгореться их духом.

Каков же результат этого обезьянничанья? Неспособность творчески ответить на вызов современности и, вследствие этого, трусливое бегство из реальности в параллельный, призрачный мир псевдодуховных грез. Но Бог живет не в мечтах, и Его нельзя встретить в этом уютном мирке. То же надо сказать и об отцах Пустыни.

История России — урок не только русским. И если урок истории не воспринят — для непонятливых он может повториться. Избавь нас Бог от этой дурной бесконечности!

Вопрос о канонизации новомучеников советского времени занимает одно из центральных мест в публичных дискуссиях, охвативших русские церковные круги различных юрисдикций, как в России, так и за границей. «Правильная» канонизация некоторым представляется прямо какой-то панацеей от всех болезней нашей церковной и общественной жизни. А мне все же думается, что наш святой долг по отношению к памяти бесчисленных жертв коммунистического режима никак нельзя свести к составлению красивых тропарей и кондаков в их честь, какими бы трогательными ни оказались эти песнопения. Важнее набраться мужества и мудрости для переоценки всей нашей духовной традиции, всего нашего религиозного наследия в свете критических событий революции и последующих семи десятилетий тоталитаризма.

И если христиане Запада осознали, что их теология не может оставаться прежней после Освенцима, то нам, по-моему, давно уже пора задуматься, какой должна стать парадигма духовного руководства «после ГУЛАГа».

Священник Николай Балашов



В «Русской мысли» от 14—20 июля 1994 года (№ 4038) было напечатано Открытое письмо Валерия Сендерова, обращенное к главному редактору «Континента» И.И. Виноградову. Открытый ответ И.И. Виноградова В. Сендерову, отправленный в «Русскую мысль» факсом в конце августа с. г., к моменту подписания в печать настоящего номера опубликован газетой не был. Полагая, что дискуссия затрагивает ряд моментов, существенных для понимания позиции журнала, редакция «Континента» считает целесообразным познакомить читателя журнала с обоими материалами.

**«НУЖНО ЕЩЕ И МОЧЬ, И УМЕТЬ,  
А ВОТ С ЭТИМ-ТО И НЕ ВЫШЛО...»**

Открытое письмо  
Главному редактору журнала «Континент»  
И.И. Виноградову

Уважаемый Игорь Иванович!

Опубликовав в 79-ом номере «Континента» произведение Вашего предшественника, редакция предпослала ему несколько фраз.

«Кочевание до смерти» — роман-размышление о судьбах революции, о судьбах России. Не имея возможности из-за ограниченности печатного пространства журнала познакомить наших читателей с романом бывшего главного редактора «Континента» полностью, мы с любезного согласия автора, публикуем лишь первую его часть...»

Свой единственный, но важный вопрос к Вам (до него дойдем) я хочу предварить некоторыми напоминаниями о романе — не только ради связности текста письма. И сегодня «Континент» № 74 взирает на капризного покупателя с прилавков из-под гуманнейшего пояснения: «цена 600 р.» Так что, когда-то до 79-го номера очередь дойдет?

Так что я выступаю, хоть и не испрашивая любезного согласия автора, как бы популяризатором посланного г-ном Максимовым через Ваш журнал «вызова человеческому быдлу. Пусть хавают! И, увидите, схавают!»

Такая надпись окаймляет портрет писателя на обложке журнала. Оптимизм автора по поводу грядущей счастливой судьбы его детища я, как видите, не вполне разделяю. Так почему бы не познакомить читателей хотя бы на ограниченном газетном пространстве с романом-размышлением о судьбах революции, о судьбах России?

Вообще-то революции, России и иной всячины в произведении не так уж и много: в нем безраздельно царит «эмигрантская достопримечательность», Мишаня Бармин. «Принимаю нашу литературную братию чуть не со всего света. Недавно до меня дошло, что оказаться в Париже и не побывать у Михаила Бар-

мина считается в этой среде все равно, что проигнорировать кладбище на Сент-Женевьев де Буа или церковь на рю Дарю».

Настоящая фамилия достопримечательности: Мамин. Но о временах, в которые герой ее носил, он сообщает относительно скупно. От отца-комиссара в памяти остался «только унылый нос над висячими усами». О матери Бармин повествует подробнее, начиная с того момента, когда будущий муж «вытащил ее из-под целого эскадрона» (это тоже, видать, у Мишани в памяти осталось...).

Комиссара сменил Бармин, «с бритой наголо, уверенно посаженной головой человек в форме авиационного полковника». И взял подросток, едва познакомившись с отчимом, фамилию, «которая сделалась тавром, проклятьем на всю последующую жизнь».

Началась «последующая» неважно: Бармин предал своего первого друга Сергея и девочку, которую любил. Может, не мистика символических фамилий, а эта первая подлость и определила судьбу: мелкое, тоскливое какое-то, НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ предательство. Необязательное даже для обитателя «дома на бережной»: хоть малые степени свободы выбора у человека все же есть всегда...

«Наскоро побросав в дачный вещмешок свои личные пожитки, я добавил к ним кое-что из модных тряпок матери на продажу...» Так уходит Мишаня в Большую жизнь. Охотно, без тени колебаний вступает в профессиональную воровскую шайку. Арест, срок...

Читатель настроился на лагерные откровения: кем, в самом деле, мог стать на зоне такой герой?

Наивный читатель... В лагере Бармина с первого дня берет под опеку всемогущий нарядчик, друг детства Серега (нарядчиком сделали сына застрелившегося сталинского противника, сидящего по 58-й). В соседней зоне ОНА, Валя — и ей удастся навывываться к Мишане.

Что ни пиши, а лагерь не курорт: попадает Бармин и под новое следствие. В кабинет к «начальничку», который, по рассказам, «ребром ладони ломал на допросах людям шейные позвонки».

И оказывается это герою... правильно, во спасение! Майор Карпович — «дядя Лека», поделщик по гражданской войне «унылоусатого» отца Мишани. Растроганный палач «отмазывает» Бармина от дела...

Но пусть эти сюжетные извизы оценят специалисты — то ли по лагерной жизни тех лет, то ли по научной фантастике... Нам интереснее не ЧТО происходит, а — С КЕМ? Этот вопрос содержателен: даже ценителей Эдички на барминских душевных перепутьях ждут немелкие жемчуга...

«Полублатной» эмигрирует. «Нам казалось, что стоит только вырваться из совдепии, как волшебная жар-птица славы и богатства распустит пред нами свое сверкающее оперенье». Увы, «нужно еще и мочь, и уметь, а вот с этим-то у меня, судя по всему, и не вышло».

Впрочем, все относительно: ничего не умеющий мэтр принимает, как мы слышали, «литературную братию чуть не со всего света». Еще он участвует в политических дискуссиях, вот так: «подмойся, пидор, я с тобой на одно поле срать не сяду». Оппоненты посрамлены, нравственный вес героя растет.

А еще Мишаня работает на радио. «Говорильня на рю де Ренн была единственным местом в Париже, где я мог заработать себе на скромную выпивку с еще более скромной закуской». Про закуску в романе мало: не больше, чем про Родину и про революцию. А насчет выпивки герой, пожалуй, все-таки приbedняется: страницей раньше жалобы на ее скромность он «опять много и неразборчиво» пьет. «Пили по обыкновению просто так, чтобы только напиться...»

Но отдадим Мишане должное: основания ненавидеть работу на радио у него есть. ИДЕЙНЫЕ (кажется, ВПЕРВЫЕ В ЕГО ЖИЗНИ!).

Отвратительны Бармину «статьйки против «коммунистического ига» и «тоталитарной угрозы». Потому что «власть создается человеком ради самообуздания, иначе она бы просто не выжила, а степень ее жестокости целиком зависит от уровня среды, в которой она функционирует».

Бороться с так называемым коммунистическим игом, в котором полностью позинна среда? «Увольте, это занятие не для белых людей».

И попробуйте, в той ценностной системе, которую исповедует Мишаня, ему что-нибудь возразить...

Естественно, Бармин люто ненавидит «коллег». Всех вместе и каждого в отдельности. По должностному признаку. По национальному. Словом, всеми фибрами недопропитой души.

«...один к одному, негодяй к негодяю, падаль к падали: те, кого гнали в печи и те, кто у этих печей орудовал...»

А и вправду: чего их различать? Одних гнали, другие орудовали — в чем, собственно, разница?

«Все на свете говно, кроме мочи».

Агрессивный нравственный плюрализм — главная заявка произведения. Но верится в него не всегда. Бармин люто ненавидит эсэсовцев и их жертв? Полноте, какая-то половинка к другой привязана искусственно...

Может, впрочем, мы и несправедливы: на ограниченном печатном пространстве «Континента» Мишаня успевает излить ненависть ко всем. Американцы? «С такими глазами изнасиловать родную мать, обокрасть ребенка, взорвать землю можно, не угрызаясь никакими сомнениями». Украинцы? «Украинские фамилии вообще вызывают у меня идеосинкразию».

Вот, наконец, и о России. «Я бы ухом не повел, если, однажды проснувшись, узнал об ее исчезновении с лица земли: «тоска по родине! известная морока». Было бы и странно прочесть в «романе-размышлении» что-либо иное, удивляют лишь детали. Литератор — грубо искажает текст и смысл известнейшего стихотворения Цветаевой?

Но оставим же хоть в чем-нибудь простор для интерпретаций. Может, Бармину все эти писатели настолько безразличны... что даже роман адекватного представления об этом не может дать. А может, мыслит он, как обычно, в далеко не первой стадии. Разное может быть...

Чем еще занят Мишаня? Спит с женщинами. Молодыми и яркими, «из породы тех, о ком говорят, что ноги растут из подмышек». Ему этого, правда, вовсе не хочется. И отшивает он дам решительно: нисколько не хуже, чем оппонентов по полтдискуссиям. А они, бесстыжие, лезут и лезут. Бармин же, в сущности, человек добрый: отказать неловко, вот он всем и дает.

Но вообще-то жены коллег действуют на Мишаню благотворно: в постели он становится глубокомысленным. «Уже дома, засыпая рядом с ней, я, помнится, вдруг спросил самого себя: «А может быть, Петечка прав, и человек действительно — мразь?» И еще: «А я?»

Странно прозвучит: закрывая роман, не испытываешь к герою ненависти. Ни сочувствия. Ни даже настоящего презрения. Дело ведь не в том, что в душе персонажа ЕСТЬ. Бывают герои пострашнее — сколько угодно, на «роковую» роль размазывающий пьяную слезу Мишаня решительно не тянет. Бывают и помельче, погаже (хоть сходу пример, признаться, нелегко подобрать).

Беда в другом: **ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ**. Вяло плещутся на доньшке души ошметки недопереваренной позавчерашней закуски. Нехотя шевелятся мозги, всплывают перед Барминым какие-то встречи, нации, люди и бабы. И распялет Мишаня себя, кидается из кошмара утреннего небытия в приклатненный вой: «...Ненавижу всех дешевок!...»

Да ерунда все это. Матерись, как малолетка в подворотне, не матерись... Все равно не спрячешься: внутри — кишечник, для перегонки водки в мочу. Которая, как «сверхспектральный анализ показал, тоже — говно».

А кроме кишок — ничего. Пусто.

Наверно, Игорь Иванович, здесь можно было бы спросить: для чего Вы опубликовали все это? И вопрос не прозвучал бы неуместным, не резанул диссонансом: объясняем все мы, по инерции, в терминах десятилетней давности.

Но в действительности такой вопрос — устарел безвозвратно.

Потому что **РАНЬШЕ** подлости делались **ДЛЯ ЧЕГО-ТО**. Допустим, я свожу с кем-то счеты и объявляю, что мой враг бездарь, подонок, стукач. Поступок мерзкий, но... объяснимый. Понятно, какие чувства мною руководят; понятна причинно-следственная логика моих действий.

Сегодня понятия добра и зла просто лишились смысла. Идеализируют нашу жизнь те, кто говорят о «падении нравов». Все не так, нравы-то есть: в этнографическом смысле. А вот моральные оценочные категории окончательно перекечевали в разряд языковых архаизмов.

Так что — почему бы Вам было «размышления о судьбах революции» и не издать?

Но есть у меня к Вам настоящий, наконец-то не риторический вопрос. Всего один; но ради него стоит, как я убежден, затевать длинные и в остальном малоплодотворные разговоры.

Вы хотели создать журнал, в котором «последовательно и твердо, из номера в номер и в любой рубрике, проводилась бы установка на поиск, выработку и обсуждение именно христианской точки зрения на все...»

Так Вы писали в «Континенте» № 72. Такова была Ваша декларация, когда Вы как новый редактор принимали журнал.

И вот, держа в руках номер семьдесят девятый, я хочу спросить, Игорь Иванович: ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ХРИСТИАНСТВО?

Валерий СЕНДЕРОВ

Москва

Главному редактору «Русской мысли»  
г-же И.А. Иловайской-Альберти

Уважаемая Ирина Алексеевна!

В №4038 /от 14—20 июля 94 г./ под названием «Нужно еще и мочь, и уметь, а вот с этим-то и не вышло...» Ваша газета напечатала ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО постоянного сотрудника «Русской мысли» Валерия Сендерова, обращенное ко мне как главному редактору «Континента», в 79-ом номере которого опубликованы фрагменты нового романа Вл. Максимова, посвященные в основном жизни русской парижской эмиграции. Как заявляет г-н Сендеров, им руководило исключительно желание уяснить некий «единственный, но важный вопрос», который он (а с ним, видимо, и газета) мне, в конце концов, и задает.

Не вижу, почему бы не пойти навстречу этому желанию. И притом — столь же ОТКРЫТО. Прошу Вас опубликовать в этой связи и настоящее письмо, и нижеследующий текст, в котором позволю и себе, в свою очередь, задать г-ну Сендерову и редакции некоторый ряд вопросов. Тоже, на мой взгляд, достаточно важных.

**ДА — «НУЖНО ЕЩЕ И МОЧЬ, И УМЕТЬ»**

Открытый ответ г-ну В. Сендерову

Для начала — следующее свидетельство. Едва вышел 79-й № «Континента», как мне сразу же позвонил В. Максимов и высказал крайнее свое озорчение тем действительно досадным недосмотром редакции, из-за которого оказались не взятыми в кавычки вынесенные на обложку (около его фотопортрета) слова одного из героев романа, писателя Ананасова, агрессивно изрыгающего свое писательское кредо: «...это мой вызов человеческому быдлу. Пусть хавают!.. Я заставлю их схавать!» — и.д. «Вот увидите, — почти в отчаянии сетовал В. Максимов, — теперь это непременно припишут мне и будут цитировать

как мое исповедание веры и формулу моего творчества!..» Я возмущенно разуверял его, убеждая, что на столь очевидную подтасовку (стоит ведь только открыть соответствующую страницу!) не решится даже самый ретивый любитель жареного. Но оплошность от этого не перестает быть оплошностью, и я пользуюсь случаем, чтобы публично принести за нее и В. Максимову, и читателям журнала извинения редакции. Тем более, что вопреки всем моим разуверениям прав оказался не я, а В. Максимов. Как в воду глядел. Я просто глазам своим не поверил, увидев, что в своем ОТКРЫТОМ ПИСЬМЕ Вы, г-н Сендеров, именно и подаете читателям «надпись», которая «окаймляет портрет писателя на обложке», как «посланный г-ном Максимовым» (!) через «Континент» «вызов человеческому быдлу». Да еще добавляете с издевкой, что «оптимизм автора(!) по поводу грядущей счастливой судьбы его(!) детища» Вы «не вполне разделяете».

Итак, столь пристрастно изучив текст, столь обильно его цитируя, Вы, стало быть, так и не заметили, что в нем вообще нет ни слова от лица самого автора? И что перед Вами монолог не В. Максимова, а одного из самых отвратительных героев романа?.. Полноте, — в такой наивности заподозрить Вас все-таки невозможно. Значит, решились-таки сыграть на подвернувшемся корректорском просмотре и просто-напросто приписать слова, мысли и чувства Ананасова самому Максимову?.. Но как же быть в таком случае с теми высокими моральными критериями, на утрату которых в нынешнем обиходе Вы так пафосно сетуете?

Увы, ПИСЬМО Ваше обязывает повторить этот вопрос еще не раз. И поставить его уже не столь риторически.

Весь свой обвинительный вердикт роману Вы строите на изничтожении его главного героя (и рассказчика) Михаила Бармина, который Вам более чем не нравится. Само по себе это не удивительно. Мне, например, он тоже отнюдь не нравится. Но ведь он и сам себе совсем не нравится — факт, о котором даже Вы не можете (хотя и походя) не упомянуть. А еще важнее, что и автор романа совсем не пылает к своему герою любовью, не говоря уж о том, что самым наглядным образом дистанцирует его от себя, позволив ему в соответствии с логикой его образа высказаться о редакторе известного эмигрантского журнала Леве Самсонове (настоящие имя и фамилия В. Максимова, основателя «Континента») так: «саркастический алкаш», проза которого («все тот же давно навязший в зубах реализм, разбавленный наивной религиозностью») пользуется успехом лишь из-за «ореола гонимости»; автор «разоблачительных статей против «коммунистического ига» и «тоталитарной угрозы», в которых «грохочет скелетом по жести», «оглушая себя крикливой пошлостью собственного словоизвержения». У Бармина они не вызывают «ничего, кроме свинцовой скуки».

Почему же, г-н Сендеров, Вы и это все опять напрочь не замечаете? Не потому ли, что в логике Ваших инвектив это спутало бы Вам все карты? Ведь Вам мало отождествить Мак-

симова с Ананасовым — заодно Вы стремитесь сделать его неотличимым еще и от Бармина. Главное, Вы считаете, в Бармине — его «агрессивный нравственный плюрализм»? Пусть даже так. Но Вы тут же, не моргнув глазом, ставите соответствующее равенство и объявляете, что этот самый «агрессивный нравственный плюрализм» и есть «главная заявка произведения». А расшифровывая, что это такое, не скупитесь ко всему тому малоприятному, чем наделен герой уже от автора, щедро подбавить еще и от себя. Бармин — желчный мизантроп, и окружающий мир вызывает у него по большей части лишь идиосинкразию? Да, его ненависть или презрение редко кого в этом мире обходят стороной. Но все же обходят. Саша Горелик, Вадим, Кацман, Петя Равич, румынский драматург (коллеги Бармина по писательству и работе), затем Серега, Валя, жена Равича, даже Ольга и Сеня Махаев — словом, как Вы сами же отлично знаете, даже только в опубликованных главах романа не так уж мало персонажей, отношение героя к которым можно измерить очень широкой шкалой чувств от любви и дружеской привязанности до жалости, сострадания или даже просто сочувственного понимания, но никак не шкалой ненависти. Зачем же Вы, г-н Сендеров, уверяете читателя, что в рецензируемом Вами тексте «Мишаня успевает излить ненависть ко всем», что он «люто ненавидит», в частности, «своих коллег» — «всех вместе и каждого в отдельности»? Бармин честит среднестатистического представителя американского истеблишмента — Вы тут же преподносит читателю его убийственные слова как относящиеся ко всем американцам вообще. Герой плюется от гадливости и презрения по поводу той безошибочной «селекции», посредством которой вашингтонским хозяевам «радиолавочки» на рю де Ренн удается составить удивительный контингент негодяев одновременно и из тех, «кого гнали в печи», и из тех, «кто у этих печей орудовал», из «вчерашних чекистов и их недавних жертв» — Вы, не смущаясь, цитируете эти слова так, будто Бармин и вообще ставит на одну доску всех, кого гнали, и всех, кто гнал, эсэсовцев и смертников. Бармина выводит из себя, как я уже упоминал, крикливая пошлость антикоммунистических «пропагандистских фейрверков» Лезы Самсонова, и, ненавидя любую власть, он вообще считает бессмысленной всякую политическую борьбу, ведущую лишь к смене одних надзирателей другими, — Вы подаете это как отвращение Бармина именно к статьям «против» «тоталитарной угрозы» и как отказ от борьбы именно с «коммунистическим игом»... И т.п. Смещения все вроде бы и не столь уж заметные, всего лишь как бы лишь количественные, но ведь тут нужно учесть, что в Вашей подаче любой раздраженный чих героя, реальный или ему приписанный, немедленно вменяется в вину самому Максимова. Так что в итоге как раз и получается то самое качество, которое и призвано оправдать Ваше благородное возмущение: «Игорь Иванович... для чего Вы опубликовали все это?»

Да ответу, ответу я Вам, Валерий Анатольевич, — «для чего». Дайте только закончить анализ Вашего анализа. При этом за-

метьте: все сказанное выше вовсе не означает, будто я вообще не вижу никаких совпадений в чувствах и мыслях автора и героя. В литературе не редкость, когда герою-рассказчику, убеждения и жизненная позиция которого в целом не только не тождественны, но во многом просто противоположны авторским, автор тем не менее отнюдь не отказывает в способности достаточно зорко видеть окружающий его мир. И даже высказывать (чаще всего в саркастически желчном заострении) близкие к его собственным наблюдения и оценки. Напомню хотя бы «Записки из подполья» Ф. Достоевского.

Но чтобы в контексте литературных конструкций такого типа уяснить характер действительных взаимоотношений автора и героя, найти и разделяющие их грани, и области их совпадающего жизневидения, нужно свободное профессиональное владение и всей достаточно непростой техникой серьезного литературно-критического анализа, и его этической культурой. Так что винить Вас за то, что Вам такой анализ оказался не по силам, я вовсе не собираюсь.

Но, во-первых, зачем и браться за алгебраические задачки, коль скоро владеешь лишь азами арифметики? Вот именно — нужно ведь «есть и мочь, и уметь». А во-вторых, — разве только уважающий себя профессиональный критик обязан знать, что нельзя — просто нельзя, элементарно нельзя — возводить напраслину даже на литературных персонажей, подтасовывать цитаты, замалчивать невыгодные факты, браться «знакомить читателей с романом-размышлением о судьбах революции, судьбах России», прочитав едва его треть и тем не менее уверяя читателей, что «вообще-то революции, России ... в произведении не так уж и много»?.. А бить автора за проступки его героев и просто приписывать ему их слова, мысли и чувства?.. Скажете, уважаемый Валерий Анатольевич, когда Вы составляли букет инвектив такого сорта, на Вас ничем знакомым не пахнуло? Из тех времен, когда Вы были еще диссидентом и когда посредством именно такого рода «аргументов» и любила расправляться известная Вам инстанция (сама или через свои легальные творческие отделения) с неугодными ей писателями? С теми же Синявским и Даниэлем, например?..

Только не спешите заключать, будто я намекаю, что Вы агент КГБ или специально ходили туда брать уроки литкритики. Это уровень г-на Третьякова, не раз уже пытавшегося именно таким способом защитить нравы своей сплоти и рядом независимой по отношению к совести газеты и от В. Буковского, и даже от меня. Речь идет о куда более серьезных вещах. О том, что упирается вовсе не в какие-то «связи» — упаси, Господы! — а, как любят выражаться ныне, в сам наш общественный «менталитет», все еще слишком прочно, как обнаруживается, укорененный в нашем прошлом, в его духовной атмосфере. А в условиях нынешней «свободы» все чаще начинающий и публично демонстрировать эту свою укорененность. И вот уже «прогрессивная» наша печать (о так называемой «патриотической» даже не говорю, — та и не скрывает своей



духовной родословной) все меньше стесняется щеголять чисто гэбистскими штучками, и какой-нибудь бойкий нынешний аспирантик, надышавшийся в ранней юности отравленным воздухом застойщины, похлеще былых литературных наемников обливает помойной грязью Солженицына, и толпа уважаемых священников в лучших традициях 37-го года дружно пишет Патриарху коллективный донос на своего собрата, а «бродячие» нынешние «литературоведы» шастают по писательским собраниям в надежде нанюхать и принести в зубах своим работодателям какую-нибудь очередную nepотребцину... А теперь вот и Вы вступаете в эти сплоченные шеренги. Констатирую это с истинной горечью, ибо искренне уважаю Ваше диссидентское прошлое и проявленное Вами тогда немалое, как рассказывают, мужество. Но неужели этих заслуг достаточно, чтобы то, что нельзя было ИМ, стало можно теперь ВАМ? И чтобы решить, что всякое теперь море Вам по колено? А чем еще, как не тем же все огорчительным постдиссидентским высокомерием, которое одолело уже не одного из Ваших бывших сподвижников, объяснить тот чудовищный морализаторский апломб, который заносит Вас уже так далеко, что Вы размахиваетесь бросить людям обвинение в ПОДЛОСТИ только за то, что они осмелились напечатать главы романа, герой которого Вам не по душе и которого Вы изволили (к тому же еще и оболгав его), отождествить с автором?! Да Вы с ума сошли, уважаемый Валерий Анатольевич! Не думать же мне, что накал Вашей страсти объясняется все-таки совсем не тем, что обозначено в прямом тексте Вашего ПИСЬМА, а неким скрытым его подтекстом! Ведь в объяснительном телефонном разговоре со мной Вы сами же категорически отрицали это, и у меня, право же, нет никакой охоты подозревать Вас в двоедушии.

Тем не менее даже и после всех этих Ваших любезностей я готов вполне серьезно ответить на тот вопрос, который Вы вместе с газетой мне задаете. Исключительно, повторяю, из уважения к Вашему прошлому, а еще больше — из уважения к читателю, вынужденному быть свидетелем наших объяснений. Итак, Вы хотите знать, почему журнал, ориентированный на утверждение христианских ценностей в жизни и литературе, напечатал главы романа, этой ориентации, как Вам представляется, вопиюще не соответствующего? Да потому и напечатали, что видим и оцениваем роман, как Вы уже, наверное, поняли, совсем иначе, чем Вы. Надеюсь, Вы все-таки не будете отрицать ту очевидность, что «поиск и выработка именно христианской точки зрения» на мир, в котором мы живем, не может происходить в отделах журнала, отданных прозе и поэзии, с такой же понятийной обнаженностью и прямоотой, как и в его «интеллектуальных» рубриках. Простите за ликбез, но искусство вообще и литература в особенности могут способствовать приближению к христианской истине даже и тогда, когда художник — вовсе не христианин, а картины, которые он рисует, полны сатирической желчи, гротеска, обличительной страсти (что и само по себе отнюдь, кстати, не находится

в абсолютной противоположности христианству). Лишь бы они несли в себе жизненную и художественную правду, воссоздали живое бытие мира, схваченное в той или иной его существенности. А в этом отношении история опустошенной, сломленной души Михаила Бармина, рассказанная художником, яростно как раз ненавидящим отношение к человечеству, как к «быдлу», которое все «схаваает» (и к тому же не случайно подмечающему, что Бармину «неуютно» в церкви), никак не может быть, на наш взгляд, лишена права быть отнесенной к произведениям именно такого плана. И сама хроника жалкого эмигрантского прозябания героя, и внутренний мир его души, его постоянное отвращение к самому себе (недаром в финале романа он кончает с собой), и вся та печальная и желчная психологически-бытовая живопись, что свидетельствует о его незаурядной в своей отчаянности, введливой-трезвой зоркости по отношению к горькой изнанке эмигрантской жизни, — все это обладает, на наш взгляд, слишком очевидной жизненной выразительностью, чтобы ею можно было пренебречь.

Разумеется, кому-то и эти главы, и весь роман могут казаться совсем не такими, как нам, а наша точка зрения на них необидительной. Что ж, давайте спорить — мы даже и в «Континенте» напечатать любим, пусть даже самый острый критический разбор романа. Но при одном условии — это должен быть разбор серьезный, профессиональный и добросовестный. Без попыток превращения литературной критики в сомнительного свойства полу-политические игры. Да еще крапленными картами. Вот они-то уж точно никакого отношения к христианству не имеют.

А отсюда и мой последний вопрос — и к Вам, г-н Сендеров, и к редакции газеты. Новый — «русский» — «Континент» существует уже два с половиной года. И за это время мы, право же, кое-что успели-таки сделать в осуществление той, христианскими ценностями ориентированной, общественной и культурной программы, которую мы провозгласили с самого начала и о которой столь любезно нам же и напомнил г-н Сендеров. Успели и в художественном разделе (где, кстати, и помимо максимовских глав опубликовали несколько текстов с более или менее отрицательными героями, от имени или через восприятие которых ведется рассказ), и во всех других отделах журнала. Так почему же г-ну Сендерову, столь ревностно и регулярно пекущемуся на страницах «Русской мысли» о христианском просвещении на Руси, и редакции самой газеты, столь заинтересованной как будто бы в том, чтобы внимательно следить на родине за всем, что движимо целями ее духовного и религиозного возрождения, — почему же г-ну Сендерову и редакции газеты непременно нужно было дожидаться, пока в журнале появятся главы романа, затрагивающего — да еще так остро! — именно эмигрантскую жизнь, чтобы обратить, наконец, на нас свой пристальный взор?

Что ж, спасибо уже и за такое внимание. Хотя, похоже, оно и означает как раз, что в барминских желчных зарисовках

из парижской жизни куда больше правды, чем хотелось бы этого, поверьте, даже и нам — здешним, отечественным россиянам.

Игорь Виноградов

Р.С. Небеспопченность последнего предположения подтвердили, кстати, и недавние отклики на роман Максимова, появившиеся в «Литературной» и «Независимой» газетах, когда текст настоящего ОТВЕТА был уже написан, но еще не отправлен из-за объявленного редакцией «Русской мысли» перерыва в ее работе до конца августа. Не случайно в них нашли свой отзвук и уже начавшиеся вокруг романа попытки опасных прототипических «расшифровок» в отношении иных его персонажей, так или иначе вызванные, вероятно, определенными личными конфликтными отношениями некоторых из таких возможных прототипов с автором романа. Во всяком случае, они их ставят друг к другу в такие отношения. В этой ситуации мне приходится заявить, что ни вмешиваться, ни принимать на себя роль третьей стороны в этих конфликтах я не собираюсь. Это совсем не моя функция — ни как редактора журнала, ни как частного лица.

Другое дело, если в этой ситуации так или иначе затрагивается и сфера моих личных с кем-то отношений. Но, положив руку на сердце, заявляю: никого из тех, кого я считаю в каких-либо личных, тем более дружеских со мной отношениях, мне, когда я знакомился с текстом романа, и в голову не пришло идентифицировать с каким-либо из персонажей отрицательного плана. Ибо если бы такое произошло, я в предисловии к публикации непременно высказался бы на этот счет. Как готов, заметьте, высказаться и сейчас, если кто-либо считает себя задетым после публикации глав и мною лично тоже. И, конечно, если только он и сам сочтет возможным «опознать» себя в каком-то из таких персонажей, заявив об этом публично. А вступать без этого в какие-либо объяснения с любыми, движимыми пусть даже самыми благородными намерениями, добровольными «расшифровщиками» со стороны не считаю для себя возможным.

И.В.

23.8.94

Уважаемые читатели!

Подписка на журнал

## КОНТИНЕНТ

принимается во всех отделениях связи России.  
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

\* \* \*

## КОНТИНЕНТ

продается в книжных магазинах, киосках «Роспечати»  
и высылается по индивидуальным заказам агентством  
«Книга-сервис» (тел. /095/ 129-29-09), а также  
Агентством по распространению «АиФ»  
(тел. /095/ 923-68-59).

Жители Москвы и Московской области могут покупать  
выходящие номера журнала в редакции.

Если вы не успели подписаться на

## **КОНТИНЕНТ,**

вы можете приобрести отдельные номера журнала  
в магазине  
**«МУЛЬТИМЕДИА»**

**109189, Москва, ул. Николо-Ямская, 1.  
Всероссийская Государственная библиотека иностранной  
литературы.**

**В магазине всегда в продаже журналы:**  
**«Иностранная литература», «Истина и жизнь»,**  
**«Искусство кино», «Интерлиnk»,**  
**«Новый журнал» (Нью-Йорк), «Право»,**  
**«Российско-британский бизнес», «Синапс»,**  
**«Совесть и свобода», «С нами Бог»;**

**газеты:**

**«Инглиш» (детская газета для изучающих английский  
язык), «Япония сегодня».**

**Магазин приглашает к сотрудничеству распространителей  
периодических изданий.**

Художник М.Кудрявцева

Сдано в набор 19.08.94. Подписано в печать 12.09.94.

Печать офсетная. Бумага офсетная №1.

Формат бумаги 84×108/32. Гарнитура "Таймс".

Тираж 10 000 экз. Заказ № 339

Цена договорная.

Л.Р. № 010184

Издательство "Московский рабочий", 101923, ГСП, Москва, Центр,  
Чистопрудный бульвар, 8а

Адрес редакции журнала "Континент":  
101923, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.  
Телефон: (095) 928-97-42.

*Оригинал-макет изготовлен  
в Центре информационного обслуживания  
и подготовки печатных материалов АО "ФинСтатИнформ"*

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати  
107005, Москва, Денисовский пер., д.30

**1994 год, №3**



